

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ

ВИЛЬЯМ БАТКИН

АЛЛА БОССАРТ

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ

МАРК ВЕЙЦМАН

НАТАЛИЯ КИМ

ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ

КЕРЕН КЛИМОВСКИ

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ

ХАВА-БРОХА КОРЗАКОВА

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

ГЕННАДИЙ МАЛКИН

ДАВИД МАРКИШ

ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ

МАРИНА МЕЛАМЕД

ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

ВИКТОРИЯ РАЙХЕР

ИРИНА РУВИНСКАЯ

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

И ДРУГИЕ

N41



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2012' 41

2012

41

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Творческое объединение  
«Иерусалимская Антология»  
сердечно благодарит  
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА  
и Юрия Исааковича КАННЕРА  
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

От всей души поздравляем со славными датами  
наших замечательных авторов –  
**Елену Аксельрод, Наума Басовского, Алису Гринько,**  
**Якова Лаха, Вячеслава Лейкина, Аркадия Когана,**  
**Михаила Копелиовича, Светлану Менделеву,**  
**Михаила Польского, Бориса Штейна, Сашу Щербу!**  
Многая лета! Многая книги!

Редколлегия «Иерусалимского журнала»

9849

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

# Иерусалимский журнал, № 41, 2012

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: [magazines.russ.ru/ier/](http://magazines.russ.ru/ier/) и [antho.net/jr/](http://antho.net/jr/)

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),  
**Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,**  
**Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва**; Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректурa: **Бина Смехова, Галина Культясова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Михаил Басин,**  
**Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин,**  
**Владимир Попов, Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Фонд  
«Русский мир»



Российский Еврейский Конгресс



משרד התרבות והספורט  
מנהל תרבות וספורט  
33041 חיפה 20  
ספרים  
9849



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2012. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: [jerusalemreview@gmail.com](mailto:jerusalemreview@gmail.com) Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,  
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства  
по рецензированию и возвращению рукописей*



# ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

---

*Ирина Рувинская*

## *НЕНАСТОЯЩАЯ СТАРУХА*

\* \* \*

в восемьдесят девятом году прошлого века  
это были деньги  
на них три раза поесть было можно в столовой  
купить сливочного масла почти полкило  
(с маслом было тогда тяжело)  
флакончик пробных духов или кулончик дешёвый  
в восемьдесят девятом году  
за два года до разлома

гляжу на два небольших серых тома  
и не пойму почему их на полке два  
эх ты голова  
один ведь купила родителям  
тоже Слуцкого давним любителям  
за рубль шестьдесят  
за два года до разлома  
за семь до отъезда  
дома

\* \* \*

не шесть а пять  
могу ещё поспать  
обрывок сна к остатку ночи  
мне удалось так ловко привязать  
что снится дальше  
на экзамен еду  
в воронежской битком набитой электричке  
вдруг отражаешься в замызганном окне  
ты  
в майке белой-белой в джинсах синих-синих  
чтоб только мне сказать «всё будет хорошо»  
и с песнями из «Бумбараша»  
пластинку дать  
ты весь состав прошёл  
всё будет хорошо  
я на экзамен еду  
журавль по небу летит  
а кони хотят пить



пять лет её кормила и купала  
от фирмы «Алеф Шин»  
и тут ещё дедок недолго был один  
приехал из Китая как ни странно  
спросонья всё просил газетку почитай  
и шамкал про Китай  
а там мы сами жили  
и сначала  
какая ожидает работёнка  
и знать не знала

## 4

почему не сказали что он звонил  
мама  
ты почему не сказала  
теперь вот он пришёл за своими книгами  
а у нас такое творится  
папа  
ты почему не сказал  
я бы к джинсам вместо черной майки  
надела ту светло-зелёную  
от которой он выпадал в осадок  
он молодой  
я ещё моложе  
почему вы не сказали мне что он звонил  
потому что вас давно нет  
и его уже нет  
и меня тоже

\* \* \*

вот такие волосы были и у неё  
шла она и вокруг рты открыв застывали  
а она их то так то этак закалывала  
она могущество знала своё  
знала что от потока этого пшенично-медового  
все просто обалдевали  
и он всегда за ней шёл покорно  
с полным портфелем книг  
(он давно профессором стал и недавно  
в машине умер к дому подъезжая)  
а ты за углом своей школы пряталась  
и смотрела задыхаясь на них  
темноволосая стриженная чужая

\* \* \*

настоящая женщина смотрит на тебя с осуждением явным  
разве так одеваются

так разговаривают

так смеются

настоящая женщина смотрит на тебя с презрением тайным  
ну разве дано тебе так ощутить

так понять

так выразить

она уже настоящая старуха

а ты ещё не совсем настоящая

и не на неё совсем ты смотришь

а на мужчин ненастоящих

которые прямо у тебя на глазах становятся

настоящими стариками

\* \* \*

всегда умудрявшаяся на полчаса

опоздать (он прощал но не понимал)

забывавшая телефоны терявшая адреса

(он хранил и напоминал)

остывшая и оставившая в силу ряда причин

(но не держал на неё он зла)

ему

самому доброму из своих мужчин

сказав со смехом что другого нашла

врал

и родила от него полсотни строк

(правда он их так и не успел прочесть)

ей пока ещё

не вышел срок

повторяющей «не жисть а жесь»

\* \* \*

с жёлтыми бровями

гляди-ка

до чего он смотрится дико

серый этот котёнок с жёлтыми бровями

до чего он испуганный сердитый смешной

совсем как мальчик мой

которому скоро тринадцать

## У ЭТОЙ ДВЕРИ

в длинной юбке и парике  
зонтик у этой двери забыла  
вернулась взяла  
улыбнулась и ушла  
с ответом счастливым в руке

нет

всё-таки легче им  
тора есть у них и теилим<sup>1</sup>  
они своими большими словами  
и в женском безумном этом гаме  
ограждены

а нам а нам  
в женском безумном этом гаме  
чужое помилуй и спаси бормотать  
дрожа безбожными потрохами

## С ЭПИГРАФАМИ ИЗ СЕМЁНА ГРИНБЕРГА

1

*Ну, расскажи, ну, расскажи мне, как тут хорошо...*

ну расскажи как ты живёшь  
ну расскажи про юбилей свой в ресторане  
что был оркестр

фондю из фруктов на десерт  
твой Бенци прискакал принёс билеты на концерт  
а уж подарков надарили

ну поучи ну поучи меня как жить  
как идиота моего отшить  
и как отвадить сына от блондинки  
как рис варить и мясо жарить  
и покупать хорошее вино

лежишь на кожаном диване  
и только в ванне

знаю боль  
большое тело отпускает ненадолго  
на голове седой и редкий пух  
а голос в трубке телефонной  
как будто с юга

в юности звонишь  
ну поучи ну расскажи

<sup>1</sup> Теилим (*иврит*) – псалмы.

## 2

*...и эти имена  
уже не кажутся нелепы и постыдны.*

какие имена звучат со всех сторон  
сыновей моего соседа зовут Исаак и Арон  
как моих прадедов  
одну знакомую Лея другую Броха или Браха  
потому что это не стыдно

и звучит неплохо  
и произносить можно без страха  
и даже слыша слово «еврей»  
не хочется уже спрятаться поскорей

а моих детей зовут Лион и Натали  
и они тоже люди этой земли

\* \* \*

*Наташе*

до неприличия  
в том веке и в той стране  
запета была мелодия а слова вызывали усмешку  
слушай откуда это  
из интернета  
и юные пальцы играют  
юный голос поёт

значит нужны и теперь и тебе  
капитан флибустьеры  
и бригантина та с парусами  
а кто стихи сочинил знаешь  
не знаю  
вот посмотри у него какие были глаза

а кто музыку сочинил  
в той стране до нового века  
дожил потом  
песен почти две сотни  
потом написал  
но только одну только эту  
юные пальцы играют  
юный голос поёт

*Марина Меланев*  
*УЛИЦА ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНИ*

Почему я не пишу? Почему на звонки не отвечаю, помалкиваю? Потому, что ленюсь, потому, что боюсь, или оттого, что слова не пришли? Так, когда придут, вы меня позовите, ладно? Я где-то здесь...

Это я так, в воздух говорю, на кухне, у чайника, чтобы никто не догадался, но кто-то меня точно слышит – потому что чайник от возмущения закипает. Как это – нет слов? – отвечает он молча. А чем же я к нему обращаюсь? Или – зачем?..

За окном шумят дети, деловито гоняют паровозик, верещат и постукивают. Живая природа, тёплая, основательная, растёт на глазах. То есть созвучно уху. А у меня тихо, даже телевизора нету, и телефон отключила, чтобы заткнулся, даже некоторым часам батарейки вывернула. Чтобы не тикали.

Так что дети за окном шумят и за меня тоже. В природе всё сочувствует, дополняя, – я молчу, а дерево шумит.

И человек должен пошуметь иногда, чтобы обозначить присутствие, но тогда не будет слышно дерева. Конечно, должен, иначе его никто не заметит. Я имею в виду человека. Или так: иначе он сам себя не заметит. Растворится в ближайшем дереве, сроднится с кухонным столиком... и как бы нет его. Так что иногда я тоже как-то звучу.

Ключами, конечно, звенеть случается, хотя стараюсь удержаться, особенно дверь, но это не считается, и есть надежда, что никто не слышит. Слабая, но есть.

А звучу я на губной гармошке, раз в день, когда кажется, что соседей нет дома. Или когда сил нет, чтобы не играть. Это самое правильное состояние для игры – тогда тебе становится всё равно, как там кто что услышит или подумает. Тогда, конечно... Меня хватает минут на пять. От силы – на десять.

Соседи, бывает, кричат сильно, их хватает на дольше, даже на час с перерывами. Вообще-то, они любят друг дружку, но возмущаются поведению Отчитывают. Ставят на вид. Выговариваются. Сначала я радуюсь, что кричат не на меня.

Не виноватая я, что кричат, но пригнуться хочется, проскользнуть незаметно, а вдруг. Окончательно никто ни о ком не знает, может, мы все друг друга придумали...

В мире так всё связано.

Потом расстраиваюсь – у соседей трое детей, особенно маленький, ему только два годика, а вдруг родители разойдутся? Мои разошлись, когда мне было два, я так больше не хочу.

Говорят, в этом ближневосточном воздухе кричат просто от темперамента и никуда не расходятся. Не то что в России или ещё

где. Тут жарко очень, и кровь жаркая, кипит. Пускай лучше кипит, чем... Особенно маленький, да, он так бросается мне навстречу...

Почему играю на губной гармошке? Она сама звучит, певуче так, и слышно отлично. Я как бы есть, когда она поёт. А когда молчит – как бы и нет.

Но скоро перестаяю, боюсь – вдруг хозяева услышат, откажут от квартиры, пойду по миру искать другую, ящики паковать, тяжести перетаскивать, строить вокруг новый мир.

В прежнем мире, в Неве-Яакове, всё было иначе. Там были наркоманы, в другом доме, крики совсем другие, с ненавистью. Я тогда полицию чуть не вызвала, сцепив зубы.

Ненависть плохо сказывается на психике, голова опасно кружится, компьютер ломается, ещё разное... чайники, между прочим, сгорают, чашки бьются сами собой...

Теперь я ловлю падающие чашки не глядя. Сейчас тихо, дерево шумит. И иногда вот – дети. Почему бы не поиграть на гармошечке...

А вдруг они не любят такие звуки. Хотя я интересовалась – меня не слышно. Да и не видно, проскальзываю мимо, здороваемся раз в неделю. Надо себя отпустить куда-нибудь в Испанию погулять, никак не соберусь. Или хотя бы в Хайфу. Пускай все ото всех отдохнут. Особенно маленький. Он так плачет иногда... и мы потом, бывает, беседуем.

Я говорю – ты, мол, просто так плакал или для мамы? Для мамы, ага, кивает он серьёзно, чтобы услышала... а то, понимаешь, она меня плохо слышит... А папа вообще слышит только старших братьев, понимаешь? Я понимаю.

Хотя у меня не было братьев, и мама меня слышит всегда. И я её. Особенно на расстоянии мы отчётливо слышим друг друга и ужасно скучаем. Поблизости мне не хватало тишины и всегда работал телевизор, тоже какая-то жизнь, если вдуматься...

Тихо ползаю по улице Иудейской пустыни, взад-вперёд. До Иерусалима пешком теперь не дойти, но дорогу видно. Тем более скоро пойдут автобусы. В автобусе хорошо – он сам едет, можно закрыть глаза или рассматривать отражения. Новости слушать молча...

О новостях не будем, тут сразу хочется на другую планету, так где найдёшь такую планету, чтобы новости радовали, чтобы люди не погибали и нигде ничего не взрывалось... Вот недавно комета в нас хотела врезаться, так Солнце её притянуло и взорвало у себя поблизости.

Спасибо ему...

Так что всё хорошо на планете, она вертится, надо научиться радоваться.

А то сидишь, как дурак, в автобусе и боишься – вдруг кто спросит о чём. Ну, например – где эта вот улица, а ты не знаешь. Не помнишь или слов не разобрать, они как-то не звучат. То есть звучат, но не прочитываются. Или прочитываются, но неправильно. Дышишь старательно, очки протираешь... Потом выходишь на своей остановке – слава Богу, успел.



Тут, между двух мусорных зелёных вагончиков (а как их ещё назвать?), мой дом. За ним – космос.

Вечером появляются справа огни, – Иерусалим, ночь и Стена Старого города. Когда я на неё смотрю, мне спокойно и не нужно ни перед кем оправдываться. Что не понимаю многих слов, мимо хожу и сковородкой не пользуюсь. Что мало аккордов знаю в этой жизни, мало, даже газ всё забываю заказать, только маме звоню раз пять в день и езжу к ней три раза в неделю. Нет, с ней всё в порядке, просто звоню.

Словом, когда я смотрю туда, направо и немного вверх, вечером, моя жизнь перестаёт казаться мне неразрешимой загадкой или невыполненным уроком, как обычно.

Зачем я курить бросила, можно было долго так молча стоять, смотреть, не оглядываясь. И как бы заниматься чем-то – курить. Просто так стоять неприлично – а вдруг тебя спросят, зачем ты вот это стоишь? И нечего ответить. Просто – стою. Потому что тут справа – космос, Иерусалим, а над ним – небо. Они меня очень утешают. Иначе – зачем всё.

Я как на них обоих – на Иерусалим и на небо – посмотрю долго, то всё меняется. Люди, идущие мимо, начинают улыбаться сами собой. А не только собаки. Кстати, я говорила – что соседи у меня очень милые люди? Их самый маленький сын всегда бросается мне на шею, ему два годика, он меня понимает.

*Игорь Бальский*  
**ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ**

\* \* \*

Высо́ко-высоко́, где всё уже внизу,  
назад не повернуть и некому сказать.  
И ни один Господь не в силах утереть  
прощальную слезу.

О чём ещё дерзать? Сбылась и эта треть.  
Звучит небесный блюз, и звёздам нет конца.  
Но плюс и новый плюс отталкиваются  
далёко-далеко.

Святой Ерусалим – ни храма, ни бойниц,  
да и священный Рим – ни дыма, ни огней.  
Из неземных столиц какая неземней?  
Барокко-рококо...

Биение сердец. Дыхание племён.  
Зови себя хоть кем свободно и легко,  
но изо всех имён одно не отменить –  
его шептала мать.

Грудное молоко... Недвижен Млечный путь,  
а ты летишь, летишь, невечностью клеймён.  
Мерцающая дрожь. И ночь. И в горле ком  
глубо́ко-глубоко́.

**СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ**

*Юрию Беликову*

1

...но хотя бы однажды за несколько лет  
небеса посылают и снег.  
И летит надо мною воздушный привет –  
сумасшедший нездешний ковчег.

В нём не только по паре – друзей и зазноб,  
а четыре по сто и пятьсот...  
и горящие губы, и сладкий озноб,  
и шальное «авось пронесёт».

И счастливые хари завьюженных троп  
и заснеженных пермских общаг.  
Вот уж божии твари – да что им потоп!..  
И хохочут-поют натошак.

Молодые года и живая вода,  
и подумаешь, блин, – холода!  
И потоп – не беда, и взахлёб – не беда,  
а метель – вообще ерунда.

Жить и жить бы, и жить, и не переезжать  
никуда от арчи и берёз,  
и червонное лето во сны провожать,  
а мороз – да пускай и мороз...

## 2

...но хотя бы однажды за несколько лет  
небеса посылают и снег.  
И летит над Страною воздушный привет  
из двадцатого – в нынешний век.

Что на карте страну эту не разглядеть,  
всё равно я скажу с прописной, –  
коли выпало мне и четвёртую треть  
величать Иудею – родной.

Коли выпало и сыновьям защищать  
эту летнюю, в общем, страну,  
коли выпало им навсегда ощущать  
молодой и родною – одну.

Я об этом – по-русски сегодня скажу,  
ну а мог перейти на иврит.  
Но пока в это снежное небо гляжу,  
и Россия во мне говорит.

Не забыть, не избыть, не забыться вовек,  
но мечта моя – горних музык:  
чтобы внуки с восторгом глазели на снег  
и один лишь любили язык.

*Виктория Райхер*  
*БУКЕТ НЕВЕСТЫ*

*С давней любовью, Танечке и Сереже*

1

– Под кроватью Янкеле беленькая козочка, беленькая козочка с колокольчиком стоит...

Ленка зевает. У нее клонится голова и глаза закрыты, но она все еще не спит. Лиля вяжет, спицы не слушаются и выскальзывают из рук. Уже совсем темно.

– Козочка поедет на рынок, привезет тебе орехи, орехи и изюм...

– Зю-у-ум... – отзывается Ленка, открывая глаза. – Зю-у-ум...

– Спи, Леночка, спи, – Лиля гладит влажный Ленкин лоб. Ленка часто и сильно потеет, ночью приходится переодевать. А спит она плохо, чуть ее тронешь – просыпается и скандалит. Попробуй переодень незаметно во сне такую большую девочку.

– Под кроватью Янкеле беленькая козочка, беленькая козочка несет тебе халвы...

– ...вы-ы-ы, – подвываает Ленка.

Это она поёт. Когда Ленка поёт слишком громко, в стенку стучат соседи. Люди с хорошим слухом, они как будто ждут, пока Ленка закричит или просто что-нибудь громко скажет, и сразу приходят противными голосами: «А не отдать ли вам девочку в интернат?» Спасибо за «девочку». В первый раз пришли с фразой «кто вам разрешил держать дома опасного инвалида». Лиля тогда вызвала милицию, сразу. Чтобы милиция разбиралась, кто тут опасный инвалид.

– Беленькая козочка принесет тебе орехи, орехи и изюм...

– Зю-у-ум...

Ни под какую другую песню Ленка не соглашается засыпать. Она и под эту плохо засыпает, врач велел поить ее успокоительным на ночь, но Лиля не поит: еще чего, ребенку успокоительное давать. Ничего, помычит немножко и заснет. Под кроватью Янкеле беленькая козочка, эту песенку Лиле бабушка пела на ночь. Бабушка пела ее на идише, там были какие-то рифмы, но Лиля не знает идиша и плохо помнит песню. Её козочка просто ходит на базар и приносит оттуда все, что приходит в голову. Когда Ленка только родилась, бабушка была еще жива. Она пела маленькой Ленке про беленькую козочку. Сначала Лиля злилась – зачем ребенку песня на незнакомом языке? Потом привыкла. А потом и бабушка умерла.

– Под кроватью Янкеле беленькая козочка, она пойдет на рынок и принесет тебе вареников...

– Ввывыы... – подпевает Ленка. Она уже почти спит. Лиля откладывает спицы.

– Козочка пойдет на рынок, она принесет тебе сладкий сон...

За стеной раздаются негромкие женские стоны: соседи спать легли. Сын у них учится за границей, дочь замужем, никто им не мешает. Женский стон становится громче и выше. Лиля отходит от Ленки и начинает стелить свой диван. Ленке соседские стоны совсем не мешают, она от них ни разу не просыпалась. Соседка стонет очень ритмично, а Ленка любит ритмичные звуки. Например, ей нравится бить кулаком по столу.

– Под кроватью Янкеле, – шепчет Лиля сама себе, раздеваясь, – беленькая козочка... Она пойдет на базар и принесет тебе орехов... орехов и халвы...

\* \* \*

На набережной дул сильный ветер, и у какой-то невесты сорвало длинную фату и унесло на воду. Соня её пожалела: бедная невеста, сколько времени, наверное, выбирала. У самой Сони не было никакой фаты. Она была в белой блузке и синей юбке, юбку мама перешила ей из своей еще для выпускного. «Ну точно на экзамен», – восхитился Санька, когда увидел, как она оделась. Схватил на руки и потащил вниз с четвертого этажа. Тащил и напевал: «На экзамен, на экзамен».

– Поставь меня, вот же псих! – отбивалась Соня.

От смеха у нее не получалось четко выговаривать слова.

– Что-что? – возмущался Санька. – Оставь меня для всех? Для кого это «для всех»? Смотри, до ЗАГСа понесу, если вырываться не перестанешь!

– Надорвешься, – смеялась Соня, – ЗАГС далеко!

– Да чего там далекого, – отмахивался Санька, – я тебе сейчас под ближайшим кустом устрою... ЗАГС...

Они остановились перед выходом из подъезда и стали целоваться – до тех пор пока в подъезд не вошла соседка, тетя Наташа. Увидела Соню в белой кофточке, Саньку в белой рубашке, расплылась с умилением:

– Ой, Сонечка! Расписываться идете?

– Идем, – веско согласился Санька.

Поправил волосы и застегнул Соне верхнюю пуговицу на блузке.

– А что же ты, деточка, без цветочков? – присмотрелась тетя Наташа. – Нехорошо без цветочков, Сонечка, примета плохая!

Соня на секунду растерялась. Они с Санькой как-то не подумали про цветы.

– Мы не верим в приметы, мы математики! – сообщил Санька, снова взвалил Соню на руки и строго обратился к ней: – А ты не вырывайся. Слышишь, что говорят – примета плохая!

– Я не верю в приметы! – у Сони уже слезы текли от смеха. – Я математик!

– Разве бывают женщины-математики? – удивился Санька. Они с Соней учились на одном факультете. – Никогда не встречал...

Когда они, наконец, вышли из подъезда, надо было уже бежать. К счастью, автобус подошел почти сразу. В автобусе было только одно свободное место, и на него уселся Саня, пристроив Соню к себе на колени.

– Санька, – Сонина щека стала теплой от солнца, бьющего в окно, – Сань, я цветочков хочу...

– Нарвем, – пообещал Санька, посылая обаятельную улыбку тонкогубой старушке, с неодобрением глядящей на голые Сонины ноги. – В лес поедем и нарвем. Ландышей. Хочешь ландышей?

– Да нет же, Сань! – Соня тормозила его за воротник, оттягивая от переглядывания со старушкой. – Какие ландыши в июле? Я букет хочу! Букет невесты!

– Нарвем букетов невесты, – легко согласился Саня. – Только увидим клумбу с букетами невесты – и сразу же нарвем.

Он спрыгнул с автобусных ступенек, подхватил Соню. Донес до ЗАГСа и только там опустил на землю.

– Ненормальный, – бормотала Соня, отряхивая юбку. В автобусе к синей ткани прилип какой-то белый пух. – Сань, я вся грязная, смотри!

– Дома мы тебя разденем, – пообещал Санька. – И помоем. Будешь чистая.

И вдруг на них обрушился вопль.

– Рубинштейн! Рубинштейн!

По шоссе, не разбирая дороги, к Саньке мчался, раскинув руки, какой-то парень. Мчался, радостно голоса и подпрыгивая на ходу.

– Рубинштейн, Сашка! Я еду мимо, смотрю – и правда ты! Ты сегодня что, тоже женишься, да?

– Женюсь, – подтвердил Санька, пожимая парню руку. – А почему «тоже»? Я вроде в первый раз женюсь.

– Так и я! – просиял парень, продолжая подпрыгивать. – У меня невеста знаешь какая? Мы с ней расписались с утра!

– Поздравляю, – сказала Соня.

Парень всем корпусом обернулся к ней.

– Здравствуйте, вы меня извините, пожалуйста, что я так набросился, я просто его давно не видел и очень обрадовался. Надо же, думаю, Рубинштейн тоже женится, во дела. Я и не знал.

– Такие новости надо знать, – Санька подмигнул Соне. – Мы уже сто лет собирались.

Жениться они решили три месяца назад. Санька сказал: «Сонь, а чего это мы с тобой до сих пор не женаты?», и Соня тоже удивилась – правда, чего? Пошли в тот же день, подали заявление, назначили регистрацию. Потом, в автобусе, вспомнили, что Санька забыл родителям сообщить.

– Подождите! – еще раз подпрыгнул парень. – Подождите секундочку, я сейчас!

Он убежал так же стремительно, как появился.

– Сань, это кто?

Саньку вечно находили какие-то люди и сообщали, что он их лучший друг.

– Так это же Андрюха Вишневецкий! Ты не помнишь? Мы с ним статью писали в прошлом году, он у нас дома как-то был.

У них «дома», в съемной комнате размером с книжный шкаф, успело перебивать столько народу, что Соне было трудно запомнить всех.

Но она старалась.

– Андрюха, – повторила она. – Вишневецкий. Я поняла.

Парень тем временем появился снова. В руке он держал роскошный белый букет.

– Вот! – Андрей поклонился, вручая Соне цветы. – Это вам. Поздравляю! И тебя, Сашка, ты молодец! Живи сто лет!

И Андрей Вишневецкий исчез, испарился, оставив после себя только шелково-белый букет в руках у Сони.

Букет показался Соне какой-то редкой игрушкой. Кроме живых цветов и шелковых листьев, в букете были жемчужинки, бусинки и, кажется, даже маленький колокольчик. Соня таких букетов не видела никогда.

– Санька... – она рассматривала букет. – Санька, это что???

– Букет невесты, – Саня небрежно махнул вслед Андрею, одновременно прощаясь с ним и объясняя происхождение букета. – Ты же просила? Ну вот. Владей. И пошли уже, пожалуйста, жениться, а то там все переженятся раньше нас.

– Санька, где он достал такое чудо?

– Кого? Невесту? Ну, добыл себе где-то среди знакомых, должны же и остальные на ком-то жениться, если ты уже занята...

Белая блузка окончательно порвалась через четыре года, когда бережливая Соня в пятый раз перешивала кружевной воротничок. Синяя юбка куда-то делась, на свидетельство о браке Санька в день пятилетия свадьбы умудрился поставить винное пятно. А белый букет, с засушенными цветами и чуть пожелтевшим шелком, Соня хранила в папиросной бумаге в платяном шкафу.

И через пятнадцать лет, отмахиваясь от Санькиных насмешек, упаковала в их небольшой багаж и привезла с собой в Израиль.

\* \* \*

– Сонюша, я чуть не забыл, – в одной руке Саня держал бутерброд, а другой застегивал пуговицы на рубашке. – В пятницу у нас будут гости. Машка Сурикова привезет подругу, какую-то Лилию из Москвы.

– Надолго? – Соня только что вышла из душа и теперь причесывалась перед зеркалом, глядя на отражение мужа рядом с собой.

– Дня на два. Машка говорит, у этой Лили дочка больная, инвалид, из-за нее Лилия лет тридцать никуда не выезжала. И теперь Машка вытащила ее развеяться ненадолго. Они в выходные хотят по северу погулять.

– Ладно, – кивнула Соня, – погуляем. А на ночь я им в маленькой комнате постелю, в большой лягут дети.

– Они приедут? – обрадовался Саня. – Витька вроде говорил, на этой неделе не выйдет.

– Да? А я забыла. Ну, значит, на следующей. Будут Ханиталь в море купать.

Саня хмыкнул.

– Слыхали уже, как Ханиталь купается в море. Вся Хайфа слыхала.

Соня смахнула хлебные крошки с воротника его рубашки.

– Не надо, Сань, она боится. Она еще маленькая. Не все рождаются с жабрами, как ты.

– У меня нет жабр, – возразил Саня. – Я просто умею побороть свои страхи.

Саня откусил от бутерброда, оставил его на краю раковины и спустился вниз, на кухню. Соня подхватила бутерброд, тоже откусила от него и спустилась следом.

– Нет у тебя никаких страхов. И не было никогда.

\* \* \*

Лиля долго не решалась ехать. Ее уговаривали все – и соседка, согласная за небольшие деньги неделю пожить вместе с Ленкой, и подруга Машка, уехавшая десять лет назад и все эти годы славшая фотографии: вот, Лиля, Мертвое море, а вот – Стена плача в Иерусалиме, а вот Средиземное море и Тель-Авив, а вот Эйлат, там кораллы – приезжай ты хоть в декабре, упрямая Вишневецкая, искупаемся в море, ты когда-нибудь купалась в море в декабре? А в марте?

Лиля не купалась. Она и летом-то купалась в море последний раз лет семь назад. Ленке тогда выделили от какой-то благотворительной организации путевку в спецсанаторий, и Лиля поехала с ней.

Море Ленке нравилось. Она садилась у кромки воды, в шипящую белую пену, и брызгала водой себе на колени. Лиля лежала рядом – читала книги, чистила фрукты, перебирала ракушки. Иногда уходила поплавать. Плавала она хорошо, могла далеко заплывать, но не заплывала: боялась не услышать, если Ленка начнет кричать. Хотя Ленка никогда не кричала на море. Она вообще становилась гораздо спокойнее возле воды, настолько, что Лиля даже думала – бросить все к черту, уехать жить в этот маленький город, найти какую-нибудь работу, пусть Ленка купается с мая по октябрь. Но останавливала зима. В Москве у Лили были подруги, было кого, если что, попросить присмотреть за Ленкой, в Москве был Андрей. Была устойчивая работа, с которой вряд ли уволят, Лиля там тридцать лет. В Москве квартира – маленькая, но своя. Куда тут уедешь.

Они с Андреем в первые годы, до рождения Ленки, много путешествовали. Ходили на байдарках, спали в спальниках под елками, занимались любовью между скал. Потом дозанимались. Андрей сказал как-то в сердцах, незадолго до ухода – лучше бы у нас просто не было детей. Лиля не хотела бы жить без Ленки, но самой Ленке жилось слишком нелегко. Из-за этого Лиля временами чувствовала себя виноватой – получалось, она как бы заставляет Ленку быть.



Андрей ревновал: «Чего ты с ней возишься без конца?». Лиля пыталась что-то ему объяснять, он не понимал, они ругались. Потом помирились, но Лиля продолжала проводить все время с Ленкой, Андрей опять закипал, и все начиналось сначала. Он любил Лилю, и Лиля любила его, но семья у них вышла неудачная, не такая, как надо. И все из-за букета. Нельзя было отдавать тот букет.

Андрей тогда увидел кого-то возле ЗАГСА, не того, где они только что расписались, другого, по пути. Остановил машину, выскочил чуть ли не на ходу, убежал куда-то, а потом вдруг прибежал обратно и потребовал:

– Лилька, дай цветы!

Лиля дала. Андрей умчался вместе с букетом, а через две минуты вернулся уже без него.

– Лилечка, ты не представляешь, кого я встретил! Сашку Рубинштейна, нашу институтскую звезду! Он абсолютный гений, мы с ним как-то статью писали – он все сечет, совершенно все! И тоже сегодня женится. Только у него невеста совсем невзрачная, не то что ты.

Андрей с удовольствием оглядел Лилину фигуру в красивом платье, которое Лиля вдвоем с подругой-портнихой сшили из дефицитного шелка, купленного по знакомству в магазине «Новый дом».

– Ты у меня красавица. А у Сашки невеста – вылитая птичка. Воробей. Тоже, кажется, с нашего факультета, только помладше. Лохматая, в юбочке синей, чуть ли не в школьной форме. И без цветов. Я сразу понял – надо им букет подарить! Гений женится на коллеге, и даже без букета. Нехорошо.

Букет для Лили сделала бабушка. Бабушка все умела – и вязать, и вышивать, и шелковые цветы крутить, и букеты делать. Она тогда уже не выходила из дома и почти не вставала. Но сумела расшить свадебное Лилино платье цветами по шелковому подолу, и цветы для букета накрутила из того же дорогущего шелка. А живых цветов Андрей нарвал ночью с клумбы республиканской библиотеки. Он ходил «на дело» уже под утро, расчетливо одевшись в черный свитер, а Лиля с подругой-портнихой дошивали в бабушкиной комнате платье и обмирали от страха. Андрей вернулся счастливый и возбужденный, с охапкой белых остро пахнущих цветов. Бабушке сказали с утра, что цветы удалось купить на рынке, за пять минут до закрытия, потому недорого. Она вплела живые бутоны к шелковым лепесткам, добавила бусин и ленточек из своего запаса – и букет был готов. Ни у кого на свете не было такого букета.

А теперь и у Лили не было. Букет был у незнакомой невесты гения Саши Рубинштейна, которая выходила замуж в школьной форме.

– Андрюша, милый... Но я... Но эти люди...

Ни в коем случае нельзя было расплакаться. Слезы на свадьбе – очень плохая примета. Даже хуже, чем потерять букет.

– Лилька, да ты чего? – Андрей рассмеялся. – Тебе что, букета жалко? Да не жалея ты, вот еще, ерунда! Мы же уже расписались!

Зачем тебе после свадьбы букет? А у Сашкиной девочки хоть что-то приличное будет. Не расстраивайся, я тебе еще сто таких букетов куплю. Вот увидишь.

Через неделю он притащил, действительно, какие-то цветы, но это было уже не то. Всё дальнейшее было не то. Когда Ленке исполнилось пять, она говорила всего два слова: «адай» (отдай) и «абери» (забери). «Отдай» – про все, что ей нравилось. «Забери» – про все, что ей не нравилось. Не нравилось ей гораздо больше. Вопль «абери!!!» постоянно раздавался в их комнате – до тех пор пока Андрей, действительно, не забрал свои вещи и не ушел. Сказал – не может больше тратить жизнь на существо, которое никогда не станет человеком.

Ничего он не понимает. Ленка абсолютно человек. Приходит, кладет голову Лиле на плечо и мычит: «Маммм, маммм». Если Лиле кто-то при ней обидит (или Ленке покажется, что обидят) – набросится с кулаками. Один раз Лиле из автобуса чуть в милицию не забрали – какая-то женщина наступила ей на ногу, Лилия вскрикнула, и Ленка двумя ногами стала топтать этой женщине туфли. А весу там дай боже, большая девочка уже. Женщина еле ушла, весь автобус орал на Лиле, а Ленка выла, не понимая, что она сделала не так. Лилия вывела ее из автобуса и купила в киоске на остановке два мороженых, ванильное и в шоколаде. Дала съесть оба, а потом, липкую от мороженого, повела на трамвай. Ленка очень любила трамваи, ее веселил трамвайный звонок и красные вагоны, она радостно карабкалась внутрь и ехала, гордая, глядя в окно и повторяя: «Катают! Катают!»

В тот раз она была возбуждена и вопила своё «катают!» так громко, что слышал вагоновожатый. Лилия испугалась, что он их высадит на ближайшей остановке, но вагоновожатый покосился на Ленку, хмыкнул и специально для нее дал длинный переливчатый звонок.

## 2

– Завтра мы едем в Хайфу, – объявила подруга Машка, когда они с Лилей, обессиленные, вернулись из поездки в Эйлат. Машка в Эйлате немедленно загорела, а Лилия нет, к ее бледной московской коже плохо приставал загар. Зато она притащила грудку камней и ракушек, пригоршню дешевых бус, ярко-зеленые пляжные тапки и фотографию дельфина с ехидным влажным носом. По дороге домой заезжали на Мертвое море, и Лилия лежала на странной упругой воде, от которой едко пощипывало кожу, но стихало на сердце. После Мертвого моря тело чувствовало невесомость. «Вот бы Ленку сюда», – думала Лилия, смазывая руки привезенным отсюда же, с Мертвого моря, нежным кремом.

– В Хайфу? А что у нас там?

– У нас там Бахайский храм! – торжественно объявила Машка. Она все объявляла торжественно, как диктор центрального радио: «А это, Лилия, Средиземное море! А вот, Вишневецкая, город

Тель-Авив, архитектура стиля «баухауз»! А здесь, Лилия Аркадьевна, Стена Плача!» В Иерусалиме они тоже уже побывали.

Про Бахайский храм Лиля ничего не знала. Но слышала, что Хайфа – очень красивый город.

– Очень! – энергично согласилась Машка, одновременно жестулируя и жуя апельсин. Брызги апельсинового сока попали Лиле в лицо, защипало глаза. Лиля потерла их рукой (это не помогло – руки были в креме) и засмеялась.

– Ты чего? – удивилась Машка.

– Да так...

Как было ей объяснить? Её балкон, увитый зеленью с бордовыми цветами, Эйлат и дельфиний нос, брызги от апельсина на коже, пахнувшей солнцем, «Хайфа – красивый город»... Под кроватью Янкеле беленькая козочка. Козочка съездила на рынок и привезла тебе орехов и изюма. Бордовые цветы и крем для рук.

Лиля каждый день звонила в Москву, соседке, живущей с Ленкой. Соседка отчитывалась, что у них все в порядке, передавала Ленкин распорядок дня – что ела, сколько времени просидела у окна, как долго после этого кричала, когда заснула. Жаловалась на Ленкин тяжелый характер, но каждый раз добавляла: «Очень хорошая девочка». Соседка просила купить ей в Израиле крем для чувствительной кожи и какое-нибудь украшение из серебра. Лиля купила и то, и другое, украшений даже два – ожерелье с эйлатским камнем, сине-зеленым, как хвост павлина, и длинные невесомые серьги, которые продавал в Старом Городе смуглый усатый араб. А Ленке она тут пачками покупала футболки с символикой трех религий, витамины для укрепления всего сразу – волос, кожи, костей, нервов – и куколки-сувениры, Ленка любила такими играть. Жалко, что нельзя привезти с собой эти брызги от апельсина. И бордовый цветок с балкона тоже нельзя... Разве что засушить?

– Хайфа далеко, без ночевки нет смысла, – продолжила Машка. – Зато у меня там друзья. У них и переночуем, я договорилась уже.

Договорилась так договорилась. В Израиле Лиля будто избавилась от постоянного страха – быть не к месту. Привыкнув всюду являться с Ленкой, она заранее признавала, что неудобна и будет мешать. И заранее сжимала губы: попробуйте скажите что-нибудь. А здесь, на южном воздухе, во влажной жаре, она была одна и немножко играла в игру «никакой Ленки не существует». Ведь и самого Израиля в Лилиной жизни тоже как будто не существовало, ей изначально не было места среди этих шумных ярких людей с их здоровыми детьми.

Дети в Москве были бледнее, их было меньше, они не настолько бросались в глаза. Они как бы «не считались» – была Лиля, и была Ленка, и больше никого. А тут, среди постоянно мелькающих колясок, маленьких кепок, босоножек с бусинами на пряжках, ведерок с совками для копания в песке, маленьких бутылок, засунутых в специальный карман на рюкзаке размером с апельсин, среди беззубых улыбок и всюду теряемых сосок, среди шума и гама, в

котором преобладали звонкие голоса – Ленка просто не могла бы родиться, как не могла она родиться, скажем, на Марсе. А раз тут не было Ленки, значит, не было и Лили. Женщина, которая сидит на красивом балконе и натирает руки влажным кремом, появилась из ниоткуда и уйдет в никуда. У нее нет ничего за спиной, она одна, и ей всюду рады.

Бесконечные Машкины друзья – по работе, по институту, по дому, какие-то близкие подруги по супермаркету и дальние родственники по больничной кассе – все они радовались Лиле, расспрашивали, как ей понравился Израиль, звали в гости, принимали у себя, накрывали на стол и непрерывно улыбались. Ей приходилось улыбаться им в ответ, и в первые дни она даже уставала от этих бесконечных улыбок. Потом привыкла.

Дома Лиля почти не улыбалась, потому что улыбаться не умела Ленка. Ленка умела только смеяться – низким, басистым смехом, похожим на плач. Трудно было сказать заранее, что может ее рассмешить. Иногда это была пестрая уличная кошка, нервно бежавшая вдоль дороги, иногда – связка неожиданно ярких цветов, мимо которых они шли в магазине, иногда еще что-нибудь. Могла рассмеяться яблоку или груше. Лиля пыталась вызнать – что смешного конкретно в этой груше, в этом фрукте, почему ты смеешься? Но ответа не получала.

А когда Ленка радовалась чему-то, она сморщивала лицо и говорила: «Любу». «Любу!» означало «люблю». Этому Лиля её научила, бесконечными повторениями – я тебя люблю, я люблю тебя. «Любу!» – соглашалась Ленка и постепенно стала говорить «любю» про все, что ей нравилось. Про колыбельную, про море, про ветки вербы, которые Лиля весной приносила домой. «Под кроватью Янке-ле беленькая козочка», – пела Лиля и перечисляла, что именно козочка принесет Ленке: вербу, море, цветов, фартук с котенком, новую куклу, вкусный завтрак, который ты любишь. Ленка стучала ногой по полу и с каждым ударом кивала: «Любу! Любу! Любу!».

\* \* \*

Машкина подруга Лиля оказалась невысокой женщиной со светлыми волосами. Все в ней было неброским и светлым – бледная блузка, узкий сарафан, туфли телесного цвета с какой-то подчеркнута чистой подошвой, будто Лиля совсем не ходила по земле. При этом вся Лиля была чем-то еле заметно украшена: тонкая вышивка по вороту и манжетам, тонкое, почти паутинное серебряное колечко, бусы из мелкого бисера, прозрачного, как вода. Говорила Лиля негромко, больше молчала. О ней хотелось заботиться, как о ребенке.

Соня привыкла, что в их доме гости быстро осваивались и все делали сами: сами открывали холодильник, вытаскивая себе йогурты и салаты, сами ложились спать и вставали, когда хотели, сами включали телевизор или брали книги из книжных шкафов. Но Лиля как села в небольшое, как раз по своему размеру, бархатное

кресло, так и сидела, неподвижная, молча следя, как Саня открывает вино, а женщины накрывают на стол. Соня взяла вазу, наполненную толстыми мандаринами и желтоватым виноградом, поставила рядом с креслом.

– Попробуйте, в этом году удивительно удачный виноград.

– Спасибо, – улыбнулась Лиля и взяла мандарин.

Больше она ничего не сказала, и Соня отошла.

А Лиля отдыхала. Просторные комнаты с большими окнами, спокойные люди, спокойные голоса. Никто не кричал, не плакал, не выл, никто ни в кого не всматривался напряженно. Никто даже особо не улыбался, просто смотрели тепло. Лиля скинула туфли, поджала ноги и взяла еще один мандарин.

Саня включил телевизор – передавали чемпионат мира по бильярду.

Раньше Лиля понятия не имела, что бильярд – это вообще спорт. Ей казалось, это развлечение для пьяных подростков в баре. Или для миллионеров на яхте. Оказалось – нет, целое дело, техника, искусство.

Саня стал объяснять ей правила чемпионата, потихоньку она начала понимать. И правда, оказывается, красиво. Смотрели бильярд.

Подошла Соня, позвала к столу. Сидели на сквозняке, между открытой дверью в сад и широким окном, Лиля ела салат и смотрела, как ветер раздувает белые занавески.

– Вишневецкая, ты оценила, какие тут виды? – спросила Машка, кивая за окно. – Гора Кармель! Маленькая Швейцария, самые красивые в Израиле места.

– Лиля, а Андрей Вишневецкий вам случайно не родственник? – оживился Саня, намазывая масло на крошащийся тост. – Был у нас в институте такой хороший человек.

Лиля вздрогнула. Машка не говорила ей, что эти люди знают Андрея. Впрочем, Машка наверняка и сама не знала.

– Бывший муж, – Лиля улыбнулась, давая понять, что вопрос не обидный и ничем ее не задел.

– А что он сейчас делает, вы не знаете? Все еще в институте или ушел? Мы с ним когда-то вместе одну штучку писали. Отличная у него голова.

Голова у Андрея и правда отличная, это все говорили. И сам Андрей очень ценил тех, у кого, по его мнению, была отличная голова. После развода Лиля быстро почувствовала, что самые сердобольные друзья остались с ней, а самые умные – ушли с Андреем. Не потому, что им не нравилась Лиля, просто без Андрея им с ней было не о чем говорить. А Саня этот, оказывается, тоже математик.

– Из института Андрей давно ушел. Как платить перестали, так и ушел. Сначала писал статьи в журналы, а теперь в частной школе преподает.

– Андрюха? Детям? – изумился Саня. – Вот это он молодец. В молодости у него с терпением было неважно, вечно он на ладони считал.

Была у Андрея такая привычка. Он всегда носил с собой ручку, затыкал куда-нибудь в карман или за отворот рукава. А бумаги не носил и не искал. И, когда ему нужно было что-нибудь прикинуть, выхватывал ручку и начинал молниеносно чиркать по ладони. Руки у него были большие, широкие, каждая ладонь – как лопата. И эти лопаты были исчерканы вдоль и поперек. Иногда следы чернил оставались на Лилиной коже, и она, смеясь, смывала их в душе, упрекая Андрея: я вся в твоих следах!

– Он математический кружок там ведет, соревнования устраивает по математике, олимпиады. Дети его обожают.

– У нас Витька, сын, когда-то хотел быть воспитателем детского сада. «С академическим уклоном», как он говорил. Ему нравилось с детьми возиться, притаскивал к нам карапузов, обучал их химии для первоклашек. Ужасно смешно было слушать. Но потом передумал, пошел в науку. А у вас, Лиля, ведь есть...

Саня поймал мгновенный Сонин взгляд и на лету переменял направление разговора.

– ...есть работа? Говорят, в России с этим непросто сейчас.

– Да я статистик, в бухгалтерии. Ничего интересного, но я там тридцать лет. Прижилась.

– О, так у нас Сонюша тоже бухгалтерией занимается. Прошла тут подготовительные курсы, потом еще одни, а теперь специалист высшей категории. Все ее боятся.

– Это не меня, это сложных бумажных расчетов все боятся. А я математик, я не боюсь.

Соня встала, чтобы подать десерт.

– Ты у меня ничего не боишься, – одобрительно сказал Саня, дотянувшись до пульта от телевизора и включил бильярд.

\* \* \*

Гуляли по Хайфе, воздушной, белой и длинной. Поднимались вверх-вниз по горам, разглядывали город с высоты, бродили по узким улочкам, тоже ведущим то вверх, то вниз, зашли в Бахайский храм, потом спустились к морю, купаться. Лиля ныряла под волны, выныривала и смеялась, глядя, как Соня и Машка, стоя в воде по пояс, отмахиваются от прохладных брызг. Местные жительницы, они редко ходили на море.

– Вот бы Ленку сюда, – сказала Лиля, даже не испугавшись, что говорит зачем-то вслух.

Ночью они долго сидели на кухне, разговорились, и Лиля рассказала Соне про Ленку. С Соней было странно легко говорить.

– Так привози, – предложила Соня. – Только не летом, летом ей здесь будет жарко. Приезжайте весной или осенью, поживите у нас. Будешь в море ее купать.

Представить себе Ленку в самолете, Ленку в Израиле или Ленку здесь, на опрятном берегу, среди бегающих детей и летающих

воздушных змеев, было так же невозможно, как Ленку, заседающую в парламенте. Это было не ее место. Другая жизнь.

– Может быть, привезу, – Лиля кинулась в очередную волну и поднырнула под визжащую Машку, обдав ее водой.

Машка возмутилась и вылила Лиле на голову полные пригоршни моря.

– Как вам не стыдно, – сказала Соня, деловито обрызгивая Машку и отпрыгивая сама, – немолодые же тетки.

Они играли с водой упоенно, как третьеклассницы, и на них с уважительной завистью поглядывали близнецы лет четырех, строившие на берегу песчаный замок. Близнецам тоже хотелось брызгаться и в воду, но их сторожила строгая русская бабушка, считавшая море в это время года еще холодным.

\* \* \*

Отъезд получился внезапным, как часто бывает с отъездом. Еще накануне Лиле казалось, что у нее масса времени впереди, что она еще успеет много где побывать и всего закупить, а сегодня с утра они с Машкой суетливо метнулись по рынку, чтобы контрабандой засунуть в чемодан для Ленки фрукты, потрепались о чем-то неважном в маршрутке, идущей в аэропорт, неловко пообнимались возле стеклянного входа – и вот уже Лиля сидела одна в самолете, щурилась от яркого солнца, бьющего в круглое маленькое окно, и не понимала, кто она, откуда и куда и зачем летит. Перед глазами мелькали картинки – высокий черно-белый Иерусалим, горячий разноцветный Тель-Авив, прохладная бело-зеленая Хайфа, море, накатывающее волнами и отступающее, Машка, размахивающая рукой с апельсином, лица продавцов, курортников, детей, знакомых, незнакомых... Соня, Саня... Саня... Саша...

Математик. И Соня математик. Коллеги. А сыну их, Витьке, Саня упоминал, в этом году исполнилось ровно тридцать лет.

Лиля резко выпрямилась. Год назад Андрею перепала небольшая сумма денег – одно из его исследований напечатал какой-то американский журнал. И в том же месяце как раз исполнялось тридцать лет со дня их с Лилей свадьбы. Андрей пришел тогда в гости, торжественный, в костюме, принес цветы, отдал заработанное (уточнив «для Ленки»), а потом долго пил чай и сетовал – будь я за границей, какие деньги бы загребал. И перечислял, кто из друзей так вовремя уехал: Лешка Стравинский, Рома Кацев, Сашка Рубинштейн...

Соня, школьница, воробей. Она и сейчас ходит в джинсах и с короткой стрижкой. А Саня, оказывается, импозантный. Седоватый, высокий. Лиля схватилась за иллюминатор, будто боялась выпасть из самолета. Она сидела там, в большом и удобном доме, пила чай, ужинала, болтала. А где-то совсем рядом, в ящиках или в коробке, лежал ее букет.

Самолет нырнул в облака, и Лилю затошнило. «Ты дура, – сказала она себе, – ты дура и идиотка, она его выбросила давно». Но сама понимала – не выбросила, не может этого быть. У Сони

такой красивый дом, они с Саней такая дружная пара – значит, букет еще там, на месте, хранится в шкафу за семью замками.

«Еще и Ленку к себе приглашала! – со злостью подумала Лиля. – Все мое забрала, теперь еще и Ленку ей подавай. Нет уж, дорогой воробушек, Ленку я никому не отдам, никогда».

\* \* \*

В первый вечер дома, после того как Лиля с трудом уложила спать наплакавшуюся Ленку (на радостные события, подарки и положительные эмоции Ленка всегда реагировала слезами), зазвонил телефон. «Это Соня», – подумала Лиля. Ей казалось, раз она сама непрерывно думала о Соне, та не могла не думать о ней.

Но звонил Андрей. Интересовался, как Лиля съездила в гости, как Ленка, как дела. Неожиданно вспомнил:

– В Израиле, кстати, знаешь кто живет? Сашка Рубинштейн! Мы с ним когда-то...

– ...в институте вместе учились, знаю. А ты знаешь, что твой приятель дружит с моей Машкой? Мы были у них в гостях!

– Да ну? И как они живут? Погоди, погоди, он все еще женат – на той девочке, помнишь, я ей твой букет тогда подарил?

– Помню, – сухо сказала Лиля. Пропавший букет она поминала Андрею всю их совместную жизнь, при каждой ссоре. А он отмахивался – при чем тут букет. – Конечно, помню. Все еще женат.

– И как она тебе?

Лиля открыла рот, чтобы сказать что-нибудь ироничное, но вспомнила, как ночью, на кухне, рассказывала Соне про Ленку. И как они с Соней и Машкой брызгались в море водой.

– Андрюша, у меня голова болит. Перелет, разница во времени, перепады температуры, я устала. Спокойной тебе ночи. Не бузи.

«Не бузи» было ее обычным прощанием с Андреем. Он на это всегда отвечал: «А ты осторожней».

– А ты осторожней, – Андрей рассмеялся и отключился.

Лиля постояла несколько минут, рассматривая узор в виде сплетенных колец на давно знакомых занавесках, снова взяла в руки телефон и набрала код Израиля. «Поблагодарю за прием, отчитаюсь, что хорошо долетела. Послушаю, как она отзовется».

– Да? – голос в трубке был немного сонным, хотя в Москве было на час позже. – Лиля, это ты? Как долетела? Как погода в Москве?

– Соня, – в горле застрял какой-то комок, и Лиля прокашлялась. – Соня, ты знаешь... Ты можешь... Соня, отдай мне мой букет.

Она подумала еще секунду и добавила, вдруг испугавшись, что может показаться грубой:

– Пожалуйста.

\* \* \*

Фамилию «Вишневецкий» Соня вспомнила сразу после обеда. Тот размахивающий руками студент, который подарил ей букет в день свадьбы – а Лиля, оказывается, была его женой. Уж не ее ли это был букет, вдруг подумала Соня. Букет-то явно невестин, свадебный, а



они ведь женились в тот же день. То есть, значит, Андрей встретил Саньку, и для его невесты отнял букет у своей? Или все было иначе, и светловолосая Лиля сама отдала для Сони свои цветы?

Захотелось спросить об этом Лилю, но Соня постеснялась. Возможно, Лили давно все забыла, к тому же после свадьбы с Андреем в ее жизни, как выяснилось, был еще и развод, и неудобно было вдруг напоминать про свадьбу.

Ночью Лили рассказывала про Ленку. И Соня вспомнила, как сидела у постели больного Витьки – как два месяца мыла в ванне взрослого парня, кормила с ложечки, гладила по голове... Из-за болей после операции Витька плохо спал, и мама шепотом пела ему колыбельные песни.

Соня пыталась себе представить, как Лили день за днем ухаживает за дочкой. Одевает, кормит, водит гулять, отворачиваясь от любопытных взглядов, дома купает Ленку в душе, укладывает в постель... Когда Соня была маленькая, ее родители, преподаватели университета, работали целыми днями, а с Соней сидела бабушка Берта. Совсем седая и очень сгорбленная, бабушка Берта ходила с внучкой в парк и на площадку, кормила обедами, расчесывала перед сном. И пела ей песню на идише – Соня ее запомнила и потом, в больнице, пела Витьке.

«Под кроватью Янкеле беленькая козочка, – пела бабушка Берта, подолгу расчесывая длинные Сонины косы. – Она пойдет на рынок и принесет тебе оттуда орехи, пирожки с маком, яблоки и изюм. Янкеле боится грома, но ты ничего не боишься. Янкеле боится стука, но ты ничего не боишься. Янкеле боится, когда в дом заходят чужие люди, но ты ничего не боишься. Козочка пойдет на рынок и принесет тебе оттуда орехи, пирожки с маком, яблоки и изюм».

Когда Витькина дочка Ханиталь была совсем маленькой, она просила у Сони купить ей в подарок игрушечную козочку. Но Соня говорила – тебе не нужна игрушечная козочка, у тебя есть живая. Она пойдет на рынок и принесет тебе орехов, пирожков с маком и яблок.

– Не хочу яблок! – спорила Ханиталь. – Хочу пиццу!

Соня смеялась.

– Хорошо, козочка пойдет на рынок и принесет тебе пиццу. Ты ведь ничего не боишься. Козочка приносит все тем, кто ничего не боится.

– Я ничего не боюсь, – кивала Ханиталь.

Букет, засохший и пожелтевший, Соня в этом году отдала внучке для пуримского костюма: Ханиталь наряжалась невестой. Ей купили красивое платье, белые туфельки и фату, а вот букеты в детских магазинах все были ненастоящие, слишком простые – Ханитали они не нравились, портили всю картину.

– У тебя же есть цветочки! – Соня давно показала внучке, что хранится в ее шкафу. – Дай их мне для костюма, ты ведь в этом году все равно не будешь наряжаться невестой.

– Ну вот, ты расстроила все мои планы – нарядиться невестой в этом году.

Соня достала букет и растаяла – так изящно смотрелась с ним Ханиталь. Внучка была беленькая, нежная, с прозрачной светлой кожей. Редкий тип внешности для Израиля, здесь рождаются смуглые дети с яркими глазами, а Ханиталь получилась как тонкая линия, проведенная кисточкой с акварелью.

– Тебе идет. – Соня завернула цветы в бумагу и попросила: – Ты с ними поосторожней, это очень старый букет. Не разломай мне его.

– А откуда он у тебя?

– Подарили. Много лет назад.

– Когда я стану настоящей невестой, – сказала Ханиталь, заглядывая Соне в глаза, – у меня будет настоящее белое платье, свадьба и жених. И тогда я тоже возьму твои цветы, хорошо? А до тех пор можно они полежат у меня?

\* \* \*

Целый день стояла жара и дул горячий ветер, под вечер у Сони поднялось давление и разболелась голова. Она приняла холодный душ, проглотила две таблетки и уже собиралась лечь, когда зазвонил телефон.

– Соня, – это оказалась Лиля, неожиданно хрипая, будто от слез. – Соня, ты знаешь... Ты можешь...

В голове заметались варианты – Ленка болеет? Упала? Ее надо срочно лечить? Везти сюда?

Лиля прокашлялась.

– Соня, отдай мне мой букет.

Она сделала паузу и добавила еле слышно:

– Пожалуйста.

Янкеле боится грома, но ты ничего не боишься. Янкеле боится стука, но ты ничего не боишься. Янкеле боится, когда в дом заходят чужие люди – но ты...

– Господи, ты так звучишь, я уже испугалась. – В телефон было слышно, как за Сониной спиной от ветра хлопают занавески. – Ну конечно, конечно отдам. Приезжай в гости, с Ленкой – и заберешь.

– Нет, Соня, нет, – Лиля торопилась и проглатывала слова. – Я не могу приехать с Ленкой, ее нельзя в самолет, она будет кричать всю дорогу, ее нельзя в замкнутое пространство, она боится. А без нее я теперь долго никуда не поеду. Отдай букет сейчас, пожалуйста, я тебя прошу.

– А... как? – растерялась Соня. – Прислать по почте?

– Да нет, какая почта. Он же старый, рассыплется весь. Ты мне просто его отдай, не присылая. Он сейчас у тебя?

– Нет... У Ханитали.

– Возьми его обратно от Ханитали и отдай. Пусть сам букет где угодно, это неважно, мне же замуж не выходить. – Лиля коротко рассмеялась. – Но он будет отданным, понимаешь? Он вернется. Ты мне можешь его вернуть?

– Не уверена, что я тебя понимаю, но могу попробовать.

– Ты согласна? – было странно, что Соня согласилась так легко. – Тебе не жалко?

Ветер из окон усилился, но стал только более жарким. Голова разбалчивалась все сильнее. Скорей бы лечь.

– Лиля, милая, мне совсем не жалко. Конечно, будем считать, что я тебе его отдала.

– Соня, не «будем считать», а отдала. – Было важно, чтобы Соня хоть что-нибудь поняла. – Он теперь мой, договорились? Ты уже не можешь пользоваться им.

О чем она говорит, какое «пользоваться»? Не давать букет Ханитали? Не выходить с ним замуж, не ходить с ним гулять?

– Хорошо, я не буду. Завтра же попрошу Ханиталь отдать твои цветы.

«В две пиццы мне это точно обойдется. А если Ханиталь будет упрячиться, то еще и в поход в кино. Надо будет посмотреть, где идет какой-нибудь хороший детский фильм».

Соня давно не ходила на детские фильмы, и ее обрадовала возможность попасть туда почти в приказном порядке. Так-то все времени нет.

– Договорились. – Лиля опустила на стул возле телефона и вытерла вспотевший лоб. – Завтра.

– Позвонить тебе после? Отчитаться про Ханиталь?

– Не надо, Сонь, все в порядке. Раз мы договорились, значит, уже совсем все в порядке. Спасибо тебе. И спокойной ночи.

В кровати заворочалась Ленка, что-то мыча. Лиля подошла поправить ей одеяло.

– А на море мы сами поедem, – прошептала она, погладив Ленкину руку. – В будущем же году и поедem. Теперь-то можно. Сядем на кораблик, поплывем по волнам.

– Катают... – пробормотала Ленка сквозь сон. – Я люблю...

Козочка поехала на рынок и привезла тебе твой букет. Лиле стало легко, весело и немного стыдно перед Соней. «Ладно, она столько лет пробыла с моим букетом. Теперь моя очередь». Первым делом, действительно, съездить с Ленкой на море. А потом посмотреть, как пойдет.

\* \* \*

Соня еще раз включила душ и постояла под прохладными струями, смывая головную боль. Легла в постель рядом с неожиданно рано заснувшим Санькой и стала слушать, как за окнами постепенно стихает ветер. Саня, не просыпаясь, обнял ее за плечи, притягивая к себе. Его рука пахла морем: днем ходили купаться. И Ханиталь согласилась поплавать, хотя на море были довольно сильные волны. Даже нырнула несколько раз.

«Сделаем вместе букет вместо того, для костюма, – решила Соня уже сквозь сон. – Купим шелка, накрутим цветов, добавим бусин. А проволока у Саньки где-то есть».

# ЯФФСКИЕ ВОРОТА

---

*Пётр Межурицкий*

## *БОГ В РАЗВЕДКУ ХОДИТ С КАЖДЫМ*

### ДЕНЁЧКИ

Денёчки клёвые осенние,  
когда живешь почти заочно  
и никакое воскресение  
из мёртвых нам не нужно точно –

уже и небеса бесплотные  
не тяготят земную сушу,  
и только птицы перелётные  
ещё слегка цепляют душу.

### ВОПИЮЩЕЕ

Понты, гитары, термосы, палатки  
в воде не тонут, в печке не горят –  
как хороши, как свежи были блядки  
при всех кровавых деспотах подряд:

пусть зло и впрямь достаточно упорно,  
но правду не убьёшь, тем паче порно.

### СЛОВО О ЧЕЙНЕ И СТОКСЕ

Пусть перспектива неясна  
и всюду лица цвета кокса,  
товарищ, верь, была весна,  
а с ней дыхание Чейн-Стокса.

И хоть немыслим парадокс,  
но для Руси с тех пор однако  
не меньше значат Чейн и Стокс,  
чем, скажем, знаки зодиака.

А жизнь достаточно честна,  
и, в общем, мало ли кто спёлся,  
но всё же верь: была весна,  
а с ней дыхание Чейн-Стокса.

## НАУКИ И РЕЛИГИИ

А кто придумал рак –  
неужто Иегова?  
Он что, совсем дурак?  
Не может быть такого!

Не лучше ли лубок,  
чтоб зря не мучить граждан:  
болезней нет – есть Бог,  
причём в былинке каждой.

## ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД

Какое страшное злодейство –  
выпячивать свое еврейство!

Зато почти святое действо –  
повсюду обличать еврейство.

## ИМЯ РОССИИ

Египет пропал или та же Рассея,  
а я, чтоб там ни было, за Моисея.

Не то чтобы на Голиафа обида  
мне спать не давала, но я за Давида.

И я за Иосифа против Адольфа,  
хоть режьте меня, хоть оставьте без гольфа.

## МАНИФЕСТ

1

В шоколаде и в сиропе,  
словно на крестины –  
призрак бродит по Европе,  
призрак Палестины.

2

Сердце согрей,  
классово близкий  
Иисус Назарей,  
царь Палестинский.

## КОНЕЦ ИСТОРИИ

Ну вот и Карфаген разрушен,  
причём, похоже, навсегда,  
а Рим ещё как будто нужен:  
концерт окончен, господа –

осталось только, по идее,  
почти что завершив дела,  
дождаться, чтобы в Иудее  
девица Бога родила.

## ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

Ценят по-разному  
жизнь эту бисову  
братья по разуму,  
сёстры по вызову.

## ПАМЯТНИК

Нет Вознесенского, нет Ахмадулиной,  
Бродского нет и подавно – а кули нам? –  
вы не поверите, добрые люди,  
но Межурицкого тоже не будет:

сгинет, любезный, во мраке колодца –  
он не из тех, кто в гостях остаётся.

## СЕЗОН

*Зима! Крестьянин, торжествуя...*

Александр Пушкин. Евгений Онегин

А мне до лампочки – чего там,  
да и до фени почему-то,  
одобрен ли мой стих Синодом  
или охаян Рабанутом:

Зима! Крестьянин, торжествуя,  
сам по себе толкует Тору,  
а это значит, что живу я  
в хорошую для Бога пору.

## **ИЗ ЖИЗНИ ЦЕЗАРЯ**

Чтоб там ни думали про Каина,  
но в каждом явно зреет тайное:

казалось бы, чем страшен Брут –  
такие взятки не берут  
и не отводят взгляд при встрече,  
однако Цезарю не легче.

Не то чтобы на сердце смута  
или не в радость царский труд,  
но грустен Цезарь почему-то,  
когда с ним рядом честный Брут.

«Куда спокойнее с ворьём  
служить отечеству царём», –  
всё чаще Голос некий слыше,  
как жертва перед алтарём,  
на Брута глядя, Цезарь слышит.

Чем чуть не кончил Древний Рим,  
где обитаем до сих пор,  
о том ещё поговорим,  
а Цезарь выстрелом в упор  
был несмертельно ранен Брутом,  
но с ним не обошёлся круто –  
кто ж из избы выносит сор?

## **ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ №...**

Щурит глаз и крутит ус  
наш генералиссимус –  
ну а чей же, как не наш,  
хоть дерьмом его обмажь?

## **ПРО И КОНТРА**

### **1. Триумфальная**

В стране ОМОНов  
держись, Лимонов!

### **2. Банановая республика**

В стране лимонов  
держись ОМОНов.

## ПИЛАТ И БОГ ВЕСТЬ КТО

*Древняя Иудея. Кейсария. Резиденция римского наместника. Пилат беседует с Бог весть кем.*

*Пилат:* Хороший еврей –  
это распятый еврей.

*Бог весть кто:* Да, прокуратор.  
Во всяком случае,  
в Европе  
такая вера может иметь успех.

## ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА

По части нахождения в попе<sup>1</sup>  
мы с вами среди тех, кто в топе,  
однако рады без нахальства,  
что обустроено начальство –  
и не по мелочам, но в гамме  
победа, как всегда, за нами,  
и целый мир у наших ног,  
то есть фактически в руках,  
чему прямой свидетель Бог,  
хоть назови его Аллах:  
Аллах и Бог всегда вдвоём –  
позвольте протереть пенсне –  
и мы с Их помощью живём  
в хорошем смысле, как во сне.

## СЧИТАЙ, ИЗ ГНОСТИКОВ

Не обольщайся, нечестивец, –  
Господь повсюду Свят и Чист:  
Он на Олимпе олимпиец,  
А на Сионе сионист.

## ТОМУ, КТО ПРОЧТЁТ

В моей смерти виновны буквально все:  
от папы с мамой до короля,  
букашки, пташки, трава в росе,  
но больше всех – ты, и не надо ля-ля.

---

<sup>1</sup> Попа, -ы, ж.; (разг.) – то же, что ягодыцы. Словарь русского языка С. И. Ожегова.



## НА СМЕРТЬ ЭПОХИ

*Памяти Андрея Вознесенского*

1

Возможно, там и впрямь Вергилий,  
а здесь и те, кто не любили –  
пусть пальцем у виска крутя –  
его щадили, как дитя,  
хотя в той самой сверхдержаве  
всех в несмышлёнышах держали:  
поэт-дитя, дитя-кузнец,  
дитя-всему и всем хрендец –  
смотря в какие дети  
запишут дяди эти  
тебя, но с помощью твоей  
при всех раскладах – так, Андрей?

2

От того, что Дух вселенский  
заключён в порядок флотский,  
погибает Вознесенский  
и не воскресает Бродский –  
остаются имена,  
называя времена:  
что ни имя – светское,  
если не духовное,  
что ни время – детское,  
то есть не бескровное.

3

Бог в разведку ходит с каждым,  
да не каждому везёт,  
что весьма смущает граждан –  
просто поедом грызёт.

4

А за что Госпремия  
в области словесности?  
А за то, что время я  
коротал на местности.

5

К топору зовите ги,  
но, пожалуйста, без рук:

даже посылая Рим на  
все четыре стороны,  
будем вежливы взаимно,  
словно птицы-вороны.

## 6

... но какой поэтище  
был на белом светище.

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТАНСЫ

Умер Александр Блок,  
что отнюдь не потолок –  
город имени Петра  
будто чёрная дыра!

Впрочем, город на костях  
мы где хочешь обретём,  
потому что всё путём  
на истории путях.

И, допустим, есть ли шанс  
хоть под сенью сверхдержав  
пережить на день Моршанск,  
даже из него сбежав?

Кто придумал это ралли,  
чтобы люди умирали?

В белом венчике из роз  
я снимаю свой вопрос.

## ПОСЛЕ МЮЗИКЛА

– Ну, как вам, сударь, оперетта  
«Иисус Христос из Назарета»?

– Да, в ней, пожалуй, что-то есть:  
туда-сюда, Благая весть,  
интриги, страсти, чудеса,  
кордебалет и голоса,  
порой *charmant*, местами вкусно,  
младенец в яслях, дева-мать,  
короче говоря – искусство,  
так это надо понимать!

*Керен Климовски*

## *КУДА ХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ*

Есть места, куда ходить нельзя. Например, Поле на окраине города. В начале марта цветут ирисы, в апреле – время маков, после Песаха – одуванчиков. А на Поле законы не действуют: ирисы, маки и одуванчики цветут одновременно – всю весну. После Поля ничего нет – им заканчивается городок Нес-Циона. Если идти по улице Аширьён, мимо последнего дома, и дальше, не сворачивая, и все вперед, даже когда закончатся дома, и мимо пардеса, не соблазнившись мандаринами и грейпфрутами, и еще идти, пока дорога не превратится в песок – обязательно дойдешь до Поля. Здесь законы не действуют: так и будешь по нему идти, а вокруг – много красного и желтого, и фиолетово-черного, и все одновременно, а город – позади, может, навсегда позади, потому что это очень опасно – захотеть остаться, захотел – и желание исполнилось, а не захотеть невозможно, когда красные пятна маков и гордые ирисы – они всегда поодиночке. Поэтому только со взрослыми – с мамой-папой. Или вместе со всем классом и учительницей. Когда со взрослыми, помнишь, что за Полем – шоссе, а дальше – другие города, прыгаешь по камням, взбираешься на холмик, смотришь кругом – красные пятна и желтые пятна, ну и что, ничего загадочного, сзади остался дом, и так просто вернуться, когда насмотрелся на пчел, на стрекоз, на жуков, на черепах и ужей, которые дремлют на солнце, а на шее фляжка с водой, и хочется пить – полдень, и солнце напекает, и камешки, которые набиваются в сандалии, доказывают, что ты помнишь, все помнишь. А если без взрослых, то можно забыть – невзначай, ненароком. В этом главная причина запрета: они не хотят, чтобы мы забыли, они боятся, им очень страшно – взрослые тоже боятся, как странно! Конечно, они ничего такого не говорят: про ирисы и маки, про то, что законы не действуют и можно захотеть остаться, но взрослые редко говорят то, что думают, так что неудивительно. Может, они от нас скрывают – думают, мы не знаем... А свобода передвижения есть, конечно, есть: весь район и даже дальше – пожалуйста, только налево, всегда налево – школа, культурный центр, библиотека, магазины, или чуть вбок – к ларьку, где продаются разноцветные жвачки за шекель, или назад – за стоянку, в парк или в соседние дома и дворы – хоть пешком, хоть на велосипеде (только осторожно!) – кто запретит, когда тебе семь лет и ты уже умеешь писать (правда, пока только печатными)... А направо – туда, где кончается улица, в сторону Поля – ну нет, просто нет, и все! Без почему, кончается на «у» – нет! (Не хотят говорить, боятся. А мы все равно знаем.) Я часто смотрю в ту сторону из окна, потому что наш дом – самый последний на улице Аширьён, крайний – Аширьён 14, – за ним идет просто дорога, которая опасна тем, что *просто дорога*, а не улица: улица для того, чтобы там были дома и в них жили люди, а для чего просто дорога – непонятно; наверно, для того, чтобы по ней уйти, дойти до Поля и все забыть, значит, наш дом – послед-

няя черта, последнее понятное место в городе Нес-Циона, а дальше начинается опасное. Наш дом – щит, улица так и называется: «щит» – Аширьён, и наш дом, Аширьён 14 – щит щита – двойной щит, и надо быть на страже, смотреть из окна в сторону Поля, не изменилось ли что-нибудь, не подул ли новый ветер, не прилетели ли птицы, не появилась ли саранча вместо кузнечиков, все ли идет как надо, потому что непонятно, что от него ждать – от этого Поля. Страшно думать о том, какое оно, когда там никого нет, и помнит ли то, что должно помнить, или тоже забывает в отсутствие взрослых, и так хочется понять, как это – забыть то, что надо помнить, но есть места, куда ходить нельзя, поэтому надо срочно вытряхнуть камешки из сандалий или выпить глоток минеральной воды из голубоватой бутылки с надписью *Мэй Эден* – «Райская вода» – и рисунком горного козла на пробке.

Достаю из шкафа коробку из-под обуви: в ней кеды, которые мне уже малы, и пакет с надписью «булочная Йоси», а в нем абрикосовые косточки – прошлогодние *гогоим*...

Ну, в общем... это просто. Только их сначала надо высушить, чтобы были светлые и легкие, иначе не пойдет – полет не тот. Короче... Нет, сидя. Да не на попе – на корточках или на коленях. Хватит перебивать! Каждый бросает свое *гого* – ну, косточку то есть – да не друг в друга! Все, я не буду рассказывать! Ладно... Нужно бросить в стену, даже не бросить, а толкнуть – чтобы не по воздуху, а по полу. Да, *гого* должно дотронуться до стены – но совсем чуть-чуть – и отскочить назад. Все кидают. И тот, у кого *гого* ближе всего к стене, забирает остальные *гогоим*. И не так легко выиграть – надо рассчитать. А у меня смотрите сколько – с прошлого лета. Почему глупая игра? А что – умное? А остальное нам запретили! Да! Вот мы играли с Ноамом в армию и рыли окоп, никого не трогали, ну, подумаешь, подковырялись под плитки – мы их собирались потом назад вернуть – а все из-за Артура: мы его не взяли в игру, потому что, когда мы песком бросались, он ныл, что ему штаны испачкали, так он пожаловался соседям... А потооооом... Да ничего мы не делали, мы только бежали между поливалками – с Моше, Яроном, Ноамом и мальчишками с соседнего двора – так мы не мешали – наоборот, надо было успеть пробежать, когда все струи направлены не на тебя, а если на тебя попала вода, так ты проиграл. Ну хорошо, один раз мы специально встали под поливалки, но тогда было 39 градусов, а машина мороженого, как назло, не приехала, и Ноам хотел достать из морозильника лед, но ему папа не разрешил, так что мы умирали от жары, ну а Моше подарили ружья – такие пластмассовые – как раз для водяной войны – да, это мы так называем – и мы наполняли их из поливалок, и бегали друг за другом, и стреляли, а Ярон спрятался в мусорной комнате, и из одного бака кааак выскочит кошка – рыжая такая, худая, у нее еще котята были – и он испугался, закричал, и тут мы его застучали и взяли в плен, а он еще, помоему, описался, хотя отрицал и говорил, что это я в него попала водой из ружья, а я ему: «Я туда не целилась»... Короче, мы бегали, бегали и только еще больше вспотели, ну и так захотелось, такой кайф, когда всего с головы до ног обрызгивают – ты стоишь, а поливалка крутится и обливает, а тут высовывается из окна Шоши с пер-

вого этажа (вечно она торчит у окна) и начинает орать: «Безобрааа-зие!!! В стране нет воды, а эти пищеры балуются! Как вам не стыдно, у вас нету уважения, мы ради вас строили страну, а вы только разрушаете...» – и бла-бла-бла про свою драгоценную воду – стояла и орала, хорошо, что у нас летом долго не поорешь – горло пересохнет, она попить ушла, а мы сбежали, но потом она, конечно, всем пожаловалась, эта дура, ну и вам – что, не помните? Почему некрасиво, а врать – красиво? Так что, если она дура, я должна говорить, что она – умная? Она вообще уже того, ей лет сто, она все время рассказывает, как встретила на улице Бен-Гуриона, и он ей сказал: «Такие девушки, как вы – надежда Израиля». Ах-ах! Счас заплачу! Придумала, конечно, – слишком страшная. А Ноам ей потом отомстил – потому что она тогда забрала ружья у Моше: пришла домой и забрала: ее все боятся, и родители Моше – тоже, и вы боитесь, поэтому не спорите с ней! Но Моше мстить не захотел, а Ноам отомстил. Сбросил на нее водяную бомбу с крыши – ну, пакет с водой, – когда она пошла мусор выбрасывать. Все утро караулил. Не совсем на нее, пакет прямо перед ее носом разорвался. Чтобы знала. Да не может от этого быть инфаркта! Все равно. Что вы хотите – это же не я, а Ноам, я за него не отвечаю... А почему к ним внуки не приезжают и дети? Это она вам сказала, что не могла иметь детей, а сама, наверно, их отравила, потому что она – ведьма, и этот старик ее – страшный, прям Кощей, космы такие, и хрипит все время, это не потому, что больной, а чтобы нас напугать, и зовет ее: «Шоши, Шоши!», и голос такой – страааашный, а она сразу: «Барух, Барух, сейчас!» – так вопит, что в Тель-Авиве слышно, а на нас – чуть что – шикает: «Тише, Барух спит!», она просто детей ненавидит, мы ей мешаем, что бы ни делали! А сама она всегда с длинными рукавами – даже в самый жаркий хамсин, и постоянно у окна, следит за всеми: вдруг заорет – я прямо подпрыгиваю каждый раз, а она спокойненько старику: «Барух, видишь, что творится? Барух, слышал последние известия? Страна разваливается, арабы – то, евреи – се, кругом – наглость, дети – наглые...» А старик только: «Шоши, Шоши...» – как слабоумный, что за удовольствие с ним говорить! Ну, хорошо, хорошо, вот я и пошла играть. А это просто. Если ты меткий. Надо только высушить косточки. На подоконнике, несколько дней. Чтобы были легонькие и звенели, соприкасаясь.

Ты вот рассказываешь, а сам многого не знаешь, но я не могу тебе сказать, мне тебя жалко, некоторые вещи я бы и маме не рассказала, а тебе просто нельзя, я вообще поняла, что мамам можно говорить многое, а папам – нельзя, мамы как-то справляются, а папы не знают, что с этим делать, вот-вот заплачут, беззащитные такие, поэтому я просто слушаю, молча слушаю. Только я сразу поняла, что это – Дана. Ты сказал: «Задавили девочку», и я поняла, а потом ты сказал: «На нашей улице, возле школы», но это уже было неважно, я знала точно, что это она, и ты сказал, что длинные черные волосы, а больше ничего и не разглядеть, потому что кровь, а когда положили на носилки, то одна рука свесилась, а на ней – шесть пальцев, и все уставились на эту руку, уже человек двадцать к тому времени, и я совсем не удивилась, потому что знала, что это – Дана, только вспомнила, что старалась не смотреть на

эту руку и смотрела, хотя Дана была очень красивая, и можно было смотреть на лицо, и на волосы, и на ноги, а получалось, что смотришь на руку, но Дана совсем не замечала, если бы у меня была такая рука, я бы все время думала про нее, а Дана забыла и была веселая, и все в шестом ее любили, и из параллельного шестого тоже любили, и мы любили, девочки из нашего класса, хотя мы с ней не говорили, но ее знали... Ты говоришь, что мама Даны порвала рубашку водителю, расцарапала ему лицо, а он даже не пытался сопротивляться, только бормотал, что она выскочила, вдруг, и он не успел затормозить, а его лысина блестела, с нее падали капли пота, и из глаз падали капли, и ты ему не поверил, а потом кто-то из прохожих подтвердил, и кто-то еще, и сказали, что это – не в первый раз, игра такая, и один из мальчиков заплакал... я тебя слушаю и киваю, и ты не подозреваешь, что я знаю: они почти каждый день играли – сразу после уроков, и когда у нас совпадали занятия, то есть у них было пять уроков и у нас пять, я иногда смотрела, как они играют, не знаю почему, не могла оторваться, они втроем играли: Дана, Амос и Гилад, и Дана – лучше всех, она очень быстро бегала, даже в соревнованиях участвовала от нашей школы, Амос был осторожный и выбирал машины, которые медленней едут, а Гилад наоборот – было видно, что он нарочно делает: водитель высовывался из окна и орал на него, и это портило игру, а некоторые тормозили и выходили из машины – Гилад и Дана убегали, и Амос за ними, и один раз чуть не попался, потому что не так быстро бегал, а Дана играла очень легко, как будто убегала от кого-то и не успевала остановиться на перекрестке, как будто это случайно, и она не видела машину, а мне очень нравились ее ноги – смуглые и в белых сандалиях, – и она бежала, наступая только на белые полосы, это было одно из правил игры, но у мальчиков не получалось, а у нее ноги бежали сами, так что ни один водитель не открывал окно и не орал на нее: бежали белые сандалии, а она была ни при чем, и когда Дана добегала до тротуара, она резко поворачивалась, так что волосы летели в другую сторону, и улыбалась Амосу и Гиладу, а они, конечно, были в нее влюблены, и она это знала, поэтому так улыбалась и так бежала, а может, и для того, чтобы не смотрели на ее руку, чтобы так смотрели на ноги, на сандалии, что невозможно было бы помнить о руке, особенно когда летели волосы... Я знаю: ты думаешь о том, что я перехожу эту дорогу каждый день, в сентябре вы меня провожали, пока я не сказала, что хватит – все сами ходят, только в детский сад провожают, и вы меня позорите, и всю осень мама смотрела из окна, как я перехожу дорогу, как будто это помогает, а после зимы даже не смотрела, и вообще мне исполнилось семь, и я стала ходить сама в ларек, и в магазин, и к друзьям – всюду, кроме Поля, то есть всюду налево, и ты говоришь, что я должна быть осторожней и всегда смотреть: налево, направо и еще раз налево, а я молчу и никогда не скажу, что часто читаю, переходя дорогу, – иду из библиотеки и не выдерживаю: открываю книжку, говорю себе, что сразу закрою, потом, что еще одну страницу – и все, и так далее, иду и читаю, и на переходе тоже читаю, и забываю, что налево-направо-налево, потому что справа налево, справа налево бегут глаза, а ноги идут сами собой, поэтому я стараюсь не смотреть на тебя, как хорошо,

что мамы нет дома – она бы поняла, что я скрываю, что я вру, а мне и так не по себе, и ты говоришь, что Дана была жива, когда ее увезли, но неизвестно, что дальше, и может, она не будет ходить, но я не верю в это, потому что это – Дана: она скидывала ранец и швыряла его направо, а волосы летели налево, когда она наклонялась к фонтанчику перед школой, нажимала на кнопку и долго пила – залпом, касаясь губами крана, и иногда продолжала держать кнопку, и струя, как арка – на землю: на шишки и иголки от кедра и на форму Даны – красную футболку со значком нашей школы, и всегда кто-то проходил мимо и говорил, что мы не в Швейцарии и нельзя тратить воду, и Дана отпускала палец, смеялась и убегала, и так же она бежала через дорогу – наступая только на белые полосы, и волосы летели направо, а когда поворачивалась – налево, поэтому она не смотрела направо, налево и еще раз направо, во всем виноваты волосы Даны, а не ноги, и не может быть, чтобы она не смогла ходить, и тем более не может быть, чтобы она... потому что, потому что, я не знаю, как объяснить, но если ты швыряешь ранец в пыль, и пьешь залпом из фонтанчика, и даже касаешься губами, и все равно никогда не болеешь, то не может ведь вдруг, просто так, это же ошибка – не рассчитать расстояние, но другие вещи важнее: кедр, и вода, и волосы, ну просто важнее, я в этом уверена, иначе не может быть, не может быть...

Подползаю к маме на четвереньках:

– Мам, ты встань сзади, как я.

– ???

– Ну мам – надо.

Мама – с морковкой в руках – покорно встает сзади на четвереньки.

– А теперь загляни под платье: видно трусы?

– А ты как думаешь?

– Ну вот! – возмущаюсь. – А я все думала: почему Артур все время сзади пристраивается во время игры и хихикает?! А Моше ничего не сказал – тоже мне друг!

На кухню входит папа. Немая сцена.

– Мы тут кое-что проверяли, – говорит мама и встает. Папа хмыкает.

– Все, – говорю, – надоело: я теперь только в шортах, а то не поиграешь, и вообще – туда нельзя ногу, сюда нельзя ногу...

Есть места, куда ходить нельзя. И не надо спрашивать. Ни о чем. Про Поле сказали родители: нельзя. А про качели ничего не говорили. Не догадались. В парк – можно, значит, и на карусель, и на качели – можно, но просто так нет смысла, неинтересно – надо раскачаться до полета, чтобы трещали цепи, на которых они держатся, чтобы казалось: еще чуть-чуть – и перевернешься, качели сделают круг, как на самом страшном аттракционе в луна-парке, или сорвутся с перекладины и полетят, но чем дальше летишь, тем дальше отлетаешь назад, и каждый раз думаешь: может, именно сейчас не будет назад, только вперед – еще и еще, знаешь, что это невозможно, но есть секунда, в которую веришь – и опять, и опять, так, что потом не можешь больше выносить это: надежду и разочарование,

и на самой высоте, на самом пике «вперед» – перед тем как будет «назад» – прыгаешь и... точно знаешь, что если бы не прыгнул, то сейчас бы это было «вперед» без «назад», что ты сам в последний момент оборвал, не позволил, отложил полет, не захотел лишать парк таких прекрасных качелей, но что это могло быть, могло... приземляешься в песок, отряхиваешься, а качели все еще качаются туда-сюда, подпрыгивая, дразня, говоря: залезай, сейчас получится, и залезаешь, и все повторяется, и этот ритуал делает одну неделю похожей на другую, потому что прыгать можно и осенью, и зимой, когда качели чуть влажные и песок мокрый, и весной и летом – но тогда раскачаться сложнее: воздух – вязкий и тяжелый, а вообще неважно – каждому месяцу свои растения, птицы и запахи, но оставив качели и руководить миром можно каждый день. Раскачиваешься – прыгаешь, раскачиваешься – прыгаешь, и не помнишь уже, с чего все началось и почему, это уже было, было – и в куртке, и босиком, и все получалось, всегда получалось, пока не наступил май и над Нес-Ционой не повис первый хамсин. И над городом стоял песок, и воздух был желтый и густой, и лень было пошевелиться, даже руку поднять, а на следующий день стало светло, песок рассеялся, но воздух был густой, и сразу захотелось побежать в парк – расшатать, растряссти, и был в этом бунт, и дерзость, и глухота к этому миру, и качели – которые тоже были миром – нарушили уговор и отшвырнули тебя, точнее, край рубашки зацепился за выпирающий кончик от цепей, и русские бабушки, пасущие внуков у скамейки, увидели, как ты летишь вперед с самой высокой точки, и вдруг резко, рывком, качели одергивают тебя, возвращают к себе, секунду ты висишь в воздухе, а потом шмякаешься на песок под качелями, падаешь со всего размаху на распрямленную правую руку... Больше всего пугает не хруст и не боль, а то, что рука выглядит совсем по-другому: кости сошлись крест-накрест, как спицы, а рука висит на одной коже, вот-вот оторвется – крови нет, но смотреть на это невозможно, и берешь ее левой рукой и убаюкиваешь, как младенца, как чужую, потому что это уже не совсем твоя рука – твоя бы так не могла – но все равно жалко, и медленно бредешь домой, и плачешь, потому что вдруг понимаешь: руку отрежут, непременно отрежут – это наказание, и даже не надо спрашивать «за что», понятно «за что», и вспоминаешь Дану: ее смуглые ноги, и белые полосы, и превосходство ее пяток над миром, конечно, за такие вещи всегда бывает расплата, но ее наказание намного, неизмеримо больше – даже не можешь себе представить, *что это*, и свое тоже пока не можешь – как это ты будешь без руки, но все-таки лучше, несравнимо лучше, и на самом деле ты даже ни о чем не жалеешь: конечно, это не могло кончиться иначе, нельзя пытаться изменить законы, но и невозможно не пытаться их изменить.

Вертящийся калейдоскоп становится маминым лицом. «Хочешь пить?» Мотаю головой. Шевелю пальцами. Пытаюсь повернуться на правый бок, но это неудобно: правая рука – застывшая и твердая. Все-таки не отрезали. Поворачиваюсь на левый. Потом думаю, как буду хвастаться: некоторым за десять минут накладывают гипс, а мне делали операцию под общим наркозом три часа. Бормочу кукле: «Такие девушки, как вы – надежда Израиля!» – и проваливаюсь.



Когда правая рука в гипсе, учишься писать левой, и даже рисуешь левой – это не так тяжело, особенно пастелью, а правая рука – неподвижная, твердая, вечно согнутая, постепенно привыкаешь и завидуешь Ури из третьего класса – ему на гипсе нарисовали всякие картинки и написали кучу всего, а твои одноклассники – ни писать, ни рисовать еще толком не умеют... А вот в гогоим играть левой почти невозможно: не рассчитываешь силу броска – или слабенький, не долетает до стены, или слишком сильный – шмякается об стену и летит назад: твой гого позади остальных, и кто-то другой собирает урожай, и мешочек уже не такой тугой, все легче, все звонче, хорошо хоть начался сезон и можно пополнять запасы, я теперь никакие другие фрукты не ем, оставляю на блюде огромные сладкие персики, прохожу на рынке мимо сочных краснощеких нектарин, толкаю маму, тяну за ляжку от сумки: еще, еще, мне мало одной коробки, возьми две, скоро ведь закончится, не будет, да, я все съем, по шесть абрикосов в день, по семь, по восемь, уже тошнит от них, но надо, открываешь бледно-рыжую раковину, отправляешь в рот створки и вынимаешь жемчужину – шоколадную, гладкую косточку, моешь под краном, очищаешь от оранжевых волосков и кладешь на подоконник сушиться, но и этого мало: мама, съешь абрикос, папа, съешь абрикос, что «отстань», мне очень надо, и не выбрасывать косточки, я ведь все проигрываю, а гипс снимут только через две недели, и я не буду есть арбуз, даже не пытайтесь, я сегодня пропустила машину мороженого, чтобы оставить место для абрикосов, да, у меня во рту шершаво и золотисто, и на окне покорно лежит стая гогоим, а когда я трясую наполненный мешок, они стучаются друг о друга, как будто деревянные, это абрикосовая песня, песня гогоим, песня лета, жары, поливалок, ос и муравьев, сладкая песня, звонкая песня, оранжевая песня, Боже, Боже, Боже, после этого лета я больше никогда не буду есть абрикосы...

Ты сказала не выходить и не смотреть, а я вышла и смотрела, но ты зря волновалась, мне не было страшно, хотя я знала, что это – смерть, но я совсем по-другому представляла, знаешь, он был страшной живой – седая щетина, невидящие глаза и этот хриплый голос – «Шоши, Шоши»; в нем была смерть, уже тогда, поэтому мы его так боялись, хотя он ничего не делал, никогда не выходил из дому – мы его только на балконе видели и через полузадернутые шторы – звал Шоши, и ничего его не интересовало – мам, может это и есть смерть – когда ничего не интересует, мне кажется, что человек начинает умирать, когда еще жив, то есть он уже знает и готовится, знакомится со смертью, чтобы потом было не так страшно, и для Баруха уже не было людей, только смерть. И Шоши. Может, он их путал иногда, ну, я не знаю, вдруг подумала про это, а вчера – нет, не было страшно, его не было видно – только носилки и белая простыня, а потом его так быстро внесли в амбуланс, я даже не успела разглядеть, а Шоши кричала, ее санитары вели под руки, а она пыталась вырваться, мне кажется, она не понимала, что Барух – в машине, она кричала, что ей надо вернуться домой, к нему, и знаешь, что самое интересное – она *по-русски* кричала, представляешь – *по-русски*: «Боренька, Боренька, я иду, уже иду!» Значит, они тоже из России, мама, но они очень давно приехали – я никогда не

слышала, чтобы Шоши говорила по-русски, и даже с тобой – никогда, хотя она знает, что мы – из России, подожди, я вспомнила: она орала на меня и Моше с балкона, и я ей крикнула: «Ведьма!» – по-русски, я же думала, что она не понимает, а она так странно на меня посмотрела, но я не виновата, я правда не знала, а вчера она кричала: «Боренька, подожди, я сейчас, Боренька, не пей без меня чай!» Мам, я поняла: ее звали Роза, а здесь она поменяла на Шوشану, а Боря стал Барухом... Но это еще не все, ты не представляешь, она так кричала, почему-то все про чай, а я пряталась совсем недалеко – за газовым баллоном, и я вдруг подумала: интересно, какой чай он любил, это же очень глупо, и вообще – какая разница, но я про это думала, а санитар делал Шоши укол и держал ее руки, потому что она не давалась, а она выбежала в ночной рубашке, это же было семь утра, и вот он взял ее запястье, а она все кричала про чай и звала «Бореньку», и я увидела, мама, какой-то номер – чуть выше запястья, восемь, пять, а дальше не помню – кажется, еще три цифры или четыре, что-то знакомое – потом вспомнила, что у папы Моше машина с похожим номером, но зачем у Шоши номер? Очень странно, правда? И знаешь, она после укола перестала кричать и пошла за санитаром в амбуланс, она почему-то взяла его за руку, как будто... как будто она его дочка, а сегодня Ноам принес газету – там написано о смерти Баруха и фотография его и Шоши: мама, она была красивой, очень красивой! И он тоже, они оба, и я вот теперь думаю, я не знаю, как это сказать, но... вот Шоши – была красивая и носила сарафан, и Бен-Гурион ей сказал, это самое... такие девушки, как вы – надежда Израиля, и она любила Баруха, и он ее, и они вместе пили чай, у них ведь не было детей, так что у них было полно времени пить чай, а потом она стала той Шоши, которую мы все ненавидели, и если такое может быть, то в чем вообще смысл, мама, ведь мы ничего не знаем, если можно любить кого-то и пить с ним чай, а потом сойти с ума – это страшнее, чем Барух под белой простыней, и, как всегда, знать, что ты – это ты, а не превратился в кого-то другого и об этом не догадываешься, потому что я поняла: главное – знать, что ты – это ты, всегда: когда чистишь зубы, читаешь книжку или зеваешь – знать...

Наконец-то снимают гипс! Рука согнута в локте – застывшая, как неживая. Говорят, что надо будет ходить на физиотерапию, разрабатывать. Сжимаюсь: а это больно? Нет, приятно. Парафин будут класть на руку. И она будет сгибаться и разгибаться? Конечно, будет. Как левая. Может, чууууть-чууууть похуже, менее гибкая. А шрам? Что делать со шрамом от хирургических гвоздей? Их было три: тут, тут и тут, и прямо на локте безобразный шрам, который не пройдет, я знаю, что не пройдет, даже через десять лет, и через двадцать, и когда я буду старой. Папа, я же теперь уродина с этим шрамом. Вот-вот зарыдаю. И папа смотрит на меня и говорит:

– Запомни: когда ты будешь взрослой и появится мужчина, который будет тебя очень любить, он больше всего будет любить этот шрам и твой правый локоть, вот посмотришь, вот увидишь, еще вспомнишь мои слова...

Но я все равно рыдаю: потому что не понимаю и потому что взрослой я буду еще очень-очень нескоро.

Вспотела, за две минуты, в июне всегда так, а поливалки сегодня выключили, и во дворе никого нет, хотя мы договаривались поиграть, и в руке мешок, в котором перекатываются гогоим и поют абрикосовую песню, но ни Моше, ни Ярона, ни Ноама, даже уличных кошек не видно, как будто из города все ушли, как будто город стал немножко Полем, затих, закрылся, и тяжелое, желтое небо приближается все больше к земле, накрывает ее, поглощает, и медленно бреду за стоянку в другие дворы, может, хоть там кто-то найдется, и думаю, как это будет, если никому больше не скажу ни одного слова, разучусь ли говорить, но это мне не грозит, потому что вдруг на встречу незнакомые мальчишки – постарше, лет десяти, показывают на меня пальцем и смеются, говорят: ты разве мальчик, ты мальчик или девочка, ответь, может, это волосы, думаю, я же просила, чтобы постригли, сказала, что левой рукой не буду причесываться, и мне сделали каре, но мальчиков по-другому стригут, мне очень жарко, что вы хотите, я вас не знаю, может, кроме вас и меня в городе уже никого не осталось, а один из них показывает пальцем выше моего живота и говорит: *цицим, цицим* – сиськи, смотрите, у нее сиськи наружу, но это неправда, *цицим* – это то, что у женщин в душевых, а у меня даже близко нет, все гладко, и я похожа на папу, а не на маму, а они смеются и говорят: дура, как же ты ходишь без майки, ты, наверно, учишься в классе для умственно отсталых, а может, все русские так ходят, может, у вас так принято, дай потрогать, что тебе – жалко, раз мы видим, почему не потрогать, я убегаю, на бегу пытаюсь прикрыть свои *цицим* мешочком с гогоим и реву, но не потому, что меня обидели, а потому, что вспоминаю Эден, как она сказала, что не знает, кем лучше вырасти – мужчиной или женщиной, потому что *цицим* – это же отвратительно, но то, что у мужчин между ног – ничуть не лучше, и она не знает, что выбрать, а я смотрела на ее стриженую голову – под мальчика – и на умные, чуть косящие глаза за очками и верила, а теперь точно знаю, что выбора нет, и у меня тоже когда-то будет *это*, и что *это* – враждебно, оно появится изнутри, не спрашивая, такая округлость, как адамово яблоко, на которое противно смотреть, только больше, и будет все раздуваться и утяжелять меня, притягивать мое тело к земле – вбегаю в ванную, смотрю на себя в зеркало – на веснушки, на растрепанное каре, на расширенные зрачки и туда – где все гладко, спокойно, только два пятнышка – чуть темней веснушек – говорят о том, что так будет не навсегда, и о том, что измена придет изнутри и внезапно, и тогда мир, в котором я живу, изменится, и больше не будет Поля и городов, которые могут опустеть в течение суток, а будет что-то другое, о чем только догадываюсь, и вдруг хочется примерить к себе эту чужую жизнь, достаю из пакета две косточки и кладу их туда, где когда-нибудь – еще очень не скоро – будет грудь, и смотрю в зеркало, и не узнаю себя – даже глаза потемнели, вот и все, я уже не смогу выбегать на улицу без майки – надо прятать улики, свидетельства того, что будет, даже от себя прятать, я не хочу, не хочу... Вываливаю гогоим в окно и даже не смотрю, как они падают.

Моше, не трусь, ты же не трус, может, ты испугался на минуту, но это со всеми бывает, мы на полпути, мы сделали главное – зашли



никакой опасности не было, потому что папа Ярона с лысиной и в шортах – это смешно, а не страшно, а мне надо, чтобы иногда было страшно, иначе все становится дневным, и нет жизни Поля, и нет нашего дома, который защищает улицу и весь город, и того непонятного, когда долго глядишь на огонь или в темноту, и что остается, если не бояться ночи – если это придумали взрослые, то все, что мы делаем днем, лишено смысла, глупо, надо, чтобы были законы, которые нельзя нарушать и нельзя не нарушать, чтобы города могли вдруг пустеть, чтобы можно было – на долю секунды – создать тишину вокруг, чтобы были места, куда ходить нельзя.

Я сейчас запишу в дневнике: «26 июня 92 года. Мицка поцарапала Артура». А остальное я помню и буду помнить. Раньше совсем про это не думала: когда говорили в новостях про бешенство – про бродячих собак, которые кусают людей, и если не сделать сразу сорок уколов, у человека поднимется температура, пойдет пена изо рта и он умрет, но перед смертью наверняка успеет кого-то укусить, и когда в наш двор пришла серая Мицка, я дала ей сметану, и она осталась... А теперь все совпало: плачущий Артур с расцарапанной рукой, звонящий по домофону своим родителям, глотающий сопли и мычащий так, что они не могли ничего понять, и его упреки, проклятья в мой адрес, и мои оправдания, что я не нарочно, что мне показалось, что он мучает Мицку, заманивает ее, чтобы потом отомстить ей за то, что я его не люблю и играю с другими, и не увидела, что у него в руке хлеб, размоченный в молоке, и закричала на него, а Мицка испугалась, перевернула миску и со страху вцепилась в Артура когтями, а он сначала застыл и в ужасе смотрел на свою ладонь, а потом завопил, и бросился к домофону, и рыдая кричал, что теперь его будут колоть в живот, что все из-за меня, а я попыталась сказать, что бешенство у собак, не у кошек, а он вопил, что я дура, у всех бешенство, что ему надо срочно в больницу, и мне стало его так жалко, и страшно, что он может умереть из-за меня, и я была готова на все, чтобы он не умер – даже чтобы мне вместо него сделали сорок уколов, и вдруг почувствовала, что готова полюбить его, уже почти люблю – этого мальчика с бледным, острым лицом и тоненьким голосом, в нелепой клетчатой рубашке, занудного, ябеду – почти люблю только за то, что он может умереть, и я виновата... Артур не дождался лифта и побежал домой по лестнице, а я догадалась, что мы любим людей за то, что они могут умереть, за то, что у них есть тело, которое можно ранить, и вены, которые особенно видны с внутренней стороны руки и на которые больно смотреть, за то, что притаилось внутри каждого человека и в любой момент может вырваться наружу, и стало горячо дышать, я ушла в тень и залезла на бетонное возвышение, где обычно сидят и курят старшеклассники, но дышать все еще было горячо и больно, и я поняла, что это не из-за жары, а из-за того чувства, которое может появиться только от страшного и необъяснимого, и что когда мы любим кого-то, мы спасаем его – на время освобождаем от законов, от того ненадежного и зыбкого в венах, от того, что существует, когда мы закрываем глаза – и спасаем себя, потому что не думаем о собственном теле, о собственных венах, и что только так можно ходить туда, куда ходить нельзя. И знать, что вернешься.

*Теннадий Малкин*

*ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВЫ*

*Деньги мешают достижению целей, если цели свои, а деньги – чужие.*

*Как бы ни было трудно идти, надо помнить, что ходьба помогает не думать.*

*Счастье можно найти, если не слишком пристально всматриваться.*

*Записывал, записывал свои мысли, а потом плюнул на всё и стал думать для себя одного.*

*Незнание языков освобождает от необходимости думать на них.*

*Надежда на выздоровление помогает смириться с грядущим концом.*

*Если хама поставить на место, он будет руководить.*

*Летают воробьи, а журавли – летят.*

*Мечты, проходя через голову, становятся интересами.*

*При написании воспоминаний не опускайте подробностей вашей фантазии.*

*То, что пишется в книгах о жизни, можно увидеть лишь в залах кинотеатров.*

*Таблица умножения устраивает всех, но таблица деления, как минимум, некорректна.*

*Душа, даже с легкой косметикой, смотрится, словно продажная женщина.*

*Сколько обломков приносит прибой и сколько надежд уносят отливы...*

*Дважды два ещё по-прежнему четыре, но это правило работает на кредиторов и разорительно для должников.*

*Реки привычек впадают в болото судьбы.*

*Лучший способ сберечь достоинство – носить его каждый день.*

*Когда вокруг одни друзья, дружба уходит в рукопожатия.*

*Принцип Израиля: «Полцарства за демократию!»*

*Лужи гордятся тем, что они – выше уровня моря.*

*Достойных людей немало, но популяция их уменьшается от хозяйственной деятельности.*

*Не копите зла, оно и так не кончится.*

*Деньги не любят воспоминаний.*

*Подсчитывая бескорыстные поступки, не подводите баланс без учета отсроченной выгоды.*

*Брак – продолжение чувств за счет их экономии.*

*Я готов согласиться с любым, кто докажет мою правоту.*

*Кукушка не умеет петь как соловей, но слушают ее внимательней.*

*Не обязательно становиться большим человеком, просто не надо быть маленьким.*

*Тяга к добру до добра не доводит.*

*От правильных решений устаешь подчас не меньше, чем от последствий необдуманных поступков.*

*Выходы из положения не столько уже, сколько ниже входов.*

*Женщина привлекает тем, что отвлекает от остального.*

*Бывалый человек бывает чаще прав, чем интересен.*

*Закрытые учреждения работают без перерыва.*

*Надейтесь на своих детей, и ваши надежды вас не оставят.*

*Представляя свою судьбу, мы не столько ее рисуем, сколько раскрашиваем.*

*Двуногие люди отстали в коммерции от своих двуруких сородичей.*

*Прогресс – это очередной виток спирали на шее человечества.*

*Жизнь может стать любовницей, но при условии, что эта жизнь – не ваша.*

*Мужья молчаливее жен и могут казаться умнее.*

*В государстве, где сила страны выше счастья людей, не бывает ни того, ни другого.*

*Отчаянный поступок подтверждает крушение чаяний.*

*Всё, что идет на пользу, ходит не торопясь.*

*Наступление сумерек проблема не солнца, а загорающих.*

*Мы выбираем судьбу, полагаясь на рекомендации ее бывших возлюбленных.*

*И все же немало хороших людей тянется делать добро. Из материала заказчика.*

*В старость входишь, как в кинотеатр повторного фильма, но без билета на выход.*

*Беда не приходит поболтать и уйти – ей хочется знать о вас всё.*

*Старость приходит под вечер, незваной, и если её не впускать, она будет стучать ещё громче.*

*Детекторы лжи помогают подглядывать за голою правдой.*

*Не хотелось бы никого обижать, но приходится говорить неприятное: я такой же, как вы.*

*Оптимист смотрит меню, пессимист – на лица жующих.*

*Загар в лучах вечерней славы – ровнее и менее вреден.*

*Если взвешивать каждое слово, мысли становятся гирями.*

*Обиды, как правило, живут неоправданно долго, широко отмечая свои дни рождения.*

*Не надейтесь на силу воли – она сама надеется на вас.*

*Не задавайте лишних вопросов, и вы не услышите лишних ответов.*

*Детей надо учить игре на музыкальных инструментах. Им будут платить – или за игру, или за тишину.*

*Возможно, чернозёмы пачкают клубни картофеля, но в пустынях Израиля он вырастает прямо на экспорт.*

*Взрослеть опасно вообще, а с каждым годом – в частности.*



*Давид Маркин*

## *ДРУГОЙ*

Мика Гольдштейн в Бога не верил. Верней сказать, верил, но только от времени до времени, в исключительных случаях, когда приключались с ним неприятности и ему необходимо было позарез сильное вмешательство для исправления ситуации. А когда ситуация тем или иным образом выправлялась, повеселевший Мика забывал и о невзгодах, неизвестно куда девшихся, и о Боге – до следующего раза...

Но и колючим атеистом он не был, упаси Бог! Тем более после того как большевиков прогнали и в Россию пришла свобода рука об руку с суверенной демократией, безбожие сделалось признаком дурного тона, к тому ж отнюдь не способствовавшего продвижению по службе. Население, от бандитов до первых лиц, охотно навесило на шею кресты, нередко золотые, размеру которых и лепоте позавидовал бы и сам креститель Руси князь Владимир Красное Солнышко, сидевший, рассказывают, в своё время на берегу Днепра в одном исподнем и надзиравший за очистительным погружением языческой киевской публики в проточную воду... Долго ли, коротко, а новые толерантные времена всё же пришли, и христианская вера вернулась в Россию столь же стремительно, как покинула её в семнадцатом году, когда Ленин объявил, что Бога нет. Нет, и всё тут.

Семьдесят лет спустя, сразу после отмены атеизма, раскрепощённые русские люди и прилепившиеся к ним евреи отвернулись от ступенчатой пирамиды мрачного Мавзолея с залегшим в нём Ульяновым и напрямик направились в церковь. Там было тепло, там было красиво. Бог, подобно египетскому фараону, не лежал в ящике, в пугающей тишине мертвецкой, а глядел с расписных стен страдальческими глазами. Вежливые девушки и попы в расшитых золотом пальто пели душевные песни, горящие свечи приятно пахли, и публика проникалась надеждой: зарплату повысят, в отпуск получится съездить на море, и страшная болезнь не закогтит. И какой праздник восстановили замечательный – вместо обрыдлых юбилеев классиков марксизма-ленинизма, взамен всех этих всесоюзных Дней углекопов, доярок и ворошиловских стрелков – день рождения Иисуса Христа! Сразу за Новым годом с его подарками, Снегурками и Дед-Морозами идёт мандариновое Рождество с жареным гусём посреди праздничного стола; гудит гульба, отдых продолжается по полной программе.

Не отставали от русских и татары: на свой великий мусульманский праздник Курбан-байрам они взялись выводить баранов на улицы Белокаменной и резать их, принося в жертву Аллаху, на глазах у напуганных горожан. Да и евреи не остались в стороне от религиозного возрождения: чуткие к изменению общественного климата, они гуртом потянулись в церковь. Не все, но многие.

Напрасно было бы искать среди них Мику Гольдштейна. Церковная музыка наводила на него тоску, а бородатые мужики в разно-

цветных шёлковых балахонах вызывали неловкость души. Но и синагога его не привлекала – там царила деловая обстановка, там шёл бесконечный переговорный процесс между евреями и Главным Начальником. Что уж тут говорить о магометанах в их мечетях! В час намаза они организованно валились на пол, и тогда молебельна напоминала площадь, сплошь вымощенную разноцветными булыжниками спин.

Это зрелище тревожило и впечатляло, но Мика Гольдштейн не был расположен к мусульманским штучкам: семейная ссора, в библейские времена вспыхнувшая в шатре Авраама и приведшая к форменному разрыву отношений между разгневанным праотцем, с одной стороны, и наложницей его египтянкой Агарью с их сыном Измаилом – с другой, не выветривалась из родовой памяти Мики. Подросток Измаил, отправленный родителем в безводную пустыню, как известно, счастливо выжил и – возможно, не без помощи и поддержки совестливого отца – процвёл: потомки его расплодились и размножились несметно и спустя отмеренное время превратились сперва в арабов, а затем в магометан. Это всё общеизвестные факты, только ленивый о них ничего знать не знает. Собственно, и потомки Авраама по чисто еврейской линии тоже расплодились и размножились – но не до такой же степени! И вот сегодня окончательно растерявшие чувство меры арабы, как это сплошь и рядом случается среди родственников, со всех сторон наезжают на евреев и, в отместку за изгнание Измаила из отчего шатра, даже грозят спихнуть их в Средиземное море. А ведь не отправь тогда Авраам милую Агарь с Измаилом в пустыню Фарран, не появились бы, может быть, никакие арабы на белом свете, и мир нынче был бы совсем иным: либо ещё хуже, либо чуток получше... Но чтобы поблагодарить евреев за такую судьбоносную услугу – вот это нет, это никому из арабов в голову не приходит!

Одинокое проживавший в своей «однушке» в Храпуново, в блочном доме, Мика Гольдштейн в истории человеческого племени разыскивал и запоминал разные интересные случаи, способствовавшие расширению кругозора. «Однушка» досталась ему после развода с женой и размена семейной «двушки», расположенной в другом московском районе с куда более благозвучным названием Кукуево. Но Мика и в этом Храпунове умудрялся жить легко и привольно, никакие названия его не смущали и не вгоняли в уныние: он преподавал в школе географию и по своей профессии ещё и не с такими словечками сталкивался. Развод с женой Беллой, русской женщиной с деревенскими корнями, вышел у Мики по нелепой, казалось бы, причине: после трёх лет совместной жизни Белла начала сперва тихонько, а затем всё шибче и шибче подбивать мужа ехать в Израиль на ПМЖ. Жизнь супругов с младенцем Иваном, хотя и в «двушке», была нелегка: нищенская учительская зарплата главы семьи плюс копеечные доходы воспитательницы детского сада Беллы – этого не хватало на самое необходимое, а коммерческой жилки, свойственной, как принято думать, потомкам Авраама, Ицхака и Якова, Мика Гольдштейн был, по его собственному мнению, лишён начисто. На историческую родину, в финиковые края, сочащиеся мёдом и млеком, Мика ехать даже и не собирался: к России он привык и искренне считал её почти своей, а себя – почти рус-

ским. Эта размытая позиция приводила трезвомыслящую и практичную Беллу в ярость. В спорах с мужем женщина приводила крупнокалиберные аргументы, включая и будущее младенца Ивана, она плакала, и кричала, и требовала, чтобы Мика перестал валять дурака и шёл подавать документы на отъезд в страну далёких предков. В ответ на такие любовые атаки Мика отшучивался, и чем дальше, тем горше становились его шутки в адрес ветхозаветных соплеменников, гонявших своих козлов и баранов по зелёным холмам Иудеи и Самарии. Шутки становились всё горше, горечь оседала на дно души Мики Гольдштейна и изрядно портила настроение: Белла не знала меры, это грозило осложнениями в семейной жизни.

Так и случилось в один прекрасный день: осложнения вплотную подступили. Белла ушла, унося младенца Ивана. Неимущим людям расторгнуть брак в Москве так же просто, как его заключить, и это просто замечательно: женишься –ходишь в ЗАГС с парадного входа по ковровой дорожке, разводишься – с чёрного, по выщербленным ступенькам. Спустя малое время после полюбовного развода, в расцвете лета, цветущая расписной красотой Белла, большая и белая, вышла замуж за музыкального критика по имени Ефим Карп и приняла его фамилию взамен устаревшей – Гольдштейн. Она уже привыкла к евреям, легенда о еврейских мужьях – они не пьют запойно, не колошматят своих жён по мордасам, а в свободное время играют на скрипочке или в шахматы – оказалась близка к истине. К концу года документы на выезд в Израиль на ПМЖ были собраны и поданы куда следует. В холодном хмуром феврале семейство Карп, включая подросшего младенца Ивана, устроило тёплые проводы, на которые Мика Гольдштейн был приглашён. А ещё через несколько дней Карпы, неся спящего Ивана в походной люльке, сошли с самолёта в аэропорту Бен-Гурион и ступили, наконец-то, на еврейскую землю, сплошь залитую зимним лимонным солнцем. Слушай, Израиль! Мы приехали!.. Дальнейшие события развивались совершенно фантастическим образом. Русская Белла, с её деревенскими корнями, предусмотрительно заботясь о завтрашнем дне для себя и для растущего на глазах – на апельсинах да бананах – вчерашнего младенца Ивана, перешла в еврейство со всеми вытекающими отсюда сложностями. Дело не ограничилось зажиганием субботних свечей и преломлением вкусной плетёной халы. Белла настойчиво продвигалась в глубь иудаизма и пеняла музыкальному критику на то, что он плохой еврей: в синагогу не ходит, бесплатный кружок по изучению Торы не посещает. В доме Карпов были введены новообращённой суровые кошерные порядки: безработный критик мыл руки из специальной двуручной кружки, а сама Белла с подъёмом принялась отделять мясное от молочного и между пельменями и сметанной подливкой к ним обязательно устраивала трёхчасовой перерыв.

Этот перерыв особенно потряс Мику Гольдштейна, когда до него долетели слухи о новой фазе в жизни его бывшей жены. Белла, с её неукротимой пассионарной энергией, могла скалы своротить, если понадобится. Таким образом, дальнейший путь музыкального критика Карпа был, строго говоря, предначертан и определён, и этот путь напрямик вёл в ешиву: там учат уму-разуму и стипендию дают. Что же касается неразумного покамест Ивана, то и его тропинку в сочной

траве надежды можно было уже различить: хедер, свисающие с висков русые пейсы и кипелэ на макушке. В конце концов многоопытный Александр Васильевич Кикин – а ведь он был не дурак! – в своё время советовал царевичу Алексею подчиниться воле венценосного отца и укрыться в монастыре от житейских забот: «Клобук к голове чай не гвоздями пришит!» Клобук не кипа, и я не буду настаивать на том, что мысль об опальном сыне Великого Петра и дальновидном наставнике Кикине сама собою пришла на ум не вполне ориентировавшейся в закоулках отечественной истории Белле Карп. Но мы-то с вами, включая любознательного Мику Гольдштейна, помним описанный интересный случай – и этого достаточно.

Время текло, дни прыгали – скок-поскок! – с камушка на камушек. Старых приятелей, правду сказать, становилось вокруг Мики всё меньше: кто за обе щеки вкушал плоды новой цивилизации за океаном, иные в германских краях с пеною у рта доказывали аборигенам кровное родство с немецкой культурой, а большинство из покинувших имперские пределы осели на камнях и в песках Святой земли. Ну а те, кто задержался на бывшей родине социализма, старались держаться вместе, гуртом, и дума об отъезде хотя их и не грела, но тревожила и в покое не оставляла. Разговоры на эту тему возникали без подсказок и сводились, всего чаще, к неутешительным общим характеристикам типа «все уже уехали!» – хотя уехали ещё далеко не все. Слыша такую расхожую отсебятину, Мика Гольдштейн давал отпор: «А я не “все”. Я другой».

Но чем больше он хотел себя чувствовать другим, тем меньше это у него получалось. «Другой», ему казалось, это не тот, который идёт против всех, а тот, который сам по себе, вольно шагает параллельно со всеми. Шагает, никому не мешает... Да он и не то чтобы мешал, но – настораживал: белая ворона. Все едут, а этот, видите ли, географию преподаёт. А кто не едет, тот примеривается: как там, на исторической родине, дело обстоит с жилищным вопросом, с работой, с бесплатным лечением. Почём дом, почём зуб вставить. Как, не устраивая шума, на всякий пожарный случай получить гражданство – этот пропуск на «запасной аэродром». А то что нужда в таком аэродроме может всё-таки внезапно обнаружиться, ни у кого не вызывало сомнений. Погром, гайки закрутят, сажать начнут – мало ли что тут может случиться с евреями! И никто в жизни не поверил бы, что Мика Гольдштейн об этом совершенно не задумывался – пусть он, на здоровье ему, будет «другой», но не сумасшедший же!

Такие нормальные люди, как Абрамович, хотя он числится украинцем, и Вексельберг с его драгоценными яйцами, наверняка позаботились о том, чтобы в кармане у них лежал запасной паспорт. Чуть что – сел в самолёт и лети себе в Тель-Авив! И если Мика Гольдштейн, у которого нет ничего, кроме зарплаты географического учителя и сына Ивана с русыми пейсами – неужели же такой Мика откажется от израильского паспорта, который он может получить по закону и совершенно без затрат? Тут и дважды сумасшедший еврей, пусть даже он будет почётным членом движения «Россия для русских», раздумывать не станет и побежит на Большую Ордынку занимать очередь в израильское посольство.

До Мики Гольдштейна, открытого и общительного человека, все эти справедливые, в сущности, рассуждения, беспрепятственно до-

летали и, ничуть не затронув его души, пролетали мимо – ему нравилось быть другим. Под это независимое положение многое можно было списать, например, загадочную историю с малолетним Иваном, собирающимся поступать в ешиву. Да и не только это, хотя такое случается далеко не с каждым: родственники за границей нынче совсем не компромат, что правда, то правда, но чтобы сын Ванька пошёл зубрить Тору в иерусалимскую ешиву! Какой-нибудь Рувим в Загорске, в духовной семинарии почти никого уже не удивляет, это в духе времени. Другое дело Ванька, подавшийся в раввины.

Сам Мика Гольдштейн, как было уже сказано, сомневался в существовании Бога – а кто из нас никогда ни в чём не сомневается? – хотя и не исключал такой возможности категорически. История древних евреев с её сверкающими героями, жестоковывными гордецами и милыми лукавцами, под недреманным оком Бога совершавшими замечательные чудеса, импонировала Мике – но не до такой степени, чтобы завлечь его на синагогальную скамью. Богу – Богово, а синагоге синагогово. Едва ли когда-нибудь Мика слышал о заплутавшем в лесу каменных религиозных догм ветхозаветном Элише, которого благочестивые иудеи, чтобы не осквернять уста произношением поносного имени, называют насторожённо и презрительно: «Другой». Зато ему было известно доподлинно, что твёрдые в соблюдении религиозной традиции израильтяне лукаво обозначают свинину не иначе как «другое мясо». Или «белое мясо», хотя известно всем, что оно никакое не белое. Или даже, совсем уже непонятно почему, «византийское мясо».

Это только сейчас на Святой земле воцарилась такая гастрономическая толерантность. Любой еврей может зайти в магазин – правда, не в любой – и сказать: «А ну-ка, барышня, взвесь-ка ты мне килограммчик во-он того мяса! Да нет, не этого! Другого! Белого!» Спросить «килограммчик свинины» он всё же не рискнёт – время ещё не пришло, хотя оно, судя по некоторым признакам, уже не за горами. Некошерную акулу можно назвать по имени-отчеству в самом что ни на есть приличном месте, например, в Кнессете, осьминога и креветку – тоже. Не удивлюсь, если один народный избранник обзовёт другого акулой или даже креветкой: милые дерутся – только тешатся. А вот ничуть не более трепную, чем акула, свинью не следует называть свиньёй, и точка. А почему? По кочану: так сложилось, так карта легла. Это столь же недопустимо, как в синагоге выкликать Распятого галилеянина по имени, хотя этот еврей вот уже два тысячелетия подряд оказывает кое-какое влияние на развитие окружающего нас мира.

Всё это верно, всё это Мика Гольдштейн видел собственными глазами и слышал собственными ушами; его впечатления об исторической родине сложились не со слов болтливых очевидцев. Всё, что можно было увидеть, он и увидел, десять дней подряд разъезжая по Израилю за счёт американской благотворительной организации «Народ еврейский жив!». Благотворители устраивали такие ознакомительные поездки для тех евреев, для которых посещение древнего отечества было никак неподъёмно по причинам финансовой несостоятельности. Школьный учитель географии Мика Гольдштейн как нельзя лучше вписывался в эту категорию соплеменников. Действительно, откуда бы он взял деньги на поездку? Говорить о зарплате было просто смешно, взятки он не брал, потому что ни-

кто их ему не предлагал. А унести что-нибудь из школы с пользой для себя он тоже ничего не мог – разве что накрученную на деревянную палку географическую карту мира или журнал успеваемости учеников. К сожалению, эти предметы материальной культуры невозможно было сбыть никоим образом даже на Измайловском рынке, где продавалось всё на свете – от отборного чилийского гуано до фальшивых яиц Фаберже – и где любознательный Мика Гольдштейн в свободный час любил побродить вдоль рядов, высматривая диковинки и вступая с торговцами в приятные разговоры.

Организация «Народ еврейский жив!» не зря потратила на Мику Гольдштейна свои деньги: Израиль ему понравился, он уже на третий день почувствовал себя полуизраильтянином и даже полужильцом Еврейского национального дома. Но этого оказалось недостаточно для переезда на историческую родину и воссоединения с потомками библейских патриархов. Вторую половину своего «я», да ещё с присыпкой, Мика оставил в России. Красивый Израиль он, не покривив душой, мог назвать «наш», а затрапезное Храпуново – «моё». И коллективное начало пятилось без борьбы перед индивидуальным. Привыкнув просторно жить среди полусвоих-получужих русских, Мика Гольдштейн на пятом десятке остерегался вдруг очутиться в теснейшем, без просветов, кругу безусловно своих евреев – разномастных европейских, смуглых азиатских, оливковых индийских и чёрных эфиопских. Глядя на это повсеместное множество соплеменников, Мика испытывал не столько праздничный подъём, сколько паническое смущение души: отсутствие привычных гоев вселяло беспокойство и настораживало.

Ещё более, чем отсутствие гоев в поле зрения, насторожила и обеспокоила Мику картинка, многократно им увиденная на обочинах отменных скоростных шоссе, в городских парках и тихих переулках. Даже, собственно, и не картинка – а так, набросок, подмалёвка. А именно: стоит еврей и у всех на виду справляет малую нужду. Писает на все четыре стороны. И никто, ни один человек не обращает на него никакого внимания, не машет руками и не зовёт полицейского. А этот еврей, сделав своё дело, идёт себе дальше или садится за руль и едет, куда ему надо. Хоть бы писал на колесо – так нет: жалко ему, резину не хочет марать. А где же тут культура, где наша еврейская этика? И главное, почему народ не возмущается? Значит, народу, нашему избранному народу, на это наплевать, и он сам готов отливать на глазах у всех прямо на Святую землю... Это не укладывалось в голову. Воспитанные, культурные евреи вытворяют чёрт знает что, мочатся в открытую, потеряв всякий стыд! В Москве хоть еврею, хоть русскому или даже неукротимому лицу кавказской национальности за такие шутки припаяли бы суток десять по статье «нарушение порядка в общественном месте». Пусть посидят там, где на оправочку водят по звонку.

Беспардонные писающие израильтяне неприятно поразили Мику Гольдштейна и раздосадовали. Не чувствуя прихода утешения с током милосердного времени, он решил обсудить свои неожиданные наблюдения с кем-нибудь из местных авторитетных людей, чьему опыту и мнению можно было бы довериться. Искать долго не пришлось: в холле гостиницы, где поселили группу, он наткнулся на религиозного еврея средних лет, в чёрном кафтане и с ермолкой на

голове. На далёком от совершенства русском языке этот еврей предложил Мике Гольдштейну прикрепить филактерии и вознести молитву Всевышнему. Мике неловко было без видимой причины отказать вежливому, но напористому Чёрному Кафтану, и он согласился; тут и любопытство сыграло свою роль. Чёрный Кафтан споро обернул вокруг головы и левой руки Мики узкие ремешки с прикреплёнными к ним чёрными кожаными коробочками и велел повторять вслед за ним слова молитвы. Закончив, Кафтан свернул свою снасть и собрался было перейти к следующему постояльцу гостиницы, но Мика Гольдштейн решительно его остановил.

– Вы вот мне скажите, – начал Мика Гольдштейн, – как же так? Люди мочатся на улице, евреи. Я сам видел.

– Что они делают? – переспросил Кафтан.

– Мочатся, – повторил Мика. – Писают.

– Делают пипи? – уточнил Кафтан. – Я по-русски уже забыл.

– Ну да, – подтвердил Мика Гольдштейн – Пипи.

– Так им надо! – пожал плечами Кафтан. – А тебе не надо?

– Всем надо, – согласился Мика Гольдштейн. – Но не на улице, когда кругом полно людей. Для этого есть уборная.

– А если нет уборной? – спросил Кафтан.

– Тогда пусть зайдёт в кусты, – предложил решение Мика Гольдштейн, – или куда-нибудь за дерево.

– А если там не растёт дерево? – и не подумал уступать Кафтан. – Улица не лес.

– Тогда надо потерпеть, – твёрдо сказал Мика. – Мы всё же не звери, чтоб писать где попало.

– Никто не говорит «где попало»! – досадливо отмахнулся Кафтан. – Не «где попало». Сказано и приказано: «Штин ба-кир».

Мика уставился на Кафтана непонимающими глазами.

– «Делай пипи на стенку», – вольно перевёл Кафтан. – И это – закон.

– А кто это сказал и приказал? – дерзко поинтересовался Мика. – Тем более никто так не делает.

– Пророк Самуил сказал и приказал, – дал исчерпывающее объяснение Кафтан. – И если ты видел, что кто-то не делает пипи на стенку – значит, это гой.

– А у нас в Москве – культура, там гой, если только он не пьяный, вообще так не делает, – сообщил Мика. – Ни на стенку, никак.

– Не делает? – с интересом спросил Кафтан. – Никак?

Это было для него открытием: он водил шапочное знакомство с гоями, но никогда не слышал, чтобы они, как птицы или рыбы, вообще обходились без малой нужды.

– На Святую землю мочиться нельзя, – заявил Мика Гольдштейн. – В неположенных местах, я имею в виду.

– В неположенных местах специальную табличку прибивают с номером, – парировал Кафтан. – В Иерусалиме иногда прямо на доме написано: «Святое место. Делать пи-пи запрещается!»

– И не делают? – усомнился Мика Гольдштейн. – Слушаются?

– Ну, это по-всякому... – уклонился от прямого ответа Кафтан.

– А кто эти таблички распределяет? – спросил Мика. – Ответственный – кто? Начальник? Надо же точно определить, какой дом святой, а какой обычный.

– Это проблема... – признал Кафтан. – Один мудрец говорит, что – да, святой, а другой – нет, не святой. И пока идёт спор, жильцы дома с удобной стеной, на которую все делают пи-пи и кругом всё уже провоняло, достают фальшивую табличку с номером и прибивают её к своему дому.

Путанные объяснения Чёрного Кафтана ничуть не успокоили Мику Гольдштейна, а напротив, ещё больше его расстроили. Какое бескультурье! Да рядом с этими писающими козлами и Храпуново покажется светочем культуры: станция метро, библиотека, кинотеатр, бассейн, четыре качалки.

Назавтра, явившись на свидание с сыном Иваном и бывшей женой Беллой, Мика Гольдштейн продолжал кипятииться и переживать. Ефим Карп, располневший, в мешковатом чёрном костюме с чужого, похоже, плеча и с кипой на макушке, остался холоден к возмущившему Мику бытовому бескультурью в еврейской стране: пишут – ну и пусть себе пишут. Пышная Белла, услышав горестный рассказ бывшего мужа, лишь плечами досадливо повела: Мика ничуть не изменился, как был дураком, так им и остался; других дел у него нет, только глядеть, как люди отливают. Что же касается Ивана, то отцовы переживания никак его не затронули: познания сына в русском языке были близки к нулю, из взволнованной речи отца он не понял ровным счётом ничего.

Сидя в тесной карповой кухне, за откидным столом, пили чай с маковыми коржиками. Карп порывался сообщить московскому гостю что-то важное, существенное, но тот всё бубнил про ужасное отсутствие культуры в Израиле и четыре качалки у него в Храпуново. Наконец музыкальный критик решительно открыл рот и вклинился в монолог Мики Гольдштейна.

– У нас тут появилось одно перспективное дело, – сказал Карп. – Хотите знать какое? – И поглядел на Мику выжидающе.

– Ну, какое? – с неохотой отвлекаясь от своих рассуждений о бытовой культуре израильтян, досадливо спросил Мика Гольдштейн.

– Я вам верю, – сдерживая любопытство Мики, Карп заградительно выставил вперёд мясистые ладони с растопыренными пальцами. – Вы честный и принципиальный человек, на вас можно положиться.

Мика удивился: откуда Ефиму Карпу знать, можно на него, Мику Гольдштейна, положиться или же нельзя; но спорить не стал.

– Допустим... – сказал Мика.

– В Рамле большая нехватка накладных ногтей, – доверительно глядя, продолжал Ефим Карп. – Спрос есть, а ногтей нет. Чемодана два ногтей смогли бы исправить положение.

– Каких ногтей? – спросил Мика Гольдштейн.

– Китайских, – разъяснил Карп. – По доступным ценам.

– Теперь всё из Китая везут, – внесла ясность Белла. – В Москву легче всего завозить, а оттуда уже к нам.

– Но почему же именно ногти? – заинтересованно спросил Мика. – Почему не что-нибудь другое? Например, женьшень? Или в этой Рамле пытаются всех подряд и ногти выдирают?

– У вас в Москве все такие отсталые, – снисходительно усмехнулась Белла, – или ты один? Какие ещё пытки? Девушки наращивают свои родные ногти, приклеивают такие разноцветные протезы



зики из специальной пластмассы – зелёные, чёрные, сиреневые. И в эти протезики вставляют камушки – брильянтики, изумрудики, рубинчики. Камушки, конечно, фальшивые – но никто ведь и не утверждает.

– В Китае чемодан таких ногтей с камнями – гроши, – вернулся к беседе музыкальный критик, – а у нас в Рамле целое состояние. Вот и считайте...

– И что дальше? – спросил Мика.

– Завозим чемодан в Москву, – принялся развивать тему Карп, – без налогов, как вы понимаете. А потом переправляем к нам, уже по частям. Едут же подходящие люди каждый день! Один возьмёт коробочку, другой – пакетик...

– А почему не везти прямо из Китая? – задал наивный вопрос Мика Гольдштейн.

– Поймают на таможне, – с твёрдой уверенностью сказала Белла. – У нас тут все евреи, это тебе не Москва.

– Главное – получать ногти в Москве, – подвёл итог Карп. – А потом уже пойдёт как по маслу.

– А я-то что должен делать? – спросил Мика у практичной Беллы.

– Всё организовать в Москве, – пояснила Белла. – Заказ, приёмку. Ты обеспечиваешь поставку, мы – сбыт.

– В Рамле, – добавил музыкальный критик, как видно, для точности. Потягивали остывший чай, жевали коржики.

– Я не смогу, – сказал, наконец, Мика Гольдштейн. – Просто не потяну. Это не для меня.

– Я тоже думал, что не для меня, – искренне вздохнул музыкальный Ефим Карп. – Оказалось, что для меня.

– Лучше я приищу кого-нибудь по этой части, – предложил Мика. – У нас в Москве их хоть пруд пруди.

Карпы призадумались. Не хотелось отдавать верное дело в случайные руки.

– А религия не запрещает ногтями торговать? – пришлёпнув ладонь к тому месту на макушке, которое отведено у евреев для кипы, осторожно осведомился Мика Гольдштейн. – В синагоге что скажут?

– Ничего не скажут, – досадливо отмахнулась Белла. – Торговать никому не запрещается. Тебе, кстати, тоже. – Она, похоже, обиделась на отказ бывшего мужа от участия в операции «ногти».

Ефим Карп, напротив, решению гостя не огорчился и не расстроился ничуть: не Мика – так кто-нибудь другой непременно отыщется. Как видно, извилистый ход судьбы научил его смотреть на вещи с неистребимым оптимизмом; действительно, в недавнем прошлом, в Москве, он зарабатывал на хлеб унылым трудом на поле музыкальной критики и ни наяву, ни даже во сне представить себе не мог, что вскоре наденет на голову ермолку и ради прокормления тела и души пойдёт в религиозную семинарию для русскоязычных израильтян. Однако всё именно так и случилось, и Фима о московской музыкально-критической работе почти что и не вспоминал, а настоящее своё положение принимал с благодарностью.

– А вы на последних выборах за кого голосовали? – спросил Карп, любивший покалякать о политике.

– Ни за кого я не голосовал, – не задержался с ответом Мика Гольдштейн. – Теперь у нас это можно.

– Голосовать – надо! – выставив указательный палец наподобие пистолетного ствола, назидательно произнёс Ефим Карп. – Я, например, голосовал за религиозную партию.

– Я, может, тоже проголосовал бы за религиозную партию, – с сомнением в голосе сказал Мика, – но у нас, как вы помните, нет никакой религиозной партии.

– В России живёт миллион евреев, – скал Карп, – включая скрытых. Пора уже создать еврейскую религиозную партию.

– Только этого нам не хватало! – в сердцах махнул рукой Мика Гольдштейн, и мальчик Ваня с интересом уставился на отца. – Нас никто пока не трогает, вон наши даже трамвай хотят перенести из Марьиной Рощи, чтоб там не ездили по субботам. Зачем нам еврейская партия?

– Чтоб участвовать в политическом процессе, – твёрдо сказал Карп. – Без этого нельзя почувствовать себя полноценным гражданином.

– Мы один раз уже почувствовали, – покачивая головой, как еврей на молитве, сказал Мика. – В семнадцатом году. И куда это завело?

Разговор принимал политический характер, и Карп подобрался, готовясь дать отпор.

– Да, завело, – согласился Карп. – Но, как говорят наши мудрецы, и это к лучшему. Где я сейчас? В Иерусалиме. А не было б семнадцатого года, гнить бы мне где-нибудь в Крыжополе.

– Если б вас немцы не сожгли, – дал комментарий Мика Гольдштейн, – и большевики не посадили.

– Нет, нет и нет! – тыча указательным пальцем, твердил Карп. – Не в этом дело! А в том дело, что большевики до того довели евреев, что все мы уехали. Рав Герцберг так говорит, я сам слышал.

– Ну, положим, не все, – упрямо возразил Мика. – Я, например, не уехал. И даже не собираюсь.

– Вам там лучше? – участливо спросил Ефим Карп.

– Не знаю, лучше или хуже, – честно сказал Мика. – Привычней...

– Я уехал, она, – тыча пальцем в Беллу, сказал Карп, – уехала, а вы не уехали. Скажите мне – почему?

– Вам тут скучно без меня? – попробовал отшутиться Мика Гольдштейн. – Выгляните в окошко – кругом одни евреи! И что это вы всё время в меня тычете пальцем? В Москве вы ни в кого не тыкали.

– Я вас спрашиваю без всяких шуток, – вдруг посерьёзnel и погрузнел Ефим Карп. – Почему вы не едете? Я всё время спрашиваю самого себя – почему вы все там сидите?

Глядя на погрузневшего Карпа, Мика замешкался с ответом. Действительно, почему он не едет? Деньги его в Москве не держат – нет у него ни копейки за душой, семья тоже; вон и русская Белла с разучившимся говорить на родном языке Иваном уже здесь. Дружьями он особо не обременён, собутыльниками тоже. Берёза, конечно, лучше пальмы – но когда он её в последний раз видел, эту берёзу! Настоящая русская берёза растёт не в московском ботаническом саду, а, наверно, в деревне, о которой Мика Гольдштейн читал у писателя Виктора Астафьева и куда ездил на первом курсе института «на картошку» – помогать крестьянам на колхозных полях. Тот подшефный колхоз располагался среди степей, в безлесном краю; берёзы там вроде бы росли, но – штучно, лишь там и сям. Мике

Гольдштейну колхозный ландшафт запомнился смутно, потому что все воспоминания, от первого до последнего дня, сводились к сиденью в сыром бараке и питью вонючего самогона, произведённого крестьянами из той самой картошки, на уборку которой студентов прислали в порядке шефской подмоги и для привития трудовых навыков. Крестьяне, впрочем, и сами справлялись неплохо: сырьё для производства самогонки хватало сполна, они гнали её по верным дедовским рецептам и продавали студентам по три рубля за трёхлитровую банку из-под маринованных огурцов. По распитии порожнюю банку надлежало вернуть продавцу для нового наполнения: со стеклянной тарой в колхозе был острый дефицит... И кого уж тут винить в том, что дождь лил день и ночь, не давал носа высунуть из промозглого барака и однозначно препятствовал привитию навыков!

Так и не найдя, что бы такое сказать Карпу, Мика Гольдштейн уклонился от прямого ответа.

– Просто вы уехали, а я не уехал, – скучно сказал Мика. – Вы такой, а я – другой. Вот и всё.

– Нет, нет и нет! – вдруг раскалился Ефим Карп. – Я такой, и вы такой. – Теперь он тыкал пальцем вверх, в потолок, как будто задумал сдвинуть его с места и открыть над ними бесконечное небесное пространство. – Мы все такие, уж поверьте вы мне!

Молча слушая мужа, Белла согласно покачивала головой, а мальчик Ваня, шевеля губами, читал про себя книгу на иврите в потёртом синем переплёте.

– А насчёт ногтей вы не беспокойтесь, – прощаясь, сказал Мика неведомо зачем. – Я в Москве у кого-нибудь спрошу.

Вернувшись в Москву, к географическим занятиям и привычной, накатанной жизни, Мика Гольдштейн вдруг почувствовал себя несколько иначе, чем до поездки. Учителя – коллеги по работе, не говоря уже об учениках, в большинстве своём из Храпунова далее Тамбова или Орла не выезжали. Турпоездка Мики Гольдштейна в дальнее зарубежье, на халяву, только по той причине, что он еврей, и больше ни по какой, представлялась им счастливым выигрышем по лотерейному билету; тут было чему позавидовать. Преподаватель истории в старших классах высказал волнение коллектива предельно точно:

– Я русский человек, – сказал этот учитель, по фамилии Третьяков. – Историк. И меня никто никуда без денег не везёт, даже в исторический Санкт-Петербург, хотя это рядом. А Гольдштейна, только потому, что он еврей, совершенно бесплатно отправляют в Иерусалим, где, между прочим, Христа распяли. Везёт же иногда людям, но только не нам, русакам!

Мика Гольдштейн если и не расхаживал по школе гоголем, то только по причине скромности характера. Ощущение избранности, однако, крепко в нём засело; статус его среди сослуживцев повысился. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться совершенно новым ощущением жизни, но не было поблизости уха, готового безропотно его выслушать. Тогда он отправился на Измайловский рынок.

Там, на Измайловском, торговал пушками Игнат Терентьевич Шурин – давний знакомец Мики Гольдштейна. Всякий раз, приходя на рынок, Мика начинал обход рядов с Игната Шурина, с которым при-

ятно было вести лёгкий разговор, скользящий по поверхности жизни. Да Мика сюда, на Измайловский, и являлся, чтоб глазеть на занятые красивые вещицы, которые даже и не думал покупать, и болтать о том о сём с покупателями и продавцами. С Шуриным, приятным человеком, умевшим слушать, не вставляя палки в колёса разговора, и решил беспрепятственно поговорить Мика Гольдштейн.

Игната Терентьевича Мика нашёл на его рабочем месте, в торговом ряду. Слева от него, в тесноте да не в обиде, предлагал желающим художественные поделки из кости румяный здоровяк в расцвете сил. Здоровяк на разные лады нахваливал свой товар и доверительно сообщал, что поделки вырезаны из запрещённого к добыче мамонтова клыка и тайком доставлены им, здоровяком, на Измайловский рынок напрямик с Колымы, где мороз достигает 51 градуса. Справа от Шурина располагался смирный торговец потрёпанными старинными куклами, одетыми в кружевные панталоны. Сам Игнат Терентьевич был занят делом: для наведения коммерческой красоты притирал смоченной подсолнечным маслом тряпочкой свои пушки и пушечки. Орудий пальбы у него было немало – от совсем маленьких, на брелочной цепочке с колечком, до чёрной, с четырьмя ядрами горкой, подарочной Царь-пушки каслинского чугунного литья. Радовали глаз и искусные модельки помельче: противотанковые сорокапятки, мортиры и старинная гаубица для стрельбы каменной картечью. Свой пушечный выбор Игнат Терентьевич объяснял тем, что служил когда-то, в далёкие года, в артиллерийских силах подносчиком снарядов. Торгуя Шурином субмаринами на рынке, он назвался бы, ради оживления картины, подводным моряком. Торгуя он самолётчиками – назвался бы лётчиком-испытателем. Игнат Терентьевич Шурином понимал толк в торговле.

– Ну и замечательно! – сказал Шурин, выслушав рассказ Мики Гольдштейна об изменении статуса. – Это же просто зависть! А вам что – жалко?

– Нет, – пожал плечами Мика. – Но это же бессмыслица: мне завидуют, потому что я еврей.

– А разве вы не еврей? – Игнат Терентьевич взглянул на Мика с большим интересом. – Я-то думал, что – да...

– Ну да, – сказал Мика. – Так я и не скрывал, просто случай не подворачивался сказать.

– И мне тоже, – Шурином глядел теперь чуть рассеянно. – Не подворачивался.

– Что-что? – спросил Мика и глаза выкатил.

– А то, что я – Урин, – приглушённым голосом дал справку Игнату. – Исаак Тувьевич Урин. Вы в какую синагогу ходите?

– Ни в какую я не хожу, – ошарашено вымолвил Мика Гольдштейн. Открыть соплеменника в измайловском торговце пушками Игнате Шурине он никак не ожидал.

– А я в Марьину Рошу, – сказал Шурин-Урин. – С гоями, конечно, хорошо, – он поглядел направо, потом налево, – но надо же иногда побыть и среди своих.

«Умный человек, – раздумывал и рассуждал Мика Гольдштейн, умилённо глядя на торговца пушками. – Сидит себе на Измайловском рынке, ходит в синагогу и никуда не собирается уезжать. Он тоже другой, и сколько нас, таких! Ну, я, положим, учитель геогра-

фии, а он пушками торгует. И чему я могу его научить? Что город Мапуту – столица Мозамбика? А вот я у него смог бы кое-чему подучиться. Немного торговать, например».

– Когда я недавно был в Иерусалиме... – пустился в воспоминания Мика Гольдштейн.

– Я там жил на улице пророчицы Деборы, – перебил Шурин-Урин. – Боже, какая красота!

– ...мне там свои люди предложили одно дело, – продолжал Мика. – Можно сказать, бизнес.

– Бизнес, – задумчиво повторил Шурин-Урин. – Что за бизнес?

Минут через десять бизнес-план был набросан вчерне. В нём фигурировали два чемодана китайских ногтей, услуги московского таможенника, иерусалимский Карп Ефим, распространители продукции в Рамле и челночный полёт Исаака Тувьевича собственной персоной в город-порт Шанхай.

– Значит, вы сами полетите? – уточнил Мика. – В Шанхай?

– Да, – подтвердил Шурин-Урин. – Дело того стоит, это я вам говорю.

– А это не опасно? – озаботился Мика Гольдштейн. – Вас никто не поймают на границе?

– У меня израильский паспорт, – похлопал себя по карману Исаак Тувьевич. – Как и у вас, я надеюсь.

– Ну да, – выдавил Мика Гольдштейн. – А как же...

– Потому что делать бизнес нам надо с израильским паспортом, – поучительно сказал Шурин-Урин. – Это проверено. Ногти, когти, гречка – какая разница? Главное – наладить сбыт через этого вашего Карпа. Вот увидите, через полгода вы уволитесь из школы, а через год переедете в новую квартиру.

С Измайловского рынка Мика Гольдштейн уходил окрылённым надеждой. День ему казался светлей, шаг – легче, а перспективы масленей. В метро он вглядывался в лица пассажиров, гадая, у кого из них лежит в кармане израильский паспорт.

«Лишний паспорт никому не мешает, – твердил про себя Мика. – Тем более что это нужно для бизнеса. Пора, в конце концов, подниматься с колен!»

И были ногти, и была гречка, и были кошерные парики: бизнес пошёл.

И стало на свете одним «другим» меньше: Мика Гольдштейн живёт на два дома – в Тель-Авиве и в Москве. В совладельцы учреждённой бывалым Исааком Тувьевичем Уриным фирмы «Тройка удалая» входит, помимо него самого и Мики, бывший музыкальный критик Ефим Карп. С должности преподавателя географии в храпуновской средней школе Мика давно уволился, зато сам прилежно изучает практическую географию, путешествуя из страны в страну по торговым делам.

Подлетая к Израилю со стороны Средиземного моря, Мика Гольдштейн всякий раз вглядывается через иллюминатор в береговую линию и подносит платочек к повлажневшим глазам – хочется надеяться, что от счастливого волнения.

## ДОРОГА НА ХЕВРОН

### *Хава-Броха Корзакова* *ИЗ ПОСВЯЩЁННОГО ПЛАВУ ЛИОНУ*

\* \* \*

Прекрасное предутреннее небо,  
Не чувствуется ночью Рамадан –  
Все сыты, кое-кто ещё и пьян,  
Но тёплый запах арака и хлеба

Моей не достигает высоты,  
А только запись пенья с минарета,  
И точно так же ты – поёшь ведь где-то,  
Услышу запись, может быть, но ты

Дыханьем вожаденным предрассветным  
Согрел другую – или никого,  
Я не прошу тебя беречь его,  
Я счастлива и этим безответным

Предутренним моленьем. Этот пост  
На целый год, увы, и ночью тоже,  
Пока ты не приедешь, не поможет  
Мне разговеться ни одна из звёзд.

18.08.2010

\* \* \*

Две бабочки любовную игру  
Затеяли на нашей верхотуре.  
Летающие низко по натуре,  
Чего вы ждёте – смерти на миру?

Так птички обеспечат. Не сотру  
Сочувствия слезу – знакомо дуре,  
Учёной предающейся халтуре,  
Когда летать охота поутру.

А если бы и вправду я взлетела,  
Найдя второе выпретенное тело?  
Смогла б я удержаться от борщей?

И не проверишь, мы летаем розно...  
А птички Афродиты гулят грозно  
И гонят нелетающих взащей.

30.08.2010

\* \* \*

Иногда мне действительно, в общем, бывает фигово,  
Ну, так это же «в общем»! Подумаешь, я-то – своя,  
И довольно особая. Я разберусь, я готова,  
Мне прекрасно по-своему, главное, я – это я.

Если б я изменила себе и себя изменила,  
Я б добилась тебя, но ведь та, кому так нужен ты, –  
Это я настоящая, любо – не любо. Не мило –  
Не читай, а мечтать не мешай. Мне-то впору мечты.

12.09.2010

\* \* \*

В прохладной дымке силуэты гор,  
Уже нельзя сказать, что предрассветных, –  
Предсолнечных скорее, и бесцветных,  
И безрельефных, плоских, как набор

Универсальных декораций, хор  
Ослов, и петухов, и птиц несметных,  
Подобье мыслей утренних суетных,  
Ночной не заглушает разговор

Несуетный, и вечный, и бесплодный –  
Стихи ведь не плоды, а так, холодный  
Ночной осадок в тяжком чане дня.

Для разговора тёплого, живого  
Мне нужен собеседник, но ни слова  
Во тьме не долетело до меня.

19.09.2010

## ПАМЯТИ ХИЕНКИНЫХ

Никто не думал, чтоб они вот так,  
А вот они вот так, и хрен им в дышло,  
И нож им в руки, и кровавый стяг –  
Всё выходило, так и это вышло.

И чёрт с ними, с детьми и лошадьми,  
Когда один сорвался жеребёнок...  
А Он простит, мы не были б людьми,  
Когда бы смертны не были с пелёнок.

19.09.2010

\* \* \*

Всё в руке Божией  
И в сердце саженом,  
Оно поможет ей  
В заваре каши нам.

А я-то что одна?  
Так, полухорие,  
Но ведь не смерть страшна,  
А безыстории,

Но ведь не жизнь тяжка,  
А безъязычие –  
Я и верна пока  
Своим обычаям.

А если выпадет  
Мне что на сладкое,  
Он, значит, не задет  
Моей тетрадкой.

14.10.2010

## ОТЧАЯННОЕ

Когда живешь вдвоём, понятно, как два па, –  
Быть стервой или нет, скандалить, не скандалить,  
Когда и промолчать, когда и вякнуть, да ведь?  
Когда не надо ныть, когда и pourquoi pas?

А вот когда судьба воистину слепа  
И очевидный брак не пробует исправить  
На брак или союз и тянется одна нить  
Там, где двойной канат не держит? Я тупа,

И вот ты хоть убей, но я не понимаю –  
Допустим, он решил, что хата его с краю,  
Но даже на краю земли известен долг

И вежливость к чужим. Или не так чужда я  
И он не пишет мне, надежду пробуждая  
На будущую связь, на хоть какой-то толк?

24.10.2010

\* \* \*

Не ценят нас любимые. За что?  
А ни за что, такая уж планида.  
Ты так и эдак – он ни с места, гнида,  
Ты ни гугу, а он и рад, а то...



Да кто он вообще-то? Конь в пальто,  
Но кто ж в любимом видит индивида?  
В тебе, конечно, говорит обида,  
А разум где – известно. В «Спортлото»,

Разумница, пиши свои сонеты,  
Проси у статуй подаянья. Где ты  
И что с тобой, ты знаешь и сама.

Но ты бы ведь не предпочла иначе –  
Получше, но с другим, похуже? Значит,  
Безумствуя, ты не сошла с ума.

12.11.2010

\* \* \*

О, как же неприятно мне знаком  
Отчаянный призыв забытой плоти:  
«А как же я?!» Слетев на повороте,  
Пока душа порхала с ветерком,

Она дрожит беспомощным комком  
И плачется, молясь о привороте,  
О снисхожденье, только не найдёте  
Вы снисхожденья к ней уже ни в ком.

Все любят душу, да и то не каждый  
Решится с ней связаться, вдруг однажды  
Она предстанет в жалостной плоти?

Да и с одной душой – одна морока.  
Писательницу что любить до срока?  
Помрёшь – тогда, пожалуй, приходи.

27.11.2010

\* \* \*

Милый мой, я старею, не знаю, сколько успею,  
Я не прошу о подачке – я прошу об отсрочке,  
Если решил отвернуться и со мною не знаться –  
Дай мне ещё хоть книжку, дорисуют уж ей обложку.

Я хочу-то побольше – тебя самого, не меньше,  
Хоть на вечер, на ночьку, у меня ведь вошло в привычку  
Быть с тобой ежечасно, но одной это грустно,  
Душа ещё не устала, но малодушно тело.

8.01.2011

\* \* \*

*Эстер Кей*

Распавшийся глобус в моей руке.  
Он скоро стянется и соберётся,  
И в ногу с Временем – два уродца –  
Рванут по новой, тоска к тоске.

Но сегодня Время бежит за палкой,  
Пространство сгущается, копит тепло...  
Каких-то десять с полтиной прошло,  
И даже не лет, а лун. И не жалко.

А вот когда их совсем развезёт –  
Пространство и Время – у наших тронов,  
Тогда я вздохну, твою руку тронув...  
Дышать раз в год – не всем так везёт.

06.02.2011

\* \* \*

Ещё не встретившись с тобой,  
Я расставанью укасаюсь.  
Ещё немного – и отмаюсь,  
Хоть на недельку, но отбой,

Так что ж я, шарик голубой  
Надув, кольнуть его стараюсь,  
И кажется, вот-вот раскаюсь,  
Что мне годится не любой,

А только тот, что уезжает?  
Ведь это точно выражает  
Бессмертной жажды соль и пот!

Да, мне везут пьянящей влаги,  
Но ведь не хватит полуфляги,  
А только пуще разберёт.

11.03.2011

\* \* \*

Пока мы живы, всё можно решить,  
А вот потом уже не будет нужно,  
Обидно дружно жить – но только дружно,  
Оно и называется «грешить».

А только наконец припрёт – и вшить!  
Пора ложиться вовсе не досужно.  
«А кто он был?» – «Не только что не муж, но  
И не любовник даже». Не ушить

Под белый китл полотнище иное.  
«А кто она была?» – «О, неземное  
Создание – до земли-то не достать...»

Дурацкий диалог, ведь правда? Что же,  
Мы сочинить другие не поможем?  
Не поленюсь. Успеется устать.

19.03.2011

\* \* \*

Какая там весна! А весь-то год при чём?  
Да хоть ещё один – залечит, не залечит...  
Вот разве до смерти, достал ведь чёт и нечет,  
Особенно нечёт с мацовым куличом.

В крови – играй, гормон, а морда – кирпичом,  
Май на календаре, а небо рвёт и мечет,  
И муэдзин орёт – что скворушка щебечет,  
Едва слышать, а ведь не смолкнет нипочём.

Вот так и я пою, и скворушка туда же,  
Чуть ветер стих – а мы опять за ремесло,  
Но с каждым нечетом оно не то что гаже,

А беспредметнее. Вот так нам повезло –  
Билет несчастлив, мы зато с такой поклажей,  
Кондуктору, то бишь Харону, не назло.

20.04.2011

\* \* \*

Безумно тебя полюбив, я вовсе не поглупела,  
Как можно было б подумать, взглянув на меня под утро,  
Но стала меньше писать, как будто бы перепела,  
Как будто оставить то, отпетое, было немудро.

Но я себя не корю за медленное горенье,  
Похоже, перегорят все звёзды, только не это.  
Древо, оно же плод, из черновика Творенья, –  
Кажется, это ты, сходятся все приметы.

26.05.2011

\* \* \*

Ну и «личная жизнь» – что ни загул, то мимо!  
Что тебе всё, если ты нелюбима?  
Что тебе славы невянущей пыльная ёлка,  
Если ты вянешь сама, токуя без толка?

Мне ведь нужна не с неба звезда, а мужчина.  
Правда, он сам – звезда, может, в этом причина?  
Полагаю, вокруг него немало народу,  
У молочных рек он и в ус не дует на воду.

12.07.2011

\* \* \*

Я скучаю, но не тоскую,  
Я уж как-то перетокую,  
Просто знаки перетолкую,  
Всё увижу, чего и нет.

Не хотелось бы догадаться  
До чего-то, чем не гордятся,  
Неохота в конец абзаца  
Из таких золотых тенет.

Пребывание на свободе,  
Наконец, противно природе,  
Ну, а так я при деле вроде,  
Даже если то дело – швах.

Да и что я теряю? Время?  
Что же, лучше возиться с теми,  
Кто не стоит и часа? Лень мне,  
Будь что будет – хоть на словах.

01.08.2011

\* \* \*

Демократ из меня – не ах, с акцентом ближневосточным.  
Кто-то меня не любит – куда? Не имеешь права.  
Я и вправду считаю поцелуй без любви порочным,  
Но это ж я про себя, для вас-то это забава,

Разве нет? Да вот нет, говорят. Говорливы Музы. Но глухи.  
Говорят, выражают мнение, а я тут – как первый лишний.  
До старости далеко, а поди ж ты – сплошные прорухи,  
А всё она, демократия, побрал бы её Всевышний.

11.08.2011

*Алекс Тарн*

*О-О*

1

Дикий Ромео влез на крышу корпуса Би ночью, во время полнолуния. Вообще-то у него было какое-то другое, стандартное человеческое имя, но в Комплексе этого костлявого семнадцатилетнего парня звали именно так – из-за шекспировских масштабов неразделенной любви и дичайших способов ее выражения.

Как-то раз от нечего делать Призрак подсчитал протяженность внутренних стен Комплекса, включая подвал. Подсчитал примерно, на глазок, – в некоторых местах он не бывал ни разу, так что пришлось делать допущения, по аналогии с другими этажами. Получилось не хило – около двадцати километров. И на всем их протяжении, куда ни глянь, красовались граффити, исполненные краской, мелом, углем, дерьмом, кровью.

Разумеется, авторство этих художеств принадлежало не одному только Дикому Ромео. На стенах и потолках оставляли свою пачкотню все кому не лень – и анхуманы-сатанисты, и гиды Мамариты, и хомячки с лохами, и люди Барбура, и бомжи, и даже забитые перепуганные нелегалы. И тем не менее во всем гигантском Комплексе трудно было найти такую точку, из которой не просматривались бы по крайней мере три надписи, сделанные рукой Дикого Ромео.

Они не отличались оригинальностью: судя по всему, всеобъемлющее чувство не оставляло в душе влюбленного даже минимального простора для воображения. «Тали! Тали! Тали!» – стонали нештукатуренные стены коридоров. «Я люблю тебя, Тали!» – с готовностью отзывались балки перекрытий. «Тали! Тали!» – эхом повторяли межоконные проемы. «Я люблю тебя, Тали!» – вторили балкам бетонные плиты потолков и мощные пилоны подвала. И снова: «Тали! Тали! Тали!» – без предела, без смысла, без удержу – словно нескончаемым отражением в бесчисленных, передразнивающих друг друга зеркалах.

Уже одного этого хватило бы для диагноза, но главное безумие Дикого Ромео проявлялось почему-то именно в полнолуние, выходя на пик силы и совершенства одновременно с ночным светилом. Стоило лунному месяцу вступить в свою вторую декаду, как на Ромео нападала странная сонливость, которая, казалось, только нарастала с каждым часом. Он становился рассеян и переставал рыскать по Комплексу в поисках свободного клочка, достойного быть украшенным именем любимой. Чем больше округлялась луна, тем реже Ромео поднимался с матраса в комнате гидов на восьмом этаже корпуса Эй. Днем он спал, а с наступлением темноты садился и так сидел, привалившись спиной к стене и задумчиво уставившись через широкий оконный проем на пустыню, голубую от лунного света, а расшалившийся ночной сквознячок беспрепятственно катал по полу забытые баллончики с краской.

Это началось давно – еще до появления Призрака. Собственно, он и оказался-то в Комплексе лишь для того, чтобы подменять Дикого Ромео во время приступов лунатизма. Кто-то ведь должен был отвечать за экскурсии и собирать дань с лохов и хомячков... Поначалу Барбур, хозяин Комплекса, еще пытался вернуть лунатика в норму. Но безуспешно – Дикий Ромео не реагировал ни на уговоры, ни на тумачи. Позже выяснилось, что его безумие привлекает чувствительную публику, особенно – романтически настроенных девиц. И Барбур тут же отстал, сообразив, что не надо мешать делу, когда оно поворачивается к лучшему, то есть к большим деньгам. А Ромео стал еще одним брендом Комплекса – на манер анхуманов, призраков и собак. Ну и, конечно, О-О. Хотя О-О нельзя назвать брендом. О-О вообще никак не назвать, потому что для О-О нет слова.

В ночь полнолуния, когда над гребнем восточного хребта появлялся тоненький, едва различимый в предвечерних сумерках краешек идеально круглого диска, Ромео вставал, потягивался и шел к лестнице, ведущей на крышу корпуса Эй. Не отрывая глаз от луны, он подходил к самому краю и застывал там на сорокаметровой высоте. Чего именно он ждал, так и осталось неизвестным. Проходили часы, а Дикий Ромео все продолжал торчать над бездной в полной неподвижности, подобно мраморной статуе на карнизе итальянского дворца.

Экскурсанты, которых Призрак размещал для спецпоказа на рампе в хозяйственном дворе Комплекса, начинали проявлять нетерпение, и какой-нибудь особенно бестактный хомячок непременно вылезал с вопросом:

– А когда он будет кричать? Уже ведь совсем темно...

– Когда будет, тогда будет! – обрывал наглеца Призрак. – Кому скучно, тот пусть топает домой, к маме. Никто здесь никого не держит.

И хомячок послушно захлопывал свою тупую хлебoreзку. За экскурсию в полнолуние с лохов брали по двести пятьдесят шекелей – почти втрое дороже обычного тарифа, деньги вперед.

Наконец огромная желтая луна целиком выкатывалась наружу и на минутку-другую застывала у кромки неровного, словно мышами изгрызанного горизонта... изгрызонта... Временами Призраку казалось, что причиной этой странной задержки был не кто иной, как сам Дикий Ромео: луна замечала его неподвижную ждущую фигуру на крыше и приостанавливалась в замешательстве, прикидывая, не лучше ли повернуть назад. Но мощь всемирного тяготения пересиливала страх, и луна, постепенно бледнея и уменьшаясь в размерах, принималась осторожно ползти вверх по дырявому куполу неба.

И в этот момент тишину замершей в ожидании вселенной пронзал оглушительный вопль Дикого Ромео: «Тали! Тали! Тали! Я люблю тебя, Тали!» Это всегда становилось неожиданностью, хотя и повторялось ежемесячно. Но, видимо, у луны короткая память или она слишком занята другими проблемами – например, непрерывной ликвидацией ущерба. Так или иначе, дико-ромеов крик всякий раз заставлял ее врасплох. Бедняжка вздрагивала в крайнем испуге и, едва удержавшись наверху, судорожно вцеплялась в ветхую небесную ткань, отчего в последней немедленно проклевывались новые звездные дыры.

Хомячки на рампе единодушно выпускали вздох, словно превращаясь в одно существо, в одного большого тупого противного хомя-

чину, или скорее даже – хомячиху, а голубые холмы пустыни подхватывали пронзительный любовный зов и, покидав его, как мячик, от склона к склону, возвращали обратно эхом – многократно усиленным, но непоправимо искаженным, чем-то вроде «...блюю... ебя... али!!!».

– Тали! Тали! Тали! – снова и снова выкрикивал Дикий Ромео, требовательно простирая руки к насмерть перепуганной луне, и та снова и снова вздрагивала, роняя белый обильный пот с белого круглого живота... белые капли лунного пота, белые брызги лунной световой взвеси, белого лунного тумана, белой лунной месячной крови.

А Ромео срывался с места и принимался бегать. Он бегал по самому краю крыши, по самому краю жизни, по крошащемуся бетонному бордюру, не глядя под ноги, то и дело спотыкаясь, теряя равновесие и зависая над пропастью одной ногой... – «Ах!» – выдыхала противная хомячиха на рампе – и тут же чудом выправляясь при помощи отчаянного взмаха рук... – «Ух!» – синхронно отзывалась хомячиха. Он просто бегал и кричал, но Призраку казалось, что Дикий Ромео продолжает рисовать свои любовные граффити – только там, на крыше, он создавал их не краской, а криком – своим пронзительным криком и белым лунным потом, белой лунной кровью на черной простыне неба.

Где-то далеко внизу на шоссе останавливался патрульный хаммер, трое неторопливых парней в форме спрыгивали – крепкими ботинками в голубую дорожную пыль – и закуривали, шурясь на темную громаду Комплекса и нежно прижимая к груди свои родные – роднее родной матушки – автоматы.

– Опять он?

– Ну да. Каждое полнолуние, как часы.

– Неужели из-за бабы?

– Ага... Докуривай и поехали.

Проходил час, другой. Луна забиралась в такие выси, где могла чувствовать себя в безопасности, и мало-помалу прекращала потеть. Большая хомячиха толпы, устав от переживаний, вновь распадалась на мелких хомячков и лохов, которые, в свою очередь, принимались зевать и постепенно расходились. Проводив клиентов, отправляясь на боковую и Призрак. Патруль на следующем витке своего маршрута уже не проявлял к происходящему прежнего интереса. Последним сдавался сам Дикий Ромео. Окончательно ослабев, он опускался все на тот же бордюр кровли и затихал, забывшись в глубоком сне. Утром он спускался на Эй-восьмой этаж белый от страха, потому что в обычном своем состоянии боялся высоты, и можно только представить, как пугало беднягу пробуждение на самом краю бездны.

Друзья-гиды встречали Ромео сочувственно. На плитке у сердобольной Мамариты ждали специально приготовленная овсянка, кофе и любимые Диким Ромео картофельные оладьи – драники. Перекусив и встряхнувшись, он возвращался к повседневности, то есть снова принимался водить экскурсии, собирать дань с лохов и вести сложные денежные расчеты с Барбуром, а в перерывах между этими занятиями – оставлять любимое имя повсюду, куда только доставали мел, уголь, авторучка или струя краски из аэрозольного баллончика. И так – до следующего раза, до начала очередной второй декады, до нового припадка, неотвратимого, как фазы луны, как заунывные повторы монотонной пастушьей флейты. И казалось,

ничто не может помешать этому порядку – вечному, как луна и как флейта, пока сам Дикий Ромео не изменил ему в пятнадцатый день осеннего месяца мархешвана.

Призрак узнал об этом слишком поздно. Он как раз рассаживал на рампе группу из двадцати хомячков, когда где-то в недрах Комплекса зародился знакомый грохот и стал нарастать, приближаясь. Это разозлило Призрака, ибо абсолютно противоречило правилам Комплекса. Даже самая гениальная картина требует достойной рамы, и романтическое представление на краю крыши не являлось в этом смысле исключением. По опыту, пронзительные вопли Дикого Ромео лучше всего обрамлялись полной тишиной и торжественной робостью публики. Не скрывая раздражения, Призрак строго-настрого наказал хомячкам не двигаться с места и поспешил навстречу шуму. Он перехватил Чоколаку в коридоре Би-первого этажа, хорошенько тряхнул, взяв за грудки, и только после этого зашипел в испуганное черное лицо:

– Ну что ты гремишь своими сапогами? Ты что, тише не можешь? Ты что, у себя в Эфиопии так же гремел? Ты ведь там босиком бегал, правда?.. Вот и тут босиком будешь, я тебе обещаю... Сколько раз повторять: во время экскурсии никакого шума! Ни-ка-ко-го! Понял?!

Чоколака не вырывался, а только хрипел, панически вращая глазами; ослепительные белки мелькали в темноте коридора, как полицейская мигалка-чоколака. Никогда еще кличка эфиопа не выглядела настолько уместной, и Призраку стало смешно.

– Понял? – уже значительно мягче переспросил он и ослабил хватку. – Ты же знаешь – это его последнее шоу. Мог бы и поаккуратней. Тише ходишь – толще будешь.

– Сам ты у себя в Эфиопии босиком бегал, – обиженно сказал Чоколака, потирая шею. – А я тут родился и Эфиопии в глаза не видал. И вообще – меня Безр-Шева к тебе послал, срочно. А ты сразу душишь...

Призрак смущенно кивнул.

– Ну извини. Хотя шуметь все равно нельзя, что бы ни случилось. А что, кстати, случилось? Только быстро, Чоколака, у меня там два десятка хомячков на рампе. Еще расползутся по этажам, ищи их потом...

– Это Ромео... – прошептал эфиоп. – Что-то с ним не в порядке...

Из поспешного и сбивчивого рассказа Чоколаки выходило, что на сей раз, встав с матраса, Дикий Ромео не воспользовался, как обычно, ступеньками, ведущими на крышу корпуса Эй, а проследовал дальше, повернул направо в коридор корпуса Би и, дойдя до его внутренней лестницы, стал подниматься. Безр-Шева, который, почуввав неладное, шел за ним, беспрестанно уговаривая вернуться, сначала решил, что Ромео хочет повидаться с Барбуром или с кем-то другим из обитателей Би-девятого этажа, но лунатик миновал резиденцию Барбура, даже не повернув головы. Не доходя до Би-десятого уровня, Безр-Шева сделал последнюю попытку удержать Дикого Ромео, но опять безуспешно – тот продолжил свой путь наверх, прямоком в запретную зону. Тогда Безр-Шева вернулся и послал Чоколаку к Призраку за инструкциями.

– У него даже не было с собой фонаря... – добавил эфиоп, словно оправдываясь.

Призрак кивнул. У него и в мыслях не было обвинять Безр-Шеву в малодушии. С фонарем или без фонаря, выше девятого этажа



корпуса Би не поднимался никто. Вернее, никто из отважившихся на это безумцев не возвращался оттуда живым. По крайней мере, так утверждали легенды Комплекса, а «легенда» далеко не всегда означает «выдумка», особенно когда речь идет о Комплексе.

– Что делать, Призрак? Может, позовем Барбура?

– Поздно уже, братан... – сказал Призрак после минутного размышления. – Раньше надо было вязать, да кто же знал? Пойдем, пока хомячки не заскучали. Разбегутся – вообще балаган будет...

С тяжелым сердцем они вернулись на рампу. Хомячки и не думали скучать – задрав головы и возбужденно переговариваясь, они топтались во дворе. Призрак пересчитал клиентов и вздохнул с облегчением – все двадцать на месте. Хоть в этом повезло...

– Алло, парень, – прервала ход его мысли развязная девица с биноклем. – Ты, помнится, говорил, что на самый верх центрального корпуса не пройти, и все такое. Типа, верная смерть, и все такое. О-О, и все такое... Говорил ведь, правда? Тогда как он туда залез?

– Кто, куда? – успел переспросить ее Призрак, прежде чем Чокола дернул его за рукав и указал вверх.

На головокружительной высоте крыши корпуса Би можно было ясно различить тонкую фигурку Дикого Ромео. Он стоял точнехонько на углу, в двадцати метрах выше кровли восьмизэтажного корпуса Эй, то есть в двадцати метрах выше своего обычного полнолунного поста. Призрак заметил его так поздно только потому, что по привычке искал лунатика совсем в другом месте. Но Дикий Ромео действительно был там, на самой верхотуре! Он умудрился пройти! Пройти без фонаря, загадочным образом миновав легендарные провалы и ловушки! Это казалось немыслимым...

– Ну так как же? – не отставала девица.

– Заткнись, дура, – намеренно грубо отвечал Призрак, не отрывая глаз от Дикого Ромео. – Это чудо, поняла? Чудо чудное... Так не бывает...

– А хамить-то зачем? – сказала девица, напуская на себя оскорбленный вид, и оглянулась, ища глазами заступника.

На экскурсии хомячки приходили как минимум парами, а то и крупными стаями, так что заступник непременно присутствовал. «Давай-давай, – радостно подумал Призрак. – Сейчас я вам мозги вправлю, лохи поганые...»

– Да, вот именно, – солидно выговорил парень лет двадцати. – Деньги-то взял, зачем же...

– И ты заткнись, лошара, – надменно процедил Призрак. – Права они качают, хомячки вонючие... Вывеску на заборе видели? А будку охранника у ворот? Комплекс – запретная зона. Запретная! А это значит – штраф три тысячи с рыла плюс уголовное дело. Вот как свистну сейчас, да как менты налетят, куда вы тогда денетесь, лохари? Я-то спрячусь, а вы куда побежите? Ну что, свистеть?

Он достал из кармана свисток и покрутил его на пальце. Чокола улыбался, хомячки испуганно переглядывались. Призрак подождал еще немного и удовлетворенно кивнул.

– То-то же. Вы сюда смотреть пришли, удовольствие получать – вот и получайте. А кому не нравится, может катиться. Условие какое было? Гида слушать во всем, вот какое. Для вашей же безопасности, дураки. Чтoб в дыры не провалились. Чтoб собаки вас не за-

драли. Чтоб ваших же телок суданские нелегалы на шашлык не натянули. Вот ты, с биноклем, хочешь на суданский шашлык?

Девушка молчала, закусив губу.

— О'кей, — снова кивнул Призрак. — Не хочешь. Значит, будем считать, что взаимопонимание достигнуто. Тогда позвольте узнать — что вы делаете во дворе? Я вас куда сажал? На рампу? Вот и марш на рампу! Живо!

Хомячки понуро потянулись на рампу. Чоколака смотрел с понимающим сочувствием: выволочка, которую Призрак устроил ни в чем не повинным клиентам, призвана была продемонстрировать самому gidу, а заодно и всему остальному миру, что события — под надежным контролем, что необходимый порядок соблюден, что каждая отдельная вещь пребывает на своем, заранее отведенном месте. Увы, в действительности все обстояло иначе, и, чтобы понять это, достаточно было просто взглянуть вверх, на Дикого Ромео, который по-прежнему неподвижным пальцем торчал на принципиально недоступном углу принципиально запретной Би-крыши.

Но кто мог исправить эту вопиющую несообразность? Никто. А потому им оставалось лишь ждать — ждать и надеяться на лучшее. На востоке наливалось желтым жиром огромное пузо луны, двадцать хомячков робко кучковались на рампе, в цокольном этаже корпуса Эй взвизгнула собака, взорвался и тут же смолк многоголовый лай. Со стороны корпуса Си тянуло дымом и вонью: нелегалы что-то варили на ужин — уж не крыс ли?

— Призрак... — прошелестел над ухом Чоколака, — Призрак, смотри...

Призрак поднял глаза. Тонкая фигурка на крыше пришла в движение — Дикий Ромео медленно поднимал и опускал руки, словно взвешивая на них пухлую тушку луны. Обычно сразу после этого он издавал свой первый, самый пронзительный крик. «Может, еще обойдется, — с надеждой подумал Призрак. — Лунатику ведь без разницы, где ходить, по карнизу или по шоссе — лишь бы к луне ближе. Ему что крыша Эй, что крыша Би — один черт. И на легенды лунатики плевать хотели. Сейчас вот завопит и начнет свою беготню, на радость хомячкам. Вопрос только, как его выводить оттуда потом, наутро...»

Но решать этот вопрос не пришлось, потому что Дикий Ромео не стал ждать до утра. Вместо того чтобы, как обычно, закричать, он вдруг покачнулся и съехал, словно разом потеряв в росте не менее полуметра. Руки, еще минуту назад плавно и уверенно игравшие с луной, теперь судорожно дергались, бессмысленно цепляясь за воздух.

— Призрак, что это с ним?

— Погоди, Чоколака...

Со стороны рампы донеслось восторженно-испуганное «ах!» хомячков; какая-то дура завизжала, и Призрак невольно обернулся. Верещала девушка с биноклем — ей было видно куда лучше, чем остальным.

— Он смотрит на нас! — кричала она, не отрывая глаза от окуляров. — Прямо на нас! Он боится! Он хочет что-то сказать, но не может... Ему надо помочь! Сделайте же что-нибудь!

Дикий Ромео качнулся назад, от края. Призрак не мог разглядеть его лица, но для того чтобы оценить состояние, в котором пребывал

лунатик, этого и не требовалось – в каждом движении Ромео сквозил чрезвычайный, панический, не контролируемый разумом страх. Страх сковывал не только сознание, но и мышцы – видимо, поэтому Дикий Ромео, как ни старался, не мог сделать элементарного шага назад, с бордюра. Всего лишь шаг назад... да какой там шаг – если он не доверял своим вибрирующим от ужаса коленям, то можно было бы просто присесть и потом отползти или даже упасть на спину... хотя кто знает – что у него там за спиной... Да что бы там ни было! Что бы там ни было – это во всех случаях лучше, чем падение с высоты шестидесяти метров!

Призрак вдруг обнаружил, что кричит – еще громче и истеричней, чем девица с биноклем.

– На спину! – кричал он, сложив рупором ладони. – Падай на спину! Или присядь!

Ромео снова качнулся взад-вперед. Одной рукой он продолжал цепляться за воздух, а вторая зачем-то вытянулась вперед, к ухмыляющейся луне. Теперь уже Призраку казалось, будто парень борется с кем-то – там, наверху, будто он старается на всю катушку, прилагает все силы, чтобы отшатнуться от пропасти, налегает всем телом, всей тяжестью, всем своим неподъемным ужасом... – старается – и не может, не может – словно кто-то невидимый толкает его в спину точно с такой же силой, словно сама луна тянет его к себе, крепко-накрепко ухватившись за неосмотрительно вытянутую руку.

Хомячки взвыли; изогнувшись неведомым знаком, Дикий Ромео оторвал от бордюра ногу, еще один раз отчаянно дернулся, пытаясь оттолкнуть себя от края, от бездны, от смерти, – и полетел вниз. Он летел бесконечно долго, судорожно раскорячившись и переворачиваясь в воздухе, как пустой мешок из-под цемента. Он летел и кричал одно только слово:

– Тали-и-и!..

Крик смолк лишь тогда, когда Дикий Ромео долетел до рампы корпуса Би. Послышался хруст и тяжелый шлепок, что-то брызнуло по сторонам. Призрака передернуло, он с отвращением отер щеку, едва справившись с приступом тошноты.

– Как же это, Призрак? Как же это... – забормотало, запричитало рядом.

Окончательно придя в себя, Призрак схватил эфиопа за плечи и встряхнул:

– Эй, Чоколака! Я с тобой разговариваю! Куда ты косишься – на меня смотри, на меня! Беги за Барбуром. За Барбуром, я сказал! Он тут босс, вот он пускай и решает. Слышал?! Пошел!

Отправив гонца, он повернулся к хомячкам. Что бы в дальнейшем ни решил Барбур – вызвать полицию или обойтись без нее, присутствие двух десятков случайных свидетелей-лохов выглядело здесь решительно неуместным.

## 2

– Если задерживаешься, не забудь позвонить родителям, – говорила Мамарита всякий раз, когда кто-нибудь прощался.

Сначала это раздражало Призрака, потом вошло в привычку, но привычку неприятную. Настолько, что он взял себе за правило уходить

незаметно, по-английски, намеренно избегая всяких «до свидания», «пока» или «ну, я пошел». Но когда все-таки срывалось – невольно, автоматически, – и Мамарита столь же автоматически отзывалась своим вечным наставлением, Призрак, поморщившись, отвечал:

– Я сирота, Мамарита.

– До свидания, Менаш, – кивала она, явно не расслышав, а если и расслышав, то не приняв во внимание смысл его ответа.

Менаш. Менаше. Так Мамарита именовала всех парней с восьмого этажа корпуса Эй – и Призрака, и Дикого Ромео, и Безр-Шеву, и даже его черного друга Чоколаку.

– Я – Призрак, Мамарита.

– Да-да, Менаш, конечно. Значит, договорились? – и она, заговорщицки улыбаясь, изображала, будто подносит к уху телефонную трубку. – Не забудь!..

– Не забуду... – сдавался Призрак.

Призрак. Менаш. Сирота. Все это было чистой воды враньем – и первое, и второе, и третье. Если, конечно, можно уподобить вранье чистой воде. На самом деле его звали Цахи, Цахи Голан – самый младший и самый неудачный отпрыск вполне живой и, в общем, благоденствующей семьи. Отец – бригадный генерал, еще с молодых лейтенантских погон метивший в начальники генштаба. Мать – известная журналистка, не слезающая с телеэкранов и газетных полос. Старший брат тоже пошел по военной линии и теперь умело продвигался от звания к званию в мощной кильватерной струе отцовской карьеры. Две сестры – обе замужем за большими деньгами, которые, как известно, всегда липнут к высоким чинам. И только Цахи – урод, тот самый, из пословицы про семью. Ни пришей ни пристегни – ни к папашиней кильватерной струе, ни к мамашино-му немолкнущему микрофону...

Он и на свет-то появился нештатно – поздним, нежеланным и ненужным ребенком. В дождливом ноябре 95-го, вернувшись с похорон застреленного премьер-министра, Голаны сидели в кругу заплаканных друзей. Говорили разное – о трудном часе, общих врагах, разрушенных надеждах, о личном вкладе и личном долге. В воздухе висела неловкость: при жизни отношение к покойному было весьма непростым даже среди его ярых союзников, и теперь они вынужденно маскировали прискорбное отсутствие скорби чрезмерной ненавистью и экзальтацией. Поэтому никто из присутствующих не принял всерьез торжественный обет Ариэлы Голан родить – из принципа! – мальчика и назвать его – из принципа! – Ицхаком, в честь и вместо убиенного. А муж – тогда еще подполковник – и вовсе с трудом скрыл усмешку: Ариэле в то время было уже хорошо за сорок – не тот возраст для беременности. Тем большим было его удивление, когда той же ночью жена приступила к исполнению обещания.

– Господь с тобой, Ариэла, – пробормотал подполковник Голан, почувствовав на себе ее требовательную руку, что само по себе представляло немалую редкость в эти годы давно уже остывшего супружеского пыла. – В такой-то день, после похорон...

– Именно в такой день! – отвечала она со слезами в голосе. – Они убили одного Ицхака – мы родим миллионы новых!

Поняв, что лучше не спорить, подполковник закрыл глаза; память его привычно воззвала к образу молоденькой крутобедрой секре-

тарши... – и секретарша, как водится, не подвела. Наутро, казалось, жизнь вернулась на прежние рельсы. Голан, позавтракав, отправился по месту службы, а Ариэла проснулась поздно и с ужасающей мигренью, которая разом вышибла из нее остатки вчерашнего истерического восторга – вместе с воспоминаниями о взятом на себя безумном обете. Но увы, все это только казалось. То ли обманутое воображенными секретарскими прелестями подполковничье семя повело себя особенно шустро, то ли чрезмерная экзальтация действительно способствует возрождению почти увядшей утробы – так или иначе, но Ариэла Голан и в самом деле забеременела, совсем как престарелая библейская Сарра.

Как и Сарра, она никак не ожидала столь экстравагантной выходки от своего немолодого, отяжелевшего, насквозь прокуренного тела. Головные боли и тошнота давно уже сопровождали ее повседневными спутниками, а потому будущий Ицхак долго оставался незамеченным, пока случайный медосмотр не вывел его на чистую воду. В принципе, было еще не поздно вывести его вообще, буквально, в тазик, но женщину одолели сомнения.

Причиной тому стала еще одна случайность: всего месяц назад у старшего сына Голанов родился первенец. Взяв на руки своего первого внука, Ариэла внезапно ощутила что-то похожее на зависть к счастливой невестке и с удивлением осознала, что хочет того же – хочет ребенка. Конечно, она тут же посмеялась в душе над своими столь не ко времени вернувшимися материнскими инстинктами. Она почти сразу забыла об этом забавном казусе и не вспомнила бы о нем никогда, если бы в ее собственном животе вдруг не проклюнулась ни с того ни с сего новая, непрощенная и нежданная жизнь.

Своими сомнениями Ариэла поделилась с лучшей подругой. Едва не подавившись мороженым, та округлила глаза и сказала с восторгом – чересчур пылким, чтобы быть искренним:

– Надо же, какая молодец! А мы-то не верили...

– О чем ты? – не поняла Ариэла.

– Ну как же... ты ведь сама говорила: в память об Ицхаке...

Тут только ей и вспомнился ноябрьский обет. В его свете открытый и преднамеренный аборт кандидата в новые Ицхаки выглядел бы не просто нарушенным обещанием, но двусмысленной, прямо-таки кощунственной в политическом смысле акцией, едва ли не повторным покушением! Последние пути к отступлению отрезал муж, неосмотрительно выразивший категорическое несогласие с намерением оставить ребенка. Подобный наглый мужской диктат Ариэла не могла вынести по чисто идеологическим, феминистским соображениям. Теперь ей оставалось надеяться только на выкидыш, который, впрочем, выглядел почти гарантированным по причине продвинутого возраста.

Но маленький зародыш упорно цеплялся за жизнь и отказывался выпадать в небытие – в итоге его не смогли вытурить туда ни горячие ванны, ни поднятые тонны, ни намеренно беспорядочный образ жизни. Он появился на свет лишь в июне – недоношенным, но живым, хотя и познавшим еще до рождения горечь материнской враждебности. И не только враждебности – с враждебностью еще можно было как-то бороться, отвечая ударом на удар, вступая в переговоры о мире, отвоевывая права, территории и в конечном счете если

не дружбу, то хотя бы добрососедство. Но ложь... с ложью он так и не научился справляться.

Ложь всегда висела над ним душным ядовитым облаком – он вдохнул ее вместо воздуха, вместе с воздухом в самом первом младенческом вдохе и с тех пор жил, постоянно ощущая в легких ее зловонные пары. Поначалу, еще не зная слов, он ощущал ее всем своим маленьким тельцем, желудком, языком. Инстинкты обещали ему тепло и ласку материнских рук – обещали и солгали: руки оказались неприветливы и грубы. Лживым суррогатом из бутылочки обернулась и еда. Подделки ждали его повсюду – суррогат молока, суррогат родителей в виде постоянно менявшихся няnek и сиделок, суррогат дома в виде круглосуточных яслей, детских садов и интернатов, где он провел большую часть своего детства.

Едва научившись понимать речь, он пожалел о новообретенном умении: ложь, заключенная в словах, была куда вредней и изощренней, чем ложь суррогатов. Из слов строились целые миры – лживые от основания до свода, миры притворства и нарушенных обещаний, где подделкой оборачивалось всё, за исключением самой лжи, которая, надо отдать ей должное, ухитрялась оставаться ложью при всех обстоятельствах.

На выходные и праздники его забирали домой для неизбежной постыдной демонстрации гостям – демонстрации, которая обычно начиналась с чьего-либо невинного вопроса:

– Как поживает преемник?

– Кто, Ицхак? – столь же невинно осведомлялась Ариэла. – Растет. Сейчас позову. Ицха-а-ак! Иди сюда, мальчик!

Понурившись, Ицхак выходил в гостиную. По прошлому опыту он знал, что непослушание не избавляет от неприятной процедуры, но лишь удлиняет ее.

– Вот! – с преувеличенной гордостью говорила мать, приобняв сына за плечи. – Живое наследие Рабина. Прошу любить и жаловать.

Мать обнимала его только прилюдно, напоказ, а потому ее рука на ицхаковом плече тоже чувствовала себя лгуньей и даже слегка подрагивала, словно опасаясь разоблачения. Вокруг немедленно расцветали фальшивые улыбки. К четырем годам мальчик уже хорошо знал историю своего появления на свет. Его жизнь имела смысл лишь в соединении со смертью другого, незнакомого морщинистого дядьки, портрет которого висел тут же, в гостиной.

– Все такой же молчун? – участливо спрашивал какой-нибудь гость и продолжал под общий одобрительный смех: – Ну ничего, оригинал тоже не отличался болтливостью.

Оригинал! Послушать их, так получалось, что маленький Ицхак и сам был суррогатом – суррогатом мертвого старика на портрете. Ложь и притворство, фальшь и подделка – они не только окружали его, но и проникали внутрь, овладевали всем его существом... Чувствовать это было невыносимо – еще до того, как он научился облекать свои переживания в слова.

– Как дела, Ицхак?

– Я не Ицхак, я Цахи, – еле слышно отвечал мальчик, уставившись в раскрашенные под мрамор плитки пола.

– Иди к себе, Ицхак, – говорила Ариэла и отворачивалась, напоследок уцепив его в шею.

В тринадцать Цахи перешел из интерната в школу северного Тель-Авива, на домашнее жительство... – если, конечно, это можно было назвать домом. Днем у Голанов вечно толпились странные истеричные тетки в бесформенных балахонах, патлатые и очкастые. Мать покровительствовала всевозможным общественным группам, так что временами квартира превращалась в штаб протестного движения, антиправительственной демонстрации или анархистского хеппинга. Звонили телефоны, клацали клавиатуры, рисовались плакаты.

Случалось, что в разгар сбора подписей под очередным пацифистским воззванием входил отец в форме бригадного генерала и, осторожно ступая меж расстеленных по полу плакатов «Позор армии оккупантов!», пробирался к холодильнику за бутылкой пива. Никто не обращал на него внимания – мужа большинства воинствующих пацифисток если не служили в высшем офицерстве, то чиновничали на немалых постах, что, впрочем, ничуть не снижало градуса революционного пыла Ариэлы Голан и ее патлатых подруг.

С наступлением темноты тетки уходили, унося транспаранты и списки; дневное крикливое коловращение сменялось тихим вечерним шушуканьем. Бригадный генерал усаживался перед телевизором и принимался вполголоса обсуждать с женой текущую ситуацию в генштабе – чьи-то интриги, тайные и явные планы, перспективы назначений и перестановок. Ариэла обладала немалыми связями и неограниченным доступом в медиа, так что продвижение мужа к вожделенным погонам зависело от нее едва ли не больше, чем от собственно воинских достоинств Голана.

Карьерная тема, таким образом, была столь же постоянной, сколь и политическая. Выбор той или другой зависел исключительно от времени суток: день посвящался борьбе за мир и социальную справедливость, вечер – борьбе за полное генеральство. Цахи равно ненавидел и то, и другое. Время от времени мать совершала вялые попытки пристроить его к своей дневной активности. Не в силах отговориться, он несколько раз участвовал в каких-то пикетах, пока однажды, демонстрируя у армейского блокпоста с плакатом «Долой оккупацию!», не услышал, как один солдат говорит другому:

– Смотри-ка, а мальчишка-то – голанов сынок.

– Чей-чей?

– Голана, командующего корпусом. Я их на чьей-то свадьбе видел, там и запомнил. Папаша нас тут ставит, а сын, вишь, протестует. Принц Гамлет, блин.

– Гамлет против дяди протестовал.

– Да какая, блин, разница? Играют в «как будто», мать их в...

Цахи покраснел – не столько от последовавшего замысловатого ругательства, сколько от жгучего стыда. Наблюдательный сержант попал в самую точку: жизнь Голанов представляла собой сплошное притворство, постоянную «игру в как будто», и он, Цахи, был всего лишь одним из мелких элементов этой игры – как будто Ицхак, как будто наследник, как будто преемник чего-то изначально чуждого, выбранного не им и, скорее всего, такого же ложного, как и все остальное... как и этот дерьмовый плакат, который ему неизвестно зачем сунули в руки.

Ложь торжествовала повсюду; ее уродливые гримасы виднелись в каждом окне, в каждой улыбке, в каждом приветствии. Непобеди-

мая и вездесущая, она принимала любые мыслимые и немыслимые формы. Не размениваясь на детали, она без труда создавала огромные конструкции, крепости, империи фальши и с той же легкостью бросала их, берясь за новые. Сражение с нею походило на битву с миражами. Тринадцатилетний мальчишка с красными от позора щеками – мог ли он противостоять подобному противнику? Конечно, нет. Оставалось одно – бежать. Вот только куда?

Ответ нашелся сам собой. Как-то на выходе из школы Цахи столкнулся с бывшим интернатским одноклассником – парнем по имени Боаз. Отойдя в сторонку, уселись в тени под забором, закурили. Интернат размещался в одном из южных кибуцев, носил гордую вывеску «Школа демократии» и считался образцом социалистической интеграции детей из разных слоев общества. Собственно говоря, это и было одной из причин, по которой Голаны отослали туда своего младшего сына.

Предполагалось, что именно в «Школе демократии» мальчик лучше всего усвоит священные принципы равенства и братства. Сторонний наблюдатель непременно обратил бы внимание на то, что третья составляющая известной революционной формулы – свобода – выглядела при этом явно ущемленной ввиду строгого интернатского режима, разветвленной системы наказаний и забора из колючей проволоки. По опыту, свобода редко уживается с равенством-братством; скорее всего, ее и включили-то в знаменитую триаду исключительно в качестве приманки, заранее зная, что бедняжка погибнет первой как наименее приспособленная.

Впрочем, равенство тоже долго не протянуло. Видимость его, тщательно поддерживаемая на уровне официального бытия, немедленно подвергалась решительному переделу, стоило лишь воспитателям отвернуться. Разве слабый может равняться с сильным? Дудки! Зато братство... – в джунглях интернатской спальни наиболее естественным способом выживания выглядело именно оно. Истинный закон братства звучал чрезвычайно просто: либо ты набьешься в братья к вожаку, либо братья вожака набьют морду тебе.

Усвоив это, Цахи недолго ходил в самых младших, хотя и восхождение его по ступенькам иерархии братства было изначально ограничено неблагополучным происхождением из благополучной семьи. Зато Боаз, гордое дитя иерухамских бандитских бараков, имел все шансы выбиться если не в вожаки, то как минимум – в очень старшие братья. Это можно было понять с первого взгляда, по одной только внешности. Так, Цахи Голан ужасно страдал из-за своего непозволительно интеллигентного, светлогожего, большеглазого лица; ах, если бы он мог хоть чуть-чуть уменьшить этот уродливо-высокий лоб, хоть немного увеличить этот нестерпимо маленький нос... – не говоря уже о тонких, отвратительно красивых губах, которые, казалось, сами напрашивались на хороший удар кулаком.

То ли дело Боаз, сосед Голана по спальне. Этот мог смотреть на себя в зеркало с законной гордостью – подобная внешность высоко котирировалась в интернатской компании. К примеру, лоб у Боаза отсутствовал вообще – его заменяли две великолепные надбровные дуги. Да и все остальное выглядело под стать: крошечные щелочки глаз, вечно полуоткрытый, обрамленный толстенными губищами рот, тяжелые челюсти и огромная, угреватая, вечно шмыгающая



шнобелина... – о, там действительно было чему позавидовать! Но главное – Боаз пришел в интернат не с пустыми руками.

Его родной Иерухам находился не так далеко от интернатского забора – куда ближе, чем любые другие источники веселой травки, бодрящих порошков, дурных грибов, глючных колес и прочих подсобных инструментов, вырубавших голову посильнее трехкилограммового молотка. Поэтому полезные связи Боаза ценились не меньше, чем его располагающая к полному доверию внешность. У Цахи же изначально не было ни того, ни другого. Но если внешность исправить невозможно, то связи – дело наживное. Именно эту мысль внушил уже почти отчаявшемуся Голану все тот же Боаз. Богатые тель-авивские родители могли обеспечить доступ к тому, что считалось желанным дефицитом даже в иерухамских бараках.

Кратчайший путь к особо ценным таблеткам лежал через рецепты, выписанные дорогими частными психиатрами. Чего-чего, а уж этого добра Цахи мог получить сколько душе угодно. Нельзя сказать, что Ариэла вовсе не корила себя за недостаток внимания, уделяемого младшему сыну, – возможно, поэтому она с такой готовностью откупалась деньгами. Цахи оставалось лишь взять у Боаза список лекарств, слегка покопаться в интернете в поисках нужного синдрома – и система заработала с завидной бесперебойностью, к вящему удовлетворению всех участвующих сторон.

Ариэла платила, доктора писали рецепты, вожделенные колеса вприпрыжку катились напрямик в цахины руки – как из местных, так и из зарубежных аптек. Поначалу он еще заботился о том, чтобы придумывать объяснения невообразимому количеству потребляемых таблеток: потерял, забыл, выронил в унитаз... – но потом перестал за ненадобностью. Матери было решительно наплевать на детали. Открывался кошелек, поднималась телефонная трубка, доктора, пожимая плечами, ставили подпись, аптекарь доставал сверток из шкафа, Боаз восхищенно присвистывал, разглядывая добычу.

На заработанном таким образом авторитете Цахи безбедно существовал целых три года, поэтому встреча с партнером по прошлому интернатскому братству была и неожиданной, и приятной.

– Не знал, что ты тут, – сказал Боаз, знакомо шмыгая носом. – А вообще-то где тебе и быть. Яблочко от яблоньки...

Цахи улыбнулся. Еще год назад в «Школе демократии» он чувствовал себя белой вороной; теперь ситуация перевернулась. В этом привилегированном районе северного Тель-Авива людей с внешностью Боаза можно было повстречать разве что рано утром, на подножке мусоровоза. Да и представления о красоте и уродстве выглядели здесь совершенно иначе.

– Ну да, – подтвердил он не без некоторого мстительного удовольствия, – живу я тут. А вот тебя каким ветром сюда занесло?

Боаз важно подвигал туда-сюда тяжелыми челюстями.

– Дела, братан. Я теперь на больших людей работаю. Тебе травка нужна? Или колеса? Есть всякое, могу показать...

Он похлопал себя по карману.

– Понятно... – протянул Цахи и скептически покачал головой. – Не обижайся, братан, но тут тебе не светит.

– Почему это? Что, у вас – марсиане живут? Не зашаривают?

Цахи снова улыбнулся. Когда-то Боаз учил его уму-разуму, теперь настало время вернуть должок. Здешний район жил по другим законам, отличным от иерухамского бандитского беспредела.

– Зашаривают, отчего же. Только с таким, как ты, да еще и в таком видном месте никто заводиться не станет. Тут у своих покупают, тихо-мирно, без лишних глаз.

– А я, значит, рылом не вышел?

– Точно, не вышел, – рассмеялся Цахи. – Помнишь, как ты мне в интернате говорил: «Посмотри на себя в зеркало, урод»? Вот и я тебе сейчас то же самое скажу. Посмотри на себя, а потом на этих чистеньких-беленьких. Кто тут к тебе подойдет, братан? Разве что я, по старой дружбе...

Последнюю фразу он произнес в шутку, без какой-либо задней мысли, но иерухамец запомнил и позвонил через неделю. В квартире Голанов кипела подготовка к очередному протестному маршу, и Цахи, сидя у себя в комнате, угрюмо выводил кистью крупное черное слово «Долой!».

– Ты обещал помочь, – сказал Боаз.

– Я? – поразился Цахи. – Когда?

Боаз молча сопел в трубку. Он никогда не отличался многословностью. Рот дан человеку не для болтовни, а челюсти тем лучше держат удар, чем они тяжелее. Цахи вспомнил покатый, исчезающе малый лоб приятеля и улыбнулся.

– Ты не так меня понял, братан.

Боаз шмыгнул носом.

– Так. Ты ведь свой, интернатский. Не Беверли-хилз какой-нибудь. Короче, выходи сейчас, встречаемся в скверике у школы. Кое-кто познакомиться хочет.

Не дожидаясь ответа, он отсоединился, а Цахи отложил телефон и еще долго сидел, глядя на свои перепачканные краской руки. Из-за закрытой двери доносились голоса материнских подруг, фальшивый хохоток, громкие восклицания, возмещающие недостаток искренности силой звука и преувеличенностью интонации. Ложь звучала в каждом их слове, дышала в каждом их вдохе; они сочились ложью, как вонючие губки – грязью, они пятнали ложью все, к чему прикасались... Вот и у него на руках – не краска, а грязь, фальшь, ложь... Наследник, преемник, Ицхак...

Он почувствовал внезапный приступ тошноты и выскочил в коридор. Туалет оказался занят, обе ванны тоже; расталкивая патлатых теток и гладеньких очкариков, Цахи проскочил через усталannую транспарантами гостиную в кухню и с разбегу вывалил свое отвращение в раковину.

Блевотина – вот что было единственно правдивым в этом насквозь фальшивом дерьме... За спиной воцарилось молчание; Цахи вытер рот и обернулся – все присутствующие испуганно смотрели на него. «Плевать, – подумал он. – Я не ваш, я интернатский. Не какой-нибудь Беверли-хилз».

– Это, наверное, пирожки, – торопливо проговорила Ариэла, подбегая к сыну. – Или бутерброды с тунцом... или масло несвежее... Пойдем, Ицхак, пойдем. Ты закончил с плакатом?

– Закончил, – хрипло сказал Цахи и отвел ее руку. – И с плакатом, и со всем. Я – на улицу, подышать...

Через год, когда Цахи Голана арестовали вместе с десятком других мелких сошек, он был уже опытной телефонной «наседкой», важным звеном в районной сети розничной торговли травой и таблетками. Сам он не касался ни товара, ни денег – как говорил Боаз, работа бесконтактная, для чистюль. Прием заказов по телефону, только и всего. Заработок ему доставляли еженедельно в конверте; Цахи брал, не считая, бросал бумажки в ящик стола и тут же забывал о них. Итоговую сумму ему сообщил уже следователь на допросе – Цахи в ответ равнодушно пожал плечами. Плевать он хотел на эти деньги – разве в них дело?

– Тогда зачем? – спросил полицейский и добавил, не скрывая неприязни: – Адреналинчику захотелось? Золотая молодежь, с жиру беситесь...

Цахи снова пожал плечами. Внешне следователь был чем-то похож на Боаза, но в отличие от последнего категорически отказывался признавать в генеральском сынке «своего, интернатского». Цахи и «наседкой»-то стал исключительно для того, чтобы отгородиться, отвязаться, оторваться от родителей – почему же теперь его судили именно как отпрыска «тех самых» Голанов, в самой тесной и непосредственной связи с ними? Это бесило парня и занимало его мысли куда больше, чем страх наказания. В конце концов, как могли наказать его, малолетку, да еще и по первому разу? Влепить условное? Дать испытательный срок? Заставить регулярно отмечаться в участке? Да и черт с вами – давайте, влепляйте, заставляйте... – но при чем тут маменька с папенькой, будь они прокляты?!

Но выбирать не приходилось. Полицейские чины сразу почувствовали желтый потенциал этого, в общем, крайне незначительного дела и постарались раздуть его до немыслимых размеров. На каждый цахин допрос, на каждое судебное заседание слетались репортеры – мухами на расчесанный гнойник. Цахи вылезал из машины и шел через стоянку в здание, а за ним сквозь строй объективов и диктофонов, как сквозь строй шпицрутенов, плелась задыхающаяся от стыда и ненависти мама Ариэла в темных очках и широкополой шляпе. Ицхак-преемник... Ицхак-наследник... какой позор, позор, позор!

Зато бригадный генерал Голан не показывался на людях вообще – прятался где-то на отдаленных армейских базах. Мечты о высших должностях и полном генеральстве пришлось отставить – по крайней мере на несколько ближайших лет. И в самом деле – можно ли доверить генштаб папаше наркоторговца? Ариэла звонила, плакала в трубку, перечисляя пережитые унижения и предательства друзей; генерал молча выслушивал, отвечал сухо:

– Сама эту кашу заварила, сама и расхлебывай. Мне он не сын, этот выродок.

– А мне? Мне он сын? – захлебываясь от слез, кричала жена.

Суд шел при большом стечении публики. Казалось, никому и дела нет до уголовной сути процесса – всех интересовали исключительно родители Цахи Голана. Прокурор вещал о пользе правильного воспитания, адвокат напирал на заслуги семьи, взбешенный Цахи вскакивал с места и хамил судье. Все это вместе сложилось в небывало жесткий приговор – два года исправительного учреждения. Удивительным образом это решение устроило всех – и жаждущую крови толпу, которая опасалась, что власть имущие отмажут сыночка, и

судейских, проявивших похвальную бескомпромиссность, и Голанов, которые меньше всего желали снова делить крышу с неблагодарным выродком, и самого выродка, по горло сытого семейными радостями и родительской любовью.

Выйдя в свой первый отпуск, он сразу позвонил Боазу. Тот обрадовался:

– Я сейчас в Иерусалиме. Езжай пока домой, отдыхай, а вечером...

– погоди, – перебил его Цахи. – Я домой не вернусь, потому и звоню. Нет ли у тебя надежного места?

– На ночь? Конечно...

– На много ночей. Надолго.

Встретились на иерусалимском автовокзале.

– Хорошо подумал? – спросил Боаз после первых приветствий. – В бегах жить трудно. Может, лучше досидеть? Сколько тебе месяцев осталось?

– Кто считает? – весело отвечал Цахи. – Сколько ни осталось – не мои это месяцы, а мамашины. Вот она пускай и отсиживает. Так есть у тебя место?

Боаз вздохнул и покачал головой.

– Ну, как хочешь. Ты о Комплексе когда-нибудь слышал?

– Не-а...

– Поехали, покажу.

### 3

Чудовищное здание Комплекса высилось на огороженном высоким проволочным забором пустыре, в безлюдном месте километрах в тридцати к северо-востоку от Иерусалима. В определенном смысле его можно было считать плодом того же идеологического безумия, благодаря которому появился на свет «неблагодарный выродок» семейства Голан. Поэтому Цахи сразу ощутил личную солидарность с железобетонным монстром – солидарность бастардов, братство ублюдков поневоле.

Решение о строительстве принималось вскоре после подписания известных оловских соглашений, принесших почет и славу подписантам, иллюзию мира – тем, кто хотел быть обманутым, и кровопролитие – всем остальным. Впрочем, кровопролитие началось не сразу, ибо одному из миротворцев требовалось время для накопления сил и оружия. И этот узенький временной зазор между вручением нобелевской премии мира и первой автоматной очередью войны был всецело отдан во власть торжествующей Иллюзии.

Предполагалось, что Комплекс станет сердцем огромного промышленного района – самого большого на Ближнем Востоке. По замыслу визионеров, сюда, к бурым отрогам Шомронского плоскогорья и бесплодным солончакам Иудейской пустыни, должны были устремиться нескончаемые трудовые ресурсы безработного восточного мира – с одной стороны, и нескончаемые финансовые ресурсы беззаботного западного мира – с другой. Слившись воедино в творческом соитии, две столь могучие силы не могли не породить счастливого будущего – этого долгожданного младенца, о коем вот уже который век безуспешно молятся повитухи всех стран и народов.

Иллюзия всегда торопится – она похожа на ракового больного, точно знающего, что жить ему осталось недолго. А может быть, в глубине души она понимает про себя все, а придуривается из вредности – мол, погибать, так с музыкой. Так или иначе, деньги на Комплекс были мобилизованы с рекордной быстротой. Строительство тоже шло ударными темпами; инерция иллюзий оказалась так велика, что работы продолжались даже под басовый аккомпанемент близких взрывов, свирельный посвист пуль над головой и веселое ча-ча-ча автоматной стрельбы внизу на шоссе. Когда стало окончательно ясно, что вышеупомянутые трудовые ресурсы куда больше стремятся к винтовке, чем к станку, здание уже возвышалось над пустыней во всей мощи трех своих корпусов.

В плане Комплекс имел Н-образную форму с восьмизэтажными крыльями Эй и Си по бокам, двенадцатизэтажным корпусом Би в середине и шестиуровневой подземной стоянкой. Уходя, строители унесли с собой разборные леса, мостки и ограждения; до штукатурки, остекления и прокладки коммуникаций дело не дошло, а потому здание таило в себе череду ловушек, опасных даже для опытного человека. Во многих местах отсутствовали бетонные перекрытия, блоки стен, перегородки; бездонными дырами зияли шахты лифтов. Свет поступал только через оконные проемы, а в коридорах было темно и днем.

На верхних уровнях среднего здания изначально предполагалось разместить особо охраняемые конторы и предприятия, типа алмазного бизнеса, деликатных технологий и служб безопасности. По этой причине этажи Би-10, Би-11 и Би-12 пользовались дурной славой и считались непроходимыми. Там вовсе не было окон, зато полы и стены изобиловали провалами и полостями, а структура помещений напоминала лабиринт – по слухам, ибо никто не желал рисковать шеей, чтобы проверить это на практике.

По-хорошему, Комплекс следовало бы снести, но известно, что найти деньги на финансирование ошибки куда легче, чем на ее исправление. Государственные учреждения пожимали плечами: не мы строили, не нам и ломать. Частные благотворители и учредители фонда чувствовали себя обманутыми и наотрез отказывались финансировать снос. В итоге здание обнесли забором, поставили у ворот будку с охранником и объявили все это закрытой военной зоной.

Но, как того и следовало ожидать, Комплекс недолго пустовал. Его первыми обитателями стали нелегальные иммигранты из Африки и рабочие-арабы с близлежащихстроек. За ними – в поисках объедков – пришли бродячие собаки. Возможно, этим бы все и ограничилось, если бы Комплекс не облюбовала для своих ритуалов небольшая группка сатанистов, или, как они сами себя называли, анхуманов.

Анхуманы никогда не поднимались выше цокольного этажа – их вполне устраивала непроглядная темь подземной автостоянки. Место было укромным и глухим, вдали от полиции и чужих любопытных глаз. За жертвами тоже не приходилось долго гоняться: подьедающие за нелегалами собаки бродили здесь же, рядом, и легко шли прямо в руки своим мучителям. Удобство и безопасность церемоний привлекали все новых и новых адептов; секта росла, нагнела и в какой-то момент пришла к выводу, что намалеванная на стене козлиная морда заслуживает чего-то посущественней бедной собачьей жизни.

Отморозки успели замучить нескольких нелегалов. Расчет анхуманов был прост: убитых все равно не хватились бы – ведь официально они не существовали вообще. Даже бродячих собак иногда разыскивали хозяева – но этих людей не стал бы искать никто. Таким образом, сатанисты действовали совершенно безнаказанно, пока один из подростков-новичков не проговорился родителям об истинной причине своих ночных кошмаров.

В последовавшей облаве полиция накрыла и секту, и нелегалов; на месяц-другой здание перешло в полное распоряжение собачьей стаи. К тому времени собаки Комплекса уже сформировали принципиально новое отношение к людям: сатанисты приучили их видеть в двуногом прямоходящем не друга и покровителя, а злейшего врага, мучителя и садиста. Этого крупного хищника следовало остерегаться, охранять от него щенков и территорию стаи, а при удобном случае – нападать, поскольку он годился в пищу. Понемногу собаки превратились в одну из главных опасностей Комплекса – наряду с темными коридорами, острыми копьями арматуры и неогороженными шахтами лифтов.

Но люди вернулись – как ни посмотри, во всей округе не найти было более удобной ночевки для бездомного, гонимого человека. Покончив с анхуманами, власти сочли свою задачу выполненной; изредка, проезжая мимо забора в направлении Шхема, полицейские осведомлялись у охранника, все ли в порядке. Охранник сонно кивал – он не искал приключений на свою голову и выходил из будки только по самой крайней, естественной надобности. Да и зачем выходить, если высокая проволоочная ограда со стороны шоссе хранила образцовую нерушимость, а присмотревшись, можно было разглядеть в цокольном этаже корпуса Би наглухо заколоченный, нетронутый парадный вход.

Впрочем, обитатели Комплекса и не претендовали на парадность. Они скромно заходили с противоположной, незаметной стороны и столь же скромно преодолевали забор – не сверху, по-наглому, а понизу, через аккуратно прокопанные и тщательно замаскированные лазы, дабы не испортить, Боже упаси, казенную колючую проволоку. Оказавшись на хозяйственном дворе, они осторожно пробирались меж куч строительного мусора, поднимались на пандусы и без каких-либо проблем попадали в здание сквозь огромные проемы в стенах корпусов Эй и Си – по замыслу архитектора, там предполагались склады. Доступность заднего входа резко контрастировала с глухой негостеприимностью парадного, но эта странность мало кого заботила, коль скоро соблюдалось главное правило игры – видимость внешнего порядка.

Нельзя сказать, что собакам понравилось возвращение людей; сначала стая даже пыталась отразить нашествие, но силы оказались неравны, и собаки отступили на цокольный этаж корпуса Эй и подземную автостоянку, оставив бомжам и нелегалам противоположное боковое крыло. Это новое положение, казалось, устраивало решительно всех; тем не менее, продержалось оно недолго.

В Комплекс повадились молодые люди совсем другого рода, называющие себя рейнджерами, трассёрами, сталкерами и еще десятком столь же дурацких, мало что говорящих имен. Обычно они появлялись небольшими группами по пять-шесть человек, прореза-

ли в заборе безобразную дыру и какое-то время бестолково слонялись по двору, громко переговариваясь друг с другом, – при этом какая-нибудь из девиц непременно накалывала ногу гвоздем. Затем, пугливо оглядываясь, ахая, охая и хихикая, незванные гости пробирались в здание.

Что они там забыли? Что рассчитывали отыскать? Спасение от повседневной скуки? Острые ощущения? Приключение, рассказ о котором будут потом, затаив дыхание, слушать одноклассники и друзья по Фейсбуку? Если так, то Комплекс был для них правильным местом – возможно, даже чересчур правильным.

Больше всего горе-сталкеры опасались бомжей, нелегалов и собак, а потому вздыхали с облегчением, едва миновав цокольные этажи. Ошибка! Да, собаки довольно страшно рычали и скалились, но нападали только на одиночек. Среди бомжей – в общем, безобидных – встречались иногда агрессивные отморозки, но и эти отступали, получив минимальный отпор. А нелегалы так и вовсе предпочитали не высовываться. Настоящая, поистине смертельная угроза таилась именно наверху, в темном необитаемом пространстве недостроенных этажей.

Здесь все было шатко, ненадежно, обманчиво. Внешне неколебимый столб мог пошатнуться, выскользнуть из руки, качнуть пришельца в услужливо распахнутый оконный проем. Бетонная плита перекрытия вдруг накренилась под ногами, скользкая цементная пыль ускоряла падение – прямиком на ошестинившиеся внизу ржавые стальные колья. Острые шипы арматуры торчали в самых нелогичных, неожиданных местах, подкарауливая чью-нибудь ступню, ладонь, глаз, живот...

Для нормального человека любая из этих опасностей была бы достаточной причиной держаться подальше от Комплекса; но для «сталкеров» привлекательность места лишь увеличивалась по мере возрастания риска. Возможно, поэтому здание стало обрастать легендами. Говорили, что по его коридорам гуляют призраки замученных садистами людей, что стены подземной стоянки потеют кровью, а на дне шахт лежат человеческие кости. Ходили упорные слухи, что не все анхуманы сдались во время полицейской облавы, что самые главные и упертые спрятались в заранее подготовленные тайники и по сей день, утроив осторожность, продолжают свое сатанинское дело.

Из блога в блог кочевало письменное свидетельство участника той памятной операции. Парень утверждал, что нескольких сатанистов загнали на самый нижний уровень подвала, который был в ту пору затоплен после ливневого дождя. Не желая рисковать здоровьем личного состава, офицер приказал просто перекрыть все выходы и ждать, «пока сами выйдут». Но анхуманы не вышли – лишь под утро стоявшие в оцеплении вдруг услышали из подвала жуткий, душу леденящий вой. А потом, когда воду откачали, на нижнем уровне не нашли никого – ни живых, ни мертвых...

Неудивительно, что напичканные подобными историями «сталкеры» то и дело теряли самообладание, шарахаясь от мнимых угроз в сторону самых что ни на есть реальных. Пока все обходилось сломанными конечностями, порезами и рваными ранами, любители острых ощущений решали свои проблемы самостоятельно, но когда

очередная прогулка по корпусу Эй закончилась для одного из подростков на дне шахты лифта, пришлось вызывать скорую, а значит, и полицию. Парень умер еще до их приезда.

Как и следовало ожидать, этот печальный случай только повысил рейтинг Комплекса. Святилище, устроенное друзьями разбившегося подростка на месте его гибели, быстро превратилось в объект паломничества, а к сонму легендарных призраков анхуманов и замученных нелегалов добавился еще один – на этот раз свой, сталкерский, духовно близкий. В течение месяца число запретных экскурсий удвоилось и продолжало расти, а с ним – и количество травм.

Это вызвало к жизни новые перемены. Возможно, они носили стихийный характер – известно ведь, что к любому спросу на запретный продукт рано или поздно пристраивается криминальная крыша. Но существовали и другие версии. Полиции вовсе не улыбалось еженедельно выезжать в заброшенное здание за очередным погибшим подростком. Сторож из частной фирмы в ответ на предъявляемые претензии улыбался и крутил пальцем у виска – за такую зарплату только сумасшедший станет вылезать из будки. Настоящая, не фиктивная охрана стоила слишком дорого. В этой ситуации мелкий бандит Барбур и его шпана, поселившиеся на девятом этаже корпуса Би, выглядели вполне подходящим решением. Слишком подходящим, чтобы быть случайностью.

Цахи Голан увидел Комплекс вечером, в сумерках. До этого Боаз долго названивал какому-то Шимшону, ругаясь и выторговывая более удобное место и время встречи. По-видимому, аргументы Шимшона оказалось намного весомей, потому что в итоге парням пришлось долго добираться автобусами до городской окраины, а потом еще дольше ждать на тремпиаде вблизи последнего блокпоста. Наконец подъехал обшарпанный форд-транзит с эмблемой табачной фабрики.

– Раньше не мог? – мрачно спросил Боаз, устраиваясь на сиденье. – Цахи, это Шимшон. Знакомство, опасное для здоровья. Минздрав предупреждает.

И в самом деле, внутри транзита остро воняло табаком, дизельным выхлопом и потом. Шимшон, мосластый долговязый мужчина на шестом десятке, запальчиво крутанул головой.

– А вот не мог. Не всем же баклуши бить, кто-то и работать должен... – он кивнул на приборный щиток, на глухо бормочущее радио. – Во, слышали? Биржа опять падает. Копишь, копишь, работаешь, работаешь, а потом – вжик! Мать их так...

Он выругался, отер рот грязной ладонью и больше уже не замолкал, брызжа слюной и энергично потряхивая длинными седыми космами. Боаз не отвечал; Цахи тоже не слушал. По обеим сторонам пустого шоссе тянулись желтоватые холмы с редкими кучками домов и тонущими в мусоре бедуинскими стоянками; тут и там уже светились зеленые огоньки минаретов. Неожиданно Шимшон свернул на обочину:

– Приехали!

Цахи недоуменно взглянул на Боаза: вокруг не было ничего, что объясняло бы остановку, – ни здания, ни перекрестка. Боаз кивнул:

– Отсюда ближе. Вылезай.

Они спрыгнули в дорожную пыль.

– Эй! Погодите... – повозившись в фургоне, Шимшон выбросил наружу туго увязанный рюкзак. – Вот, подарочек для Барбура.



– Нашел носильщиков... – недовольно буркнул Боаз, поднимая мешок.

Шимшон осклабился.

– Тебя подвезли? Подвезли. Вот и плати, пацан. А ты как думал? В Комплексе забесплатно только собаки лают...

– Запомнил, Цахи? – сказал Боаз, глядя вслед отъехавшей машине. – Про забесплатно? Такие тут правила, братан...

Цахи кивнул:

– Везде такие. Пошли, что ли?

Следуя едва заметной тропинкой, они обогнули холм и остановились. Впереди, на расстоянии полукилометра пути, высилась темная масса Комплекса. Солнце село около часа тому назад; на кромке гор Биньямина, как слюна на губах, еще пенился его исчезающий, пузырящийся след. Ребята заходили с востока – возможно, поэтому огромное здание, торчащее между ними и умирающим вечерним светом, казалось бездонным провалом, черной прямоугольной дырой, грубо вырубленной в плавном, волнистом, нежно очерченном мире.

Боаз поежился.

– Молчи, – сказал Цахи. – Еще раз спросишь, хорошо ли я подумал, получишь по зубам. Будь там хоть ад, к мамаше я не вернусь. И в тюрьму тоже.

Он с отвращением понюхал руки.

– До сих пор табаком воняют. Сколько мы в этом фургоне просидели? Полчаса, даже меньше...

– Этот старикан на табачную фабрику работает, – пояснил Боаз. – А заодно подвозит посыпочки для Барбура. С такой вонью можно собак не бояться. Что хошь вози – хоть траву, хоть гашиш – хрен учуют...

К проволочному ограждению подошли уже в темноте. Боаз позвонил по мобильному; через четверть часа в глубине двора вспыхнул луч фонаря, замелькал, задвигался, прочерчивая косые линии по земле и по грудам строительного мусора, приблизился, нашел ребят у забора и, надавав им пощечин, черкнул указующе:

– Чего встали? Давайте сюда, к проходу.

За оградой ждал щуплый невысокий парнишка, по виду – их ровесник. Ступая за ним след в след, Цахи и Боаз миновали захламленный двор, вошли в здание и стали подниматься по лестнице – голой и узкой, без перил, словно растущей из темноты в темноту, подвешенной к темноте, парящей над нею. Последняя лестничная площадка перетекла в коридор. Здесь тьма то и дело уступала, отпрыгивая к стенам, вылетая в неожиданно открывавшиеся провалы оконных проемов – там, далеко внизу, виднелась реденькая цепочка шоссежных фонарей и тусклый прожектор над сторожевой будкой. Еще одна лестница, еще один коридор – и впереди забрезжил желтый мерцающий свет.

Приемная Барбура – некоронованного короля, босса и хозяина Комплекса – представляла собой обширный зал с четырьмя окнами, выходящими на задний двор. На чисто выметенном полу вдоль стен были набросаны матрасы, булькал чайник на газовой плите, с потолочных крюков свисали несколько масляных ламп. В углу, за низким

столиком, развалиясь на подушках, возлежали трое: здоровенный бугай с бугристыми от мышц плечами, молодой напомаженный красавчик и человек неприятного вида и неопределенного возраста – тощий, плешивый, с маленькой головкой и остро нацеленным утиным носом.

– Привет, Барбур, – сказал Боаз, останавливаясь посреди комнаты и стряхивая с плеча рюкзак. – Это от Шимшона.

Тощий кивнул и легко поднялся с матраса. В его облике и впрямь было много такого, что напоминало лебедя: длинная шея, волнообразно, вперед-назад-вперед изогнутая спина, немигающий взгляд кругленьких глазок, нос клювиком. Отчего-то эти детали, вполне привлекательные в птице, выглядели отталкивающими в человеческом воплощении.

– А это, стал-быть, от тебя? – Барбур обошел вокруг Цахи. – Заезд на отдых, стал-быть. Тебе сколько лет, пацан?

– Шестнадцать, – спокойно отвечал Цахи.

– Мой кореш по интернату, – помог другу Боаз. – Давно в деле. В Рамат-Авиве насадкой сидел, пока не повязали.

Барбур с сомнением покрутил клювом.

– Давно в деле! – фыркнул из своего угла напомаженный. – На фига тебе малолетки, Барбур? Развел тут детский сад...

Хозяин Комплекса словно ждал этого вмешательства.

– А тебя, Кац, никто не спрашивал. Разве в годах дело? Ты вот на два года старше, а ума – чуть, одна борзость... – он снова повернулся к Цахи. – Только учти, пацан, отдыхать у нас не придется. Тут пахать надо.

– Слыхал, – кивнул Цахи. – Забесплатно в Комплексе только собаки лают.

Барбур удивленно крикнул.

– Молодец. Быстро усваиваешь... Стал-быть, так и решим. Поможешь пока гидам, а там посмотрим – может, и на что другое сгодишься... – он сделал знак парнишке-проводнику: – Бенизри, сгоняй-ка за Ромео.

– Бенизри туда, Бенизри сюда... – недовольно буркнул парнишка, который тем временем успел налить себе кофе и залечь на матрасы. – Что я тебе – йо-йо?

Кац наставительно поднял палец:

– Давай-давай, йо-йо. Босса уважать надо, слушаться. Учил я тебя, учил, а ты все никак не усвоишь...

Улыбался он нехорошо, словно нож вынимал – уголки рта не ползли вверх, к ушам, а резко раздвигались в стороны, открывая опасную острозубую щель. Вздохнув, парнишка отставил стакан и поднялся на ноги. Как видно, напомаженного Каца он побаивался куда больше, чем хозяина Комплекса. Цахи покосился на Боаза – компания Барбура выглядела не слишком приятной. К счастью, от них не потребовалось оставаться здесь. Пришедший через несколько минут длинный нескладный парень со странным прозвищем Дикий Ромео увел Цахи и Боаза к себе, на восьмой этаж корпуса Эй.

В комнате гидов было темно и тихо.

– Все спят, – вполголоса объяснил Ромео и посветил в угол на груды матрасов. – Ложитесь и вы. Одеяла там же. Утром поговорим.

Назавтра Цахи проснулся от почудившегося ему запаха домашнего уюта. Суть этого запаха угадывалась с безошибочной уверен-

ностью – тем более удивительной, что Цахи никогда не знал ни особого уюта, ни настоящего дома. Лелея в себе это замечательное ощущение, он какое-то время лежал с закрытыми глазами и даже попробовал отступить назад, в сон, дабы продлить неожиданное счастье. Увы, диспозиция не располагала к подобному отступлению: солнце наотмашь хлестало по плотно зажмуренным векам, а неуклюжий маневр переворота на другой бок неизбежно потревожил бы хрупкую материю сна, а следовательно, и запаха. Вздохнув, Цахи сел, потянулся и открыл глаза.

Он сидел на полу большого, залитого солнцем зала – как видно, углового, потому что две его стены выходили – вернее, настезь распахивались – наружу, в пустыню, сияющую нестерпимо яркой голубизной. Казалось, что там, за голыми оконными проемами, играя огранкой, колеблется огромный кристалл, собирая и вновь разбрызгивая мириады цветных, исчезающе мимолетных световых пучков. Две другие стены и потолок были сплошь, как спина баскетболиста, татуированы цветными граффити. «Тали, Тали, Тали... – прочел Цахи. – Я люблю тебя, Тали... Тали, Тали, Тали...» – и снова, и снова, и снова. Других надписей в зале просто не существовало.

Зато запах... запах существовал!.. – и не только во сне, но и наяву! Он исходил от газовой плиты, рядом с которой, помешивая ложкой в кастрюльке, стояла пожилая женщина в халате и домашних туфлях. Ее длинные седые волосы были аккуратно заплетены в косу. Почувствовав на себе взгляд, женщина обернулась.

– Проснулся, Менаш? – сказала она, сопроводив эти слова улыбкой, такой же уютно-домашней, как туфли, халат и запах из кастрюльки. – Иди завтракать, мальчик.

Словно разбуженная звуком ее голоса, тень углового пилона качнулась, сдвинулась и превратилась в черного парня. Он поставил на пол бинокль и, шлепая по полу босыми ногами, подошел к Цахи.

– Привет. Проснулся? Ромео сейчас придет.

– Где Боаз?

– Уехал твой друг. Утром уехал. Шимшон тут рано проезжает, а другую попутку поди поймай. Не хотел тебя будить... – эфиоп протянул ладонь для рукопожатия. – Я – Чоколака. А ты?

Цахи пожал плечами:

– Не знаю. Говорят – Менаш...

– Менаш? – засмеялся Чоколака. – Не обращай внимания – Мамарита всех парней так называет.

Он оглянулся на свой бинокль.

– Извини, братан, мне надо... это... сторожить. За хомячками глаз да глаз. Так и прут, даром что лохи...

– За какими хомячками?

– За обыкновенными, – Чоколака неопределенно помахал рукой и вернулся на свой пост. – В джинсах и кроссовках. Сейчас Ромео придет, объяснит...

При свете дня Комплекс выглядел совсем иначе – не так зловеще, как вчера, ночью, и Цахи сказал об этом Дикому Ромео, когда они вышли в коридор. Тот усмехнулся:

– В подвале всегда ночь. Да и на свету не все безобидно...

И действительно, даже проход по хорошо освещенным местам требовал здесь умения и детального знания здешней топографии.

Если бы не Ромео, движения которого он повторял, Цахи пришлось бы немало повозиться, чтобы преодолеть провалы и препятствия. Ромео оглядывался, успокаивал:

– Ничего, братан, через недельку осмотришься и привыкнешь. Главное, что ты здесь. А то втроем совсем тускло.

– Втроем?

– Ну да. Я, Безр-Шева и Чоколака. Мамарита не в счет – она экскурсий не водит, и сторожить ее тоже не поставишь...

Из объяснений Дикого Ромео выходило, что, завладев Комплексом, Барбур превратил стихийные сталкерские прогулки в хорошо налаженный бизнес. Начав с починки забора силами бомжей и нелегалов, он оставил там всего лишь один лаз – удобный и хорошо просматриваемый с верхних этажей здания. Там, наверху, новый хозяин Комплекса учредил постоянный наблюдательный пост. При появлении во дворе сталкеров, которых Ромео презрительно именовал «лохами» и «хомячками», навстречу им высылался «гид» – один из работающих на Барбура подростков. Он объявлял незваным гостям, что те вторглись в запретную зону и теперь обязаны заплатить штраф. Впрочем, существовала и другая возможность: попасть внутрь здания в рамках организованной платной экскурсии.

На первых порах нередко возникали споры. Для их благополучного разрешения Барбур привез в Комплекс целую команду шпаны. Затем к новому порядку привыкли, конфликты почти прекратились, и скупой босс принялся сокращать штаты, пока не остался с одним русским быком по прозвищу Русли – немногословным фанатом фильмов кун-фу. Собственно, и прозвище его происходило от искаженного имени главного бычьего кумира – Брюса Ли. По словам Ромео, сейчас, когда всё наладилось, Барбур вполне мог бы обойтись и одним телохранителем, но недавно к нему прибились еще двое: неприятный восемнадцатилетний парень по имени Кац и его верная шестерка – шпаненок Бенизри. Сначала босс хотел определить их в гиды, но Кац наотрез отказался «работать фраером», и, к всеобщему удивлению, Барбур не стал настаивать. Он обычно пасовал, если сталкивался с настоящей опасностью – из чего можно было заключить, что от расслабленного облика Каца, от его прищуренных глаз и напояженных колючек веяло реальным, а вовсе не наигранным беспределом.

Между тем людей у гидов действительно не хватало. Экскурсии пользовались растущим успехом – во многом благодаря разработанному Диким Ромео маршруту. Он начинался во дворе на рампе корпуса Эй. В коридоре первого уровня хомячков встречал передовой собачий отряд, яростным лаем защищавший свою территорию. Получив заряд адреналина, лохи усугубляли впечатление прогулкой по качающимся бетонным плитам перекрытий, а затем – проходом по карнизу шестого этажа. При этом гид подчеркнуто равнодушным тоном вел неторопливый рассказ о былых несчастьях:

– Вот в эту дыру в прошлом году провалилась девушка. Симпатичная такая блондиночка. Сейчас в больнице, парализована... А вон на те штыри падал паренек из Нетании... – видите пятно? Его кровь... Нет, с карниза падают редко – раз в месяц, не чаще. Что?.. – конечно, насмерть... – высота, что вы хотите...

Уже здесь часть экскурсантов отказывалась двигаться дальше, и группа останавливалась в ожидании помощника гида, который за

особую плату вел слабонервных в обход. Остальные поднимались на седьмой уровень, где находилось святилище первой жертвы Комплекса – подростка, упавшего в шахту лифта. Там хомячкам устраивался перекур. Пока они галдели и фотографировались на фоне венков и граффити, экскурсовод, игнорируя скептические усмешки, повествовал о призраке погибшего, который, по слухам, до сих пор проживал на самом дне шахты. Одновременно гид тщательно следил, чтобы никто не отколупнул кусок бетонной крошки: сувениры со святого места продавались отдельно.

Далее маршрут пролегал по восьмому этажу корпуса Би к подножию внутренней лестницы, ведущей через расположенную на Би-девять резиденцию Барбура на верхние, глухие уровни, куда не рисковал подниматься никто. Эта часть экскурсии звучала наименее правдоподобно, хотя именно она представляла собой чистую правду – в отличие от прочих рассказов, в которых гиды не стеснялись примешивать к реальным событиям изрядную толику вымысла.

– Почему все-таки никто не рискует? – недоумевал какой-нибудь любопытный хомячок. – Неужели не интересно?

– Почему-почему... – мрачно отвечал гид. – Мне-то почем знать? Не возвращаются оттуда, вот почему.

– А что там такое?

Гид пожимал плечами и неохотно выдавливал:

– О-О.

– О-О? Что это такое – О-О?

– А черт его знает... – терял терпение гид. – Все, хватит, двигаем дальше.

– О-О... – повторяла какая-нибудь въедливая хомячиха. – Ведь и слова такого нет – «о-о», ни на каком языке.

– Вот именно, – отзывался гид. – Там, сестричка, что-то такое, для чего и слова-то нет. Потому что если для вещи слово есть, то ты эту вещь как бы уже и знаешь. Назвать словом – уже значит что-то узнать, так? А тут и этого нету... Короче, не хотите – не верьте. Я вот тоже не верю, но ходить туда – не хожу. И вы не пойдете.

Иногда, впрочем, попадались особо упертые экскурсанты, готовые рискнуть – хотя бы и за дополнительную плату, хотя бы и в одиночку, без сопровождения. Такие горячие головы приходилось остужать известием о том, что по дороге наверх необходимо пересечь владения босса. На первоначальном этапе борьбы за Комплекс Барбур и его шпана успели заработать весьма дурную репутацию среди сталкеров, и теперь эта вполне конкретная опасность выглядела намного убедительней, чем смутная угроза О-О, для которого – или для которой? – и слова-то не нашлось.

Дойдя до конца коридора, группа переходила в корпус Си, на верхний этаж которого Барбур пускал молодых наркоманок, готовых на все ради очередной порции. Этот уровень, именовавшийся на жаргоне Комплекса откровенным словом «ебаторий», придавал и без того запретному характеру экскурсии пряный запах греха. Внутри лохов не пускали; гид останавливал группу в коридоре, крест-накрест перегороденном двумя хлипкими досками, и многозначительно объявлял:

– Дальше нельзя. Си-восемь. Частный приват.

Хомячки и хомячихи, заранее наслышанные об этой достопримечательности, благоговейно кивали и вытягивали шеи, пытаясь хоть

что-нибудь разглядеть в боковых помещениях. Как правило, ебаторий пустовал – осторожный Барбур приводил своих девок на ночь и, во избежание проблем, отправлял восвояси уже на следующее утро после использования – но разыгравшейся фантазии хомячков вполне хватало и уголка матраса, чтобы живо вообразить все остальное.

Выждав достаточное время, гид вел раскрасневшихся лохов дальше – через препоны и ловушки корпуса Си – вниз, в царство бомжей и нелегалов. Их приближение улавливалось прежде всего носом. Подобно скунсам, беззащитные и запуганные обитатели уровней Си-один и Си-ноль располагали лишь одним средством обороны от жестокосердного мира – вонью и, нужно отдать им должное, использовали это средство на всю катушку. Казалось, сам воздух в коридорах представлял собой плотную, слипшуюся из миазмов субстанцию, которая настойчиво выталкивала прочь любые чужеродные тела. Стараясь дышать ртом, хомячки протискивались сквозь душные запахи застарелого пота, экскрементов и невообразимого варева, булькающего в огромных кастрюлях, – здесь не брезговали ничем, от скорпионов до крыс и собак.

По обеим сторонам коридора ворочалась – жрала, испражнялась, совокуплялась, рожала и снова жрала – бесформенная животная масса, отвратительная беспредельно, насколько может быть отвратителен лишь человек, лишенный всего человеческого. Внутри этого липкого комка плоти пузырились голод и похоть, позывы кишечника и жадный зуд гениталий – но наружу выдавливалось лишь одно-единственное чувство – страх. Больше всего тут боялись Барбура – до паники, до дрожи, и отсвет этого ужаса падал на любого захожего чужака.

Время от времени хозяин Комплекса совершал рейд по цокольному этажу корпуса Си, и рейды эти походили если не на громоподобное сошествие всемогущего божества, то уж по крайней мере – на выездную сессию Страшного суда. Наслаждаясь могуществом, Барбур шествовал по коридору в сопровождении нескольких апостолов-бомжей, специально прикормленных для этой задачи. Первоначальной целью обходов были санитарные соображения – босс опасался эпидемий, а потому требовал от проживающих на Си-ноль нелегалов абсолютного здоровья. Всем заболевшим прописывалось универсальное лекарство – изгнание из Комплекса.

Как и положено божеству, Барбур никогда не вступал в обсуждения – просто указывал клювом в нужном направлении, и послушные апостолы, подхватив под локти парализованную ужасом жертву, в два счета выносили ее из здания, через двор, за ограду. Никто не смел протестовать – да и способна ли на протест биомасса? Потеряв один из своих комков, вонючее людское болото тут же снова смыкалось, наползая на клочок освободившегося пространства, на подстилку, миску, самку...

А что до комка, то так ли уж худо было оказаться за забором? Выйдя на шоссе, он имел все шансы попасть в нормальные человеческие руки, в больницу, в душ, в постель... Отчего же тогда нелегалы столь панически боялись кивка барбурьего клюва? Вряд ли это был страх перед неизвестностью – многие обитатели уровня Си-ноль пришли туда через тысячи километров пустынь, перетерпев побои, людоедство и пулеметные дожди. Трус не отважится на такую

дорогу. Тогда что же их так пугало? Неужели свобода? Неужели именно жизнь в Комплексе и была их истинной целью – сытое навозное бытие, возвращение в грязь, в глину, под пята всевластного верховного существа? Уж не возносили ли они Барбуру молитвы где-то там, в вонючей глубине своего душного мирка? Во всяком случае, кто-то из гидов клятвенно уверял, что видел на цокольном этаже корпуса Си самодельного идола с подозрительно волнистой спиной...

Дойдя до середины коридора, группа, к великому облегчению экскурсантов, покидала Си-ноль и сворачивала налево, в корпус Би. Там, на цокольном этаже, в большом зале напротив запертого парадного входа размещался храм сатанистов. Вообще-то, на самом деле анхуманы исполняли свои кровавые ритуалы вовсе не здесь, а внизу, на втором уровне подземной автостоянки. Но к началу экскурсионного бизнеса доступ в подвал был уже перекрыт собаками, которые наотрез отказывались вступать в мирные переговоры. Поэтому, поразмыслив, Дикий Ромео решил, что историко-географические неурядицы не оправдывают полномасштабной войны, и без колебаний принес географию в жертву миролюбию.

Он сам взял в руки баллончики с краской и за несколько дней превратил невинный зальчик на Би-ноль в аналог пещеры анхуманов. В подвале Ромео не бывал ни разу, так что пришлось положиться на слухи и рассказы сомнительных очевидцев. Это несколько осложнило задачу, но в целом имитация получилась правдоподобной.

Порядком уже подуставшие лохи попадали в зал через узкий проход из ярко освещенного вестибюля. Пока они таращили глаза, привыкая к темноте, гид зажигал свечи, и хомячье сердце застывало в груди, как цыплячья гузка в морозилке. На робкие язычки огня слетались со стен нацистские орлы и сатанинские звезды, зловещими пауками ползли членистоногие свастики, а в торце зала над алтарем, сложенным из бурых – предположительно от крови – кирпичей, щурилась огромная рогатая морда с козлиной бородой и клыкастой ухмылкой. Ужасные потеки на стенах и темные пятна на полу лучше всяких слов свидетельствовали о совершенных тут чудовищных злодеяниях. Что и говорить, храм анхуманов был достойным завершением и без того удачной прогулки! Не чуя под собой ног, хомячки сбивались в кучку посреди зала и даже не осмеливались отколупнуть на память кусочек крашеной штукатурки. Наконец гид гасил свечи и выводил группу наружу, во двор.

За эту двухчасовую экскурсию с каждого хомячьего рыла взималось по шестьдесят полновесных шекелей – деньги немалые. Но, по общему мнению, удовольствие стоило того.

– Смотри, – сказал Дикий Ромео, вытаскивая из кармана потрепанный блокнот. – Иной день по три раза водим. У нас теперь просто так не придешь – надо заранее записываться, по телефону. Назначаю им время, говорю где, куда... Так удобнее.

Они сидели на полу напротив входа в сатанинское святилище. По стене над дверным проемом шла красивая надпись готическими буквами: «Ариман клуб». Сбоку, чуть в стороне, красовалось знакомое «Тали, Тали, Тали...»

Цахи полистал блокнот, усмехнулся:

– Да у тебя тут целый бизнес... Кредитки тоже принимаешь?

– Только кэш, – серьезно отвечал Ромео. – Четверть нам, остальное – Барбуру, так что лучше записывать, чтоб вопросов не возникало. Работы много. Чоколаку ты уже видел – он с биноклем сидит. Без этого никак – стоит расслабиться, тут же безбилетники полезут. Еще один пацан, Безр-Шева, группы водит – со мной в перемену. Один водит, другой в запасе, на телефоне. В общем, каждый чувак на счету.

– А меня куда?

Дикий Ромео пожал плечами.

– Туда же, гидом. Сначала с нами походишь, потом сам водить будешь... – он замялся. – Тут еще такое дело... лучше сразу сказать, чтоб ты потом не удивлялся. Я, братан, не всегда в форме. Типа болею.

– Болеешь?

– Ну да. Лунатик я. Слыхал о таком?... – Ромео тоскливо вздохнул. – Короче, по три-четыре дня в месяц я вам не помощник. А бывает – и целая неделя вылетает. Вот так...

Он снова вздохнул и отвернулся.

– Зато экскурсию ты кайфовую построил, – сказал Цахи, чтобы сменить тему. – Правда, я знаю, о чем говорю. У меня мамаша тоже лохов разводит.

Лицо начальника гидов просветлело – Ромео действительно гордился своим детищем.

– Понравилось? Мне и самому нравится...

Цахи важно покрутил головой. Невольный участник мамашиних хепенингов и демонстраций, он ощущал себя экспертом по данному вопросу.

– Разве что онлайн-эффектов маловато. Но это легко добавить.

– Онлайн-эффектов? О чем ты?

– Пойдем, покажу... – вскочил на ноги Цахи. – Ты говорил, Безр-Шева как раз сейчас группу ведет? Где они, далеко?

Ромео на секунду задумался.

– Думаю, отдыхают. На Эй-семь, у лифта. Где когда-то паренек в шахту сверзился...

– Самое то, – кивнул Цахи. – Там же на дне его призрак, так?..

Когда Цахи Голан взвыл, тоненько и протяжно, и этот звук, усиленный трубой шахты, донесся до хомячков, сидевших на ее краю семью уровнями выше, стало не по себе даже самому Безр-Шеве – бывалому гиду, задурившему головы не одной сотне доверчивых лохов. Все повскакали с мест, и лишь немногие нашли в себе мужество сразу посмотреть вниз. Остальные подошли чуть позже. Побледневшее лицо Безр-Шевы добавило убедительности происходящему. В принципе, можно было бы удовлетвориться только этим, но Цахи не собирался останавливаться на достигнутом. Как утверждали мамашины тетки, звуковые эффекты хотя и важны, но сильно уступают зрительным. Поэтому он быстро вымазал щеки и лоб бетонной пылью и на секунду высунулся в шахту.

Всего на секунду – но результат превзошел все ожидания. Как утверждал потом Безр-Шева, столпившиеся у края шахты лохи немедленно впали в истерику разной степени тяжести. Исключением стали лишь две хомячихи, которые благополучно хлопнулись в обморок и



потому не принимали участия в дальнейшей суматохе. Остальные же визжали, рыдали, кричали, плакали друг у друга на плече, а какой-то мрачный хомяк, уставившись в одну точку, еще долго – до самого спуска в вонючий ад нелегалов – продолжал повторять одно и то же слово: «Призрак... Призрак... Призрак...» – и тем ужасно надоел прочим экскурсантам, которые, в общем и целом, оправились несколько быстрее.

Странно ли, что после этого случая к новичку накрепко прикипело прозвище «Призрак»? Нет, не странно. Если уж удивляться, то лишь тому, что это прозвище нашло Цахи Голана так поздно. Разве не призраку застреленного чужого старика был он обязан самим фактом своего появления на свет? Разве не призраком – почти бесплотным от нежелания его замечать – стал он для своих собственных родителей? Разве не призраком этих же родителей считали его полицейские следователи, наглые репортеры у зала суда, судья в нелепой мантии, воспитатели в исправительном учреждении? Даже для Боаза – единственного друга-приятеля с низким лбом первобытного охотника, – даже для него Цахи был прежде всего призраком, красивым воспоминанием о школе, об интернате, о нескольких нормальных годах между беспризорным прошлым и тюремным будущим...

В новую жизнь Призрак вошел легко и основательно, быстро освоив секреты экскурсионного бизнеса. Дикий Ромео меж тем все больше и больше замыкался в своем горе. «Тали, Тали, Тали...» – как и все мантры на свете, эта вездесущая настенная формула по мере повторения необратимо утрачивала свой первоначальный смысл, мало-помалу превращаясь из локальной тоски по конкретной девице в глобальную жалобу на равнодушие мира перед лицом невыносимого человеческого сиротства.

Отчего это выражалось именно в лунатизме? Не оттого ли, что принципиальная недостижимость луны лучше всего символизировала тщетность надежды на счастье? Обе они – и луна, и надежда – зарождались в полнейшей темноте – тоненьким лучиком, едва заметной светлой полоской. Обе затем росли, с каждым днем набирая силу, обрастая плотью, обнаруживая на своем теле пятна – неприятные, но пока еще терпимые. И обе предавали, отступали, сваливались на ущерб – и когда?! – в тот самый момент, когда наконец достигали желанного пика полноты, вожделенной степени совершенства! Но и это еще не все: предав и уйдя, обе обманщицы вскоре возвращались, чтобы снова повторить ту же мучительную пытку...

Так или иначе, но периоды недееспособности начальника гидов удлинялись, и это плохо согласовывалось с растущим спросом на экскурсии. А после того как Призрак ввел в программу несколько простых, но весьма действенных эффектов, популярность прогулок по Комплексу приобрела характер настоящего бума. Барбур, принимая ежедневную выручку, восхищенно крутил клювом: кто бы мог подумать, что доход удвоится от одного лишь тихого подвывания в глубине коридора или от легкого взмаха простыней в дальнем его конце? Интернетовские блоги сталкеров наполнились теперь байками о населяющих Комплекс духах и привидениях. В недели полнолуния гиды выбивались из сил и не могли рассчитывать на Ромео – более того, необходимость следить за лунатиком превращала его в серьезную обузу.

Однажды вечером в комнату гидов на Эй-восемь заявился Барбур. Хозяин Комплекса подошел к матрасу, на котором лежал Дикий

Ромео, наклонился и какое-то время безуспешно пытался поймать бессмысленный ускользающий взгляд лунатика. Затем он выпрямился и кивком лебединой шеи подозвал гидов.

– Совсем плох, а?

– Поправится... – пожал плечами Призрак. – Послезавтра полнолуние, потом еще два-три дня – и все придет в норму. Не впервой.

Барбур неопределенно скривился.

– Послезавтра... потом еще два-три дня... – повторил он. – А до этого еще неделя на матрасе. Это ж сколько, стал-быть, выходит? Полмесяца?

Гиды молчали, потупившись.

– Вы наши правила знаете, – назидательно произнес Барбур. – Комплекс не санаторий, тут работать надо. Да и больных мы не держим. Больные пусть в больничку идут. А это кто там?

Он показал большим пальцем за спину, где, прислонившись спинами к стене, сидели Мамарита и девушка, приблудившаяся к гидам за день до того. Она-то, скорее всего, и была причиной визита всевидящего хозяина Комплекса.

– Это Мамарита, – прикинулся дурачком Чоколака. – Чего, не узнал?

– Ты мне яйца не крути, щенок гуталиновый, – прошипел Барбур. – Я о телке толкую. О чужой телке. Сколько раз повторять: никого сюда не водить! Если кому потрахать приспичило – идите, стал-быть, в ебаторий. А тут бизнес делают, поняли? Чтобы завтра же чисто было, без чужих!

Безр-Шева открыл было рот, чтобы возразить, но Призрак остановил товарища.

– Погоди, босс, – сказал он спокойно. – Ты же видишь, у нас людей не хватает. Девочку эту Хели зовут. Вчера от группы отстала. Специально пришла, жить тут хочет, с Мамаритой. Говорит, прогоните – с крыши спрыгну. Зачем тебе здесь труп, сам подумай. А девка, кстати, сообразительная. Можно ее на бинокль посадить, а Чоколаку – в гиды. Мы-то с Безр-Шевой совсем с ног падаем – шесть групп в день, прикинь. Все равно от Ромео пользы сейчас никакой.

Барбур помолчал, обдумывая услышанное. Бизнес и в самом деле нуждался в расширении. Наконец он неохотно кивнул.

– Ну, коли так, тогда лады. Коли заместо лунатика, то пускай попробует... – босс кивнул на Ромео. – А этому передайте, когда очухается: еще раз так ляжет – я его самолично на шоссе вынесу. Оттуда тоже луну видать...

Все знали, что Барбур не шутит, а это означало, что к следующему полнолунию нужно срочно придумать, как спасти товарища от изгнания. И изобретательный Призрак нашел выход, построив на лунатизме Дикого Ромео захватывающее вечернее шоу. Причем доход шел даже не от самого шоу, хотя стоило оно недешево – в конце концов, сколько можно собрать с одного представления в месяц? Но несколько полнолуний головокружительной публичной беготни по карнизам корпуса Эй превратили несчастного влюбленного в одну из главнейших достопримечательностей Комплекса.

Конечно, лишь немногим посчастливилось воочию увидеть смертельно опасный номер лунатика, услышать его пронзительный зов, обращенный не то к любимой, не то к ночному светилу. Но и расска-

зов этих немногих оказалось вполне достаточно для того, чтобы чувствительные хомячихи обмирали от одного вида стен Комплекса. А уж надпись «Я люблю тебя, Тали», только-только вышедшая из-под руки «того самого» Ромео, и вовсе ввергала девушек в состояние транса.

Говоря языком патлатых пропагандисток из компании Ариэлы Голан, это был настоящий прорыв с точки зрения новой целевой аудитории. Прежде в Комплекс стремились лишь адреналиновые наркоманы, фанаты потусторонней чертовщины и любители садистских баек про злодеев-анхуманов. Красивая любовь Дикого Ромео добавила в чересчур пряное экскурсионное меню голливудскую ваниль подростковой романтики. Даже испытанная временем шекспировская драма бледнела рядом с живым образом парня из корпуса Эй, и уже трудно было сказать, который из двух Ромео удостоивался большего интереса, внимания, восхищения.

Призрак увеличил численность групп и поднял расценки, но это лишь подогрело ажиотаж. Телефон для приема заказов включался всего на два часа в сутки, тут же принимался трезвонить и не умолкал до самого выключения. Расписание экскурсий заполнялось с пугающей быстротой – клиенты записывались на полгода вперед. Девочки плакали в телефон, умоляя продвинуть очередь; парни, понизив голос, предлагали удвоить, утроить, упятерить плату. Барбур, не считая, принимал из рук своего удачливого менеджера невиданные барыши, молча прятал в карман пачки кредиток, смятенно покачивал клювом. Во взгляде его пуговичных глазок читались одновременно и радость, и страх: опыт настоятельно рекомендовал бояться всего чрезмерного, жадность не позволяла окоротить предпринимательскую инициативу Призрака.

Не откусывай больше, чем можешь проглотить; бери ношу по себе; знай свое место – эти простые, но мудрые правила не раз спасали хозяина Комплекса от неприятностей. Серьезные деньги – серьезным людям, а он, ничтожная рыбешка, привык довольствоваться малым, безопасным гешефтом, не привлекающим внимания крупных хищников. Кому-то – планктон тоннами, а кому-то и червячка хватает, личинки, стрекозы залетной. Все правильно, все справедливо. Уж больно деликатным было нынешнее положение Барбура... таким деликатным, что и не расскажешь никому. А деликатность требует незаметности, тишины требует. Потому-то и опасен этот шум-бум вокруг Дикого Ромео... – опасен, но при этом как выгоден, мать-перемать!.. – бабки так и плывут, так и плывут – поди откажись! И он брал деньги – поеживался от плохих предчувствий, но брал, ничего не говорил Призраку.

И все-таки ближе к осени его прорвало, хотя и как-то нерешительно, в полноги. Сунув за пазуху очередную пачку, хозяин Комплекса придержал Призрака за локоть, замялся смущенно.

– Ты чего? – не понял Призрак.

– Не пора ли притормозить, пацан?

– Ты о чем?

Барбур снова замялся.

– Обо всем... чересчур это... много, стал-быть.

– Много чего? Денег?

– Шуму много, – пояснил Барбур. – Не люблю я шума. И тебе он тоже, наверное, ни к чему.

Призрак хмыкнул. Зная своих родителей, он не сомневался, что те не станут его разыскивать, а напротив, сделают все, чтобы замять дело во избежание излишней огласки. По части нелюбви к шуму они не уступали Барбуру. Но и самому Призраку встреча с полицией вовсе не улыбалась.

– Ясно, ни к чему, – подтвердил он. – Ты, может, объяснишь, о чем речь, а то я не въезжаю.

– Ромео... нехорошо это... – после паузы выговорил Барбур.

Его непроницаемые черные глазки смотрели прямо на Призрака. Тот смущенно потупился. Нехорошо... – еще бы. Безр-Шева – так тот прямо говорил, что только подлецы станут извлекать барыши из болезни друга. Но с другой стороны – Призрак изобрел полнолунное шоу не для барышей. Тем самым он спасал Дикого Ромео от изгнания. Кроме того, одно дело – услышать такие упреки от Безр-Шевы, и совсем другое – от Барбура. Разве не сам босс угрожал выкинуть парня на шоссе? Тогда угрожал, а теперь что – совесть проснулась? Гм... совесть? Совесть и Барбур? Как-то не вяжется... Призрак снова взглянул на хозяина Комплекса и вдруг осознал, что, говоря «нехорошо», тот имел в виду что-то совсем другое.

– Можно конкретнее, господин Барбур? Я намеков не понимаю.

– Какой я тебе господин... – пробормотал босс. – Лишний тут Ромео. От него весь шум.

– Лишний? А деньги, которые он тебе приносит, – не лишние?! – выкрикнул Призрак. – Ты что, опять его выкинуть хочешь? Совсем сдурел? Не будь дураком, босс. Уйдет Ромео – уйдем мы все, обещаю. На нас тебе, ясное дело, наплевать, но деньги тоже уйдут. Дикий Ромео теперь – легенда Комплекса! А без легенды – кому он на фиг сдался, этот твой короб бетонный?!

Набычившись, тяжело дыша и сжав кулаки, он стоял напротив хозяина Комплекса. Тот отвел взгляд, вздохнул, примирительно крякнул:

– Ты это... чего, пацан? Я ж так просто, перетереть. Чего в бутылку-то лезть? Пацан ты еще, горячий. Это... Никто, стал-быть, никого не выкидывает. Я чего говорю – скромней надо. Скромность, она, стал-быть, здоровье бережет.

– Тогда так, – решительно сказал Призрак. – С ночными шоу заканчиваем, хватит.

Барбур поднял бесцветные бровки.

– Постой-ка... ты ведь это... бабки вперед взял.

– Ну, взял, – кивнул Призрак. – За одно представление, через две недели. Деньги вернуть можно.

Барбур задумался. Призрак молча ждал решения босса. Наконец тот отрицательно крутанул клювом.

– Нельзя бабки вертать, плохая примета. Давай так – пускай будет еще один раз, последний. А потом уже всё, завяжем. Годится?

Призрак снова кивнул. Потом, вспоминая этот разговор, он будет не раз спрашивать себя, изменилось бы что-нибудь, если бы он ответил иначе? Если бы он настоял на своем или просто, не спрашивая Барбура, вернул бы клиентам деньги – пусть даже свои, если бы отменил последнее представление, полнолунное шоу осеннего месяца мархешван. Тогда уж, конечно, он не пас бы хомячков во дворе, а находился бы рядом с другом и наверняка смог бы остановить

его, не позволить уйти наверх, во владения О-О, и еще дальше – на крышу корпуса Би, в роковую прогулку, которая оказалась для Дикого Ромео действительно последней.

## 5

Барбур спустился во двор, когда Призрак уже возвращался, вы проводив за ограду возбужденно перешептывающихся хомячков. За хозяином, точно соблюдая дистанцию невидимого поводка, следовал верный бультерьер Русли. Кац пришел тоже, хотя и в демонстративном отдалении от босса – он вообще при каждом удобном случае любил подчеркнуть свой независимый статус. Рядом с ним маячил шпаненок Бенизри.

– Где? – коротко спросил Барбур.

Призрак указал лучом фонаря:

– Там, под рампой.

Они подошли к труп. При ударе о край рампы Дикого Ромео переломило надвое, и теперь он лежал, вывернув конечности под неестественными, невозможными для человеческого тела углами.

– Добегался, лунатик хренов, – с кривой усмешкой констатировал Кац. – Глянь, Бенизри, как он ноги за спину закинул. Даже ты так не сможешь.

Призрак сжал кулаки. Из здания доносился нарастающий грохот сапог. «Опять Чоколака шумит, – подумал Призрак. – Теперь уже не страшно, никому не помешает. Кончилось наше шоу... и Ромео кончился...»

– Что делать, Барбур? – спросил он. – Хоронить надо.

– Ага, сейчас, – подхватил Кац насмешливо. – Вот только равнина пригласим, отходянок прочитать... Вынести его за забор – и сказке конец. Шакалам и кабанам тоже пожрать охота. Можно и собакам сбросить в подвал, но они ведь сразу не сгрызут, вонять будет.

– Так что, Барбур? – повторил свой вопрос Призрак.

Хозяин Комплекса задумчиво покачал головой. Его маленькие черные глазки матово поблескивали в свете фонаря.

– Схоронить, говоришь? Закопать, стал-быть, как вонючку?

Вонючками на жаргоне Комплекса именовались бомжи и нелегалы. Случалось, кто-то из них умирал в результате внутренних разборок или от болезни, вовремя не выявленной Барбуrom. В этом случае апостолы Барбура выносили труп в пустыню и там закапывали.

– Ты что?! – вспыхнул Призрак. – На кладбище надо... нормальное, с могильщиками, и вообще... Может, у него семья была, родители...

Из коридора корпуса Эй выскочил Безр-Шева, ломанулся напрямик через мусорные кучи, оступаясь и скользя по хрупкому щебню, подбежал, зачем-то прячась за спину Призрака, выглянул из-за плеча и наконец взвыл, зажмурившись и стуча лбом по лопатке товарища. Блестя в темноте зубами, подошел Чоколака и тоже встал рядом.

– Видишь? – тихо сказал Призрак, адресуясь боссу. – Другьями они были, близкими. Как братья. Хоронить надо.

Кац презрительно фыркнул, но промолчал. Неловко пожившись, Барбур почесал в затылке и вздохнул.

– Поди похорони такого. Он ведь у нас это... сылебрити. Просто так в морг не привезешь, к больничке не подкинешь. Кажная собака

знает, кто это и откуда... – он погрозил пальцем Призраку. – Говорил я тебе – шуму от него много... ну что теперь делать?..

– Сволочь! – вдруг завопил Безр-Шева и, оторвавшись от плеча Призрака, бросился на босса. – Это ты его смерти хотел, гад! Ты его убил, сволочь! Гадина!

Если бы не своевременное вмешательство Русли, Безр-Шева наверняка успел бы вцепиться в длинную барбурову шею. Но бультерьер с удивительным проворством выдвинулся вперед и перехватил нападавшего. Теперь тот, болтая ногами, висел на мощной руке телохранителя, верещал и, выкрикивая проклятия, безуспешно пытался дотянуться до Барбура кулаком. Кац смеялся, довольный представлением, Бенизри тоже подхихикивал.

– Хватит! – закричал Призрак. – Безр-Шева, хватит! Он тут еще теплый лежит... а ты в драку лезешь... Хватит!

– Еще теплый! – захлебнулся смехом Кац. – Ешь, а то остынет...

– Во, видали? – оскорбленно проговорил Барбур, делая шаг назад. – Заботишься о них, как о детях, а они... Чуть глаза не выцарапал, щенок... ты сам-то где был, стервец? Кто за Ромео не уследил – я? Ты! Ты его на Би-крышу пустил, не я! Так ведь? Так! А теперь ты же на меня же и валишь?! Видали?

Безр-Шева всхлипнул и обмяк. Чоколака обнял приятеля сзади.

– Отпусти его! Русли,пусти его, слышишь!

Русли не отреагировал – подобно настоящему бойцовому псу, он подчинялся только хозяйским командам.

– Хрен с ним, пусть живет, – кивнул Барбур.

Телохранитель разжал пальцы, и всхлипывающий Безр-Шева мешком упал в руки эфиопа. Призрак похлопал Чоколаку по плечу.

– Забери его отсюда. Идите наверх, я скоро.

Тот подчинился; спотыкаясь на мусорных кучах, оба гида двинулись по двору в направлении входа в корпус Эй. Кац, недобро ощерившись, смотрел, как они скрываются в темноте.

– Совсем ты распустил фраеров, Барбур, – процедил он и сплюнул себе под ноги. – За такие дела уши резать надо. Или пальцы. Сам не можешь, дай другим, которые умеют.

– Стал-быть, так, – сказал Барбур, игнорируя Каца, словно его тут не было. – Придется ментов вызывать. Иначе никак.

– Что-о? – изумленно протянул Кац. – Ментов? Ты что, тоже с крыши сверзился?

– Иначе никак, – повторил хозяин Комплекса. – Все равно они сюда придут. Лохи видели, как он убился? Видели. А если лохи в курсе, то и весь белый свет тоже. Стал-быть, лучше самим позвать, подозрений меньше.

Приоткрыв рот с видом крайнего удивления, Кац обвел взглядом двор – как будто видел его впервые. Казалось, он не мог поверить, что действительно слышал своими ушами только что прозвучавшие слова.

– Ну-ну... – наконец произнес он. – Вот какие у тебя кореша, оказывается. Всякое про тебя говорят, Барбур, но такого, чтоб ты сам в ментовку звонил... ты, может, тоже мент?

Барбур гневно вздернул подбородок.

– Ты! Это! – прошипел он. – Щенок вшивый! На кого катишь? Русли!

– Только тронь меня, – хладнокровно отвечал Кац. – Зарежу. Ты знаешь, я не шучу.

Обе руки его напряженно подрагивали в карманах куртки. Бенизри, блестя глазами, стоял рядом.

– Может, хватит, а? – сказал Призрак. – Потом погрызетесь. Не при нем.

Барбур перевел дух и отвернулся от Каца.

– Глупый ты, Кац, молодой. Пацан еще. Думаешь, это все... – он обвел рукой двор и темную громаду Комплекса, – это все даром? Мы тут жируем, пока ментам это в масть, въезжаешь? А станем залупаться – кранты! Всем кранты – и мне, и тебе, и гидам, и вонючкам. Одни собаки и выживут. А то и собак выкурят.

Он вынул из кармана телефон.

– Стал-быть, звоню я. Приму их тут, покажу, чтоб все путем было... А вам всем лучше линять куда повыше. Ночью они внутрь не пойдут, ноги-руки ломать... Йалла!

Кац молчал, не двигаясь с места.

– Йалла! – повторил Барбур. – Оглохли? Русли, домой! Бенизри, проверь, что вонючки не жгут ничего. И вы все тоже – чтоб не светились. Ну?! Йалла!

Телохранитель повернулся и пошел в сторону лестницы. Сплюнув, двинулся за ним и Кац в сопровождении своей шестерки. Во дворе остались только Барбур и Призрак.

– А тебя, пацан, что – письмом приглашать?

– А его точно похоронят? – тихо проговорил Призрак, глядя на неестественно вывернутые ноги мертвеца.

– Точно, точно... – успокоил его Барбур. – Менты ведь. Они и семью найдут... когда личность установят. Как его звали-то?

Призрак пожал плечами.

– Ромео. Дикий Ромео.

– Да нет. Имя, фамилие... Не знаешь, стал-быть? Вот то-то и оно... Йалла, Призрак, иди. Менты – они как вороны – на труп быстро слетаются...

Когда Призрак, не включая фонаря, умело пробирался по двору к лестнице, он вдруг понял, почему ему так не хотелось возвращаться внутрь.

Да разве только ему? Даже бесчувственный чурбан Русли – и тот подчинился боссу с видимой неохотой... В Комплексе явно произошла какая-то перемена – возможно, временная, связанная с недавней смертью, с мертвой грудой странно торчащих конечностей под рампой корпуса Би. Огромное, нависающее над миром здание дышало угрозой – не обычной, повседневной, хорошо изученной и потому перешедшей в разряд привычки – а новой, неизвестной, куда более страшной.

Самое неприятное заключалось в том, что Призрак не мог даже приблизительно указать на источник этой угрозы, чтоб хотя бы знать, чего именно беречься – невидимая и всепроникающая, она, казалось, была растворена в воздухе, которым он дышал, в лунном свете, освещавшем ему дорогу, в бетонных стенах с осиротевшими надписями «Тали, Тали, Тали...». На площадке цокольного этажа, уже поставив ногу на первую ступеньку, Призрак вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Страх парализовал его; с трудом протолкнув в легкие отвердевший воздух, Призрак медленно повернулся и включил фонарь.

В коридоре стояли собаки – много собак, едва ли не вся стая. Их остро настороженные уши торчали, как листья диковинного сада, уходящего в глубь темноты – туда, куда не мог дотянуться слабый луч фонаря. Собаки стояли неподвижно, уставив на Призрака зоркие мерцающие глаза и ожидая сигнала вожака; впереди, низко наклонив лохматую башку, застыл и он сам – крупный черный кобель из тех, кому доверяют большие овечьи отары и кто не боится ничего на свете, кроме грозы.

Призрак нашарил палку, припасенную возле лестницы специально для таких случаев. Заметив его движение, вожак подтянул верхнюю губу и предупреждающе оскалился. Оскал этот был похож на ухмылку – в самом деле, могла ли помочь палка против такого количества пастей?

– Что? – вызывающе выкрикнул Призрак. – Чего вам надо? Поживу учуяли, да? Человечинки захотелось? Хрена вам, а не человечинки, людоеды... Сейчас менты приедут, всех постреляют. Пошли прочь! Прочь!

Черный пес едва заметно шевельнул хвостом, и внезапно Призрак понял, что собаки не собираются нападать. Тогда что? Зачем они вылезли из своего подвала? Что выгнало их наружу, встревожило, заставило сбиться в такую тесную кучу? Неужели их спугнула та же неведомая угроза, которая не дает дышать ему самому? А может быть, они ищут союзника? Союзника? Но как они могут искать союзника в человеке – своем главном враге, хищнике и садисте? Значит... значит, тот, другой враг – еще хуже, еще страшнее, еще безжалостней... Призрак похолодел.

– Ничего... – хрипло проговорил он, глядя в черные собачьи зрачки. – Не бойтесь, это пройдет. Вот увезут Ромео – и пройдет. Все будет как прежде. Идите к себе. Не бойтесь.

Повернувшись спиной к стае, Призрак стал подниматься по ступенькам. Вряд ли ему удалось успокоить собак – скорее они должны были еще больше встревожиться, оценив масштабы человеческого страха. «Ну и пусть... – мстительно подумал Призрак. – Не одним же нам бояться». Эта мысль неожиданно принесла облегчение.

В комнате гидов стояла тишина – не мягкая, дремотная тишина ночи, но напряженное, чреватое криком безмолвие беды. Из дальнего угла, с матрасов Мамариты и девушки Хели доносились едва слышные всхлипы, больше похожие на шелест, чем на плач. Чоколака и Безр-Шева молча сидели перед оконным проемом, распахнутым в полнолуние. Пустыня светилась внизу мертвенным голубоватым светом. Призрак подошел, примостился рядом.

– Что там? – не поворачивая головы, спросил Безр-Шева.

– Сейчас полиция приедет, заберут. Кац хотел за забором закопать, Барбур не дал.

– И ты ему веришь?

Призрак скривился.

– Вообще – нет, но в данном случае...

– А вдруг смухлюет? – возразил Чоколака. – Приведет своих бомжей, унесут за забор... А нам потом скажет – менты забрали.

– Нет, ребята, – терпеливо сказал Призрак, – тут ему не смухлевать. Полицейский джип издали видно, а уж с нашей высоты и подавно. Не пропустим, не сомневайся. Барбуру с нами ссориться



ни к чему – мы ему бабки приносим. Уйдем мы – уйдут бабки. А этого он боится больше всего. Даже больше полиции.

Безр-Шева зло усмехнулся.

– Полиции? Наивный ты, Призрак. Полиции Барбур не боится вообще. Он сам – полиция.

– О чем ты?

– О чем, о чем... – Безр-Шева сплюнул в оконный проем. – Тут все по договоренности, понял? Полиции проблемы не нужны, полиция тишину любит. Чтобы лохи не калечились, с крыш не падали. Чтобы арабы тут оружие не держали. Чтобы кого надо отлавливать, чтобы своих подсадных уток засылать. Удобнее места не найдешь, сам прикинь. Арабы-рабочие тут на Си-два ночуют, языком треплют. Кто-то что-то в своей деревне слышал, кто-то что-то видел... Ночью в Комплексе растрепал, а утром его трепотня – у Шабак на столе. Или, прикинь, нелегал пырнул ножиком проститутку в Тель-Авиве да и сбежал – как его искать, где? В Комплексе, где же еще... Ловушка это, Призрак, натуральная ловушка. А Барбур при ней комендантом. Крыса он ментовская, вот кто.

Призрак слушал, мотал на ус и вспоминал злые глаза Каца, его «всякое о тебе говорят, Барбур...», смущенную реакцию хозяина Комплекса. Слова Безр-Шевы объясняли слишком многое, чтобы быть выдумкой или неправдой.

– Крыса, говоришь? – переспросил он. – Так это и так видно, что крыса, а не птица. А что ментовская, то пусть лучше ментовская, чем бандитская. Или тебе Кац больше нравится? У Барбура на первом месте деньги, бизнес. Кого колышет, что он шахидов и нелегалов сдает? Главное, чтобы нас не сдавал. А нас он не сдаст, потому что мы – бизнес. Кто он без этого бизнеса? Ноль, никто...

– Да с чего ты взял, что мы – его главный бизнес? – с кривой усмешкой проговорил Безр-Шева. – По-твоему, он тут ради твоих экскурсий сидит?

Он явно хотел добавить еще что-то, но в этот момент Чоколака предостерегающе толкнул его локтем. Безр-Шева хмыкнул и замолчал, отвернувшись. Отвернулся и Призрак, сделал вид, что ничего не заметил. Чужой секрет – как чужой стакан: никогда не знаешь, какую холеру подхватишь вместе с вином. Так что лучше не пить вовсе, не соблазняться любопытством. Неловкое молчание пристроилось между ними – четвертым, самым общительным, хотя и бессловесным собеседником. «Вместо Дикого Ромео... – горько подумал Призрак. – Скорее бы уже приехали...» И, будто услышав, с невидимого отсюда шоссе тявкнула полицейская сирена.

– Едут! – с нескрываемым облегчением воскликнул Чоколака, вскакивая с пола. – Пойдемте, посмотрим.

Они поднялись на крышу – это был кратчайший путь к противоположному, западному торцу корпуса, откуда открывался вид на дорогу и пунктир фонарей вдоль нее.

Полицейский джип, крутя красно-синей чоколакой, уже подъезжал к будке охранника. За ним следовала санитарная машина. Два мента спрыгнули на землю. От будки отделилась знакомая тощая фигура с длинной шеей и маленькой головой – Барбур. В бинокль Призрак хорошо видел, как хозяин Комплекса здоровается с полицейскими. Рукопожатия... шутливые дружеские толчки... – они явно

видели друг друга не впервые. Как есть – крыса ментовская, не соврал Безр-Шева...

– Ну, что там? – Чоколака нетерпеливо переминался рядом.

– Носилки вынимают, – сообщил Призрак, не отрываясь от бинокля. – Охранник с замком возится. Через ворота пойдут, по-хозяйски. А Барбур ментам и впрямь как родной. Слышь, Безр-Шева?

Безр-Шева не ответил. Он никогда не приближался к краю крыши и вниз не смотрел, а сидел в сторонке на пластиковом ведре, рядом с тоненькой, в три ветки, акацией. Это было его деревце, личное, регулярно пестуемое и поливаемое. Как и когда оно прижилось здесь, не знал никто – просто залетело семечко в бетонную щель – залетело и выжило. Малое семечко, одно из бесчисленных погибших, в точности подобных ему семян – статистическая ошибка, как и все мы. Погибло бы и оно, не будь в щели теплой случайно скопившейся там грязи – отвратительной смеси песка, птичьего помета и полуразложившейся крысиной плоти. Но и едва высунувшись из бетона, росток был бы обречен, если бы не живое существо по имени Безр-Шева, оказавшееся здесь столь же случайно, как и птичье дерьмо илидохлый крысенок.

Дружба с Безр-Шевой была для акации всего лишь звеном жизненной цепи – необходимо важным, но одним из многих – наряду с падалью и дерьмом... Сначала, думая об этом, Безр-Шева испытывал досаду, но потом привык, как привыкают к постоянному неприятному запаху. Вечерами после экскурсий он поднимался на крышу, и дерево, узнав кормильца, разом поворачивало к нему все свои немногочисленные листья, словно жалуясь на ожоги жесткого дневного солнца.

– Что, соскучилось? – ворчливо говорил Безр-Шева, приседая на корточки. – А я вот тебе говнеца принес ослиного. Любишь говнецо? Знаю, любишь... Вот, держи... и водички, водички...

Закончив полив, он переворачивал ведро вверх дном, садился и сидел так часами, глядя неизвестно куда – то есть точно в том направлении, откуда прилетела на крышу эта непонятная, жестокая, неблагодарная и на первый взгляд абсолютно бессмысленная жизнь.

В ночи полнолуния к ним присоединялся Дикий Ромео. Хотя можно ли сказать «присоединялся» о лунатике? Во время приступов Ромео не обращал внимания ни на деревце, ни на Безр-Шеву – у него была своя программа, свои друзья: луна и карниз. Впрочем, акация платила лунатику той же монетой – ведь он не приносил ни воды, ни навоза, а значит, ничем не отличался от какой-нибудь бесполезной крысы – понятное дело, живой, потому что мертвая крыса, исходя из личного опыта деревца, могла очень даже пригодиться.

Зато Безр-Шева не мог оторвать взгляда от безумных трюков Дикого Ромео. Вообще говоря, он предпочел бы зажмуриться, а то и вовсе убежать с крыши, но это было бы еще хуже. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним тут же возникала картина, страшнее которой не знало его воображение: плоская крыша школы, уличные фонари, ряды немигающих окон – бесчисленных соглядатаев, и на этом фоне – тонкая, растопырившая руки и ноги фигурка подростка, зависшая в пустоте над пропастью, за несколько мгновений до смерти.

Два года назад его еще не звали Безр-Шева, поскольку кличку по названию географического места можно получить лишь вдали от

него. А Безр-Шева тогда жил непосредственно в Безр-Шеве. Дело происходило в канун Лаг-ба-Омера, праздника костров и подростковой вольницы. Доски были загодя собраны и сложены шалашиком, солнце вот уже час как зашло, но почему-то огня всё не зажигали, и ребята без толку маялись в школьном дворе. Безр-Шева и его закадычный друг Авишай присоединились к этой компании не так давно и знали далеко не всех.

— А в школе к лету кондиционеры заправили, — проговорил кто-то со значением. — Сейчас бы нюхнуть...

Авишай словно ждал этого. Его отец работал с холодильными установками, и это давало сыну право считать себя спецом в области веселого газа фреона.

— Так за чем дело стало? — сказал он. — У меня и ключ есть. Давайте слазаем. Только покажите, как тут залезают. И бутылку дайте с пробкой. Есть бутылка?

Тут же нашлась и бутылка из-под колы. На крышу полезли втроем — они с Авишаем и парнишка-эфиоп, который вызвался показать дорогу. Наверху, похвалив «давление в системе», Авишай наполнил бутылку и с солидным видом прикрутил клапан, вернув его в прежнее, рабочее положение: «Мы ведь, братаны, — настоящие профи, не вандалы какие-нибудь...» В итоге все вышло легче легкого, теперь можно было пускаться в обратный путь, вниз — туда, где их ждало законное восхищение и уважение остальных. И если они сразу не стали спускаться, то только из великодушия — только потому, что эти остальные заслуживали дополнительной заботы.

— Жаль, бутылка одна, на всех не хватит, — посетовал Авишай и вдруг хлопнул себя по лбу. — Как же я раньше не подумал? Мы-то трое и сейчас нюхнуть можем, прямиком из соска! Зато ребятам внизу больше достанется...

Давление в системе и вправду оказалось отменным. Оно шибануло Безр-Шеве в самую душу и тут же расперло ее до размеров воздушного шара — большого, легкого и ужасно смешного. Воздушным шарам полагается летать, но сначала они просто обязаны вволю отсмеяться. Отсмеявшись, Безр-Шева оглянулся и увидел рядом пару таких же шаров. Он помнил, что одного из них звали Авишай, а вот второго, черненького и такого уморительного, что обхохочешься... как же его?..

— Эй, братан, как тебя зовут? — выдавил он, заходясь от хохота.

Черненький прыснул и ответил непонятным словом — таким смешным, что Безр-Шева и Авишай просто покатались по крыше.

— Ой, умру... — кричал Авишай. — Как ты сказал? Тчонелин? Менелика?

Эфиоп повторил — стало еще смешнее.

— Чоколака! Ты — Чоколака! — завопил Безр-Шева. — Полицейская чоколака! Спасайтесь! Полиция! Хватайте! Спасайтесь!..

И они принялись гоняться друг за другом, толкаясь, падая, вскакивая, и главное — помирая от хохота. Потом их осталось двое — Авишай улетел на небо, как это и положено воздушным шарам, а Безр-Шева и Чоколака, отяжелев, спустились во двор, где раньше была компания друзей, а теперь кого только не было, и там почему-то бушевала невообразимая суматоха, и вовсю мельтешили настоящие чоколаки — красно-сине-полицейские и просто красные, амбулансные.

Окончательно Безр-Шева пришел в себя перед следователем полиции. Не менее десятка свидетелей видели, как кто-то толкнул с крыши ныне покойного Авишая Лицмана, и полицейский хотел знать, кто именно. Он смотрел участливо и вообще входил в положение, как мог.

– Ну, подрались, с кем не случается? Особенно если нанюхавшись... – следователь заговорщицки подмигивал. – Ты мне только шепни – кто толкнул? Эфиоп, да? Или все-таки ты? Только шепни, тихонечко, никто не услышит... Ну, вспомнил?

И тут с Безр-Шевой произошла странная вещь. Его память начала отматываться назад, мелькая быстрыми смазанными образами, как видеозапись, пока вдруг не встала, словно оборвавшись, на одном предельно ясном стоп-кадре. В отличие от предыдущего суматошного мелькания быстрой перемотки, эта картинка стояла неколебимо, прочно, будто приглашая рассмотреть себя во всех наиболее подробнейших деталях. Нижнюю часть изображения занимала крыша школы – плоская, серая, с кляксами черных битумных заплат. Выше, отделенная ровной линией карниза, располагалась обычная городская ночь, какой она видится с четвертого-пятого этажа: напыщенные фонари, темные пятна пустырей, силуэты многоквартирных домов и ряды, ряды, ряды освещенных окон – как немигающие глаза бесчисленных соглядатаев. А на этом фоне, аккуратно над карнизом – вернее, за карнизом – тонкая, беспомощно растопырившая руки и ноги фигурка Авишая, зависшая в пустоте над пропастью.

– Ну что? – поторопил его полицейский. – Эфиоп?

Безр-Шева попробовал перемотать секундой дальше – и не смог. Казалось, стоп-кадр был не просто спроецирован на экран, но впечатан в огромную непреодолимую стену, навсегда разделившую две абсолютно разные, ни в чем не схожие жизни – жизнь до и жизнь после.

– Я не знаю, – ответил он. – Не помню. Ничего не помню.

А где-то рядом глухо молчал Чоколака. Как выяснилось позднее, на следствии он вообще не произнес ни слова – ни «здрасте», ни «спасибо». Их помуржили пару дней в участке и выпустили... – но лучше бы не выпускали. Прежний мир, составной частью которого они были когда-то, стал непоправимо враждебным и наотрез отказывался впускать в свои двери их, чужаков. Взгляды людей на улице щетинились неприязненным любопытством. В школе сказали, что какое-то время им следует посидеть дома – пока не уляжется. Телефон и почтовый ящик разрывались от анонимных проклятий и угроз. Мать Безр-Шевы плакала, отец мрачно молчал, младший брат возвращался домой избитым.

Спустя неделю, дождавшись, пока все уйдут, в дверь Безр-Шевиной квартиры постучал Чоколака.

– Линять надо, – сказал он вместо приветствия. – Иначе меня отец приберет. Ты как, со мной?

– Куда? – спросил Безр-Шева.

Чоколака пожал плечами.

– Не куда, а откуда. Отсюда... – он помолчал и добавил: – Говорят, к северу от Иерусалима место есть. Комплекс называется. Ну как, идешь?

Оставив гостя на лестнице, Безр-Шева вернулся в комнату и побросал в рюкзак вещи: пару футболок, джинсы, нож и бутылку воды. Через час они уже сидели в автобусе, мчавшемся в направлении столицы. За окном дорога отсчитывала километровые столбики; два парня, скорчившихся на заднем сиденье, отъезжали все дальше и дальше от бывшей жизни, бывшего дома, бывших друзей – всего того, что когда-то именовалось «Безр-Шева». А вечером того же дня на смотрах у хозяина Комплекса это название съежилось еще больше – до размеров клочки.

– Из Безр-Шевы? – переспросил Барбур. – Стал-быть, так тебе и зваться – Безр-Шевой. А негритос и без погоняла обойдется. Много их тут развелось, вонючек...

Дикий Ромео к тому времени уже вовсю бегал по крышам, и это было единственным, что по-настоящему беспокоило Безр-Шеву в его новой ипостаси гида и обитателя Комплекса. Казалось, Ромео специально послан сюда каким-то хитрым мучителем, чтобы Безр-Шева ни на минуту не забывал о вечной и нескончаемой пытке – пытке вопросом: действительно ли он столкнул с крыши своего лучшего друга? Стоп-кадр с падающим Авишам по-прежнему оставался непроницаемым для памяти. Ни к чему не приводили и попытки разговорить Чоколаку: тот сразу же замыкался – наглухо, как тогда, перед следователем.

Страшно было смотреть на лунатика, слепо раскачивающегося на краю карниза, – страшно даже не за него – за себя. Страшно было ощущать зуд в кончиках собственных пальцев – этот зуд звал подойти, подтолкнуть – и тогда, может быть, вспомнить. А когда приступ кончался и Дикий Ромео благополучно возвращался на свой матрас, Безр-Шевину бедную душу раздирали самые противоречивые чувства. Конечно, он испытывал облегчение от того, что приятель снова остался жив, но в то же время где-то в глубине души и огорчался продолжению пытки, и радовался очередной отсрочке приговора – приговора самому себе...

Сегодня Дикий Ромео опоздал. Луна уже вываливалась из-за горы, а он все не шел, и Безр-Шева, как всегда, поджидавший на Эй-крыше возле акации, решил проверить, в чем дело. Они почти столкнулись в коридоре. Сначала Безр-Шеве показалось, что Ромео случайно пропустил выход на лестницу и вот-вот осознает свою ошибку, но лунатик уверенно свернул в корпус Би и продолжал идти вперед, слепо задрав голову и удивительно точно минуя попадавшиеся по пути ямы и препятствия. Наверное, тут-то и следовало остановить его – позвать Чоколаку и превосходящими силами скрутить, связать, не пустить дальше.

Но Безр-Шева упустил момент. Упустил, уронил, почти столкнул... – или просто столкнул, без всякого «почти»... Именно об этом думал он снова и снова, глядя на Призрака и Чоколаку, которые передавали друг другу бинокль на дальнем краю крыши.

– Почему я? Почему именно я?..

– Ты что-то сказал? – обернулся Призрак.

Безр-Шева махнул рукой:

– Ничего.

Но Призрак уже шел к нему, пристроив на лицо сочувственную гримасу. «Сейчас утешать будет, – понял Безр-Шева, – проявлять

дружескую заботу. Ромео гикнулся, теперь он окончательно в начальничках. Без году неделя в Комплексе, а вот поди ж ты... рационализатор хренов. И откуда он взялся такой? С виду белая косточка, цфонбон, и речь гладкая, а фразочки вставляет – шпана шпаной, и главное – к месту все, к месту. И глаза иной раз опасные, посмотрит – как резанет...»

– Кончай париться, братан, – сказал Призрак, подойдя. – Сам видишь, все устроилось. Заберут его, похоронят как человека. Получается, зря ты на Барбура накинулся... – он помолчал секунду-другую. – Или не зря? Тогда объясни. Сам видишь, я тут человек новый, многого не знаю.

– Не знаешь? – неприязненно переспросил Безр-Шева. – Все-то ты знаешь. Барбур – сволочь расчетливая. Какой-нибудь Кац, если ему что мешает, тут же за ножик хватается, а Барбур – нет, никогда. Этот ждет, пока нарыв созреет. Разве что поддавливает потихоньку – авось сам лопнет, без надреза. С тем поговорит, этому наврет, того запугает. Он ведь и к тебе подходил, правда? Мол, ничего личного, но мешает Ромео бизнесу, шумит чересчур. Подходил ведь, а?

Призрак пожал плечами.

– Ну, подходил, так что? Одно дело – на лишний базар жаловаться, и совсем другое – убить. Ты ведь внизу кричал про убийство, так? Вот я и говорю, что нелогично это, не вяжется. Ромео Барбура доходы утроил – зачем его резать? Невыгодно...

– Наоборот! – перебил его Безр-Шева. – Мертвый Ромео для Барбура куда выгодней. Мертвец не шумит, не спорит, жрать не просит. Памятник ему поставил и греби деньги – чем плохо? Сам прикинь: тот лох, который в шахту упал – кем он был при жизни? Никем, хомяком жирным обыкновенным. А теперь ему цветы несут, свечки зажигают.

Какое-то время Призрак обдумывал услышанное, потом покачал головой.

– Все равно... трудно поверить. На Би-крышу никто просто так не полезет – разве что лунатик. Ты вот не пошел – и правильно сделал. Барбур тоже не дурак – лезть во все эти О-О...

На лицо Безр-Шевы вдруг выползла странная, похожая на змейку улыбка. Он встал с ведра и подошел к Призраку вплотную.

– Ты веришь, что О-О существует, а, умник? В О-О веришь, а в то, что Барбур может убить – нет? Интересно...

– Ни во что я не верю, – смущенно отвечал Призрак. – Что ты прицепился?

– Нет уж, нет уж, сам напросился... – Безр-Шева плаксиво сморщился: – «Я тут человек новый, многого не знаю...» – вот и слушай теперь, если не знаешь. Есть он, О-О. А может – она, О-О. Но скорее всего – оно, О-О... Или, если уж совсем точно – хрен-знает-как, О-О. Рухаешь? Есть!

Он начинал говорить тихо, а теперь почти кричал, размахивая руками:

– Есть! Там, на Би-двенадцать, на самой верхотуре... Верхотура – это важно, Призрак, – чтобы дальше видеть. Потому что это хрен-знает-что должно чего-то жрать, понял? А как же... – все должны... И вот оно таскает себе жратву, и жратва его – мы! Мы! Ты, я, Ромео, Мамарита, даже этот урод Барбур! О-О плевать, что урод – главное, чтобы вина была. О-О жрет виноватых! Собирает их сю-

да – и жрет, и жрет, и жрет! Въезжаешь?! Если ты попал сюда, значит, ты виноват. Виноват! Я имею в виду – круто виноват, в чем-то большом и страшном. Невинowych тут нет, в этом Комплексе. Нет! В чем ты виноват, Призрак? Ну?! В чем?

Призрак ошеломленно попятился.

– Да что ты... ни в чем я не виноват... отстань! Чоколака, что это с ним?

– Ни в чем? – ощерившись, повторил Безр-Шева. – Ага... Вот и я – ни в чем. Ни в чем. А может, и в чем-то. Все мы в чем-то виноваты – скажи, Чоколака... А иначе нас бы тут не было. Объясни человеку, он тут новый, многого не знает...

Чоколака молчал, потупившись. Призрак потрянул головой, словно избавляясь от наваждения.

– Вот что, – решительно сказал он, – с меня хватит. Вопишь тут, как дамочка с нервами. Видал я таких истеричек. Попей водички, братан, завтра вы с Чоколакой – вдвоем на все экскурсии. А мне в город надо, новых гидов искать, хотя бы одного. Виноваты, не виноваты – не знаю, а вот что втроем нам не управиться – это верняк. Йалла, спать!

Он повернулся и пошел к выходу с крыши. Далеко внизу, у будки, санитары и полицейские протискивали в приоткрытые ворота пластиковый мешок с тем, что некогда звалось Диким Ромео.

## 6

Когда ребята забрали бинокль и ушли на крышу наблюдать за полицейскими, ей стало совсем плохо. Хотя – что такое «совсем плохо»? Нет такого – «совсем плохо». По собственному опыту Хели знала, что можно выдержать, перенести любое «плохо» – даже такое, про которое ты заранее знаешь, что оно из породы «совсем», то есть невыносимо ни под каким видом. Но вот оно наступает, накрывает тебя своей мерзкой тяжелой тушей, и через какое-то время – неизмеримое в своей отвратной бесконечности – выясняется, что ты все-таки жива – непонятно как, но жива, хотя не больно-то радуешься этому факту, прости Господи.

Если бы не Мамарита, так крепко и тепло прижимающая ее к себе... Странно, откуда оно берется каждый раз в такие моменты – это спасительное «если бы»? Наверное, им-то Господь и отделяет «плохо» от «совсем плохо». Если бы не Мамарита, если бы не Комплекс, если бы не та случайная компания, привезшая ее сюда, если бы не бинокль... Впрочем, бинокль – это мелочь, несерьезная мелочь. Вот гибель Дикого Ромео – это по-настоящему страшно. Не будь этого, Хели в жизни не стала бы так расстраиваться из-за какого-то бинокля. Да и вернут они с Божьей помощью бинокль – вот спустятся с крыши и вернут.

– Шш-ш... – уютно шипит ей в ухо добрая Мамарита. – Все будет хорошо, Хелечка, хорошш-шо... и бинокль вернется, и Менаш-ш-ш...

У Мамариты все парни – Менаши, и все непременно вернутся. Вот только с Диким Ромео этот фокус не пройдет. Дикий Ромео уже не вернется никогда, в отличие от бинокля... Но если по-честному, как перед Господом, то она, Хели, предпочитает именно такой расклад. Звучит ужасно, но – факт. Потому что бинокль сейчас – вся ее

жизнь. Кто она без бинокля? Никто. Кому она нужна без бинокля? Никому. Она ведь наблюдатель – вот кто она, сколько себя помнит. Смотрительница. «Хели, посмотри за маленьким!.. Хели, смотри – остаешься за маму!.. Хели, присмотришь за сестренкой!.. Хели, покорми малышей и посмотри, чтобы вовремя легли!..» Хели, Хели, Хели... Посмотри, посмотри, посмотри... Это просто удивительно, что здесь, в Комплексе, ей досталась та же самая должность. Божий промысел, не иначе.

Старшая девочка в религиозной семье – вторая мать для остальных детей. Вторая – это главная, потому что первая – либо рождает, либо болеет после родов, либо опять на сносях. Так уж повелось, такова ноша; хочешь не хочешь, тащи ее на себе, да никто и не спрашивает. С четырех лет, едва успев забыть собственные пеленки, она уже пеленала других. Смотрительница, она смотрела за детьми – купала, кормила, баюкала, вытирала носы... Братьев и сестер становилось все больше, а с ними – и работы. Когда старшие пошли в школу, она оставалась дома, с младшими. Не жаловалась, не протестовала, не просила иной доли – просто потому, что не знала о существовании такой вещи – «иная доля».

В тот день все уехали в Кирьят-Гат на большое семейное торжество. Хели снова не взяли, оставили пасти двух самых мелких. По сравнению с обычной нагрузкой это было похоже на отдых. Когда вечером, уложив малышей спать, она развешивала на сушилке белье, вернулся отец. Хели слышала, как он прошел в кухню и сел за стол. Это могло означать, что отец голоден, и она, отложив ползунки, отправилась к холодильнику за едой. Ей и в голову не приходило полюбопытствовать о причине его столь раннего возвращения. Отец вообще мало общался с детьми, а с нею – в особенности.

– Я сыт, – коротко сказал он. – Налей чаю.

Хели включила чайник. Она чувствовала небольшое смущение – наверное, потому, что ей никогда не выпадало бывать наедине с отцом или просто разговаривать с ним. Возможно, когда-то, в первые младенческие месяцы, он брал ее на руки и, может быть, даже ласкал – но Хели не могла этого помнить, хотя очень хотела бы. Потупившись, она стояла у плиты и напряженно ждала, пока закипит.

– А ты выросла.

Хели налила кипяток в чашку.

– Я пойду, папа? Там белье...

– Иди.

Он пришел за ней, когда Хели чистила зубы, готовясь ко сну. Взял за руку, отвел в спальню.

– Ложись.

– Что?

Он толкнул ее; Хели упала на спину, завозилась, мельтеша локтями и коленками, но он тут же придавил ее сверху. Было страшно и больно, в пересохшем рту горчила несмытая зубная паста, в глаза лезла жесткая, воняющая водкой и табаком борода. Потом она перестала чувствовать что-либо, кроме острой рези в низу живота; всего остального тела – раздавленного, расплющенного, смятого – как бы и не было, как бы и не существовало вовсе, и в этом заключалось единственное облегчение. Потом гадкая тяжесть наверху задержалась, замычала, обмякла и, наконец, выпустила из-под себя.



– Иди, – хрипло приказал он.

Хели потребовалось время, чтобы собрать свое тело по кусочкам. Ноги подчинились последними – в комнату с малышами она добралась с трудом, держась за стенку. Под утро отец пришел за ней снова, и все повторилось – только еще гаже и дольше. Третьего раза Хели решила не ждать.

Снаружи уже рассвело. Идти было больно, но жить еще больнее, и это позволяло надеяться, что жизнь кончится быстрее, чем откажут ноги. Хели мало что соображала – поэтому не удивилась, когда возле автовокзала к ней подбежали две девушки.

– Ну наконец-то! – воскликнула одна из них – брюнетка в мелких кудряшках. – Сколько можно ждать! Идем, быстро.

Хели автоматически подчинилась, как подчинилась бы в тот момент любому указанию. Ее втолкнули в микроавтобус, где уже сидели несколько парней и девушек.

– Ничего себе вырядилась, – сказал кто-то. – Она что – из досов?

– А хоть бы и так, тебе-то что! – парировала кудряшка. – Это – Мирьям, подруга Лиоры, понял?

Она повернулась к Хели.

– Мирьям, сестренка, не парься, мы с тобой. Кстати, Лиора звонила – не едет она. Родаки приземлили, прикинь! Просила по ходу тебе помочь... Эй, водила! Поехали.

Микроавтобус отъехал от тротуара. Пока он, лавируя в утренних пробках, пробирался к выезду из города, Хели обнаружила в голове – доселе пустой до гулкости – сразу две мысли. Первая заключалась в том, что ее приняли за другую, что она занимает чье-то чужое место, что это ужасно некрасиво и что следует как можно скорее объявить Кудряшке о ее ошибке. Вторая выглядела куда более весомой – Хели боялась пятна, которое вполне могло проступить сзади на ее длинной юбке, невзирая на все принятые меры. Ей казалось решительно невозможным идти сейчас в таком виде под взглядами парней через весь автобус. Поколебавшись, она решила оставить все как есть.

Кудряшка сидела рядом и, не умолкая, болтала со своей подругой. По-видимому, речь шла о цели поездки, поэтому Хели стала прислушиваться.

– А к О-О мы тоже пойдем? – спросила подруга.

– Ты что, упала? – округлила глаза Кудряшка. – Туда нельзя по ходу.

– Почему нельзя?

– Прикинь, сестренка, О-О – это тебе не сказка-ужастик. Это по ходу как... как... ну, как Бог в Храме за занавеской... – она принялась загибать пальцы. – Живет наверху, как на небе, – это раз. Никто его не видел, но он есть – это два. Кто к нему туда сунется – сразу смерть – это три...

«Вот куда бы попасть... – вяло подумала Хели. – Правильно еду...»

На нее вдруг накатила жуткая усталость; Хели закрыла глаза и провалилась в сон – жуткий и давящий, как тяжесть насильника. Наверное, поэтому она и проснулась с криком, изрядно перепугав Кудряшку.

– Да что ты блажишь-то, по ходу? Вставай, приехали...

Хели осмотрелась: автобус стоял на обочине шоссе. Все ребята уже вышли и теперь гуськом тянулись по едва заметной, уходящей

в пустыню тропинке. «Ах да, О-О... – вспомнила она. – Кто сунется – сразу смерть. И пятно, пятно...» Привстав с сиденья, она проверила юбку – нет никакого пятна, зря боялась. Хели прыгнула на землю и пристроилась в хвост остальным. Без пятна она чувствовала себя куда уверенней, хотя и удивлялась вопиющей нелепости этого чувства. В самом деле, есть ли разница, как умирать – с пятном на юбке или без? Ах, разве в юбке дело... – пятно теперь лежало на ней самой – оскверненной, растоптанной, уничтоженной... – и почему?.. за что?.. в чем она провинилась перед Богом?

Хели помнила Бога, сколько помнила себя: справедливый и вездесущий, Он всегда пребывал рядом – в ежедневном семейном укладе, в молитвах, праздниках, разговорах. Ему онаверяла свои надежды, Его благодарила за их исполнение, к Нему несла раскаяние в грехах и провинностях – весьма, надо сказать, немногочисленных: как-никак на грехи требуется свободное время, а времени не было, не было вообще. Да-да, ее безгрешная святость не заслуживала награды – хотя бы потому, что никогда не подвергалась испытанию. Святость по отсутствию возможности согрешить – разве этим можно гордиться? Но и стыдиться тут нечего. А значит, и наказания она тоже не заслужила – особенно такого страшного, невообразимого в самом жутком ночном кошмаре...

Справедливый и Вездесущий... – сегодняшняя ночная катастрофа отменяла либо первое, либо второе, то есть лишала Бога по крайней мере одного из двух Его наиважнейших качеств. Справедливый не мог допустить такого намеренно; Вездесущий не мог отвернуться даже на минутку, тем более – дважды. Следовательно... следовательно, Он был другим – не тем, за кого она принимала Его прежде.

И этот очевидный факт менял все. Все-все, до последнего остатка. Однажды, совсем недавно, Хели вела в садик малышей. Улица оказалась перегороженной – строители разрушали старый дом и закрыли проход. Младший братик принялся канючить – ему непременно хотелось постоять несколько минут в толпе зевак, посмотреть, и Хели позволила себя уломать, хотя, как всегда, ужасно спешила. Вот, кстати, и грех любопытства... – все ее грехи были примерно такого порядка.

Дом был старый, облупленный, с явственно ощутимой атмосферой уюта, теплого обжитого пространства – как будто его бывшие обитатели, покинув квартиры, оставили в них свое дыхание, запахи, звуки голосов. Кое-где на окнах еще виднелись занавески; по карнизу, глухой ко всем предостережениям, чинно расхаживал голубь. Распорядитель махнул рукой; раздался хлопок, и здание, вздохнув, даже не рухнуло, а как-то вжалось вовнутрь себя самого, просто прекратило быть, как прекращает быть лопнувший под иголкой воздушный шарик.

– Умно, – восхитился стоявший рядом хабадник. – Главный столб подорвали... – он назидательно поднял палец: – Так и вера в Святого, да будет благословен. Вера – она как главный столб. Вера упала – всему дому несдобровать.

Где теперь твой дом, девочка? Что осталось от него, кроме бесформенной груды обломков, дымящихся мелкой противной пылью? Даже упрямый голубь – и тот улетел... Другой Бог может оказаться каким угодно – например, злым, жестоким, равнодушным. Он может обитать где угодно, пряча или открывая свое лицо по собственному –

чужому и необъяснимому – разумению. Где угодно – да хоть там, куда они сейчас направляются, почему бы и нет?..

Она шла, глядя под ноги, на мелкие камешки, колючки и летучий прах пустыни; в голове крутились разрозненные картинки из прошлой жизни – лица малышей, чайник и раковина на кухне, пыль над разрушенным домом...

– Пришли!

Хели остановилась, едва не натолкнувшись на спину кудряшкиной подруги. Они стояли перед забором, за которым высилось огромное недостроенное здание.

– Вот он, Комплекс, – сказал кто-то. – А вот и гид... вау!.. – сам Дикий Ромео! Все как заказывали.

Через двор, зевая и почесываясь, подходил высокий лохматый парень. Потом пришлось лезть через дыру в заборе, преодолевать мусорные кучи, ямы, провалы, подниматься по темным лестницам... – куда, зачем? Это напоминало бессмысленную полосу препятствий; лохматый гид что-то говорил, экскурсенты ахали-охали. Хели не вслушивалась – ее снова начало мутить, ноги болели, резь в животе усилилась. Наконец она уловила, что говорят об О-О и навестила уши. Лохматый парень, напустив значительности, указал в глубь коридора.

– Вон там, видите, лестница?

В темноте было невозможно что-либо разглядеть, но на всякий случай экскурсенты дружно кивнули.

– Короче, там, – свистящим шепотом произнес гид. – Но туда нельзя. Верная смерть. Йалла, двинули дальше.

Хели шагнула за перегородку и, прислонившись к холодному бетону, стала ждать тишины. Когда шаги и голоса группы растворились в странных звуках и шорохах здания, она выбралась в коридор и пошла в указанном гидом направлении. Идти без проводника оказалось непросто – тут и там Хели едва удерживалась от падения. При этом она совсем не чувствовала страха – напротив, каждый раз, ухватываясь в последний момент за случайно подвернувшийся стальной прут или отдергивая ногу, уже зависшую над пропастью, Хели думала: «Зачем? Не лучше ли было упасть...» – и в одной этой мысли заключалось какое-то особое, конечное и потому утешительное отчаяние.

Лестница открылась слева – неожиданным тусклым светом, падающим сверху, как заблудившийся экскурсант. Хели присела на нижнюю ступеньку передохнуть – силы почти оставили ее. Вокруг что-то шелестело, шуршало, стонало, вскрикивало – тихо-тихо, но явственно. Странное здание... Хели глянула вверх, в лестничный пролет – и вдруг увидела Его. Почему-то она точно знала, что это именно Он – зыбкий колышущийся образ, манящий и когда-то пугающий – когда-то, но не теперь. Теперь она уже не боялась ничего.

– Иди сюда... – прошелестел голос.

Хели кивнула.

– Ага, сейчас... Ты извини, но я что-то устала. Вот передохну, и тогда...

Она проснулась от звука шагов. Кто-то шел по коридору; луч фонаря метался от стены к стене, как руки горячечного больного. Хели испугалась – впервые за последние часы. Стараясь подняться, она принялась шарить рукой по стене в поисках опоры. Затекие ноги

слушались плохо, как в ночном кошмаре, когда пытаешься бежать и не можешь. Мелькнула надежда – уж не снится ли ей это все, в самом-то деле? Луч остановился.

– Кто тут?

Мужской голос. Хели молчала, дрожа всем телом. Свет дернулся, мазнул по стене и вдруг уперся ей прямо в глаза. Хели услышала смешок.

– Ты что тут делаешь, хомячиха?

– Я не хомячиха, – еле выговорила она, – я Хели... Не надо так светить... глазам больно...

– Не хомячиха? – повторил голос. – И точно, не похожа. Какая-то ты другая, в юбке. Такие сюда не ходят. Постой-ка... – ты что, ранена?

Фонарик зашарил по измазанной кровью ступеньке. «Все-таки протекла...» – подумала она с досадой. Теперь Хели могла разглядеть собеседника – парнишку-эфиопа лет пятнадцати, ее ровесника.

– Нет, не ранена, – сказала она, почему-то совсем не смущаясь. – Это женское.

– Женское? – испуганно повторил эфиоп. – Что же теперь... ты идти можешь?

– Не знаю.

– Давай попробуем...

Он шагнул вперед и взял ее за руку. Снова удивившись полному отсутствию смущения от прикосновения чужого человека, Хели сделала попытку приподняться и потеряла сознание.

Очнулась она уже под полной опекой Мамариты. Поначалу и гиды, и сама Хели полагали ее пребывание в Комплексе временным, до выздоровления. Да и потом, когда она выразила робкое желание остаться, Дикий Ромео согласился далеко не сразу.

– Тут работать надо, сестричка, – сказал он. – Просто так никого не держат. Что ты умеешь?

– Все, что надо по дому, – ответила Хели. – Стирать, готовить, убирать, за детьми смотреть...

Дикий Ромео фыркнул:

– Ты видишь тут детей? А на все остальное хватает Мамариты. Так что...

– Погоди, Ромео, – остановил его Призрак. – Если человек за детьми смотрит, то, может, и за хомячками получится? Чоколаку смени, а Чоколака – нас с тобой, чем плохо? Дай ей бинокль, попробуем.

И Хели получила бинокль, а с ним – шанс на новую работу, новое жилье и новую семью. Смотрительница по всей своей сути, она оказалась идеальным наблюдателем – ответственным и зорким. Но главная хелина проблема выявилась лишь месяцами позже, когда наметанный глаз Мамариты диагностировал, наконец, причину ее постоянных недомоганий.

– Девочка, – сказала она, усадив Хели перед собой, – мы приняли тебя без каких-либо расспросов. У каждого тут свои секреты, и другим знать о них вовсе необязательно. Но для тебя сейчас настало время поговорить. Рассказать, кто ты и откуда.

– Почему? – морщась, спросила Хели. – Я плохо работаю?

– Нет, – отвечала Мамарита с улыбкой. – Работаешь ты хорошо, быстро. И беременеешь, как я вижу, тоже. Это нужное качество. Знала бы ты, скольким женщинам его не хватает...

Хели потрясла головой.

– Подождите... что вы сказали? Какое качество? О чем вы...

– Ты беременна, девочка, – Мамарита ласково погладила ее по руке. – Не знаю, входило ли это в твои планы, но вынашивать ребеночка в здешних условиях трудно и опасно для здоровья. Да и отец его, думаю, имеет право на мнение по этому вопросу... кто он, кстати говоря? Кто отец?

– Отец... – повторила Хели, осознав, наконец, о чем идет речь. – Отец...

Ее чуть не стошнило от одного вкуса этого слова на языке. Подхватив бинокль, Хели отбежала к окну и весь остаток дня просидела там, не отрывая глаз от окуляров, словно высматривала в глубине пустыни выход из своего отчаянного положения. Но выдавая виды пустыня отчужденно молчала, и ближе к ночи Хели вернулась к Мамарите – вернулась с сообщением и просьбой. Сообщение заключалось в том, что идти ей отсюда некуда – разве что в петлю, а потому она сделает все, чтобы остаться в Комплексе. Просьба звучала не менее решительно.

– Мамарита, – сказала Хели, – я не стану рожать этого ребенка. Я ненавижу его... и... и его отца. Помогите мне убить эту гадину сейчас, иначе я задушу ее потом... после...

В тот момент Мамарита перемешивала кускус. Она вообще была мастерицей по двум стратегическим направлениям – кускусу и курице. До Комплекса Хели и представить себе не могла, что из этих двух продуктов можно приготовить так много блюд. Мамарита не ответила ничего. Она аккуратно отряхнула и отложила ложку, затем тщательно вытерла тряпкой руки, вздохнула и пошла прочь из комнаты. Озадаченная, но по-прежнему решительная, Хели двинулась следом. Ввиду отсутствия других вариантов она твердо намеревалась отработать до конца этот, единственный.

Дойдя до конца коридора, Мамарита свернула в комнату, куда имела обыкновение уходить, когда ей требовалось уединение. Никто не мог заранее предсказать этих уходов – временами они повторялись по два-три раза в неделю, но бывало, что Мамарита не вспоминала о своей комнате месяцами. Причина мамаритиных уединений тоже оставалась загадкой. Недомогание?.. обида?.. – нет, как гиды ни старались, им никогда не удавалось разглядеть признаков того или другого. Да и кому придет в голову обидеть Мамариту? Никому, даже самому отпетому отморозку типа Каца.

Так или иначе, время от времени Мамарита внезапно прекращала свое текущее занятие – а она вечно была чем-то занята: не варкой, так уборкой, не уборкой, так шитьем, не шитьем, так мытьем... – откладывая в сторону ложку, метлу, иголку и, не меняя свойственного ей безмятежного выражения лица, уходила к себе в конец коридора. Обычно никто не осмеливался следовать за ней – по крайней мере явно; если и подглядывали, то тайком – ничего особенного, впрочем, не обнаруживая. Но случай Хели и не был обычным.

В комнате Мамарита сразу подошла к оконному проему и устоялась в ночь, на редкую цепочку шоссейных фонарей и горный хребет, подсвеченный по гребню желтым мерцающим ореолом. Хели остановилась в дверях.

– Я не уйду, – сказала она в мамаритину спину. – Мне терять нечего. Вы просто не понимаете...

Мамарита, не оборачиваясь, подняла руку, словно прося тишины, но Хели не намеревалась отступать. Она решительно подошла к женщине и потянула ее за плечо, разворачивая к себе.

– Нет, не надо... зачем?... – пробормотала та, загоразиваясь ладонью.

Но было уже поздно – Хели увидела то, что не предназначалось для чьих-либо глаз. Такое спокойное, гладкое лицо Мамариты с уютными складками в уголках губ, всегда готовых расплыться в ласковой, доброй улыбке, теперь представляло собой жуткую гримасу боли – слишком сильной, чтобы найти в ней хотя бы тень привлекательности. Оскаленные зубы, черный провал раззявленного рта, безобразные морщины – как надрезы, оставленные пыточным ножом невыносимого страдания... Хели вскрикнула и отшатнулась.

– Я... не... простите, простите...

– Сядь, там... подожди... я сейчас, – проговорила Мамарита, снова отворачиваясь к окну.

Помедлив, Хели опустилась на лежавший у стены матрас. Отчего-то ей вспомнился ее первый день здесь, дорога, ведущая к О-О, и Его колышущийся образ в лестничном пролете... Она зажмурилась и ждала, не чувствуя времени, – как тогда, на ступеньке. Наконец Мамарита присела рядом. Ее голос звучал глухо, как из подушки, – бесцветный, монотонный, чужой.

– Я познакомилась со своим мужем в десятом классе, – сказала она. – Его звали Натан. Просто хороший парень. Не ахти какой спортсмен, не слишком силен в математике, английском или другом престижном предмете. Сначала я не очень-то и влюбилась – просто не было никого другого, вот и все. Думаю, и он тоже. Две маленькие рыбки, решившие поплавать рядом на общем безрыбье – вот кто мы были.

Почти все ребята и девочки вокруг уже вовсю... ну, понимаешь. Невинность считалась уродством, от которого следует избавиться как можно раньше. Что мы и проделали вдвоем с Натаном. Я ужасно боялась залететь и, наверное, поэтому залетела сразу. Таблетки не сработали; потом доктор объяснил мне, что так бывает, хотя и очень редко – какая-то там доля процента. Очень малая доля, но я ухитрилась попасть точно в нее. Я вообще очень точно попадаю в малые доли процента, всю жизнь. Любой честный профессор статистики застрелился бы, услышав мою историю. Но честных профессоров статистики не существует – все они вруны, каких мало. Самые брехливые вруны зарабатывают на пропитание именно статистикой.

Да. Мне тогда было пятнадцать, как тебе сейчас. Мы с мамой пошли в клинику, в хорошую клинику, и там меня выпотрошили по всем правилам профессиональных потрошителей. Хирург предупредил, что при таких ранних абортах бывают осложнения, но вероятность их невелика – малые доли процента. Что ж, коли невелика, то и бояться нечего. Я и не боялась. О чем хирург умолчал, так это о том, как чувствуешь себя после. Да он и не знал, не мог знать. В первые дни ходишь с таким ощущением, будто из тебя вынули не крохотный кровавый комочек, а душу, не меньше. Будто выпало все, что наполняло прежде твою оболочку – интерес к жизни, планы на будущее, простая радость открывать глаза по утрам, вставать с постели, дышать.

В этот вот момент и позвонил Натан. Я не ставила его в известность ни о беременности, ни об аборте – зачем? Мы ведь не планировали продолжать наши изначально случайные отношения. Согласно официальной версии я лежала дома с воспалением легких. Но он как-то почувствовал – не знаю как. В этом, как выяснилось, и заключался его истинный, редкий талант – в умении почувствовать, понять другого. Излишне говорить, что я не хотела видеть никого, а его – в особенности. Но он ухитрился-таки пролезть в мою комнату. Мы в основном молчали; в комнате работал телевизор, и мы молча смотрели канал бразильских теленовелл. Мы почти не встречались взглядами, но что-то, без сомнения, происходило между нами – что-то очень важное. Факт, что когда вечером Натан ушел, мы уже жить не могли друг без друга, хотя и осознали это не сразу.

Любовь – странная птица; она питается лишь совместными видами на будущее. Прошное для нее не имеет значения – сколько бы ни было пройдено рука об руку, все забывается, все с удивительной легкостью предается во имя нового чувства. Настоящее более весомо, потому что трудно ломать устоявшийся быт – но и это редко останавливает людей. Зато будущее... – о, ради будущего мы готовы на все. Именно поэтому любовь – удел преимущественно молодых; у них просто есть намного больше будущего.

Планы, которые строили мы с Натаном, немногим отличались от того, о чем шепчутся все без исключения влюбленные пары. Ну разве что мы больше говорили о детях – вполне объяснимо, учитывая исходные обстоятельства нашей связи. Как-никак, одного ребенка мы уже потеряли; поразительно, но он никуда не делся и продолжал незримой тенью присутствовать при всех наших разговорах. Он словно говорил нам: на этот раз вы не имеете права облажаться, как облажались со мной. И, видит Бог, мы старались подойти к делу с максимальной серьезностью, исключить любую случайность.

Конечно, мы заранее придумали имена нашим будущим отпрыскам – для начала речь шла о пятерых. Старшего – а мы не сомневались, что это будет мальчик, планировалось назвать Менаше, Менаш, Мени. Ему нужно было подготовить квартиру, кровать и еще сотню всевозможных вещей, и мы безотлагательно принялись действовать в этом направлении. Натан подрабатывал в гараже, я устроилась официанткой в ресторан. Там подавали в основном стейки и шашлыки, так что в воздухе постоянно висел густой смог от мангалов; к двум часам ночи, когда я возвращалась домой, мне казалось, что легче обречься наголо, чем вытравить из волос неистребимую вонь жареного мяса. Зато от Натана всегда пахло машинным маслом. В классе смеялись: хороша парочка, масленка на сковородке... Но мы-то знали, что, сливаясь вместе, мазутная и шашлычная вонь преобразуются в замечательный запах нашего будущего младенца, Менаша, – ведь именно на него откладывался каждый заработанный грош.

После армии многие молодые пары съезжаются, но мы не хотели тратить деньги на съемную квартиру. Натан учился в Технионе, я закончила программистские курсы и начала работать в Реховоте, мы виделись урывками. Встречаясь, набрасывались друг на друга, а потом сразу же принимались говорить о главном, то есть о Менаше. Еще не родившись, этот ребенок уже целиком занимал наши мысли. Когда мы, наконец, поженились в возрасте двадцати четырех лет, у

нас было все, что нужно: первый взнос за квартиру, хорошо оплачиваемые профессии, молодость и вся жизнь впереди.

Нечего и говорить, что мы немедленно приступили к изготовлению Менаша. Но, к нашему общему удивлению, я все никак не беременела, хотя перестала принимать таблетки за полгода до свадьбы. Вскоре удивление сменилось беспокойством, затем – страхом. Мы стали ходить по врачам – те разводили руками: не знаем... не понимаем... не было ли у вас раннего аборта? Ага... тогда, возможно, вам просто не повезло...

В общем, я снова попала в малую долю процента. Кому-то в этой жизни выпадает счастливая доля, кому-то – горькая, кому-то – львиная. Мне же, как видно, выпала малая. Малая доля процента. Потом было несколько довольно трудных лет. Консультации в клиниках, иностранные профессора, всевозможные методы лечения – обычные и экспериментальные, знахари, бабки, каббалисты, амулеты... – и снова профессора, и снова знахари, и снова амулеты, и отчаяние, отчаяние, отчаяние – ведрами.

Мало-помалу мы смирились с мыслью о том, что сможем иметь лишь усыновленного ребенка, и заполнили соответствующие анкеты. Нам назначили собеседования, экзамены. Думаю, во всем мире трудно было отыскать пару, которая выдержала бы эти экзамены лучше нас. И немудрено: ведь мы готовились к своему ребенку с пятнадцати лет! Мы мечтали о нем еще в школе! И вот, представить только – какая-то малая доля процента...

Очередь продвигалась медленно. Нам было уже по тридцать пять, когда в доме раздался долгожданный телефонный звонок. Прошло двадцать лет с того давнего сладкого перешептывания пятнадцатилетних подростков – целых двадцать лет! И вот мы могли, наконец, увидеть нашего будущего ребенка. Мы жутко волновались. Ребенка показывала Ноами из социальной службы – она с самого начала вела наше дело и была в курсе всего: нашего отчаяния, наших сомнений и разочарований – всего.

Мальчика звали Томер, а не Менаш – но что с того? Мы любили его заранее и были бы рады забрать немедленно, в тот же день. Но порядок, как объяснила Ноами, требовал сделать перерыв для окончательного оформления документов.

– Потерпите три месяца, – сказала она, – всего три. Еще и лучше – успеете хорошенько подготовиться... Да и вообще – бывает, что люди передумывают в последнюю минуту. Хотя это, видимо, не про вас.

Мы вернулись домой счастливыми, полными новых планов и, следовательно, новой любви. Время вдруг понеслось вскачь, и тут... тут, девочка, случилось чудо – я забеременела. Это обнаружилось на рутинном регулярном осмотре – одном из тех, которые я еще делала по инерции своих прежних чудовищных усилий. Когда врач оповестил меня об этом, я потеряла дар речи. Но, видимо, вопрос «как?!» звучал достаточно громко, даже не будучи произнесенным вслух.

– Не знаю как, – ответил врач, пожимая плечами, – не имею понятия. Вероятность этого была более чем ничтожна. Малая доля процента.

«А! – подумала я. – Тогда понятно».

Я все еще не могла говорить – внутри поднялась какая-то тугая волна и пережала гортань. Не помню, как я добралась до дому. На-



тан вернулся с работы намного позднее, и, только взглянув на него и на темноту за окном, я осознала, что все это время просто сидела на диване – даже не переодевшись, как пришла.

– Что? – спросил он с тревогой. – Какие-то проблемы? Что-то с Томером? Да говори же ты!

Я молча протянула ему листок, на котором рукой доктора было написано про девять недель. Натан прочитал и заплакал – и только тогда заревела уже и я – в голос, который очень кстати вернулся именно в этот момент.

К Ноами мы поехали извиняться лично – слишком многое нас связывало, чтобы отделаться телефонным разговором. Ноами выслушала и обняла меня.

– Я слышала, что такое бывает, – сказала она, – но не верила, думала – сказки. И вот теперь – своими глазами... Счастья вам с Менашем. А о Томере не беспокойтесь – сами видели, какая у нас очередь.

И мы поехали домой – рожать своего Менаша... И он действительно оказался... – Мамарита помолчала, подыскивая слово... – великолепным! Просто великолепным! Нас ждали семнадцать лет чистейшего счастья. Чистейшего счастья...

Мамарита вздохнула и принялась рассматривать собственные ладони, словно ища там продолжения истории. Но ладони были пусты, молчал и Комплекс – особой тишиной, полной мышиных шорохов, приглушенного шепота, шарканья, вздохов, цоканья чьей-то торопливой побегки, едва слышного собачьего повизгивания.

– Я рассказала это не для того, чтобы убедить тебя в чем-то, – проговорила она наконец, – а чтобы ты поняла, почему я не стану помогать избавиться от Менаша. Никогда не стану. Сама делай, что хочешь, но меня не проси. Ты поняла?

Хели кивнула.

– Мамарита, а что случилось потом, когда...

Мамарита резко поднялась на ноги.

– Пойдем девочка. Пора кормить ребят.

С тех пор они больше ни разу не возвращались к этому разговору, но сейчас, спустя еще три месяца, в ночь гибели Дикого Ромео, Хели больше чем когда-либо сомневалась в правильности принятого... – да что там принятого!.. – навязанного ей решения. Она тихо плакала, прижимаясь к теплой Мамарите, и крошечный Менаш, беспокойся за маму, стучал изнутри в тугой барабан живота.

## 7

Добираться из Комплекса до города всегда было проблемой. В принципе, возле будки охранника по старой памяти предполагалась остановка «по требованию», но реально автобусы подчинялись этому требованию крайне редко, пролетали на скорости мимо. Попутные машины в столь опасной глуши не останавливались – себе дорожке, а джип частной охранной компании, дважды в сутки привозивший на смену дежурного будочника, тремпистов не брал из принципа: охранники вообще предпочитали делать вид, будто Комплекс пуст совершенно. Пеший двадцатикилометровый переход улыбался далеко не всем – даже ночью, а уж днем, по жаре, такое

мог позволить себе только привычный к пустыне бедуин Муха, время от времени навещавший Барбура по каким-то таинственным бедуинским делам.

Единственную более-менее приемлемую возможность представлял лишь долговязый ворчун Шимшон со своим табачным фургоном, проезжавший мимо Комплекса дважды в день: ранним утром в направлении столицы и вечером – в противоположную сторону, на север. Но и он брал попутчиков только с разрешения Барбура, что еще больше увеличивало и без того огромную власть хозяина Комплекса.

Когда Призрак поднялся в приемную Барбура на Би-девять, там уже ждали два других пассажира – бомжи из особо приближенных к персоне верховного правителя. Призрак встречал их прежде у босса. Первого, плечистого, крепкого еще старика, звали Донпедро; второй, с говорящим прозвищем Доза, выглядел куда моложе – лет, наверное, тридцати, щуплый и нервный. В половине шестого из смежного помещения вышел зевающий Барбур, критически осмотрел бомжей, потянул утиным носом, скривился:

– Хоть бы помылись, чушки... воды, что ли, нету?

– А на фига, командир? – хихикнул старик. – Мы и без того красивые, как дон Педро.

Он говорил с тяжелым русским акцентом и по любому случаю, к месту и не к месту, поминал неизвестно какого дона Педро – чем, собственно, и заработал свою кличку.

– Не облажаетесь? – спросил Барбур, делая вокруг бомжей еще один круг. Видно было, что сомневается он не всерьез, а сугубо для проформы, разыгрывая важного начальника.

– Не боись волноваться, командир! – по-военному отрывисто гаркнул Донпедро, вытягиваясь во фрунт и притопывая для убедительности ногой. – Не впервой нам это! Завсегда! Вот!

Стоявший рядом Доза поморщился. Судя по всему, с утра у него раскалывалась голова, и крик товарища усугубил страдания. Барбур повернулся к Призраку.

– И ты, стал-быть, туда же. Тебе-то зачем?

– Сам знаешь, – угрюмо отвечал Призрак. – Мало нас теперь. Новый гид нужен, вместо Ромео. Съезжу в город, поищу.

– Поищешь? Где? Их что – в супере продают?

Призрак пожал плечами.

– Боаз парочку сквотов знает. Городских. Клиенты у него там. Обещал познакомить.

Барбур качнул клювом.

– Стал-быть, Боаз... Сквоты, стал-быть... – он ухмыльнулся. – Знаешь, Призрак, кому другому бы не доверился, но тебе – тебе верю. Ты пацан деловой. Менеджер. Тебе даже банк доверить не страшно, правда, братаны?

– А то! – живо откликнулся Донпедро. – Призрак у нас – эх-х!.. – дон Педро! И ты, командир, тоже...

К шоссе шли медленно – приходилось постоянно дожидаться Дозу, который, как выяснилось, чувствовал себя намного хуже, чем это представлялось в приемной у босса.

– Зачем он поперся, если болен? – сердился Призрак. – Эй, задрот, шевели копытами, Шимшон ждать не станет!

– Ломает его, – объяснил Донпедро. – А командир дозы не дает. Говорит, сначала работа, потом доза. Беда, парень, с этими дозами. Водку нужно пить, вот что. Дозы – они вредные, а водка – полезная. Я уж Дозе сколько раз объяснял – нет, не помогает... А Шимшон никуда не денется, не боись волноваться. Мы ему для дела нужны. Мы для дела, дело для дозы, доза – для него вон. Всему свое назначение, парень, вот так-то. А больные, они везде есть, даже у вас там, наверну. Думаешь, я не знаю? Я, брат, глазастый, во все окна заглядываю... Не гони, не гони, пусть подойдет. Вот, тут и сесть можно.

Они уселись на камни, поджидая Дозу, мучительно ковыляющего позади.

– А кто у нас больной, Донпедро? Или это ты так – в общем?

Старый бомж покачал головой:

– Да нет, не в общем. Какой дон Педро у вас там девку обрюхатил? Ты или Беэр-Шева? А может, негритос?

– Ты о чем? – не понял Призрак. – Какую девку?

– Какую-какую... – ухмыльнулся Донпедро. – Ту самую, с биноклем. Скажите спасибо, что босс пока не заметил. Он таких в два счета – пинком под зад. И правильно делает. Разве младенцу в Комплексе место?

«А ведь верно! – подумал Призрак, с трудом скрывая свое потрясение. – То-то она так растолстела. И платья эти балахонистые... А мы и ведать не ведаем... дураки дураками. Интересно, а Мамарита... – конечно, знает. Знает, а нам – ни слова. Менаш то, Менаш се... А сами шепчутся все время. И вчера шептались – об этом, о чем же еще?»

Держась за сердце, подошел Доза, обессиленно присел рядом. Призрак, отвернувшись, яростно прокручивал в голове безответные вопросы. Кто же ее зарядил-то? Не свои – это точно... – а вдруг свои? Ромео? Беэр-Шева? Чоколака? Нет, не смогли бы они так притворяться – невозможно это, чтобы совсем без признаков. Круглые сутки вместе – не бывает так, чтобы ни взглядом, ни намеком... Кто же тогда? И что она думает делать с ребенком? А Барбур? Что делать, если Барбур узнает? Если... – не «если», а «когда»... То-то же Хели всегда пряталась перед его приходом... Да и не так часто Барбур бывает у гидов – деньги поступают исправно, нет причин для инспекции. Но теперь, когда даже Донпедро заметил...

Он покосился на бомжа. Тот смотрел насмешливо, с уверенностью человека, полностью владеющего ситуацией.

– Не боись волноваться, парень. Донпедро – не крыса, друзей не грызет. Особенно если друзья его не забывают. Так, Доза? – он хлопнул товарища по плечу. – Ты иди вперед, иди. Мы догоним.

– Сколько? – спросил Призрак, когда Доза отошел.

– Ну уж прямо так – «сколько»... – обиделся Донпедро. – Что я – шантажист какой? – он прищурился. – Сотенной хватит. Чисто в знак дружбы. Но каждый день. Я люблю, когда со мной каждый день дружат.

– О'кей, – сказал Призрак, вставая. – Считай, что мы подружись. Пошли. Доза вон уже где.

Бомж не двинулся с места.

– Что? – обернулся Призрак. – Что еще?

Донпедро протянул руку.

– Попрошу взнос за сегодня, – произнес он с подчеркнутым достоинством. – Реактивно брать не стану, так уж и быть. Донпедро не шантажист какой.

– Ретроактивно, – поправил Призрак и достал из кармана деньги. – Держи, разбойник. И помалкивай пока, ладно? Нет секрета – нет сотни.

– Ретроактивно... – восхищенно повторил бомж, пряча бумажку. – Красивое слово. Все-то ты, Призрак, знаешь. Менеджер, как есть – менеджер. Дон Педро, чистый дон Педро...

Когда они подошли к шоссе, форд-транзит с эмблемой табачной фабрики уже стоял на обочине. Рядом топтался Шимшон, обозленный опозданием пассажиров. Фургон был пуст, и Доза, которого начала бить крупная дрожь, прилег на пол, на расстеленные там картонки. Туда же полез Донпедро; Призрак после секундного колебания последовал за бомжами – соседство с ними казалось ему меньшим злом, чем раздраженное ворчание Шимшона.

– Переживает мужик... – сказал Донпедро, когда форд злобно рванул с места. – А чего переживать? Я, парень, всегда опаздываю, всю жизнь. Такая судьба. На стрелку опаздываю, на жратву опаздываю, на работу...

– На работу? – не поверил Призрак. – Разве бомжи работают?

– Обижаешь, парень... Ты, понятное дело, менеджер, и вообще чистый дон Педро, но и я тоже не бомжом уродился... – старик с достоинством поправил засаленный воротничок рубахи. – Жил в большой стране, в большом городе – в Перми. Слышал, конечно?

– Нет, – коротко ответил Призрак и отвернулся.

Он недолюбливал «русских» за их спесивую уверенность в собственном превосходстве – нелепую и претенциозную. Было бы чем гордиться... Премий какой-то... большой город, большая страна, большая культура... а на деле – пшик ниже среднего, дикость азиатская и акцент этот топорный – говорят как рубят, слог-за-сло-гом, слог-за-сло-гом.

– Нет? – удивился бомж. – Странно. Хотя – что вы тут знаете, темнота... Пермь... Большой город, уважаемый. И я в том уважаемом городе был уважаемый человек. Понял? Уважаемый! С уважаемой работой. И работа эта была особенная. Такая, куда опаздывать не только можно, но и нужно. Такая, где за опоздание тебя не ругают, а спасибо говорят.

Донпедро победно вскинул вверх брови, явно ожидая от собеседника восторженной реакции и напрасных попыток угадать – что это за работу такую волшебную может получить уважаемый человек в уважаемом городе Пермь...

– Шантажистом? – предположил Призрак.

– Почти угадал! – воскликнул старик, нисколько не обидевшись. – Инспектором защищенности банковских отделений, по-нашему – сберкасс! Ага. Ходил и проверял соответствие правилам. Где какой толщины решетки, количество и качество замков, надежность сейфов... – много чего. А ежели что не так – закрыть! Начальнику – выговор! Инженера – под суд! Кассира – расстрелять! Шучу, конечно... – но боялись они меня как огня. Хотя нет – на пожароопасность проверял другой, тоже очень уважаемый человек, мы с ним часто вместе ходили... Вот и суди – огорчались они нашему опозданию

или, наоборот, радовались. Приходишь туда, важный, как дон Педро, а тебе сразу и чаек-коньячок, и подарочек в сверточке – все путем, все как надо... Эх!

Он пригорюнился, вспомнив золотые деньки. Рядом завозился Доза, задергался, суча ногами по полу и сворачиваясь калачиком; Донпедро стащил с себя куртку и укрыл товарища.

– Вот и привык я опаздывать на свою голову... – он покаянно вздохнул. – Раньше надо было ехать, как только Горбачев ворота приоткрыл. Дружок мой – тот самый, пожароопасный, предупреждал: опоздаем, мол, Гена, надо подавать. А я ему: не спеши, Мишак, успеем, не боись волноваться... Мы ведь с тобой кто? Опозданты! То есть те, кому опоздание по жизни вроде как самим Богом предписано. Ага. А потом слух прошел: закрывают Америку, с октября закрывают. И тогда каюк – Израйловка. А кому она нужна, Израйловка? Бескультурие, война, арабоны, черные, шваль всякая...

– Прямо черт-те что, – поддакнул Призрак. – И как тут люди живут...

– Издеваешься, да? – прищурился Донпедро. – Ну издевайся, издевайся, менеджер... Куда тебе понять... Вы, которые тут родились, разве культурного человека поймете? Своя вонь не мешает, известное дело.

Призрак пожал плечами:

– Насчет вонь тебе лучше знать, это точно.

– В общем, прибыли мы с Мишаком в Москву с большим-пребольшим опозданием, – продолжил бомж, благоразумно пропустив мимо ушей последнее замечание Призрака. – В самый последний момент прибыли, где-то в середине октября. Тогда еще через голландское посольство подавали. Приходим мы туда раненько, необычно для себя; гляжу – мать родная, опять опоздали! Народу – не протолкнуться, по всему переулку, а те, которые ближе к воротам, вообще стеной стоят, как каменные. Будто они сюда еще вчера пришли, сцепились и окаменели от неподвижного ожидания. И стена эта не просто каменно-человеческая, но еще и с зарядом – аж током бьет. Такая вот в тех людях решимость и злоба.

Мишак по толпе потолкался, узнал, что к чему. Вот, говорит, Геныч. Последний, говорит, день. Последний шанс не опоздать навсегда. Тем, кого сегодня примут – Америка, дон Педро и все такое прочее. А тем, кто за забором останется – каюк, Израйловка сраная. Такая вот дилемма. А там, парень, реально не прорваться. То есть вообще никак. Сначала толпа, за толпой – каменная человеко-стена, а за стеною – запертые ворота, шестиметровая ограда и менты, менты, менты... Что-то типа самой неприступной в мире крепости.

Я говорю – все, говорю, Мишак, снова мы с тобой опоздали. Поехали, говорю, домой, в Пермь, сберкассы проверять. А он говорит – нет, говорит, Геныч, давай попробуем, коли уж приехали. Мы же с тобой, говорит, уважаемые люди. Давай, говорит, к ограде, если уж к воротам не пробиться. В общем, продрались мы кое-как к ограде, а что толку-то? До ворот все равно далеко, как до Америки. А сзади напирают – давка жуткая – и все молчат, только сопят страшно, сопят и давят.

Не помню, сколько я так стоял, помню только, что начал уже понимать тех, окаменевших. И вдруг, слышь-ты, волнение пошло, гу-

лом таким нарастающим: «Открывают, открывают!» – гулом таким, в вой переходящим: «...ау-вайю-ют!.. ау-вайю-ю-ю-ют!..» Раньше молчание было – не полное, конечно, а ворчащее такое, глухое, негромкое такое молчание. А тут вдруг – и крик, и вой, и вопли, и давка смертоубийственная. Все как с ума посходили – глаза выпучены, зубы оскалены, пальцы скрючены – прямо оборотни, а не человеки, жуть кромешная!

Меня к стене прижало, к самому камню – как же так, думаю, передо мной ведь Мишак был... где же Мишак, мать родная, неужто в камень вдавило? Поднимаю глаза и вижу: ползет Мишак по стене, как таракан-прусак ползет, по вертикальной стене! Ей-богу, не вру, парень, – по вертикальной стене! Перебирает лапками и ползет – вверх, вверх, вверх... Ну все, думаю, помутнение рассудка, видения чудесные пошли от недостатка кислорода, сейчас копыта откидывать стану.

И вдруг слышу – зовут меня сверху: «Геныч!.. Геныч!..» – как будто Господь к себе призывает. И снова поднимаю я глаза и вижу, что никакой это не Господь, а друг мой Мишак, таракан-мишак. Лежит он на стене и руку ко мне тянет – давай, мол, хватайся, скорей, скорей! А на меня, дурака, оторопь нашла. То ли от нехватки воздуха, то ли сдавили меня так, то ли судьба моя такая – во всем опаздывать, но только стою я в полно-каменном параличе и лишь глазами хлопаю – хлоп-хлоп, хлоп-хлоп – нет чтоб руку поднять... опоздант чертов...

Донпедро горестно покачал головой; в затуманенном зоре его качалась не стираемая из памяти картина уважаемого переулка уважаемого города уважаемой страны, по вертикальным человеко-каменным стенам которой бодрыми тараканами-мишаками ползут культурные уважаемые люди. Ползут в Америку, а попадают в итоге черт знает куда...

Форд-транзит стал тормозить, а потом и вовсе съехал на обочину. Призрак выглянул в окно и удивился: до блокпоста оставалось еще как минимум несколько километров.

– Сидите! – не оборачиваясь, скомандовал Шимшон.

Почти сразу же распахнулась задняя дверца – внизу стоял Муха.

– Салям, Донбедро!

– Салям, Мухаммад, – отвечал Донпедро, нисколько не удивляясь ни появлению маленького бедуина, ни ортопедизации собственного прозвища.

– Держи!

Муха нагнулся и один за другим закинул в фургон два туго набитых рюкзака.

– Спрячь! – все так же не оборачиваясь, произнес Шимшон. Взгляд его был прикован к дороге. – Бай, Муха!

– Бай! – отозвался бедуин, захлопывая дверцу.

Машина двинулась дальше – вся операция заняла не более десяти секунд. Встрепенувшись, заерзал на своей картонке Доза. Впервые за все время глаза его обрели блеск.

– Нельзя, Доза, – мягко сказал Донпедро. – Ты же знаешь. Не наше это. Вот доедем до города, я тебе куплю. Деньги есть. Подвисься. Ну! Кому говорю...

Доза послушно перебрался в другой угол. Старый бомж откинул в сторону картон, что-то сдвинул, на что-то нажал, и под фанерой

пола открылась неглубокая полость – как раз в размер рюкзаков. «Собак можно не бояться, – вспомнились Призраку слова Боаза. – Хоть что вози – хоть траву, хоть гашиш – хрен учуют...»

Блокпост миновали без проблем – видно было, что Шимшона тут хорошо знают. Сонный солдат даже не стал открывать фургон – скользнул взглядом через окошко и махнул рукой – проезжай!.. В городе начинался час пик; недалеко от Французской горки уперлись в пробку. Заскучав, Призрак дернул за рукав задремавшего Донпедро.

– Что? – вскинулся бомж. – Выходим?

– Пробка, – объяснил Призрак. – Давай трави дальше. Быстрее доедем.

Донпедро зевнул и снова закрыл глаза.

– Э, ты это брось! – строго сказал Призрак. – Стольник взял, теперь отрабатывай. На таракане-мишке остановились. Как он, дополз до Америки?

– Дополз, сука, – кивнул Донпедро. – Еще как дополз. Я потом его спрашивал: как у тебя получилось, Мишук? По вертикальной стене, без лестницы, без веревки, без ничего... Сам, говорит, не понимаю. Будто, говорит, на ладонях присоски образовались – даже не почувствовал, как взобрался. Одной силой желания. Во как, парень. Сила желания, она, парень, чудеса творит... Теперь он в Нью-Йорке, таракан хренов, в Бруклине. Усы отрастил, как дон Педро, магазин держит. Сантехника, кафель всякий, ванны с унитазами. Уважаемый человек в уважаемом месте. Я как-то заходил к нему – денег просить. Не дал, конечно, но...

– погоди, – перебил его Призрак. – А ты-то как в Нью-Йорке оказался? Ты ведь не дополз? Или я чего-то не понял?

Донпедро вздохнул.

– Дополз, да не так. Зависть, парень, – глупая штука. Ведь что такое зависть? Зависть, парень, – это прямое следствие опоздания. Ты опоздал, а другие успели – вот тебе и зависть: почему они, почему не я? Вот и меня грызло так, что ночами не спал. А когда засыпал, то все один и тот же кошмар снился. Будто вхожу я в кухню и вижу таракана на стене. Вижу сначала одного, на Мишака похожего, но потом замечаю, что вовсе он не один, а много – тыщи и тыщи, и все ползут. И вдруг оказывается, что я тоже – таракан, только не такой, как они, мишаки, а отставший – таракан-одиночка. И вот ползут они вверх по стене бесчисленным рыжим полчищем, только спинки шевелятся... и усы... и крылышки... – а я стою, как шлепанцем прибитый, и даже лапкой пошевелить не могу. Они отползают все дальше и дальше... а я – в столбняке. И вдруг шаги слышу: кто-то в кухню идет, жена, наверное. Оборачиваюсь и вижу: никакая это не жена, а я сам – но не в тараканьем обличье, а в человеческом. Великанская такая фигура с точки зрения таракана – особенно отставшего. И слышу я собственный громовый голос: «Ах ты, сволочь рыжая! Совсем обнаглели!» – и вижу, как возносится надо мной огромный карающий тапок размером с авиалайнер... – и просыпаюсь в смертном ужасе.

Донпедро передернул плечами.

– В общем, пить я именно тогда начал – до того почти не употреблял. А когда и это не помогло, понял: надо пробиваться своими силами. Может, все-таки подсадит боженька в уходящий поезд вечного своего опозданта. Поехал нелегалом. Хлебнул там всякого.

Кем только не работал – за центы ихние сраные. Себе на хлеб-воду оставляешь, а все остальное – адвокату, который о грин-карте хлопочет. Или якобы хлопочет – черт его знает. Терпел, думал – еще немного, еще чуть-чуть – получу эту ксиву дурацкую, пропуск в рай. И тогда уже семью привезу, заживу, как дон Педро, уважаемым человеком. Очень я по ним скучал, парень, – по жене и по детям. В Перми-то не слишком ценил, а вот издалека заскучал...

Он замолчал, задумчиво покачивая головой.

– Ну? – поторопил рассказчика Призрак. – А дальше?

– А что дальше... – пожал плечами Донпедро. – Дальше как всегда. Опоздал я. Надоело ей ждать. Подала на развод, вышла замуж. За уважаемого, кстати, человека. И долго это скрывала, в письмах писала – все, мол, нормально, жду вызова. Не знаю зачем – то ли расстраивать меня не хотела, то ли еще что. Короче, узнал я об изменении своего жизненного статуса тоже с большущим опозданием. А как узнал, сдуру рванул в Пермь. Почему сдуру? Потому что не вовремя это получилось во всех смыслах. Семью уже не спасти было, а дела мои иммигрантские пребывали аккурат в том деликатном статусе, когда отъезд из Штатов означал невозможность туда вернуться. Вот так, парень...

– Эй, Донпедро! – крикнул с переднего сиденья Шимшон. – Раньше времени не доставайте. Только когда подъедем. Слышишь?

– Да ладно тебе, – отмахнулся бомж, – не бойсь волноваться. Не впервой ведь.

Машина миновала Рамот и приближалась к автовокзалу.

– Ну и оставался бы в своем Премии, – сказал Призрак. – Чего сюда приперся? Неужели тут бомжевать удобней?

– Не в Премии, а в Перми, – возмутился Донпедро. – Эх, темные вы тут все-таки. Никакой культуры. Ты ведь в школе учился, парень. Как можно в школе учиться и о Перми не знать? Пермь – это...

Он помолчал, подыскивая в уме достаточно весомые аргументы.

– Вот именно, – усмехнулся Призрак. – Пермь – это тебе не какой-то занюханный Иерусалим. Прямо дон Педро, а не город. Зачем же тогда, а?

Бомж крутанул головой.

– Зачем-зачем... Твое-то какое дело? – он немного помолчал и вдруг, дохнув перегаром, придвинул к Призраку свою немытую бордатурную физиономию. – Опаздывать больше не хочу, вот зачем! Отсюда ближе всего, вот зачем!

Призрак оторопело смотрел в гноящиеся глаза старика.

– Ближе к чему?

– К Нему! – бомж сердито ткнул пальцем вверх. – К Нему! Думаешь, вы одни такие умные? Думаешь, ваш восьмой этаж к нему сильно ближе, чем наш первый? Хрена! Не так уж мы и далеко, добежать успеем... ага... еще посмотрим, кто тут опоздант, еще увидим...

– Да отвяжись ты! – оттолкнув от себя старика, Призрак для верности передвинулся в дальний угол фургона. – Сдурел, да?

– Сдурел, сдурел... – торопливой скороговоркой бормотал бомж, успокаивающим жестом поднимая обе руки. – Я сдурел, а ты мне расскажи, ладно? Пожалуйста, парень, очень прошу. Пожалуйста...

– Рассказать? – растерянно повторил Призрак. – О чем тебе рассказать? Чего тебе от меня надо?



Прижавшись спиной к задней стене, он с недоумением и опаской смотрел на старого бомжа, который еще минуту назад казался вполне нормальным, а теперь трясся, как в припадке.

– Ты ведь был во дворе, когда он упал... Дикий Ромео... – горячо шептал старик. – Что он видел там, наверху? Неужели не шепнул ничего перед смертью? Ведь шепнул, а? Шепнул, шепнул, не мог не шепнуть... Перед смертью-то не врут. Ну расскажи, ну пожалуйста... – а я за это денег с тебя не возьму... Да-да, квиты будем. Ты мне расскажешь, а я боссу – ни слова, ни о чем, мамой клянусь... Расскажи, парень... пожалуйста!

– Отстань! – уже в полный голос завопил Призрак. – Шимшон, останови!

Шимшон не отреагировал, но помощь неожиданно пришла с другой стороны. Доза давно уже с тревогой следил за происходящим – по-видимому, безумные выверты Донпедро были отнюдь не в диковинку для его приятеля. Когда старый бомж, причитая, снова пополз в направлении Призрака, Доза решительно обхватил его сзади и прижал к себе.

– Шш-ш-ш...

Этого оказалось достаточно – Донпедро сразу обмяк и заплакал, поглаживая Дозу по руке и что-то канюча себе под нос.

– Пусть расскажет... – разобрал Призрак. – Пусть расскажет... почему он не хочет, почему?

– Охренеть! – с чувством сказал Шимшон, оборачиваясь с места водителя. – С каким дерьмом работать приходится! И как это Барбур вам товар доверяет? Шизанутые на всю голову – что тот, что другой... Эй, шизики! Подъезжаем. Доставайте мешки, и вон отседа! Вонючки, чтоб вас...

Все еще всхлипывая, Донпедро открыл тайник. Фургон остановился в переулке за автовокзалом, и бомжи спрыгнули на тротуар – каждый со своим рюкзаком.

Призрак сошел чуть позже – у рынка.

## 8

Рынок сиял утренним изобилием свежести – нетронутыми пирамидами крутобоких овощей, сверкающими боками рыбин, влажными букетами зелени. Призрак шагал по чистым проходам между прилавками, и немыслимая смесь запахов кружила ему голову. Здесь еще не было ни полуденного пресыщения, ни вечерней усталости, ни опасного ночного паралича – лишь яркая смеющаяся молодость, веселая перекличка торговцев, упругий воздух, насыщенный пряностями, росой салатных листьев, духом парного мяса, ароматами кофе, корицы и чеснока. Да, парень, это тебе не бетонный Комплекс, с его вонью, одинаково удушающей в любое время суток... правильное ли место ты выбрал для жизни, Цахи Голан?

Боаз ждал его на улице Яффо; друзья обнялись, и какое-то время хлопали друг друга по спинам, словно выколачивая из них внезапно возникшую неловкость.

– Давно не видались, – сказал Боаз. – Как ты?

– Нормально. Что слышно?

Боаз шмыгнул носом.

– Тихо. Менты спрашивали о тебе, но немного. Будто для протокола, чтобы дело закрыть. Даже странно.

– Ничего странного, – пожал плечами Призрак. – Прикинь, братан: полиции удобно думать, что родаки спланировали меня куда-нибудь в Лондон или Париж; родакам удобно, что полиция так думает, а мне удобно...

– ...что никто тебя не кошмарит! – подхватил Боаз.

– Вот-вот. И все довольны.

– Хорошо, что ты никому не нужен!

Призрак усмехнулся.

– Ты думаешь? Что ж, можно и так посмотреть... В Комплексе меня знаешь как зовут? Призраком. Кому нужен призрак...

Боаз засопел, надвинул на глаза огромные надбровные дуги.

– Как-то я не так... – смущенно проговорил он. – Не это хотел... нужен ты, братан, даже не думай. Мне вот нужен. И родакам тоже. Просто родаки – они всегда дурные. Не знают, как это показать. Но вообще-то...

– Ладно, брось, – оборвал друга Призрак. – Все в порядке. Как выражается один опоздант, не бойсь волноваться. Мы идем?

Они прошли по Яффо, свернули налево на Невиим и дальше – в квартал столетних зданий, захлапленных дворов и глухих переулков.

– Как там живется, в Комплексе? – нарушил молчание Боаз. – Говорят, разбился один из ваших. Ромарио какой-то. Бразилец, что ли?

– Уже говорят? – удивился Призрак. – Быстро... Он ведь вчера только и разбился. Нет, не бразилец. Ромео его звали, Дикий Ромео. Лунатик. По крыше гулял в полнолуние. Вот и догулялся. Я потому в город и приехал – замену ему ищу. Не справляемся.

– Понятно... – Боаз кивнул и замаялся, не решаясь задать следующий вопрос.

– Что? – помог ему Призрак. – Давай выкладывай. Ты что, братан, боишься меня, что ли?

Боаз снова смутился. Он и в самом деле ощущал некую неловкость – странную в отношениях с таким старым и проверенным другом. Что-то мешало... – наверное, настороженная жесткость, прежде совсем несвойственная Цахи Голану. Жесткость и этот отрешенный взгляд...

– Да нет... – пробормотал он. – А вообще-то... Короче, говорят, что он вроде не сам упал. Будто есть там у вас что-то. Наверху, над Барбуром.

– Над Барбуром? – рассмеялся Призрак. – Невозможно, братан. Да ты и сам знаешь: Барбур у нас – босс, царь и диктатор. Над Барбуром только Бог и полиция.

В смехе его звучала принужденность, попытка отделаться шуткой от серьезного разговора, и Боаз, почувствовав это, обиженно отвернулся.

– Не хочешь говорить – не надо.

Призрак вздохнул, досадуя на себя. Беседа с интернатским другом не складывалась, и отнюдь не из-за Боаза, который, как ни посмотри, остался точно таким же парнем, каким и был прежде. Изменения, если и произошли, то только с ним самим: бывший Цахи Голан стал Призраком, другим существом... Неужели Комплекс меняет людей так быстро и незаметно? И почему? Жить там – после того

как освоишься – куда проще, чем на городских улицах, в интернате или в исправительном учреждении. Даже проще, чем дома, в семье... – собственно, это и есть семья с твердой иерархией, понятным распределением обязанностей, чувством защищенности. Единственное, что может вселять тревогу – это как раз то, о чем спрашивает Боаз... Значит, вопрос его не так уж и глуп. Призрак снова вздохнул и примиряюще похлопал товарища по спине.

– Ты, наверное, имеешь в виду О-О... – произнес он с максимальной бодростью, на какую был способен. – Хотя как можно иметь в виду то, чего никто никогда не видел. Скажу честно, братан, – не знаю. Просто не знаю. Извини.

Минуту-другую они шли молча, затем Боаз остановился и обеими руками взял Призрака за плечи.

– Но это ведь может быть, правда? – сказал он, почти умоляюще глядя на Призрака. – Я говорил тут кое с кем... кто разбирается... Так он говорит, что и место подходит. Как раз между Иерусалимом и Бейт-Элем. И еще другие приметы имеются, я просто не запомнил. Цахи, я серьезно спрашиваю. Может ведь такое быть? Что это невидимое О-О и есть...

– А ну, кончай, братан! – решительно перебил его Призрак. – Хватит.

О-О... есть... Ничего там нет – ни О-О, ни черта, ни чертовой бабушки. Сказки одни, рассказы. Дырок там строители много понаделали, вот и все. Под сейфы, под электронику, для видео, для автоматики, для решеток всяких механических. И дырки эти сейчас – как ловушки. Да еще и темь крошечная, потому как окон не предусмотрено. Дыры и темнота – и ничего более. Потому и ходить там нельзя, опасно. Не из-за О-О нельзя, а чтоб не навернуться. А байки про этого О-О специально для глупых лохов придуманы. Лохи к нам идут, чтобы бояться – кайф у них такой. Особенно у телок. Но ты-то не лох... эй, Боаз! Посмотри на меня, братан! Ты-то не лох? Или ты думаешь, что я тебе врать стану?

– Не... не думаю... – Боаз снова отвел взгляд. – Ты врать не станешь, это верно. Но... – только не обижайся, Цах, ладно?.. – если все так просто, то чего ты тогда боишься? Ты ведь боишься, правда? Не ям боишься и не темноты. Так ведь?

Призрак собрался было возразить, но передумал. Стоит ли спорить с суевериями? Вдобавок ко всему, к суеверному страху интернатского друга примешивалась некая правота – такая же низколобая и непрезентабельная, как и он сам. И заключалась она в том, что Призрак действительно боялся, сам не зная чего. Боялся, не признаваясь себе в этом, пряча свой страх за рациональными рассуждениями о непроходимости верхних этажей корпуса Би. А Боаз, возможно, ничего не смыслил в высоких материях и вообще с трудом мог связать два слова, но уж в страхе-то разбирался получше любого профессора...

– О'кей, – Призрак поднял обе руки, словно сдаваясь. – Будь по-твоему. Не все так просто. Боюсь. Доволен? Что теперь?

Боаз молчал, исподлобья поглядывая по сторонам.

– Что ж, – усмехнулся Призрак, – тогда можно вернуться к цели нашей прогулки. Поскольку других предложений все равно нет. Далеко еще до твоего сквота?

– Он не мой, – мрачно отвечал Боаз. – Я там два месяца назад был. Это рядом, вон в том переулке. Идем.

Они вошли в небольшой двор, ограниченный с четырех сторон почерневшими от времени каменными строениями разной степени ветхости. На первый взгляд, необитаемыми казались все здания, но, присмотревшись, можно было кое-где обнаружить признаки жизни: занавески на окнах, развешанное для сушки белье, притулившийся у подъезда древний велосипед.

– Тут у художников мастерские, – сказал Боаз. – Картины всякие, железки... прикольно. Хочешь посмотреть?

– На фига мне картины? – мотнул головой Призрак. – Давай прямо в сквот.

Сквот, пустующий трехэтажный дом, нелегально захваченный для жилья, находился в глубине двора и выглядел самым заброшенным – без стекол, без дверей, с крошащимся камнем на углах и обрушенной штукатуркой. Все окна и входы были грубо заварены ржавыми арматурными решетками – как видно, для того, чтобы предотвратить любую возможность проникновения внутрь. Но, по словам Боаза, это останавливало лишь чужаков – свои попадали в дом через дыру в кровле, пройдя по пожарным лестницам и крышам соседних зданий.

– Сколько их там?

Боаз пожал плечами:

– Когда как. Обычно человек десять – пятнадцать. Зато взрослых нет – все малолетки или подростки, каких тебе и надо. Пожилой бомж на крышу по лесенке не полезет...

– По лесенке? – переспросил Призрак. – А это что?

В самом деле, на одном из окон цокольного этажа решетка отсутствовала вовсе: судя по свежим выбоинам в стене, ее оторвали не так давно. Именно оторвали – напроць, демонстративно, хотя, наверно, достаточно было бы просто отогнуть. Для пущего удобства в образовавшееся отверстие вел трап, сооруженный из широких дощатых щитов.

– Странно, – пробормотал Боаз. – Вообще-то, они это место не афишируют. Боятся, что выгонят...

– Да нет, братан, – возразил Призрак, заглядывая внутрь. – Еще как афишируют. А также плакатируют и транспарируют. Давно ты тут не бывал, вот что...

И действительно, небольшая комната за окном была завалена афишами, плакатами и транспарантами – самодельными и типографского производства. Некоторые из них по всем признакам еще недавно висели снаружи и успели изрядно выцвести, а теперь пережидали под крышей зимнюю непогоду.

– Все на демонстрацию... – вслух прочитал Боаз. – Даешь революцию... Долой приватизацию... Что за хрень, братан? Откуда тут взялись все эти ации-юции?..

Призрак улыбнулся – уж больно комично выглядело недоумение друга. Но вообще-то ему было не до смеха: красные тряпки живо напомнили квартиру семейства Голан, патлатых подружек Ариэлы, визгливые акции на блокпостах, истерическое скандирование, в котором некогда принимал невольное участие и он сам. Призрак примерился и от души пнул попавшийся под ногу фанерный щит, пробив его точно посередине хорошего слова «справедливость».

– Известно откуда, – сказал он, поворачиваясь к растерявшемуся приятелю. – Из мамашинного салона. Знал бы ты, Боаз, как они мне надоели. Пойдем дальше, раз уж мы здесь. Посмотрим, что там внутри. Может, твои сквоттеры еще не слиняли...

Миновав пустой земляной этаж, они поднялись по лестнице и остановились на пороге большого зала, поперек которого висел на растяжках транспарант с надписью: «Дом без людей – для людей без дома!». Упомянутые люди – человек двадцать – спали здесь же, на аккуратных надувных матрасах прямо под транспарантом. Бодрствовали лишь двое – толстая женщина лет тридцати в широкополой шляпе и бородатый очкарик, старательно выписывающий черные буквы по ярко-красной стене. Завидев ребят, толстуха призывно замахала рукой. Боаз и Призрак подошли.

– Вы откуда? – она смерила взглядом низкий лоб Боаза и вынула из-под ляжки блокнот. – Из Рамаллы? Почему только двое?

– Из Томбукту мы, – важно ответил Призрак. – С берегов реки Замбези, что под самой Джомолунгмой. А вы только из Рамаллы принимаете?

– Мы всех принимаем...

Женщина отложила блокнот и, приподняв шляпу, стала поправлять волосы. На плече ее висел мегафон; волосы не слушались, рассыпаясь как попало, толстуха сердито крутилась, и мегафон, предоставленный самому себе, весело перекатывался со спины на живот и обратно.

– Из Рамаллы? – крикнул от стены очкарик. – Почему только двое?

– Из... ах, шит!.. – волосы снова рухнули из-под полей, не дав женщине ответить. – Фак! Фак!

– Что? – не расслышал очкарик. – Почему?

Яростно плюнув, толстуха схватилась за мегафон; тот взвизгнул, свистнул и, наконец, выдал оглушительным басом:

– Не! Из! Рамаллы! Из! Той! Бухты! Понял?! Фак!

Парень у стены робко кивнул и снова взялся за кисть. По идее, мегафонный рев должен был бы вздернуть спящих на ноги вернее грома предвечных труб, но, к удивлению Призрака, разноцветные спальные мешки даже не вздрогнули.

– Давайте я помогу, – предложил Боаз. – Я умею.

Он подошел и, точным движением собрав толстухины волосы, скрутил их жгутом и ловко заправил под шляпу. Лицо женщины просветлело.

– Спасибо, товарищ... – она раздраженно качнула телесами в сторону неподвижных спальных мешков. – Во, вы только гляньте. Как кайф ловить, так никто не пропустит, а как с утречка, так ни одна сволочь не шевельнется. Все самой делать приходится...

Призрак посмотрел на спящих.

– Это всё бездомные?

– Мало, я знаю, – мрачно кивнула женщина. – Надо как минимум двести. А двести даже вечером не набирается, на концерте. Фак! Ну какой народный протест без народа? Певца послушают и встают. Я говорю: «Вы куда? А если телевидение приедет?» «Домой!» – говорят. Фак! Какое, шит, «домой», если вы бездомные?

– На двести человек матрасов не хватит.

– Хватит! Всего хватит – и жратвы, и матрасов, и денег. Лишь бы народ был. Фак! Деньги есть, а народа нет... – она вдруг прищурилась, подозрительным взглядом ощупывая лицо Призрака. – А вы, вообще-то, кто, товарищи?

– Народ мы, – ухмыльнулся Призрак. – Бездомные. Только натуральные, без дома и без матрасов. Таких здесь нет, наверное.

– Тут до вас ребята жили, – вмешался Боаз. – Сквоттеры. Человек десять. Где они теперь, не подскажете?

Толстуха равнодушно пожала плечами.

– Вроде жили. Никто их не гнал, вы не думайте. Дом принадлежит народу. Поищите на третьем этаже – наверх и направо до упора...

На третьем этаже в крайней комнате лохматый парень варил кофе на газовом примусе. Боазу он обрадовался как родному. На вопрос, где остальные, тоскливо развел руками:

– Кончился наш сквот, братаны. Вы ведь внизу были, клоунов этих сраных видели? Ну вот. Какой с клоунами сквот? С клоунами – цирк. Вот ребята и разбежались кто куда. Так или иначе, не сегодня-завтра всех выселят. Инспектора из мэрии уже приходили, с полицией.

– А кто они, эти клоуны?

Лохматый выругался.

– Да черт их знает. Всякие. С лица-то все одинаковые – я их только по цветам и различаю. Анархистов много красно-черных. Потом эти... – зеленые, которые против потепления. Прикинь – зима, а они против потепления. Коммунисты – те чисто красные, с Че Геварой. Есть еще с голубым флагом – так эти ни разу не голубые, а за Европу без капиталистов. Зато те, которые реально голубые – ихние цвета и не голубые вовсе, а радужные... Потом феминистки. Феминистки розовые. А которые за арабов – те в черно-красно-зеленом ходят, с белыми заплатами. Хватит или дальше продолжать? Там еще два раза по столько...

– Хватит, – сказал Призрак. – А зачем это все, не знаешь? Чего они хотят? И откуда взялись? Раньше-то тихо было...

– Тихо, – подтвердил лохматый. – Тихо и хорошо...

Он аккуратно разлил кофе по картонным стаканчикам.

– Стаканы от них, между прочим, и кофе тоже. Чего-чего, а денег там куры не клюют. Жратва ресторанная, концерты каждый вечер. Певцы всякие с гитарами – и не простые, а натуральные звезды... – вот народ и ломится на халяву. А чего не ломиться, если рок-звезда бесплатная и пицца задарма?

– Так уж прямо и звезды, – не поверил Призрак. – Чего им тут делать, в развалине этой? Звезды в Кейсариин поют, в амфитеатре. И на свадьбах, за большие тыщи.

– Оставайся, увидишь. Звезды, братан, любят, когда их по телеку показывают. А тут что ни день, то бригада с какого-нибудь канала. Со всеми делами – с кабелями, с антеннами, с прожекторами. Операторы, телки с микрофонами бегают. Автобус во дворе стоит...

Призрак в изумлении потряс головой.

– Телевидение? Здесь? Зачем?

– Ну, братан, ты будто с луны свалился, – в свою очередь удивился парень. – Не только здесь, а повсюду. Тренд такой, мода новая. Боаз, ты из Тель-Авива, объясни другу.

– Верно, – смущенно отвечал Боаз. – У нас то же самое, еще и покруче. Извини, Цахи, я как-то не связал. Думал, тут другое.

Какое-то время они молча прихлебывали кофе из стаканчиков.

– Они ведь и раньше тусовались, но как-то по отдельности, – сказал лохматый. – Мухи с мухами, червяки с червяками, крысы с крысами... А сейчас все перемешалось ни с того ни с сего. Метеорит упал, что ли?

– Какой метеорит... – усмехнулся Призрак. – Сам ведь говоришь – бабла у них немерено. Деньги упали – вот они все и сбежались. Вернее, сбежались крысы, а мухи слетелись, а червяки сползлись. Деньги, братан, всех объединяют – и не только крыс с мухами, но и кошек с собаками.

– Вот-вот... – уныло кивнул парень. – Там внизу у них толстая заправляет, видели, наверно? Борзая такая, на всех в мегафон орет. Как гаркнет, так все в момент замолкают. Поди поспорь с мегафоном... В общем, она каждый вечер речугу толкает на весь двор. Мы, говорит, разные, но цель у нас одна – разрушить систему. Ну вот... сказано – сделано. Сквот наш, считай, уже разрушен... а какой сквот был!

Снизу, словно в ответ, неразборчиво и гулко прогремел мегафон. Призрак поставил на пол опустевший стаканчик.

– Если уж ты все равно отсюда линяешь, – проговорил он, тщательно подбирая слова, – не хочешь ли попробовать новое место? Я как раз человечка ищу. Нужного. Ты, может, и подошел бы.

– Новое – это какое?

– Комплекс. Слыхал о таком?

Парень улыбнулся.

– Ага. Теперь понятно. Кто же о Комплексе не слыхал... Я-то думал, ты с луны свалился, но ты, оказывается, еще дальше. Из созвездия Барбура.

– Барбур тут ни при чем, – сердито возразил Призрак. – Я тебя в гиды зову. У гидов автономия. Работа есть, но непыльная. Бабки неплохие.

Лохматый подумал и отрицательно покачал головой.

– Спасибо, братан, но не для меня это. Работать не люблю, да и бабки мне, в общем, без надобности. Но главное, без города не могу. Без улиц, без рынка, без толпы. А у вас ведь там бетонная коробка и пустыня вокруг, так?

– Так. И не так... – Призрак покосился на Боаза. – Есть еще кое-что.

Улыбка сквоттера стала еще шире.

– Ага, слыхал и об этом. Нет, братан, такие тяжести не по мне. Я легкой жизни ищу – такая натура. Может, потом, когда с катушек слечу...

Призрак вздохнул.

– Жаль, – сказал он, вставая. – Поищем в другом месте. Не знаешь, сквот в Катамонах еще действует?

– Тю! В Катамонах? – присвистнул лохматый. – Катамоны уже неделю как закрыли. Опоздали вы, братаны.

В дверях Призрак обернулся.

– С катушек, говоришь? Так я тебе кажусь – с катушек слетевшим? Сквоттер потупился.

– Мне, братаны, проблем не надо, – бесцветным голосом произнес он, глядя в пол. – Никого обидеть не хотел. Извините, если что...

Внизу по-прежнему спали, а толстуха с мегафоном яростно отчитывала бородатого художника.

– Мы о чем договаривались? «Освобожденный дом народа»! А ты что намалевал?! «Дом освобожденного народа»! Ты сам-то разницу понимаешь, идиот?!

Бородач что-то неслышно лепетал и пытался к своей красно-черной стене. «Красно-черные, – вспомнил Призрак, – значит, анархисты. А ты в Комплексе живешь – значит, с катушек слетел...»

– Не бери в голову, Цах, – сказал Боаз, когда они вышли на улицу. – Это еще посмотреть, кто из вас двоих нормальнее. Я ведь его давно знаю, маньяка лохматого. Резчик он. По собственному телу. В уголке сядет и режет себя. Просто так, без причины. Руки, ноги, живот – всюду, куда нож достает. Ты в сравнении с ним...

Он замялся, ища подходящее сравнение.

– Дон Педро, – подхватил Призрак. – Я в сравнении с ним – чистый дон Педро... Куда теперь двинем, философ? Есть варианты?

9

К вечеру резко похолодало; в темноте над городом медленно копошились дождевые облака, то собираясь кучей, то снова расходясь под редкими потугами ветра – как тучные солидняки-парламентарии, набирающие кворум для решительного голосования. То и дело начинало капать и даже слышалось глухое ворчание где-то рядом ворочающейся грозы, но небесный спикер всякий раз откладывал процедуру, и тучи, подобрав фалды своих черных фраков, неохотно возвращались к прежним коалиционным переговорам.

Призрак проводил Боаза до вокзала и, распрощавшись с другом, сел на автобус в направлении северо-восточной окраины. Шимшон обещал подобрать его там, на остановке перед блокпостом, около половины десятого. Часы показывали без десяти восемь – как минимум час запаса. Час, который в принципе можно было бы потратить на что-нибудь полезное, если бы у Призрака оставалось хоть немного сил. Но сил, увы, не было: бесплодное шатание по городу вымотало его вконец.

Иерусалимские сквоты, на которые возлагалось так много надежд, были почти полностью разогнаны борцами за разрушение системы. Убедившись в этом, ребята стали обходить традиционные места молодежных тусовок. Но и там – на Кошачьей площади и в Тальпите, на окраинах и в пешеходной зоне, в парках и на галереях – повсюду Призраку встречались лишь лохи и хомячки – робкая домашняя живность, прячущая за наглостью глаз потный страх остаться без мамы.

Когда же все-таки попадался кто-нибудь, сменивший страх на отчаяние, – кто-нибудь типа лохматого резчика с Невиим, – то довольно быстро выяснялось, что и этот «кто-нибудь» отнюдь не горит желанием променять свою трудную городскую жизнь на непильную должность гида в Комплексе. И дело тут было даже не в отдаленности места, не в нежелании работать и не в страхе перед бандитом Барбуром: эти видавшие виды парни вообще мало чего боялись. Мало чего – но Комплекс определенно входил в этот короткий список. Неу-



жели их так напугала вчерашняя смерть Дикого Ромео? Вряд ли. Тогда что? Друг Боаз помалкивал, но в его виноватом взгляде отчетливо читался ответ: «Сам знаешь что...» Почему виноватом? Да потому, что Боаз тоже отказался бы идти в гиды, предложи ему Призрак такой вариант! Боаз, самый близкий интернатский друг и помощник! Чего уж тогда ожидать от незнакомцев с Кошачьей площади...

Час пик давно миновал, почти все промежуточные остановки были пусты, и автобус дул напропалую, не останавливаясь. Но за Французской горкой небо над крышей треснуло, обнаружив в образовавшейся щели еще большую черноту, и оттуда, из черноты, хлынул ливень – типичный иерусалимский ливень, словно созданный для того, чтобы раз за разом напоминать беспечному человечеству о Великом потопе. Шофер резко снизил скорость и теперь еле плыл на второй передаче, напряженно вглядываясь в световые пятна размокающей снаружи вселенной: тревожно красные – от ползущих впереди автомашин, мигающие желтые – от немедленно вышедших из строя светофоров, пунктирно белые – от тянувшихся сбоку домов окраинного спального района.

Вскоре вышли последние пассажиры – в автобусе остались лишь Призрак и солдатик на заднем сиденье. Конечная остановка находилась у самого блокпоста – стандартная стекляшка с рекламной красавицей, гофрированной кровлей и скамейкой внутри. Шофер подрулил вплотную и распахнул дверь. Втянув голову в плечи, Призрак перескочил через бурлящий на мостовой поток прямоиком к скамейке, но даже молниеносная быстрота перемещения не помогла: за какую-то секунду куртка вымокла на плечах так, словно он весь день гулял под дождем.

Автобус отъехал; отряхнув воду с волос, Призрак поднял голову и увидел солдата-тайманца, который вышел вместе с ним. В отличие от Призрака, он не торопился в укрытие, а просто, опустив голову, стоял по щиколотку в воде, словно изучая турбулентные завихрения потока, спешащего вниз по улице в стонущее от долгожданного потопы вад. Солдат был без сумки, с коричневым беретом «Голани» под погоном и винтовкой М-16 за спиной.

– Эй, голанчик! – крикнул Призрак. – Ты что, душ принимаешь? Прямо так, не раздеваясь?

Солдат резко поднял голову и, в два прыжка подскочив к скамейке, схватил Призрака за грудки.

– Что ты сказал? Что ты сказал, ашкеназ хренов?! Повтори! Ну?!

«Достойное завершение сумасшедшего дня, – подумал Призрак, глядя в бешеные карие глаза. – Сумасшедший с автоматом...»

Голанчик явно не возражал бы подраться, но это категорически не устраивало Призрака. Парень был хотя и пониже его ростом, но старше и сильнее, не говоря уже о солдатской выучке и штурмовой винтовке... Сейчас как заедет стволом в живот, а потом сразу прикладом по морде... – или как их там натаскивают... К счастью, кризисные, на грани мордобития, ситуации не представляли особой новизны для подростка, проводшего детство в интернате и еще полгода в исправительном заведении. По опыту, ничто так не мешает агрессии, как незамедлительное предложение дружбы. И главное, без резких движений... Это не гарантирует мирного исхода, но отчего бы не попытаться?

– Ну-ну, братан, зачем сразу убивать-то? – с ленивым спокойствием проговорил Призрак и протянул руку для знакомства. – Я свой, дружанский. Пошутил, извини. Меня Призрак зовут, а тебя?

– А тебя... – повторил голанчик, скрежеща зубами. – А меня... тебя, меня... ах ты...

Он выругался и толкнул Призрака назад на скамейку. Как тот и рассчитывал, первоначальная солдатская ярость лопнула подобно нарыву, и теперь ее остатки стремительно утекали вниз по мостовой вместе с беснующимся ливнем. Голанчик опустил руки и, вздохнув, поправил оружие.

– Яки... – буркнул он. – Яки меня зовут. Не шути больше, понял?

Молча кивнув, Призрак сдвинулся к краю скамейки, освобождая место.

Яки бухнулся рядом и закрыл глаза. И тут непруха. Даже не подражаться, душу не отвести. Можно было бы наkostenять этому хилому ашкеназу – немного, подзатыльник-другой... да он ведь небось и драться-то не умеет. Не умеет, а туда же: «В душ, не раздеваясь...» – точь-в-точь, как тот маньяк-взводный. Надо было, конечно, по рылу засветить. Но как тут засветишь, когда он, хитрец, руку тебе навстречу тянет? Зараза... повсюду непруха, всегда и везде, куда ни сунься.

А с другой стороны, чему удивляться-то? Всем известно: такого непрушника, как Яки Шаашуа, еще свет не видывал. Взять хоть семью: братья как на подбор, все шестеро – высокие, стройные, красивые. Сестры тоже красавицы. И только он, седьмой, – низкорослый кряжистый толстячок, рожа круглая, глазки маленькие, волосы с пятнадцати лет редеют... Как будто все уродство, отведенное семейству Шаашуа, обрушилось на него одного. Всё, всё без остатка – вместо того чтобы раскидать поровну, каждому понемножку, по справедливости.

Ну почему вся непруха, все беды-печали – ему, а вся удача, таланты, радости – другим? Почему? Иногда Яки казалось, что Бог специально назначил его этаким громоотводом, чтобы легче жилось другим, близким. Или правильней было бы сказать – «беодоотводом»? Он сравнивал себя с козлом отпущения, на которого в канун Судного дня грузят людские грехи, дабы он унес эту неприятную ношу в пустыню, подальше от согрешивших. Потому что незачем страдать многим, если можно ограничиться кем-то одним, достаточно выносливым и сильным.

В принципе, Яки, скрепя сердце, принимал эту логику – тяжкую для козла, зато спасительно удобную для остальных. Принимал – даже при том, что козлов Судного дня хотя бы меняли из года в год, в то время как он, Яки, продолжал оставаться все тем же непрушником-беодоотводом. На него грузили, не отпуская, не предоставляя ни единого шанса на свободу. Что ж, тем лучше для других... Иногда он даже гордился своим нелегким уделом, поскольку иных поводов для гордости все равно не было. Сознание собственной жертвенности – пусть насильственной, пусть навязанной свыше – грело ему душу, потому что вносило смысл в непрерывную череду неудач. А смысл – это уже что-то.

Если бы это еще понимали те, чьи беды он принимал на себя столь отважно и терпеливо! Хоть немного понимали, хоть чуть-чуть. Многого ли он просит? Каплю уважения, крошку благодарности... Но нет – для братьев и сестер Яки всегда оставался досадным недора-

зумением, позором семьи, ублюдком и недоноском. Они заносчиво приписывали свои успехи и достижения исключительно собственным способностям, собственной удаче. Эти зазнайки даже представить себе не могли, что большинства этих побед, возможно, никогда и не случилось бы, не будь рядом его, Яки!

А он – разве мало стараний он приложил? Изю всех сил тянулся вслед за успешными братьями – лишь бы рядом, лишь бы не отстать, не оставить, не бросить на произвол судьбы. Они в старшие классы – отличниками, спортсменами, гордостью школы, и Яки туда же. Троечником, увальнем, всеобщим посмешищем, но – туда же, в ту же самую школу. Они в «Голани» – в разведроту, в спецназ, на офицерские курсы – повсюду лучшие, повсюду впереди... И Яки за ними – последним, одышливым, нелепым балластом... Отбор в бригаду был тяжкий, с трудом удалось пройти, не отсеяться. Да и отсеяли бы, если б не выдающиеся братья – о них в бригаде помнили и не захотели ломать традицию.

И Яки Шаашуа отплатил добром за добро. Ведь что такое бригада «Голани»? Вольная вольница, казачество Цахала, пристанище самых отчаянных сорвиголов. Ни в какой части нет такого количества бунтов, столько недель, проведенных в военной тюрьме – знаменитой Шестерке. Отделение, в котором начал свою службу Яки, не было исключением. Гремучая смесь из вечно настороженных, заряженных на отпор «русских» парней и прибалтненной шпаны из бандитских сефардских районов. При всей внешней несхожести и те, и другие одинаково чувствовали себя аутсайдерами, а потому быстро нашли общий язык в непримиримой ненависти к палачу-сержанту, садисту-взводному и мачехе-дисциплине.

Только Яки спас отделение от расформирования. Не отличаясь ни меткостью, ни выносливостью, ни каким-либо другим воинским талантом, он интуитивно нашел себе правильную роль в буйной ораве голанчиков: нечто вроде занудного дядюшки, который умеет вовремя подсунуть простой вопрос «а что дальше?» – вопрос, который, при всей своей простоте, частенько оказывается спасительным ведром холодной воды, заливающим уже разгоревшийся было пожар безрассудного бунта. Ведром воды, огнетушителем или – да-да! – бедоотводом.

Неудивительно, что в отделении Яки слыл безнадежным трусом. Товарищи поглядывали на него со снисходительным презрением, но берегли, понимая – в отличие от братьев – жизненно необходимую пользу бедоотводов. Человека в нем видел разве что Слава Слуцкер – первый и единственный якин друг. Если Яки практиковал рассудительность вынужденно, то Славе, спокойному рукастому парню из Реховота, она досталась от рождения как главное свойство характера. Поэтому он сразу оценил масштаб усилий товарища, так упрямо и последовательно разыгрывающего столь неестественную для него роль.

– Яки, братан, ну что ты придириваешься? – частенько говаривал Слава. – На самом деле ты тут главный сумасшедший. Разве не так?

Яки улыбался в ответ. Перед Славой можно было не притворяться – и не только потому, что друзья друзей не выдают. В конечном счете Слава извлекал из бедоотвода точно ту же пользу, что и остальные.

Под конец учебки, когда стало полегче, ребята заговорили о перепихонах. В принципе, подобные разговоры велись и раньше, но на седьмом месяце службы изголодавшиеся гормоны словно с цепи сорвались. Вернувшись из отпуска, каждый голанчик прежде всего сообщал число, коим он на сей раз удивил свою пылкую подружку. Обсуждению подлежало примерно всё, включая телесные параметры, выбранные позиции, длительность объятий и частоту вдохов. Промолчать означало начисто выпасть из обоймы, и Яки всерьез озаботился поисками девушки.

С Иланит, на чьей кандидатуре он остановился после продолжительных раздумий, Яки некогда учился в одном классе. Она носила скорбное клеймо самой страшной уродины в школе и поэтому представляла собой относительно легкую добычу. Яки позвонил ей накануне очередного отпуска.

– Привет, – сказал он в ответ на первое «алло». – Это Яки Шаашуа. Помнишь такого?

– Ну и? – спросила она.

– Ты сейчас где, в армии?

– Ну и?

– И я тоже. В «Голани», – сообщил Яки. – Ты в субботу выходишь?

– Ну и?

– Хочешь, в баре посидим?

Иланит молчала очень долго, и Яки уже решил, что связь оборвалась, когда она вдруг ответила. Да, хочет. Он сказал, что заедет, и разъединился. Похоже, разговоры в ее казарме отличались от якиных лишь смещением внимания на иные замеряемые органы. Так что звонок оказался кстати – Иланит явно искала того же, что и он. При встрече они смотрели друг на друга скорее с неприязнью, чем с симпатией. Было что-то унижительное в этом вынужденном союзе двух уродов – что-то похожее на изнасилование. Собственно, это и являлось изнасилованием, разве нет? Обоих насиловала судьба – по крайней мере так они чувствовали.

Процедура потери невинности была неприятной, но не настолько, чтобы не договориться о следующей субботе. В конце концов, теперь им было о чем рассказать в казарме. К своему удивлению, Яки обнаружил, что ждет второй встречи с немалым волнением. На этот раз девушка показалась ему довольно привлекательной, да и последовавшая ночь в постели уже не напоминала неловкую возню с чрезмерным количеством ненужных конечностей, а скорее походила на увлекательное путешествие по головокружительно интересной стране.

Трудно сказать, кем была Иланит, в которую он в итоге влюбился: виртуальным, надуманным, измышленным образом или реальной девушкой, чудесно преобразившейся от нового знания, нового опыта, новых ощущений. Наверное, и то, и другое – да и что тут такого необычного? Все люди – даже самые красивые и успешные – придумывают себе иллюзии и живут с ними. Да и хороший поцелуй, как известно, может исправить любое уродство. А что касается изнасилования судьбой, то, положи руку на сердце – разве она не насилует всех без исключения, включая патентованных красавцев?

Так или иначе, но уже месяца через два Яки и помыслить себя не мог без любимой. И тут что-то пошло наперекосяк: их армейские отпуска, столь чудно синхронизированные прежде, вдруг резко пе-

рестали совпадать. Яки выходил в воскресенье – Иланит отпускали во вторник. Яки срочно менялся на вторник – ее отпуск срывался в последний момент. Так продолжалось несколько недель подряд, пока, наконец, позавчера вечером Слава не сказал, сочувственно глядя на мрачную физиономию друга:

– Похоже, она крутит тебе мозги, братан. С кем-то другим долбится, а с тобой рвать пока тоже не хочет, на всякий случай. Бабы, они такие, запасливые.

Они как раз шли пешим патрулем вдоль шоссе, где накануне арабские подростки бросали камни в проезжавшие машины. Подростки давным-давно сидели по домам, смысла в патруле не было никакого, и это тоже не способствовало хорошему настроению. Яки остановился, передернул затвор, и Слава понял, что сейчас умрет.

– Ты что, Яки, братан... – побледнев, пробормотал он. – Я-то тут при чем? Яки, Яки...

Яки глубоко вздохнул и, помотав головой, двинулся вслед за ушедшим вперед сержантом. Главная неприятность славиных слов заключалась в их весьма вероятной правоте. Но, с другой стороны, мог ли Яки ожидать чего-то другого? Достаточно вспомнить, как начинались их отношения с Иланит – договорные, вынужденные. Они всего лишь использовали друг дружку – просто потому, что под рукой не оказалось кого-либо получше, покрасивей, поумнее. И потом, когда все поменялось, когда выяснилось, что никто другой и не нужен – разве он сказал ей об этом? Нет, не сказал. Не известил, не объяснил, что дороже и нужнее нет для него никого – нет, не было и не будет. Идиот, он тупо продолжал забираться на нее во время каждого отпуска, как на какую-то дешевую давалку...

Все оставшееся время он напряженно составлял в голове речь, которую произнесет перед Иланит – слово к слову, предложение к предложению. И с каждым словом, с каждым предложением росло осознание неотложной необходимости встречи. Он просто обязан рассказать Иланит, насколько любит ее, насколько жить без нее не может. Она должна услышать это как можно скорее, пока еще не произошло ничего непоправимого. А в том, что непоправимое – в пути, Яки не сомневался: оно всегда предпочитало питаться именно такими непррушниками, как он.

Вот только как ее устроить, эту встречу? Яки всего два дня назад вернулся из отпуска – следующий светил только через полторы-две недели. Зато Иланит выходит завтра... – значит, на этот раз никак не получится, но нужно кровь из носу подгадать к другому, очередному. Погруженный в свои планы, он действовал автоматически, молча исполняя все, что требуется: пеший порядок патруля, хаммер по его окончании, возвращение на базу...

Процедуру разрядки оружия обычно производил командир отделения, но на этот раз приперся взводный – придиричивый ашкеназ из тель-авивских снобов. Его боялись и старались по возможности обходить стороной. Яки привычно выщелкнул магазин и отдернул затвор, чтобы продемонстрировать подошедшему офицеру пустой ствол. К его ужасу, из патронника вылетел патрон! Как он там оказался?.. Ах, черт! Только сейчас Яки вспомнил, как передернул затвор в ответ на безжалостные слова Славы. Передернул и начисто забыл об этом!

– Та-ак... – протянул взводный, изучая побелевшее лицо солдата. – Это что получается? Патрон в стволе? Сержант! Была команда взводить оружие?

– Нет, командир!

– Нет. Тогда почему, Шаашуа?

– Не... не знаю, командир, – пробормотал Яки.

– Не знаешь, – констатировал лейтенант. – Два месяца на базе без отпусков. Чтобы знал.

Сопровождаемый сочувственным шепотом товарищей, Яки прошел в казарму и упал на койку лицом вниз. На следующее утро он появился на построение небритым и без резинок. Поверку проводил все тот же взводный. Бритье, нужно отметить, представляло собой его главный пунктик.

Увидев Яки, лейтенант удивился.

– Шаашуа? Снова ты? Мало вчерашнего? Два наряда на кухню! А сейчас марш бриться! А пока он будет приводить себя в порядок... – отделение! Слушай мою команду! Принять упор...

– Сам марш бриться! – отчетливо выговорил Яки. – Сука ашкеназская.

Все замерли.

– Что? – одними губами переспросил офицер.

– Ты слышал, сволочь, – так же отчетливо произнес Яки и, выйдя из строя, вразвалку отправился в казарму.

– Вернись! – крикнул вслед взводный. – Шаашуа! Если ты немедленно не вернешься, я накажу все отделение! Шаашуа!

Яки даже не повернулся.

– Хорошо! – яростно выкрикнул лейтенант, поворачиваясь к строю. – Всем! Под душ! Шагом марш!

«Под душ» в данном случае означало – как есть, в форме, в ботинках и с оружием. Так иногда наказывали в учебке неряшливых новобранцев. Но одно дело – новобранцы в учебке, и совсем другое – полноправный голанчик с коричневым беретом на плече... Строй вздрогнул, зашумел, как роща под порывом ветра, и не сдвинулся с места.

– Бунт?! – закричал взводный, стартуя в направлении штабного барака. – Под суд пойдете! Все!

Отделение вернулось в казарму, где Яки заканчивал переодеваться в выходную форму одежды.

– Что? – спросил он, когда все вошли. – Полизали ему? Вы мужики или кто? Сопливый ашкеназ вас раком ставит, а вы подмахиваете. Тьфу!

– Я же говорил, он тут самый сумасшедший, – сказал Слава.

– Какое «сумасшедший»? – отозвался Коби Атиас, известный своей горячностью. – Даже Шаашуа не выдержал. А мы что? Сколько терпели! Меня он, падла, на прошлой неделе в дежурство на мойке с автоматом поставил. Мыть посуду с оружием, прикинь!

– Точно! – поддержал его кто-то. – А я за резинки – без отпуска! Хватит!

– Он ведь сам сказал – бунт! – не унимался Атиас. – Теперь так и так под суд пойдём. Шаашуа, а ты куда?

– На автобус, – отвечал Яки. – И вам советую. Сколько можно трястись?

– А ведь верно, братаны, – задумчиво сказал Слава. – Если все равно под суд, то лучше это правильно повернуть. Чтобы громче прозвучало. Типа, издевательство офицеров...

Через десять минут все отделение в составе пятнадцати человек шагало к автобусной остановке. Часовой у ворот серьезного сопротивления не оказал. Когда садились в автобус, подбежал взводный. Теперь в его воплях вперемешку с угрозами звучали явственные панические нотки.

– Выйди из автобуса, гад, – ответил за всех Яки. – Пока ты на базе, мы туда не вернемся. Так всем и передай.

Шофер, улыбаясь, наблюдал за бесплатным представлением.

– Оставаться на месте! – приказал ему офицер.

– Тетя твоя на месте, – ответил водитель к полному восторгу солдат. – А у меня расписание. Пять минут жду и уезжаю.

Через три минуты подъехал джип командира роты.

– Это ваш последний шанс кончить все добром, – предупредил он, поднявшись в автобус. – Обещаю выслушать жалобы и принять меры. Но все должны вернуться на базу. Иначе вами займется военная полиция.

– Хоть дохлый Арафат, – снова за всех откликнулся Яки. – Хуже не будет.

– Эй, командир, мне и правда пора, – вмешался шофер. – Ты едешь или остаешься? Если едешь, покупай билет.

Капитан вздохнул, развел руками и вышел. Автобус тронулся. Вряд ли все пятнадцать бунтовщиков чувствовали себя при этом хорошо. Скорее наоборот – чем дальше они отъезжали от базы, тем яснее становилась вопиющая глупость происходящего. Открытый бунт – и не просто бунт, но еще и коллективное дезертирство – и все из-за чего? Вернее, из-за кого? Из-за одного небритого перца? Чушь какая-то... Дураку понятно, что никто – даже самый анархистствующий репортер – не сочтет это достаточно веской причиной. Да и сказки про «издевательства офицеров» не прокάνают – подумаешь, наряд на кухню в полной выкладке! Эка невидаль! Конечно, душ в одежде, да еще и в зимнее время – беспредел, но, во-первых, фактически до этого так и не дошло, а во-вторых, неповиновение началось еще до приказа отправляться в душ. До, а не после!

– А чего случилось-то, братаны? – поинтересовался умиравший от любопытства шофер и, не дождавшись ответа, восхищенно крутанул головой: – Да, одно слово – «Голани». Дурдом с автоматами...

– Ты это... ври-ври, да не завирайся, – строго возразил Слава. – «Голани» – это тебе не монгольская армия.

– Не парься, братан! – весело отвечал шофер, прибавляя скорость. – Мне ли не знать. Я и сам голанчик, призыв – лето-92. Мангальская армия, говоришь? А что, мангал – дело хорошее... на нем вас и поджарят, всё отделение. Сам я в Шестерке не бывал, врать не стану. Но по рассказам – несучная тюрьга... – подмигнув в зеркало, он скривился и жалобно затынул: – «А меж Атлитом и Хайфой... тюрьма Шестерка – вой не вой... а в ней мальчишечка кривой... об стену бьется головой...» Братаны, подпевайте!

Отделение мрачно молчало, уткнувшись в окна. В отличие от веселого шофера, им было не до смеха. Черт бы побрал этого Яки! Ну кто мог ожидать подобной выходки от самого никчемного солдата

двенадцатой роты? По сути дела, именно он загнал их всех в безвыходную ловушку: никто здесь не мог позволить себе быть более трусливым, чем Шаашуа! И вот он, результат...

Яки тоже смотрел в окно, но его мало волновали чувства товарищей. Он думал только о том, что скажет ей при встрече. При встрече... – о встрече еще следовало договориться. Наверное, Иланит сейчас тоже едет в автобусе. Или уже приехала – ее база куда ближе. Время от времени Яки доставал телефон и нажимал на кнопку автоматического набора заветного номера. Иланит не отвечала. Она вообще редко отвечала в последние дни. Занята? Плохой прием? Не слышит звонка? В голове его кто-то вредный ухмыльнулся и уверенно произнес голосом Славы: «Она просто фильтрует тебя, братан. С кем-то другим долбится, а тебя фильтрует в коробочку, про запас. Бабы, они такие – запасливые...»

За время двухчасовой дороги Яки звонил, наверное, раз триста. Мобильник виновато подмигивал иконками. Он тоже устал – особенно кнопка с единичкой. Когда он вышел из автобуса и побежал на маршрутку, кто-то сказал ему в спину:

– Надо же, даже не оглянулся, маньяк...

Заскочив домой, Яки быстро принял душ – да-да, душ! – побрился – да-да, побрился! – и побежал к Иланит. Она жила недалеко, в районе коттеджей; в этот полуденный час все родаки-братья-сестры были на службе-работе-учебе, а потому Яки рассчитывал поговорить с любимой без помех. Он вошел во двор и первым делом увидел армейскую обувь Иланит – чистюля, она всегда оставляла грязные ботинки на крыльце – как солдат, наказанных за нечистоплотность. Дома!

Яки тихонько постучался и, не дождавшись ответа, нажал на ручку двери. Здесь запирались только на ночь; он вошел в гостиную и уже направился к лестнице, ведущей наверх, в комнату девушки, когда вдруг услышал доносящиеся оттуда звуки совершенно недвусмысленного характера. Стонала, несомненно, Иланит; несомненной представлялась и причина ее стонов. Ноги у Яки подкосились, он упал в кресло. Нужно было уходить, но бедняга не мог двинуться с места – просто сидел и ждал, сам не зная чего. Наконец скрипнула дверь, зашлепали босые ноги, и на верхнюю лестничную площадку вышел голый парень. Он уже шагнул было в ванную, но вдруг приотормозил и обернулся.

– Привет, – зачем-то сказал Яки.

– Привет, – растерянно ответил парень, прикрываясь сначала рукой, а затем и дверью ванной.

– Эй, Иланит! – крикнул он уже оттуда. – К тебе тут пришли...

Вышла Иланит – в знакомом халатике, облике, запахе – и сбегала вниз по лестнице.

– Яки?! Что ты тут делаешь?

Он достал из кармана мобильник:

– Ты не отвечала. Думал, спишь.

Иланит сердито прикусила губу.

– Сплю, как видишь. И не с тобой. Надо было прямо сказать, да вот – жалела. Думала, сам поймешь.

– Нам надо поговорить, – сказал Яки, судорожно припоминая заготовленную речь. – Мне нужно много тебе...



– Ничего тебе не нужно, – перебила его Иланит. – Хотя нет, нужно. Тебе нужно уйти, прямо сейчас, раз и навсегда. Все кончено, слышишь? У меня есть другой парень. Уже месяц.

– Но я...

– Без всяких «я»... – она решительно подтолкнула его к двери. – Давай-давай... уходи...

Яки послушно вышел на крыльцо, к грязным армейским ботинкам. Наказанный солдат – к наказанным солдатам. Сзади щелкнул замок. Жизнь кончилась. Или не кончилась? Он снова вынул телефон и нажал на единичку. Где-то в доме заиграла мелодия звонка.

– Что?! Ну что тебе еще надо?!

Она кричала так громко и сердито, что Яки слышал ее голос сначала сверху, из дома, а затем, с небольшой задержкой, из трубки. Две собеседницы, дублирующие одна другую для пущей ясности.

– Выслушай меня, пожалуйста. Всего пять минут. Всего...

– Все кончено, сколько раз тебе говорить! – не сговариваясь, прокричали обе Иланит. – Убирайся, слышишь? Ты никогда мне не нравился! Урод! Уходи!..

Она разъединилась – как ударила по уху. Пошатываясь, Яки брел по улице, не видя перед собой ничего, кроме экранчика телефона. Если нажать на кнопку «1», то высветится ее номер, ее имя и ее фотография – вот так... Он шел и нажимал, шел и нажимал, пока не сдохла батарейка. На последнем ее издыхании позвонил Слава.

– Слушай, братан...

– погоди, – прервал его Яки. – Что в таких случаях делают?

– В каких?

– Ну, с Иланит...

– Аа-а... – понимающе протянул Слава. – Все от головы, братан. Выруби голову, чтоб не болело. Водка. Или колеса. Или...

Дополнительных вариантов Яки так и не узнал – из-за батарейки. Потом он что-то пил, что-то нюхал, глотал какие-то таблетки. Сильно за полночь он обнаружил себя в тель-авивском порту – вяло дискутирующим с тремя другими, незнакомыми и очень пьяными перцами. Предметом спора было место за рулем здесь же стоявшей тойоты.

– Вот что, братаны, – сказал наконец Яки. – Поведу я, и вот почему. Я самый большой непрушник на свете. Я – бедоотвод. Если хотите, чтобы вам было хорошо, держитесь меня. И не просто меня, но меня за рулем.

Парни задумались. Потом один из них отвел Яки в сторону.

– Братан, это не так важно, но я все же должен спросить. Машина папашина, сам понимаешь. У тебя права-то есть?

Яки удивился нелепости вопроса.

– Конечно, нет. Я ж говорю – непрушник. Пять раз сдавал – так и не сдал. Короче, я веду или не веду?

– Ведешь!

Полиция остановила их на выезде со стоянки. Сначала все шло довольно мирно. Яки объяснил насчет непрушности и бедоотвода, а в качестве универсального заменителя всех и всяческих прав предложил полицейскому солдатскую книжку. Взяв документ, сержант окинул Яки брезгливым взглядом и сказал с отвращением:

– Пьяный, обдолбанный, без прав... Зачем ты за руль полез, умник? Смотреть противно. Изгваздался где-то с ног до головы. По

канавам, что ли, ползал? Хоть сейчас тебя под душ ставь, прямо так, в одежде...

– Под душ? В одежде? – переспросил Яки и засветил полицейскому в лоб.

Потом он неся по улицам, спасаясь от погони – которой, вообще-то, не было и в помине – потому что полиции незачем гоняться за человеком, чье удостоверение, а значит, имя, адрес и всю подноготную она и без того держит в руках. Потом опять замелькали какие-то колеса, какая-то выпивка, и сон на скамейке автовокзала, и автобус, и снова автобус, и, наконец, дом, и, наконец, постель.

Проснулся Яки после полудня, один: родители еще не вернулись с работы, младшая сестренка – из школы. Раскалывалась голова, вырубленная накануне по чуткой рекомендации друга. Он прошел на кухню к холодильнику, и тут зазвонил телефон.

– Ты где, братан? – завопил в трубку Слава, не тратя времени на приветствия. – Я тебя вчера весь день искал! Зачем ты отключил мобилу?

– Я не отключал. Батарея села, – морщась, объяснил Яки. – Только сейчас на заряд поставил. Дома я. А что? Только не кричи, ладно?

– А то, что все давно уже на базе, – понизил голос друг. – Все четырнадцать. Только тебя нет. Понимаешь, что это значит?

– Погоди... голова болит, дай обнулиться...

Потирая гудящий лоб, Яки сел на стул и вдруг вспомнил – все сразу. Не в деталях, конечно, но заголовками, как на странице оглавления очень толстой и очень страшной книги. Конфликт с командиром, бунт отделения, голый парень в доме у Иланит; сама Иланит, выкрикивающая какие-то обидные слова – обидные настолько, что даже не запомнились; вырубание головы в каких-то барах, клубах, киосках; драка с полицейскими, автовокзал... и все это – за одни только сутки?

– Ничего себе... – простонал он.

– Дошло наконец? – отозвался Слава. – Ты еще всего не знаешь. Слушай.

За неделю до бунта произошла смена командира бригады. Новый комбриг, пришедший из спецназовской генштабной элиты, меньше всего хотел начинать свою каденцию со скандала. Узнав о самовольном уходе целого отделения, он принялся решать проблему так, как привык у себя в спецназе – быстро, решительно, малыми силами и личным примером. Он уселся в хаммер вместе с командиром злосчастной роты и, прихватив с собой два армейских грузовика, отправился по адресам – собирать бунтовщиков.

Явление мессии поразило бы беглых голанчиков меньше, чем полковничьи погоны на пороге. И без того изрядно растерянные, они стали легкой добычей властной командирской воли.

– Прикинь, – возбужденно шептал Слава. – Я в трусах и в тапках, а тут – сам комбриг! Комбриг, не кто-нибудь! Комбриг, бог и царь! Другим людям за всю жизнь с ним словом не перекинуться, и вот – у меня в прихожей! А я в трусах!

Возложив твердую длань на трепещущее плечо беглеца, полковник отрывисто докладывал диспозицию. Отрывать головы своим людям – не в его командирских правилах... ну разве что в отсутствии иного выхода. А потому на первый раз он готов ограничиться условным наказанием. То есть еще раз проштрафиться – полгода в

Шестерке, автоматом. А сейчас – минута на сборы, грузовик внизу. Время пошло.

Большинству голанчиков не понадобилось даже минуты – укладывались и в сорок секунд. С облегчением плюхались на жесткую скамью в кузове, рядом с уже сидящими там товарищами, возбужденно толкали друг друга локтями:

– Привет, братан, и ты здесь?

– Да где же мне еще быть, братан?

– Не, ну прикинь – сам комбриг! Обалдеть можно...

Нескольких человек не оказалось дома – их вызвали по телефону. Мытьем ли, катаньем ли, но в течение трех часов были собраны все, за исключением одного – Яки Шаашуа, главного непушника. Его просто не удалось разыскать – ни по адресу, ни по мобильнику. Что автоматически решало вопрос о козле отпущения. Единичный дезертир, да еще и такой непутевый – это вам не массовый бунт. Случается даже в примерных семьях, не только в «Голани».

– Плохи твои дела, Яки, врать не стану, – заключил Слава. – Теперь непременно всю парашу на тебя повесят. Зачинщик, подстрекатель и вообще дезертир. У тебя адвокат есть знакомый?

– Адвокат?... – переспросил Яки.

Он все тер и тер лоб, словно пытаясь стереть невидимое клеймо. Клеймо непухи, ставшей проклятием.

– Слава, я что-то... голова сейчас лопнет... давай потом, а?

– Какое «потом»?! – закричал Слава. – Ты что, не въехал? Тебе срок светит, арбузная башка! И не месяцы – годы!

– Бай...

Яки разъединился, но телефон немедленно зазвонил снова. «Как с Иланит...» – подумал Яки, нажимая на кнопку отключения. Жаль, что нельзя так же просто отключить голову... Он нашел в аптечке акамель, проглотил две таблетки и лег.

Его разбудил старший брат, демобилизовавшийся пять лет назад, но сохранивший прежние армейские связи.

– Вставай, слизняк! – он грубо сдернул с Яки одеяло. – Весь мир на ушах стоит, а он дрыхнет! Ты хоть в курсе, что происходит?

Яки, слепо моргая, сел на кровати. За окном темнел вечер. Голова почти не болела – и то счастье...

– Что?... Что вам всем от меня нужно?

– Я говорил по телефону с твоим комроты, – сказал брат и наклонился, ловя блуждающий якин взгляд. – Если добровольно вернешься сегодня, получишь только два месяца и год условно. Вставай, поехали.

– Куда?

Брата как подбросило.

– Куда?! – закричал он. – Да что ты за ничтожество такое? Как ты такой уродился, ублюдок? От кого? Может, тебя в роддоме подменили? Ну какой из тебя Шаашуа? Ты никто, ноль, позор семьи! Вставай, сука!

Яки поднялся с кровати и принялся молча одеваться. Брат продолжал ругаться, нервно бегая по комнате.

– Ну, оделся? Пошли! – он схватил Яки за локоть.

Яки выдернул руку и, перехватив автомат, точным движением ударил брата прикладом по голове. Тот отшатнулся.

– Вон! – коротко скомандовал Яки, угрожающе поднимая ствол.

– Ты на кого оружие поднял? – изумленно проговорил брат. – На меня, на старшего? Здесь, в доме родителей?

Он попятился к двери.

– Вон! – повторил Яки.

Затем он проверил карманы и вытряхнул из них все лишнее – документы, солдатские памятки, фотографии Иланит. В гостиной, держась за затылок, расхаживал брат, отец молился в углу, мать плакала на кухне.

– Ты куда? – спросил брат издали.

– Пойдешь за мной – пристрелю, – спокойно пообещал Яки и вышел.

На улице он сел в первый попавшийся автобус, доехал до конечной и пересел на другой маршрут, столь же случайный. А потом... – потом была снова конечная, и ливень, и назвавшийся Призраком противный ашкеназ со своими идиотскими шуточками про душ в одежде. Душ в одежде. Если бы сейчас можно было вернуть все назад, он без колебаний встал бы под этот чертов душ. Если бы... Яки неприязненно покосился на сидевшего рядом парня – нет, тот смотрел в сторону. Даже подраться не удалось напоследок. Непруха, вечная непруха...

Ливень между тем не унимался, оглушительно барабанил по гофрированной кровле, захлестывал внутрь, лез в щели и вообще хулиганил, как мог. Время от времени он слегка ослабевал, словно отворачивался, подыскивая для себя другие, более свежие барабаны, но тут же, не обнаружив ничего подходящего, возвращался с прежней энергией, и тогда несущийся по мостовой поток вновь начинал вскипать крупными куполами пузырей.

В один из таких перерывов подъехал форд-транзит с табачной рекламой на боку. Парень-ашкеназ вскочил и побежал к приоткрывшейся дверце. Изнутри выглядывал пожилой раздраженный водитель.

– А этот тайманец – что, тоже с тобой?

«Это ведь он обо мне...» – с удивлением понял Яки. Призрак промолчал, стряхивая воду с волос.

– Эй ты! – крикнул шофер. – Чего ждешь? Давай в кабину – в фургоне ящики!

«Почему бы и нет? – подумал Яки, поднимаясь со скамейки и выходя под дождь. – Какая разница – где?»

Он влез в кабину.

– Все сиденье залили, – проворчал водитель. – На хрена тебе солдат, Призрак? Да еще и голанчик? Эти только бунтовать и умеют. Вчера по радио слышал – целое отделение слиняло.

– Ты знай рули, Шимшон, – хладнокровно отвечал ашкеназ. – Твое дело лошадиное.

Они проехали блокпост и медленно покатали по пустому шоссе. Шофер злобно бормотал что-то себе под нос, Призрак молча смотрел прямо перед собой. Работал обогреватель, от мокрых брюк поднимался пар, за стеклом метались туда-сюда дворники, как метроном гипнотизера.

Яки проснулся от толчка – форд съезжал на обочину.

– Приехали, выметайтесь!

Они вышли под дождь, и вредный шоферюга с видимым удовольствием газанул, окатив их на прощанье из-под колес грязной смесью гравия и воды.

– Нам туда, – сказал парень, указывая на едва заметную в темноте тропинку. – У меня фонарь, ты не думай.

– Это тебе туда, – поправил его Яки, – а мне в другую сторону. Бай, ашкенажоп!

Он пересек шоссе. Кювет с этой стороны был куда глубже – вода доходила выше колен, но Яки плевать на это хотел. Он и без того вымок до нитки и дрожал крупной дрожью, прямо-таки вибрировал. Если бы не чертов обогреватель в кабине... – после него холод казался и вовсе невыносимым. Чем лучше живешь, тем труднее умирать. Выбираясь из кювета, он несколько раз срывался вниз, скользя по мокрому глинистому склону и в кровь царапая руки. Со стороны он наверняка напоминал нелепого забулдыгу, который по пьяни свалился в канаву и теперь безуспешно пытается вернуться на дорогу. К счастью, вокруг не было никого, кто видел бы его позор, его суетливую, недостойную человека возню. Никого – кроме разве что придорожного фонаря, но и это казалось слишком.

Наконец ему удалось выбраться; задыхаясь от ливня, Яки быстро двинулся прочь от шоссе, в плотную скользкую темь. Он шел, не видя, куда ставит ногу, спотыкаясь, падая на четвереньки и продолжая наугад и на ощупь. Небо над головой вновь расколосось кривым ослепительным деревом, увенчанным черной кроной мощных грозовых туч, и, расколовшись, высветило бледную морщинистую землю, взбесившуюся воду потопа и его – маленькую одинокую фигурку на глине, перемазанную глиной, жрущую, пьющую, мнущую глину, становящуюся ею, ползущую в себя самое. Яки приподнялся на коленях.

– Ну, сделай это сам! – крикнул он в небо. – Сделай! Так будет проще...

Но вокруг уже опять клубилась лишь мокрая склизкая темь без земли и без неба – лишь вода и глина, глина и вода – без конца и без края.

– Что же ты? Я ведь всегда был громоотводом. Это ведь ты сделал меня таким. Почему же теперь ты бьешь мимо? Почему?..

Он нащупал твердую ребристую поверхность каменистой складки – пещеры или просто расщелины – и вжался в нее плечами. Вот она, опора... почему-то ему казалось почти невозможным исполнить намеченное, не опираясь ни на что, а просто скользя и болтаясь в мерзком глиняном водовороте. Дрожа всем телом, Яки снял с плеча винтовку и принялся расшнуровывать ботинок на левой ноге – он где-то слышал, что нужно делать именно так.

Мокрый шнурок не слушался; Яки выругался, и в этот момент кто-то другой, неизвестно откуда взявшийся не то в груди, не то в затылке, вдруг произнес участливо и ясно:

– Куда ты так торопишься? Успеешь.

Яки мотнул головой, прогоняя незваного советчика. Тут же поддался и шнурок – Яки сбросил ботинок, носок и пошевелил пальцами ноги – просто чтобы знать, что они здесь и не подведут.

– Зачем ты это затеял? Не надо... – тихо сказал другой.

– Зачем? – переспросил Яки. – Нужно объяснять?

– Нужно. Тогда сам поймешь, какую глупость ты делаешь.

– А пошел ты!

Другой не отставал, придавливал сердце, прихватывал за локоть, тараторил быстрой скороговоркой.

– Не надо, Яки. Не так все плохо. Можно пережить. Ну, посидишь в Шестерке... – подумает! Сколько народу там отсидело – и ничего, живут себе, улыбаются. А Иланит – черт с ней, найдутся другие, не хуже. Да и братья... – когда у тебя было хорошо с братьями?

– Уйди! – крикнул Яки. – Хватит! Я больше не могу, понял?! Бедоотвод кончился! Сломался! Козел – в пустыне, ты что, не видишь?! Козел – в пустыне!..

Он воткнул рожок и рывком взвел затвор. Торопливо лязгнув, винтовка замерла в ожидании.

– Сейчас... – пробормотал Яки, – сейчас... сейчас...

Держась за кронштейн прицела, он пристроил винтовку прикладом вниз, в глину. Другой почему-то молчал, так что Яки остался один. Совсем-совсем один. Что и требовалось доказать... Он обтер ладонью пламегаситель и подумал, что эта железка всегда была приятной на ощупь – теперь понятно почему. Широко раскрыв рот, Яки сунул туда винтовочный ствол и понял, что ошибался насчет пламегасителя. Снаружи он не казался таким большим – не то что внутри. Проклятая железка грубо ворочалась во рту, больно царапала нёбо, уродовала язык, мерзила отвратительным вкусом ружейной смазки.

Накатил рвотный позыв, но Яки сдержался. Он старательно елозил ногой по прикладу, ища спусковой крючок, и уже нащупал большим пальцем скобу, когда сверху снова ударил гром, причем так сильно и близко, что винтовка выскочила из рук и скользнула по глине вниз, в темноту. Теперь рот наполнился вкусом крови – крови и унижения, как будто Яки только что изнасиловали винтовочным стволом, изнасиловали в рот, гадко и страшно. Он заплакал, дрожа и вжимаясь в каменную щель.

– Ну что, – насмешливо спросил другой, – даже этого не смог, да? Ничтожество, мразь, дерьмо. Даже этого...

– Нет-нет... – пробормотал Яки. – Это случайно... выпало...я сейчас, сейчас...

Отлепившись от скалы, он присел и принялся шарить руками по глине в поисках автомата.

– Сейчас... сейчас...

Рядом громыхал нестерпимый хохот другого, издевательский плеск его аплодирующих ладоней... нет, Яки, это гром – гром и ливень...

– Какой ливень? – заржал другой. – Ты, видно, совсем сдурел, ублюдок? Как ты вообще такой уродился? И главное – зачем?

– Уйди! – отчаянно выкрикнул Яки.

Винтовка все не находилась; глотая слезы, он полз на четвереньках, то и дело падая лицом вниз и судорожно водя по сторонам обеими руками. Но ничего не было в этой взбесившейся, враждебной, грохочущей темноте, в этом первобытном хаосе – ничего: ни винтовки, ни пути, ни надежды, ни даже смерти. В этом вселенском одиночестве меньше всего можно было рассчитывать на чью-то помощь, чью-то руку – дружескую, участливую, заботливо протянутую навстречу. И, наткнувшись на это невероятное чудо, Яки сразу подумал, что перед ним иллюзия, бред, обман помутившегося рас-

судка. Но рука крепко – слишком крепко для иллюзии – вцепилась в его ослабевшее, скользкое от глины запястье и упрямо тянула к себе, вверх из мокрой чавкающей грязи. Затем из тьмы возникло лицо – белое, облепленное длинными волосами, смутно знакомое.

– Вставай, вставай! Ну, помоги же мне...

«А, – понял Яки, – это ведь тот парень-ашкеназ с остановки... как же его зовут? Забыл... – ну и ладно, ну и хорошо – забыть бы все это... забыть... забыть...»

Колени едва держали его, но парень не уступал; перекинув якину руку через плечо, он медленно, но верно продвигал вперед их неуклюжее четвероногое существо.

– Не бойся, все будет хорошо... – бормотал он где-то рядом с якиным ухом. – Никто тебя не тронет. Сейчас выйдем на дорогу. Я знаю куда, ты не думай.

И верно: еще несколько шагов – и перед ними открылся ряд придорожных фонарей и гладкая река на асфальте.

– Отдохнем, – сказал парень. – Вот сюда... ага... садись... молодец. И это... обуйся. Вот твой сапог.

Они присели на двух плоских камнях рядом с бурлящим кюветом. Ливень ослабевал, словно разочаровавшись в собственных попытках затопить мир; где-то в стороне еще слышался гром арьергардных боев, но уже ясно было, что гроза иссякает.

– Там винтовка... – вдруг вспомнил Яки.

Парень отрицательно мотнул головой.

– Забудь. Нет ничего, и не было. Считаю, что ты весь новенький, как будто сегодня родился. Чем плохо?

– Ничем, – подумав, согласился Яки. – Извини, я забыл, как тебя зовут.

– Призрак.

– Ага. А я...

– А ты – Тайманец, – перебил его парень. – Запомни: Тайманец. А старое имя забудь. Нет его теперь. У нас все такие, с новыми именами. И ничего – живем, не тужим.

– У вас – это где?

– Пойдем, покажу.

Через четверть часа они подошли к проволочной ограде. Дождь к тому времени кончился, но тропинка размокла так, что приходилось поминутно счищать с ботинок налипшую глину.

– Вот, смотри, – сказал Призрак, указывая на угадывающуюся в темноте мощную громаду здания. – Тут теперь твой дом. Тебе понравится, я почти уверен.

Тайманец зевнул. Его неудержимо клонило ко сну – все равно где, лишь бы в тепле и в сухости.

– Не знаю, не знаю, – буркнул он. – Если только у вас там не одни ашкеназы...

– Точно понравится, – усмехнулся Призрак.

Дезертирство – это тебе не побег из исправительного интерната. Поэтому Призрак сразу принял меры к тому, чтобы никто в Комплексе не догадался об истинной истории Тайманца. В первую же ночь, пе-

ред тем как подняться на Эй-восемь, он заставил солдата переодеться в гражданское – благо от покойного Ромео осталось достаточно одежды. Гимнастерку, берет, форменные штаны и куртку-дубон закопали в куче щебня на Би-первом этаже. Теперь о прошлом голанчика могли свидетельствовать разве что мокрые армейские ботинки.

Газет в Комплексе не читали; телевизор на бензиновом генераторе был только у Русли – в одной из комнат Би-девятого этажа, да и тот использовался лишь для просмотра видеофильмов про героев кун-фу. Это сводило к нулю шансы на то, что кто-нибудь здесь узнает в Тайманце пропавшего солдата. Впрочем, и эта опасность могла возникнуть лишь в относительно отдаленном будущем – месяца через два, когда полиция, отчаявшись найти Яки Шаашуа втихую, опубликует его фотографию в прессе и на экране.

– Тут тебя никто не найдет, братан, – сказал Тайманцу Призрак на следующее утро, когда, завершив череду всех необходимых знакомств, они вышли на крышу корпуса Эй. – Если, конечно, сам не проколешься. Но внешность все равно надо изменить – бороду отрастить, что ли... У тебя как – борода растет?

– Растет. Даже быстрее, чем надо... – хмыкнул Тайманец, вспомнив змеюку-взводного.

Новое место ему сразу понравилось. Призрак производил впечатление надежного парня, хотя и малость подпорченного ашкеназийской дурью. Зато неразговорчивый Безр-Шева был явно своим в доску, из иракцев. Эфиоп Чоколака казался и вовсе безвредным. Ну, а женщины... что они решают, женщины? Вот и у гидов они занимались лишь тем, чем положено заниматься женщинам, в мужские дела не лезли, сидели тихо, голоса не поднимая. Мамарита, конечно, чокнутая на всю голову. Аккуратная, чистенькая, уютная, совсем непохожая на бомжиху... – что она здесь забыла? Ку-ку, ясное дело. Еще и закидон этот странный – всех парней зовет Менашами, и его, Тайманца, тоже... Ну и ладно, пусть зовет, с него не убудет. Зато Хели – девчонка правильная. Скрамная, спокойная, и руки как надо приставлены. Вот только – не беременная ли? Вроде рановато по возрасту...

– Призрак, а Хели тут с кем?

Призрак взглянул исподлобья, пожал плечами.

– Ни с кем. Сама по себе. Пришла полгода назад. А что?

– Да ничего, – ухмыльнулся Тайманец. – А это она с собой принесла?

Он нарисовал в воздухе брюхо. Призрак недоверчиво покачал головой.

– Неужели так заметно? Я вот только вчера узнал, да и то случайно... – он подошел к Тайманцу вплотную, заглянул в глаза. – Вот что, солдат. У каждого тут свои скелеты под матрасом – тебе ли не знать. Что она там с собой принесла – ее дело, и больше ничье. Понял?

– Да я что... я ничего... просто спросил, – смутился голанчик.

– И болтать об этом не стоит, ладно? Ни с кем, даже с самой Хели, – уже мягче произнес Призрак. – Ты ведь Барбура видел, правда? Он беременных в Комплексе не держит. Узнает – выгонит. А ей, похоже, идти некуда. Как и тебе. И мне. И всем нам.

Тайманец кивнул. Если что-то здесь настораживало, так это именно хозяин Комплекса – вернее, даже не он сам, а его команда. Барбур напоминал бывалого старшину армейской базы – мафиози по долгу



службы. Все у него подмазано, повсюду схвачено – что списал, то и продал. Сильному угодит, слабого прижмет, и главное, себя не забудет. Такие типы кажутся непотопляемыми, но редко уходят со своего места подобру-поздорову: слишком много мелких шестеренок в сложном механизме их хитрожопого бытия. Где-нибудь да хрястнет, что-нибудь да сломается. Но пока колесики крутятся, с Барбуром всегда можно договориться – именно потому, что он понятен.

Понятен и Русли – бульдог бульдогом. Действует по команде «фас!». Нет команды – нет и бульдога. Границы ясны, пределы установлены. А вот Кац и его шестерка – совсем другое дело. От этих за километр несет беспределом. Ашкеназов вообще понять трудно – сплошные заскоки, так что удивляться вроде как и нечему. Но и среди них попадаются такие маньяки, что поневоле головой покрутишь. Откуда это берется? В генетике ущерб, не иначе...

Взять хоть Призрака – хороший парень, но ашкеназ – и этим все сказано. Ну как можно надеяться скрыть беременность? Рано или поздно все узнают, и Барбур тоже. Даже если Хели сейчас спрятать, никому не показывать – что будет, когда ребеночек родится? Дети кричат, известное дело. Жалко девочку. Нужно что-то придумывать, голову в песок не прятать, как какой-нибудь страус-ашкеназ...

В первую неделю, пока не отросла борода, Тайманец сидел на посту рядом с Хели, перенимал секреты профессии. О ребенке помалкивал, помня данное Призраку слово, притворялся, что не видит очевидного. Но Хели сразу поняла – знает. А иначе – откуда взяться этой неуклюжей заботливости? «Хели, на камне сидеть не стоит... Хели, накинь одеяло... Хели, ходи осторожней... Хели, зачем прыгать там, где можно пройти?..»

Сначала она фыркала, отворачивалась, недоуменно поднимала брови, но затем быстро осознала, что незачем сопротивляться хорошему. Боже милосердный, много ли внимания она видела в своей полной заботе жизни? Отчего бы не порадоваться хоть чуть-чуть, хоть немножко? Вообще-то, грех так думать... – разве мало тепла дарит ей Мамарита? Но в том-то и дело, что забота этого незнакомого небритого Тайманца была совершенно иной природы, хотя внешне выражалась в тех же действиях и словах. Так, с Мамаритой Хели могла чувствовать себя дочерью, сестрой, подругой – кем угодно, неважно. Важно, что она в любом случае должна была благодарить Мамариту за оказываемую помощь. Тут же благодарность самым невероятным образом меняла свой полюс и направление! Хели получала ее от Тайманца наряду и одновременно с заботой; получалось, что он благодарит девушку за самую возможность заботиться о ней!

Все это было так ново и так необыкновенно – и главная новость заключалась вовсе не в том, нравится ли ей Тайманец – об этом она совсем не думала. Самая важная и главная новость жила в ней самой и звалась одним словом: ребенок. Ребенок делал ее женщиной, то есть тем загадочным существом, которое, милостиво принимая от других знаки внимания, может говорить не «спасибо», а наоборот – «пожалуйста».

Сидя у низенького бетонного бордюра, они наблюдали за ходом экскурсий, изредка, по мере возникновения проблем, связываясь по телефону с дежурным гидом. Когда-то, со снисходительностью старжила объясняла Тайманцу Хели, здесь было много безбилетни-

ков – неорганизованных сталкеров, пытавшихся пролезть в Комплекс бесплатно. Но их всех отлавливали, запугивали по полной программе и отпускали, содрав штраф в трехкратном размере. В результате нарушителей стало существенно меньше. Теперь на риск контрабандного проникновения шли либо самые отъявленные отморозки, либо, наоборот, полные лохи – первые по самоуверенности, вторые по глупости.

Лохов можно было различить сразу – по идиотским камуфляжным курткам и штанам, специально закупленным по такому случаю в магазинах для любителей поиграть в солдатики. По задумке незадачливых контрабандистов, камуфляж призван был надежно маскировать их присутствие. Но ничто так не бросается в глаза на фоне пыльной пустыни и мусорных куч, как новенькая пятнистая униформа. Обычно Хели замечала лохов еще до того, как они достигали забора. Иногда это препятствие становилось для них непреодолимым, и тогда, смирившись, они понуро отправлялись восвояси. Тех же, кто, изрядно попотев и порвав в нескольких местах свой замечательный камуфляж, оказывался-таки по внутреннюю сторону забора, немедленно перехватывал дежурный гид – Призрак или Беэр-Шева.

Захваченные врасплох, хомячки-нарушители вели себя смирно. Слабые протесты по поводу величины штрафа утихали, когда гид переходил к конкретным угрозам.

– Нет денег? – небрежно переспрашивал он. – О'кей, бывает. Тогда ты, братан, отправляйся за деньгами, а остальные пока посидят с собачками в подвале. Или на этаже у суданцев. Они белое мясо знаешь как любят. Ого!..

Этого обычно хватало для того, чтобы развязать кошельки – кто же не слышал устрашающих легенд о живущих в Комплексе собаках-людоедах и о потерявших человеческий облик черных нелегалах-беженцах?

С отморозками приходилось сложнее. Эти никогда не заявлялись группами: чаще всего – парами, реже – поодиночке. К забору подкрадывались скрытно, умело перекусывали проволоку, заползали во двор. Наиболее подготовленные пробирались в Комплекс ночью, при лунном свете или пользуясь приборами ночного видения. Но даже самые крутые не рисковали идти в темноте дальше цокольных уровней: прятались там, дожидаясь рассвета, чтобы продолжить свое опасное приключение.

Как правило, Хели обнаруживала таких нарушителей утром – если не по следам, оставленным во дворе, то по теням в проемах этажей, по движению в особых, заранее присмотренных местах, которые невозможно было миновать незамеченными. Отморозки всегда оказывали сопротивление, поэтому на их захват отряжались серьезные силы. Дежурный гид, получив от Хели телефонную наводку, вызывал на подмогу Барбура и Русли. Совместными усилиями они загоняли незваных гостей в тупик и не выпускали до полной капитуляции.

Но, даже сдавшись на милость победителей, отморозки не поддавались обычной обработке запугиванием. Рассказы об ужасах Комплекса действовали на этих адреналиновых маньяков примерно так же, как угроза плетки на мазохиста. Поэтому в таких случаях Барбур подключал полицию. Связанных нарушителей отводили к будке охранника – ему же доставалась и слава поимки.

Другой заботой наблюдателя были отставшие от экскурсии хомячки.

– Смотри, – учила Тайманца Хели, – обычно отстают случайно, на переходах между остановками. И не сразу – сначала-то все внимательны, и гид, и лохи. А вот потом, когда переходят в Си, начинается... Чаше всего отстают вон там, видишь? После остановки на Си-восемь...

Тайманец понимающе кивал. Еще бы, Си-восемь – ебаторий, слюни-то во все стороны развешат... как тут не потеряться...

– Этих легко заметить, – слегка покраснев, продолжала Хели. – Начинают суетиться, бегать, звать на помощь. Паника, короче. Тут главное – времени не терять. От паники они и травмируются...

– Ты бы в одеяльце-то завернулась, – сказал Тайманец. – Ветер сегодня. Холодно.

Хели сокрушенно покачала головой.

– Я, вообще, кому это все рассказываю? Призрак велел ввести тебя в курс дела, вот и вводишь.

– Призрак велел! – пренебрежительно фыркнул голанчик. – Нашелся командир. За меня не волнуйся, я уже в курсе. Недельку тут сидим. Уже по пятому разу эту науку прохожу. Одеяло-то накинешь?

Не дожидаясь ответа, он развернул старое байковое одеяло и, встряхнув, накинул на хелины плечи. Хели чихнула.

– Вот видишь? Говорил я тебе – холодно.

– Это от пыли, – сердито возразила она. – Трясешь тут всякими тряпками... В общем, с теми, которые случайно, ясно. Заметил – сразу звонишь. А которые не случайно, те на остановках отстают. За стеночку зайдут, спрячутся...

– Как ты, к примеру... – поддразнил Тайманец.

– Как я, к примеру...

– Хели, а Хели...

– Чего тебе?

– Чоколака говорил, что ты, мол, на лестнице нашлась. Чуть ли не на Би-девять. Ты что, наверх шла?

Нетерпеливо крутанув головой, Хели приставила к глазам бинокль, делая вид, что всматривается в Си-два. Хотя что там может быть, в Си-два, кроме бомжей? Туда и посмотреть-то нечего, на Си-два. Смешной он, этот Тайманец. Большой и глупый. Вопросы еще задает... кого другого она уже давно бы шуганула – не твое, мол, дело... а этот – ладно, пусть спрашивает.

– Хели, а Хели...

– Ну чего тебе?

– Так чего, наверх шла?

– Наверх нельзя, – нравоучительно сказала она, не отрывая глаз от бинокля. – Там О-О. Будет как с Диким Ромео. Туда никто не ходит, и ты тоже не вздумай.

Тайманец пожал плечами.

– Да мне и не надо пока. А надо будет – схожу. Подумаешь, черт. У меня, если хочешь знать, бабка покойная чертей видела. Вот как ты меня, вживую.

– Это не черт, – рассмеялась Хели, – это наоборот. Наоборот, понял?

– Понял, понял...

– Ну и что ты понял?

– Что вы тут друг другу байки травите, вот чего. О-О, шма-о... хрень какая-то, булшит по-американски.

– А если я тебе скажу, что сама видела? – Хели посмотрела на него смеющимися глазами. – Вживую, как твоя бабка – черта. Что тогда?

– Врешь.

– Не вру. Там видела, на лестнице.

– Ну и какой он? – насмешливо сощурился Тайманец. – С бородой и пейзажами?

Она ненадолго задумалась, постукивая пальцами по биноклю.

– Какой? Такой и есть – О-О. Иначе и не скажешь, потому что слов для него нет. Просто видишь его, и все. Знаешь, что видишь, а вида нет. Знаешь, что слышишь, а звука нет. Знаешь, что пробуешь, а...

– ...вкуса нет, – подхватил Тайманец. – Ну? Я ж говорил – хрень.

– Не веришь, не надо, – отмахнулась Хели. – Главное, не лезь туда. Потом сам поймешь.

– Ага, – ухмыльнулся Тайманец. – Знаешь, что понимаешь, а понимания нет... Ты мне лучше вот что объясни, если ты такая понятливая: чего он тут позабыл, в этой коробке недостроенной? Он ведь, типа, в Храме сидеть должен... или, там, на горе... или... я не знаю... Но тут-то зачем?

– Откуда мне знать? – серьезно сказала девушка. – Кто мы такие, чтобы его резоны понимать? Ты лучше с другого конца посмотри, с нашего. Вот приехал ты, допустим, в чужой город. А там, допустим, праздник. Или просто хлеб раздают. Как ты поймешь, где это?

– Что – «где это»?

– Ну, хлеб или праздник... как узнаешь, куда идти?

– По джи-пи-эсу.

– Да ну тебя! По людям. Куда все идут, там и хлеб. Очень просто.

– Ну а при чем тут...

– Да что ты за дурачок, – воскликнула Хели, шлепнув его по плечу. – Ты посмотри, кто тут собрался, в Комплексе. Неужели не ясно? Все тут одинаковы. И Призрак, и Мамарита, и Безр-Шева, и я, и... не знаю, как насчет тебя, но видимо, и ты тоже, если уж тут оказался. И люди Барбура, и нелегалы, и бомжи... – все-все-все! И, может, собаки тоже. Всем тут он нужен. И не просто, а позарез! Понимаешь? Позарез!

Она вдруг вскочила на ноги.

– Другие, может, и проживут пока, другим, может, и не надо... а нам надо! И если мы все сюда сошлись, значит, и он тут! Потому что мы без него подышаем, понимаешь?! – из глаз ее хлынули слезы. – Ну что ты на меня уставился? Ты ведь и сам это знаешь!

Хели закрыла лицо руками. Тайманец подошел, обнял ее вздрагивающие плечи, осторожно прижал к себе.

– Не плачь, Хелинька... все будет хорошо. Мы тебя в обиду не дадим, ты не думай. Это я тебе обещаю. Пусть только сунутся. Хоть О-О, хоть У-У. Да я за тебя кого хочешь на две половинки порву. Одно О – туда, другое – сюда. Бац, бац – и готово!

Она рассмеялась сквозь слезы и высвободилась.

– Гляди-ка, пока мы тут с тобой о душе толкуем... – сказал вдруг Тайманец, всматриваясь из-под ладони. – Вон там, на Би-шесть, второе окно...

Хели схватила за бинокль.

– Точно, хомячиха! Молодец, углядел! – она быстро нажала кнопку мобильного телефона. – Призрак? Есть отставшая. Би-шесть, второе окно к северу. Нет-нет, не потерялась, точно. Прячется.

Вздыхнув, Призрак сунул телефон в карман, выругался и поднялся на ноги. Чертова хомячиха вздумала отстать как раз во время его законного перерыва. Беэр-Шева сейчас уводил экскурсию с уровня Би-семь, от святилища паренька, упавшего в шахту лифта. Призрак находился пятью этажами ниже и только что завершил традиционную процедуру, именуемую на жаргоне Комплекса «лохопредставлением»: круглая, густо наклеенная фанерка на палочке высывалась в шахту и тотчас же убиралась.

Этого, как правило, хватало, чтобы поплохело как минимум половине хомячков, благоговейно взирающих сверху на место гибели своего святого идиота. Затем следовало, дождавшись, пока наверху смолкнут истерические крики и визг, негромко подвить – всего один раз, не больше, чтобы не баловать клиентов. После этого дежурный гид мог спокойно отдыхать не менее сорока минут: следующий и последний акт лохопредставления заключался в том, чтобы, накинув на голову островерхий ку-клукс-клановский капюшон, мгновенным промельком показаться в самом дальнем и самом темном конце зала анхуманов – ровно в тот момент, когда гид начнет гасить свечи. Показать и, громко топая, убежать по коридору Си-ноль в сторону корпуса Эй...

Еще раз выругавшись, Призрак спрятал наклеенную фанерку под матрас и направился к лестнице. Чертова хомячиха! Он поднялся на Эй-шесть и двинулся к коридору Би, нарочито шаркая ногами, чтобы заодно поугадать несчастную дуру. Призрак напряг память: Би-шесть, окно номер два, север... – что там, в этой комнате? Ничего, пара досок и бочка из-под извести – за нею, наверно, и прячется. Сидит такая, обняв коленки... дура! Сейчас бы валялся с книжечкой на матрасе... У дверного проема он остановился и целую минуту топтался, подшаркивая, вздыхая, посвистывая и мстительно представляя себе, как страшно там сейчас хомячихе.

Память не подвела – в комнате, закрывая угол, действительно стояла большая металлическая бочка. Призрак шагнул к ней и, резко рванув на себя, выкатил на середину комнаты. Пусть дура сразу поймет, что никто тут с такими не цацкается... Хомячиха сидела у стены, судорожно обхватив джинсовые коленки. Девчонка лет семнадцати. Белое, как мел, лицо, даже губ не видно – впору в шахту лифта совать, вместо фанерки. Глаза серые, огромные; не поймешь, чего в них больше – ужаса или решимости. Все как обычно...

Призрак присел рядом и немного помолчал – пускай привыкнет, отойдет. Поначалу они все равно говорить не могут, зубами стучат от ужаса.

– Ну, и что ты тут делаешь? Потерялась?

Девчонка молчала, уставившись на стену напротив, где рукой покойного Ромео было выведено сакраментальное «Я люблю тебя, Тали!».

– Нравится? – поинтересовался Призрак. – Редкая тут надпись, правда?

– 3-3-3... – прожужжала хомячиха. – 3-зачем...

«Еще стучит... – подумал Призрак. – Сильно напугалась, бедная. Зря я так. Может, плохо человеку стало, вот и отошла в сторонку... Попить ей надо, вот что. Обычно у них с собой бутылочки. Ну-ка...»

Он по-хозяйски раскрыл молнию на лежащей здесь же хомячихиной сумке. Так и есть – бутылочка с водой. Призрак отвинтил пробку.

– На, попей, успокойся. Никто тебя не тронет. Сейчас вернешься в группу, в целости и сохранности.

Благодарно кивнув, хомячиха сделала несколько судорожных глотков и протянула бутылку Призраку.

– Не, – отказался тот. – Я вашу воду не потребляю. Хомяки, они заразные. Носите сюда хрень всякую. Грипп, спид, сифилис... Ну, оклемалась? Вставай, пошли.

– Зачем? – повторила она, не трогаясь с места. – Зачем он это сделал?

– Кто? – не понял Призрак.

Девушка молча кивнула на надпись.

– А, Ромео?... – Призрак покрутил головой. – Впечатлило, да? Эк вас всех понимает... Романтика, мать ее. Вот у гида и спросишь – зачем. Ты спросишь, он расскажет. Ему за это деньги заплачены, правда ведь? А я тут с тобой бесплатно валандаюсь. Так что вставай, сестричка. Пора нам. Времени жалко. Экскурсия интересная, познавательная. Будет что рассказать внукам.

– Ты ведь местный?

Она уже совсем пришла в себя. Лицо порозовело, серые глаза смотрели твердо, требовательно. Красивая, зараза, и хорошо это знает. Привыкла командовать. Призраку пришлось сделать усилие, чтобы вызвать в себе раздражение.

– Много вопросов задаешь, девушка. Сколько раз повторять...

– Местный, – констатировала хомячиха, игнорируя его напускной гнев. – Отведи меня туда, где он жил.

– Кто?

– Ты что, совсем кретин? Вот он! – она снова кивнула на надпись.

– А ну, кончай тут командовать! – воскликнул Призрак, начиная сердиться по-настоящему. – Не забывай, где ты! Тут запретная зона! В полицию захотела?

Вообще-то, принятый в Комплексе канон запугивания предполагал, что до полиции в ход пускаются другие угрозы – например, изнасилование целым этажом суданских нелегалов. Но Призрак, сам не зная почему, предпочел пропустить этот этап. Слово «изнасилование» плохо подходило к сероглазому лицу со светлой прядью, выбившейся из-под шерстяной шапочки. Вскочив на ноги, Призрак схватил девушку за локоть и заставил подняться. Теперь они стояли нос к носу, сверля друг друга гневными взглядами. Хомячиха и не думала уступить.

– А может, ты в полицию захотел? – парировала она. – Сам не командуй! Нашелся тут! Водой он моей брезгует! Ты когда мылся в последний раз, индеец занюханный? Отвали от меня!

Она вдруг сильно толкнула Призрака в грудь – так, что он отлетел к противоположной стене. Ничего себе... Выпрямляясь, он покосился на восьмой этаж корпуса Эй, хорошо видный отсюда через оконный проем. То-то, наверное, Хели удивляется... – такое представление, от бинокля не оторвешься. А Тайманец так и вовсе помирает со сме-

ху. Какая-то хомячиха, а ведет себя как отмороженная – уму непостижимо! Может, Барбура позвать? Нет, жалко... Призрак шагнул вперед и, перехватив тонкое, замахнувшееся на него запястье, заломил ей руку за спину. Шапочка упала на пол; из-под нее хлынули волосы – длинные, светлые, пушистые.

– Пусти!

– Ты – дура! – выпалил он, выплевывая из рта попавшую туда прядь. – Хомячиха хренова! Ты ничего не сечешь, дура! Ничего!

Волосы пахли замечательно, и это отвлекало.

– Пусти, гад!

– Пущу, если будешь слушаться, – пообещал Призрак. – Согласна? Хомячиха молчала, тяжело дыша.

– Согласна? – повторил он, заламывая руку немного повыше.

– Ох! Согласна, согласна...

– Тогда так, – сказал он. – Я сейчас отпускаю тебя, и мы без выкрутасов идем искать твою группу. Без выкрутасов. Так?

– Так...

Призрак отпустил ее руку и тут же пожалел об этом. Резко повернувшись, девушка оттолкнула его и бросилась наутек. Толчок был так силен, что Призрак едва не вылетел наружу, чудом успев ухватиться за край оконного проема. Из коридора доносился грохот каблуков убегающей хомячихи. Придя в себя, Призрак бросился следом. Куда она мчится, идиотка? На верную смерть? Добежав до корпуса Эй, он остановился, чтобы прислушаться. Лестница! Хомячиха спускалась по лестнице! Только бы не до самого низу!

– Стой! – закричал он в темный лестничный пролет. – Туда нельзя! Там собаки! Погибнешь, дура! Собаки!

Он мчался за нею, прыгая через три ступеньки. Шлейф светлых волос мелькнул в тусклом свете, падающем из коридора цокольного этажа. Она бежала туда, прямо к собакам! Холодея от ужаса, Призрак замедлил шаг. Теперь уже в темноте отчетливо слышалось угрожающее рычание. Каблуки хомячихи все еще стучали впереди, хотя и не так часто – она явно перешла на шаг... остановилась... нужно вывести ее оттуда, скорее... В ногу Призраку ткнулся собачий нос, лохматый бок прошелся по коленке. Они здесь, вокруг.

– Стой на месте, – хрипло проговорил он. – Тут собаки. Не делай резких движений. Я попробую вывести нас наружу. Стой и не двигайся.

Хомячиха не отвечала. Держась рукой за стену, Призрак медленно переставил ногу, затем другую. Снова рычание, снова собачьи бока... – он шел сквозь собак, как сквозь воду. «Объяли меня собаки до души моей...» – он нащупал на поясе фонарь. Включить, не включать?.. Продвинувшись вперед еще с десятков метров, Призрак снова позвал ее – и снова безответно. Мертва? Вряд ли – они не могли убить ее так сразу, без звука... Эта девица явно не из тех, кто сдается без борьбы. Он снял с пояса фонарик и нажал на кнопку.

Луч скользнул по лесу настороженных собачьих ушей – как тогда, в ночь гибели Дикого Ромео. Только тогда собаки стояли перед ним, оставляя дорогу к отступлению. Теперь же они были повсюду – и спереди, и сзади, враждебные, злобные, изготовившиеся к атаке. Неудивительно – он находился на их территории, в глубине собачьего моря. Почему они не нападают?

– Что, страшно, господин индеец? – ее голос звучал совсем близко. – Еще бы. Это тебе не девушкам руки выкручивать... Тут ведь не просто кусают, тут жрут. Правда, Азазель?

Призрак посветил на голос. Девушка сидела на корточках в трех метрах от него и чесала за ухом огромного лохматого пса – того самого, вожака стаи. Вожак помахивал хвостом и выглядел вполне убого-творенным.

– Соседский пес, – объяснила она. – Уехали, гады, в Канаду, а собаку бросили. Так тосковал, бедный... все лежал около подъезда, ждал, когда вернутся. Я ему еду носила. А потом исчез – вон куда, оказывается... Да, Азазелюшка?

Пес скосил на нее глаз и улыбнулся.

– Теперь так, – сказала девица, распрямляясь. – Будешь делать, что я скажу. Без меня тебе отсюда не выйти. Выключи фонарь.

– Зачем?

– Раздражаешь хозяев. А я и так в темноте вижу. Как кош... гм... не при собаках будь сказано.

Призрак выключил фонарь и почти сразу почувствовал ее мягкую ладонь в своей.

– Как ты сам говоришь, без выкрутасов, – предупредила она. – Стоит мне тебя толкнуть, и они сразу поймут, кто тут враг. Будет потом что рассказать внукам.

Она шла по собачьему морю уверенно, как своя. Вот и лестница.

– Можешь отпустить мою руку. Ты уже большой мальчик.

Призрак обессиленно опустился на ступеньку.

– Чего тебе нужно?

– Я же говорю: отведи меня туда, где он жил. Только не спрашивай снова – кто. А то я позову Азазеля.

– Зачем тебе туда? Цветочки положить?

Она низко наклонилась к нему.

– Посмотри на меня, индеец. Посмотри хорошо. Я – Тали. Та самая. Та самая Тали, которой тут так много, на каждой стене.

## 11

Тали поселилась на этаже гидов, рядом с Хели и Мамаритой. Просто вытащила из общей груды пару матрасов, отволокла в женский угол, плюхнулась по-хозяйски, с вызовом глянула серыми глазами на растерявшихся от такой наглости обитателей уровня Эй-восемь – что, мол, не нравится?.. – ничего, перетопчетесь! В ней вообще чувствовалась сила человека, которому не требуется нравиться кому бы то ни было. Человека, который просто приходит и берет. Язык не поворачивался объяснять ей, что здесь необходимо работать, что в Комплексе бесплатно только собаки лают. Тайманец попробовал было выступить на эту тему, но Тали заткнула его на полслове.

– Знакомая тряпка, – усмехнулась она, кивнув на его ветровку, взятую из вещей Дикого Ромео. – Как тебе за покойником носить, не холодно?

Сказала, как дубиной по голове огрела. Тайманец поперхнулся, бормотнул что-то себе под нос, но вслух заводиться не стал – с вредными ашкеназскими телками лучше не связываться. Уцепился за хе-



лин сочувственный взгляд, вздохнул с облегчением: вот кто его тут понимает, вот кому он нужен – зачем с другими заводитьсь?

Сама Хели отнеслась к новой соседке настороженно; осуждающе поджимала губы, но помалкивала, мнения не высказывала. Зато с безмятежной точки зрения Мамариты не изменилось ничего – ну разве что прибавилась еще одна горсть крупы в утренней каше, еще одна тарелка супа в обеденное время. А вот Безр-Шеве в Тали не нравилось все – ее подчеркнутая независимость, ее возмутительное холодное высокомерие, ее причастность к гибели друга. Временами он явно вскипал от раздражения, хотя и боялся вступать в открытую конфронтацию. Да и как не бояться этого насмешливого сероглазого взгляда, пробивающего твою переносицу насквозь, до самых проклятых тайн?

Был в его неприязни и оттенок ревности: Чоколака с появлением Тали напрочь потерял голову. В него словно вселился влюбленный дух покойного Ромео – хотя, к счастью, и не в такой всеобъемлющей степени. Эфиоп не претендовал на многое, просто пожирал Тали своими черно-белыми глазищами – издали или вблизи, когда ей требовалась какая-нибудь помощь. Вообще говоря, она справлялась сама, но ходить по Комплексу в одиночку пока не могла. К большому огорчению Чоколаки, в провожатые Тали обычно выбирала Призрака – наверное, потому, что услуги рядового гида не соответствовали ее королевскому статусу.

– Зачем ты ее водишь? – кипятился Безр-Шева, отведя Призрака в сторону. – С каких это пор каждой хомячихе дают по персональному gidу? Да еще и бесплатно? Или она тебе дает где-нибудь в куче мусора?

– Она не каждая, Безр-Шева, – терпеливо объяснял Призрак, – и ты это прекрасно знаешь. Что ты предлагаешь? Звать Русли, чтобы связал ее и вынес отсюда силой? А по дороге еще, может, и попользовался бы? Как ты думаешь, Дикому Ромео бы это понравилось? Он ведь друг тебе был, а это типа его Джульетта. Имей уважение...

Безр-Шева сдавленно вздыхал. Обычно громогласный, беседы о Тали он вел свистящим полусшепотом, словно боялся, что она услышит.

– Сколько это еще продлится, Призрак? Достала она меня во как! Жили не тужили, и вот на тебе!

– Откуда мне знать? – пожимал плечами Призрак. – От нее зависит. Когда-нибудь да надоест. Ты же видишь, она не из наших, не такая, как все мы. Значит, долго не продержится, натешится и сплывает. А водить ее надо, никуда не деться. Что, легче будет, если она с крыши навернется? Опять полиция, следствие и прочее. С Ромео легко прошло – он лунатик, а лунатики сами падают, бывает. А с этой не получится. Может, она из семьи какой-нибудь важной... – видишь, какая гладкая...

– Как ты, – неприязненно ввернул Безр-Шева. – Гладкая, как ты. Два сапога пара. Ты ведь тоже на нее запал – скажешь, нет? Что вы только в ней нашли, в этой... Ну, ты еще ладно, но Чоколака...

– Дурак ты, Безр-Шева, – краснея, отвечал Призрак. – При чем тут это? И чего ты так взъелся? Чем она тебе так мешает? Она, если хочешь знать, пользу приносит. С собаками, например...

Это была чистая правда. Тали продолжала общаться со своим старым знакомым – вожакom собачьей преисподней. Впрочем, даже

она не рисковала спускаться в подвал – но ей вполне хватало присутствия духа, чтобы пройти три-четыре десятка метров от лестницы в тьму цокольного этажа, полную сдавленного рычания, мерцающих голодных глаз, упругих шерстяных боков, толкающих под колени. Иногда она звала Азазеля от лестницы, и тот подходил, подозрительно щурясь, брал из рук угощение, но выше второго этажа не шел, не веря до конца даже ей, слишком похожей на человека – человека-врага, человека-убийцу, человека-мучителя.

Призраку не доставалось и такой степени доверия; пока что он рад был хотя бы приучить пса к своему ненавязчивому присутствию за спиной Тали. Зачем? На всякий случай. Размеренная регулярность экскурсий, блокнот с расписанием на полгода вперед, однообразие мамаритино меню, усердно копирующая саму себя повседневность – все это создавало впечатление монументальной устойчивости комплексного бытия. Но Призрак понимал, насколько обманчиво это чувство. Жизнь в Комплексе походила на прогулку лунатика по карнизу корпуса Би – в любую минуту она могла сверзиться вниз. Могла оступиться сама, могла получить толчок в спину от чьей-то незаметной руки, могла спрыгнуть в приступе внезапного безумия... – неважно, как именно, важно, что нынешнее относительно безмятежное спокойствие было чревато взрывом, а вовсе не покоем. И уж если рванет – поди знай, куда придется бежать, где прятаться, от кого спасаться... Дружба или хотя бы гарантия ненападения со стороны собак могли стать при этом важным преимуществом.

Пока же Призрак делал все, чтобы удержать на карнизе эту странную компанию, которая заменила ему семью. Он ощущал себя здесь не просто начальником гидов, но единственным взрослым среди детей, и это чувство порождало ответственность – обременительную, но странно приятную. Да-да, ему было приятно заботиться о других, думать о них и за них – возможно, потому, что их реальность, их живая плоть и кровь служили доказательством реальности его самого. Не может же быть призраком тот, кто живет заботой о реальных людях... – вот только реальны ли обитатели Комплекса? Реален ли сам этот бетонный монстр, торчащий, как бельмо на воспаленном глазу пустыни, прибежище существ, чье официальное бытие не зафиксировано никем и ничем: суданских нелегалов, арабских рабочих, собак, бомжей, мелких бандитов, сбежавших из дома подростков...

Скорее всего, нет. Все тут виртуально, все «как будто». Как будто промышленный центр как будто свободной экономической зоны на как будто границе как будто столицы с как будто арабской автономией, как будто подписавшей как будто мирные договоры. Как будто огороженный, как будто охраняемый, как будто необитаемый, при как будто странном полицейском как будто попустительстве... Слишком много их, этих «как будто», для простой и нехитрой реальности.

«Ну и пусть, – отмахивался от этих мыслей Призрак. – Не мне такие вопросы решать. Что волнует, то и реально. Остановимся на этом».

Реальным был Дикий Ромео, его мертвое, вывернутое под невозможными углами тело в мусорной куче возле рампы корпуса Би. Реальными были мрачный, чуть что срывающийся на крик Безр-Шева и его наивный друг с черно-белыми глазищами-шоколаками. Реальной была безумная Мамарита с ее нереальными Менашами и девочка

Хели – такая благочестивая снаружи и такая беременная внутри. А теперь еще и Тайманец, едва не убивший себя в темном ночном потопе, и эта неуправляемая сероглазая Тали, невесть как и почему сошедшая с бесчисленных граффити, оставленных на стенах Комплекса рукой погибшего Ромео.

Призрак послушно брел за нею по этажам, предостерегая от опасностей, указывая на ловушки, демонстрируя доступные – временами единственные – способы преодоления препятствий. Они обходили все здание, комната за комнатой; войдя в помещение, Тали, напряженно понурившись и вжав голову в плечи, шла в середину и, остановившись там, принималась осматриваться, скользя взглядом по стенам. Казалось, она твердо вознамерилась найти в Комплексе такое замкнутое пространство, где не было бы ее имени, куда не дотянулся бы своим баллончиком, углем или кистью Дикий Ромео. Но тщетно – отчаянный вопль мертвого влюбленного звучал с каждой стены, с потолков и перегородок, с оконных простенков и опорных столбов.

Вздохнув, Тали расслабленно опускалась на пол и отдыхала, щурясь на горы, шоссе и пустыню. Призрак присаживался рядом, сосредоточенно перекидывал камешек из ладони в ладонь, ждал, что будет дальше. Чаще всего Тали, так и не нарушив молчания, поднималась и делала знак продолжать движение в следующую комнату. С наступлением темноты возвращались на Эй-восемь; Тали плюхалась на свой матрас, доставала из кармана ай-фон и углублялась в него – читала почту, листала интернетовские страницы. Их прогулки не остались незамеченными – уже через два дня Донпедро подмигнул, пряча в карман очередную сотенную бумажку:

– Скоро будет двести, а, командир?

– О чем ты? – не понял Призрак.

– Да все о том же, – ухмыльнулся бомж. – Где это ты такую красоту подцепил? Босс про нее знает?

Призрак вспылил было, но вовремя сдержался.

– Скоро узнает. А не узнает – еще и лучше. Зачем нам лишний шум, правда, Донпедро? – он заглянул в бегающие глазки старика. – Я ведь тебе почему эту сотню приношу? Потому, что тихо. А шум начнется – и сотенные кончатся. Люби тишину, источник денег!

На третий день Тали добралась до внутренней лестницы корпуса Би, ведущей в апартаменты Барбура и выше, на запретные уровни. Она уже поставила ногу на первую ступеньку, но Призрак придержал ее за локоть.

– Туда нельзя.

– Почему?

– Не притворяйся, что не знаешь. Вам объясняли это еще на экскурсии. Ты слышала разговоры об этом у нас в комнате. Если хочешь идти, иди одна. Но не думаю, что тебе удастся уйти далеко.

– Это почему же? – насмешливо прищурилась Тали. – Съест ваше мифическое О-О?

Призрак пожал плечами.

– Может, и съест. Но скорее всего, навернешься на какой-нибудь острой арматурине. Распорешь себе живот. Выбьешь глаз. Упадешь на три этажа вниз в какую-нибудь шахту. И будешь подыхать там одна-одинешенька, потому что нет таких дураков, которые пойдут на верную смерть только для того, чтобы вытащить труп какой-то само-

уверенной хомячихи. Да и зачем нам этот труп? Полиции показывать? Нет уж, сама сгниешь... повоняешь немного - и сгниешь. С тех этажей сюда ничего не проходит, даже вонь. Как и отсюда – туда. Вот и я не пойду.

Он отошел к противоположной стене, пододвинул к оконному проему дощатый ящик и уселся поудобнее. Тали растерянно смотрела на него с лестничной площадки.

– И что же, ты меня так одну и отпустишь?

– Валяй! – махнул рукой Призрак. – Дуракам закон не писан.

– Я позову Чоколаку, – сказала она обиженно. – Он не такой трус.

Призрак усмехнулся и промолчал. Постояв еще немного, Тали пошла к нему, огляделась – других ящиков поблизости не было.

– Подвинься, джентльмен!

– Я же индеец, а не джентльмен, – ухмыльнулся Призрак, но подвинулся.

Тали бухнулась рядом, и Призрак почувствовал неловкость от касания ее затянутого в джинсы бедра. «Отодвинуться? – мелькнуло у него в голове. – Но тогда она поймет... Что поймет? Неважно – поймет. Но если не отодвинуться, то поймет тем более...»

– Что, нравится? – насмешливо произнесла она, безошибочно угадав его смятение и тут же пользуясь случаем взять реванш за недавнее поражение. – А хочешь, я у тебя на коленях посижу? Но не здесь, а там, наверху, на Би-двенадцать. Как, стоит того?

Покраснев, Призрак отодвинулся. Теперь он едва держался на краешке ящика, но встать совсем было бы полным позором. Он вдруг начал злиться.

– Зачем тебе туда? Зачем тебе все это?

– Зачем? – Тали указала на огромную трехцветную надпись прямо перед ними. – А это зачем? Зачем это «Я люблю тебя, Тали»? Что это, по-твоему? Ну не нравился он мне, что я могу поделаться? Никогда не нравился! Зачем же тогда устраивать этот театр? Это, если хочешь знать, насилие. Да-да, что ты на меня уставился? Когда девушка не хочет и говорит это яснее ясного, а парень ни фига не слушает и продолжает свое, то это – насилие. Он меня реально затрахал этими «Тали, Тали, Тали...». И вот смотри, что теперь: он, насильник, в героях ходит, а я, жертва, типа злой ведьмы получаюсь. Так ведь, так?

– Ну?

– Что – ну?

– Ну и зачем тебе наверх?

– Тьфу ты! – Тали с досадой хлопнула себя по коленке. – Я ж тебе объясняю! Да сядь ты нормально, что ты... двигайся сюда, вот так.

Бедро снова уперлось в него живым упругим напором; теперь Призрак отнесся к этому чувству как к старому знакомому – хорошему знакомому... даже слишком хорошему...

– Понял?

– Что? – переспросил он, поняв, что вот уже несколько минут не слышит ничего из сказанного ею. Да нет, зачем преувеличивать – минуту, не больше. Или даже секунд пятнадцать. Наверное, со стороны он сейчас смотрится дурак дураком. Ну и пусть! Пусть думает о нем всё, что хочет. Только пусть не уходит, пусть подольше побудет здесь, рядом – этим бедром, и волосами, и насмешкой серых прищуренных глаз.

– Так, повторяю еще раз, для тупых индейских джентльменов! – сердито выпалила она. – Мне нужно знать, почему он умер. Потому что если этот идиот прыгнул сам, то это уже... это уже... это уже такое насилие, рядом с которым все эти «Тали, Тали, Тали» – просто детские шалости в садике за занавеской.

– Он не сам, – сказал Призрак. – Я тебе точно говорю. Я снизу видел. Он не хотел падать. И уж тем более – прыгать.

Тали молча смотрела в пол – похоже, теперь настала ее очередь пропускать мимо ушей слова собеседника.

– Ты слышала?

– Да, – кивнула она, – ты уже говорил это. Дважды.

– Тогда в чем дело?

– Не знаю... – Тали исподлобья взглянула на него. – Чоколака тоже видел и говорит, что его кто-то толкнул. Чоколака говорит, О-О... но это, конечно, чушь.

– Конечно! – подтвердил Призрак с фальшивым воодушевлением. – Конечно, чушь! Он просто оступился. С лунатиками это случается. Никто его не толкал. Ни О-О, ни...

– ...ни я? – закончила за него Тали. – Ни О-О, ни я. Меня ведь там тоже не было, правда? Призрак, ты умный, я знаю. Скажи, пожалуйста: меня ведь там точно не было, да? Меня не могло быть! Я была дома! Дома! Клянусь тебе, я была дома!

Глаза ее вдруг наполнились слезами; Тали схватила Призрака за руки и встряхнула.

– Ты с ума сошла... – только и смог в полнейшем изумлении выговорить он. – С какого боку ты могла тут быть? Скорее я поверю в О-О, чем в это.

– Вот и ладно, – поспешно забормотала она, вытирая ладонями мокрые щеки, – вот и хорошо... не было - и не было... так и объясни этому проклятому Безр-Шеве. Так и объясни. Чтоб не думал. Сам человека с крыши толкнул, а теперь на других валит. Гад. Сволочь.

– Кто толкнул? – не понял Призрак. – Безр-Шева не мог его толкнуть. Он в это время в комнате был, с Хели и Мамаритой.

– Да не его, другого толкнул, – тихо проговорила Тали и глубоко вздохнула, снова возвращаясь в обычное свое состояние. – Еще до Комплекса, в Безр-Шеве. Почему, ты думаешь, они здесь оказались – он и Чоколака? Вот из-за этого из-за самого...

Призрак ошарашенно потряс головой.

– Знаешь, с тобой не соскучишься. С чего ты взяла такую глупость?

– Совсе не глупость. Смотри... – Тали вынула свой ай-фон и принялась быстро листать экраны. – Вот, видишь, статья... и еще одна, и еще. Снимков нет, но много ли в стране таких беглых парочек? Два подростка, один из них эфиоп, из Безр-Шевы – все сходится. И возраст тоже, все. Я их с первого тыка науглила. Хочешь знать, как их зовут?

– Нет. Неинтересно.

– Ну, как хочешь... – она сунула ладонник в карман, – как хочешь, Цахи Голан.

– Меня ты тоже науглила? – усмехнулся Призрак.

– Легко, – кивнула Тали. – Уж больно у тебя маменька знаменитая... Она высоко задрала брови и произнесла голосом Ариэлы Голан:

– Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях профессор кислых щей Йа Глуп из университета Бей-Побейцам. Мы поговорим о развращающем действии огурцов на общественную атмосферу нашей небольшой кастрюли...

Призрак прыснул, не удержался. Сходство с матерью было поразительным – тот же тембр, тот же апломб, те же высокомерные интонации.

– Что, похоже? – улыбнулась Тали. – То-то же. У меня на это талант, как у попугая. Соскучишься по маме, приходи ко мне, сделаю.

– Вряд ли соскучусь.

Она пожала плечами.

– Твое дело. Короче, все вы тут у меня как на ладони. Кроме Хели, конечно, – такие случаи, как у нее, в интернет не попадают. Хотя и с ней все понятно.

– И что тебе понятно?

– Логика, Цахи.

– Призрак.

– Все равно логика. Она из ортодоксов, такие до свадьбы на парней глаза не поднимают, не то что... Короче, если она сейчас с брюхом ходит, значит, изнасиловали. Если при этом из дома сбежала, значит, дома и изнасиловали. Дядя какой-нибудь или брат, а то и папашка собственный. В семье не без урода.

– Ты прямо Шерлок Холмс, – насмешливо сказал Призрак. – Шерлок Тали Холмс... А Мамариту тоже изнасиловали?

Тали удивленно подняла брови.

– Ты что, действительно про нее ничего не знаешь? Она ведь и в газетах была, и по телеку... Лет пять назад. Постарела ужасно, но узнать можно. Я так сразу поняла, кто это. Ну? Паренек... любовь по интернету... девушка из Рамаллы... Неужели не вспомнил?

– Я газет не читаю... – начал было Призрак и осекся – теперь он и в самом деле вспомнил.

Действительно, лет пять назад, еще находясь в интернате, он не читал газет и не смотрел телевизор. Ну разве что боевики по видео – примерно как тупой бультерьер Русли. Но история, о которой говорила сейчас Тали, была слишком нашумевшей, чтобы пройти мимо чьих-либо ушей – даже интернатских, узконаправленных на вполне определенные шорохи и шумы замкнутой внутренней жизни. Впрочем, говорили тогда в основном о самом пареньке, а не о его родителях – наверное, поэтому Призраку, в отличие от помешанной на интернете Тали, никогда не попадалась фотография Мамариты. Но паренька – да, обсуждали... вот, мол, дурак какой...

– Как же его звали? – вырвалось у Призрака.

– Менахем, – подсказала Тали. – Менаше, Менаш. Как и всех вас теперь. Я имею в виду – для нее. Для нее теперь любой подросток – Менаш...

Менаш познакомился с ней в интернете, на одном из форумов, которых развелось в то время видимо-невидимо. Гигантская воронка Фейсбука тогда еще не всосала всех и вся в бесформенный омут всеобщей взаимосвязанности. В небольших компаниях знакомства всегда носят более интимный характер; вечеринка на двадцать человек – это вам не совместное топтание на сотысячных площадях.

Хорошо начитанная, умная, веселая девчонка, ровесница Менаша. Им нравились те же фильмы, те же книжки, те же сериалы. Во время частых форумных передраг они неизменно принимали сторону друг друга. Сражаться плечом к плечу с Амазонкой – так она себя называла – было легко и приятно: ее остро заточенные слова разили неуклюжих оппонентов точно и безжалостно, как оперенные стрелы легендарных степных лучниц.

Когда на форуме заговорили о «развиртуализации», как тогда именовали групповой перевод знакомства из виртуального облака интернетовских киберпространств на реальную лужайку лесного пикника, Амазонка идею не поддержала. Менаш, в отличие от нее, на пикник пришел и потом долго об этом жалел. Форумные завсегдатаи оказались другими, совершенно отличными от своего письменного образа.

Больше всех походил сам на себя Администратор, резонер и зануда, в живом своем обличье напоминающий большого сидящего бобра. Он же, кстати, выступал и в качестве инициатора развиртуализации. В стране близились очередные выборы, и Администратор с подозрительным упорством сводил разговор именно на них. Это заметил не только Менаш: во всяком случае, пожилая очкастая тетенька, оказавшаяся рядом с ним за столом, несколько раз прошипела что-то язвительное по поводу партийного финансирования.

– Простите, а вы кто? – вежливо осведомился Менаш.

– Я – Удав! – отвечала она к полнейшему изумлению парня, который всегда считал участника по кличке «Удав» мальчишкой лет семнадцати, своим ровесником.

С возрастом вообще не повезло: почти все форумчане были старше тридцати, так что Менаш смотрелся там белой вороной. Неожиданности следовали одна за другой. Разухабистый словоохотливый шутник Скотт Гвинейский оказался на поверку очень худым желчным человеком, который в продолжение всего пикника молча курил, зажигая сигарету от сигареты. А мрачный и косноязычный в письме Рыцарь Тьмы, напротив, непрестанно сыпал анекдотами и вообще не умолкал ни на минуту.

Домой Менаш вернулся с большой головой. За ужином родители помалкивали, не приставали с расспросами. Именно поэтому он рассказал им все – как делал это всегда. И, как всегда, не пожалел об этом: у него были лучшие родители в мире – понимающие, деликатные, тонкие. Сколько Менаш помнил себя, они жили даже не семьей, а каким-то единым неделимым существом – повсюду вместе, рядом, почти не расставаясь. Первые детские рисунки, сделанные скорее маминой рукой, но при его деятельном участии, изображали их не по отдельности – «это папа, это мама, это Менаш» – а целокупно, странным трехголовым драконом. Они и чувствовали друг друга как части одного тела – так в полной темноте одна рука безошибочно находит другую.

– Не расстраивайся, – сказал отец. – Чаще всего люди оказываются иными в своей письменной ипостаси – такими, какими хотели бы быть. Ты называешь этот образ виртуальным, но он-то как раз ближе к сути человека. Потому что реальность – результат стечения обстоятельств, случайностей, принуждения, насилия. Этот твой Скотт Гвинейский – что за странное имя? – мечтал быть – и вполне мог бы

стать – душой компании, но жизнь скрутила его так, что он и слова вымолвить не может. Который из этих двух непохожих людей – правильный, настоящий?

– А Амазонки, значит, не было? – спросила мать. – Интересно, какая она?

– Стоит ли выяснять? – хмыкнул Менаш. – Еще окажется бородачом-педофилом лет пятидесяти...

– А вдруг нет? Попробуй, свяжись с нею. Судя по твоим рассказам, интересная девочка...

Менаш улыбнулся: родителей и радовала, и беспокоила его чрезмерная замкнутость на семью. Но совет матери был недурен – он и сам подумывал о том, чтобы послать Амазонке приватное сообщение с юмористическим описанием «развиртуализации». Девушка ответила почти сразу: да-да, она предвидела нечто подобное, потому и не пришла. «Ты, наверно, думаешь, что я тоже какой-нибудь Удав? – писала она дальше. – Если так, то это очень обидно. Вот моя фотка, убедись». С приложенной фотографии смотрела улыбчивая темно-волосая девчонка – как раз такая, какую рисовал в своем воображении Менаш. Он тут же позвал мать – показать и порадоваться вместе.

Она ласково потрепала сына по голове:

– Вот видишь? Можно назначать свидание.

– Ты что, мама!

– А что? Девушки так просто свои снимки не посылают... – мать многозначительно подмигнула. – Это ваш шанс, господин сердцеед!

Они встретились на Кошачьей площади. Амазонку звали Ясмин, и живьем она казалась немного старше, чем на фотографии. Старше и красивее. Впрочем, по ее словам, ей всегда давали больше, а в действительности она моложе Менаша на целых два месяца. Пошли в кафе. Говорил в основном Менаш, а Ясмин улыбалась и кивала, загадочно поглядывая на него. Потом, посмотрев на часы, вскочила – «пора бежать, извини!» – и исчезла, оставив после себя влажный след поцелуя на щеке, восхитительный запах духов в ноздрях и ноющую радость в сердце.

События развивались стремительно, так стремительно, что он не успевал переварить их сам – не то что рассказать родителям. На следующей неделе они уже целовались на парковой скамейке. Менаш чувствовал, что теперь нужно переходить к чему-то более серьезному, но не очень представлял себе как. К счастью, Ясмин обладала знаниями вполне достаточными для обоих. Он потерял невинность рядом с той же укромной скамейкой иерусалимского парка. Проникновение в женщину было похоже на выход в другое измерение. Ошеломленный этим необыкновенным опытом, Менаш просто взирал невидящими глазами на верхушки сосен и теперь уже не представлял вообще ничего. И снова Ясмин пришла ему на помощь.

– Теперь ты мой, правда? – сказала она, мерно вбирая в себя, отпуская и снова вбирая все его вибрирующее, стонущее незнакомыми судорогами существо. – Правда ведь? Сегодня же я познакомлю тебя со своими. Правда?

Менаш молча кивал соснам, раскачивающимся в такт движениям ее жадного и желанного живота: правда, конечно, правда. Теперь правдой казалось все, что она говорила, все, что произносил этот низкий хрипловатый голос со следами странного акцента, благопри-



обретенного, как она сказала, от взрастившей ее триполитанской бабушки.

Когда они поднялись с теплой хвойной земли, был уже вечер, и Менаш впервые вспомнил, что не вредно было бы позвонить маме.

– Подожди, не включай телефон, – остановила его Ясмин. – Мы ведь договорились: сегодня ты мой. Неужели ты не можешь подарить мне такой малости? После всего?

Он устыдился своей бестактности. В автобусе она отчужденно смотрела в окно, а он виновато держал ее за руку, истолковывая внезапную холодность как следствие допущенной им ошибки. Вышли у Французской горки.

– Сюда, – показала Ясмин.

Менаш не понял, куда именно, но послушно двинулся за ней вдоль ряда машин, приткнувшихся у края дороги. Ясмин, не оглядываясь, шла впереди. Вдруг она наклонилась и распахнула перед ним дверцу машины – от неожиданности Менаш почти наткнулся на нее.

– Садись!

Он снова подчинился, влез на заднее сиденье, где почему-то уже сидел кто-то, и обернулся, чтобы протянуть ей руку, помочь. Но вместо Ясмин в машину уже лез бородатый парень – плечистый, жилистый, воняющий потом.

– Что? Почему? – только и смог выговорить Менаш.

– Сиди тихо! – скомандовала Ясмин, усаживаясь на переднее сиденье рядом с водителем.

Машина плавно отъехала от тротуара.

– Ясмин... Ясмин... – тихо позвал он, уже начиная понимать, что происходит что-то очень, очень плохое.

Она резко выговорила что-то по-арабски, и сразу начался ужас, душный мучительный ужас, какого он не знал никогда в своей короткой, наполненной радостью жизни единственного сына, любимого мальчика, родительской отрады. Парализованный страхом, он почти не сопротивлялся. Он не ощущал свое тело своим – с его телом просто не могло происходить подобного кошмара. В мире не существовало причины, по которой его могли так хватать, сдавливать, бить, сжимать вонючими руками лицо, совать тряпку в силой разжатый рот. Потом на голове оказался мешок, он почувствовал, что задыхается, и какое-то время мог думать только об этом – о воздухе и о мертвой темноте, наползающей на тускнеющее сознание. Его затолкали на пол машины, под ноги, он не мог пошевелиться, он мог только попытаться дышать, и он пытался, не зная, что душит его больше – кляп или ужас.

Машину трясло на ухабах, она останавливалась и снова продолжала движение. Это длилось долго, и ужас, устав, отступил, так что Менаш мог подумать о чем-то другом, кроме дыхания. Он сразу подумал о родителях, о том, как они расстроятся, узнав, какие муки он перенес, и решил, что не станет рассказывать им подробности – просто скажет, что его связали, и все. От этой мысли почему-то стало легче, и он вспомнил отцовские слова о виртуальных и реальных людях, о том, что они разные, другие. Вот и реальная Ясмин оказалась другой, совсем другой...

Наконец машина остановилась. Вокруг звучала непонятная арабская речь. Грубые руки выдернули Менаша наружу – только

для того, чтобы запихнуть снова – на этот раз в багажник. Он услышал, как хлопнулась крышка; постояв, автомобиль двинулся снова. В багажнике было просторнее, лучше, чем на полу под ногами. Менаш по-прежнему не мог двинуть обмотанными липкой лентой руками и ногами, зато голова... Он сосредоточился на том, чтобы освободить голову от мешка – потихоньку, полегоньку, сантиметр за сантиметром. Мешок понемногу сдвигался, и это радовало Менаша; он почти успокоился, а высвободив голову совсем, ощутил настоящую радость победы. Машина продолжала свое движение, то и дело останавливаясь – надолго или на короткое время – и снова трогаясь с места. Менаш не заметил, как уснул.

Его разбудил толчок; он не сразу понял, где находится и что происходит. Те же руки, которые запихнули Менаша в багажник, теперь вытащили его наружу. Машина стояла на залитом лунным светом пустыре; вдаль виднелись остовы недостроенных домов. После крошечной тьмы багажника было светло как днем. Менаш лежал так, как его швырнули на землю – ничком, вывернув голову вправо... – где же Ясмин?... – он с усилием развернулся в другую сторону, ища ее глазами.

Она и в самом деле стояла там, сцепив на груди руки и глядя на него. Менаш замычал, и Ясмин перевела глаза выше – к кому-то другому, стоявшему сзади и потому не видному. Тот что-то произнес с вопросительной интонацией – Ясмин отрицательно покачала головой. Менаш почувствовал, что в спину ему уперлось колено, жесткая рука ухватила за лоб, задирая голову вверх.

«Зачем они мучают меня? – подумал он. – Я ведь не сопротивляюсь...»

Что-то острое царапнуло по горлу, обожгло, рука отпустила лоб, и рот сразу наполнился кровью. Менаш ударился виском о землю и удивился, что не чувствует боли. Луна вдруг стала темнеть, и он лишь перед самой смертью успел понять, что умирает. Последним его, затухающим вместе с луной чувством была вялая жалость к маме – что будет с нею, когда она узнает...

Тело нашли в то же утро. Кто-то в районе Французской горки обратил внимание на подозрительную возню в проезжавшей мимо мицубиши-лансер, запомнил номер и позвонил в полицию. Там среагировали быстро, но и до Рамаллы было очень недалеко – так что к моменту перекрытия блокпостов машина уже находилась в пределах автономии. Сначала полагали, что похищен солдат, и армия тут же задействовала обычную в таких случаях рутину. Одновременно с мобилизацией спецподразделений потребовали немедленного сотрудничества от арабских властей, и те занервничали, зная, каким болезненным может стать дальнейшее развитие событий.

Испугались и прочие террористические группы, легальные и не совсем – предшествующий период был довольно мирным, и никто из них не чувствовал себя готовым к неприятной встрече с израильским спецназом. Так или иначе, всем действующим лицам хотелось поскорее и с наименьшими потерями разругать внезапно возникшее недоразумение. Поэтому Ясмин и трое ее сообщников с самого начала не имели ни единого шанса довести Менаша до заранее приготовленной квартиры в центре Рамаллы. Едва въехав в город, они заметили необычную суетливость местных полицейских. По-

сланный на разведку вернулся с неутешительными новостями: их уже ищут, повсюду блокпосты, центр перекрыт наглухо, и главное – все почему-то уверены, что похищен солдат.

Солдат! Ирония судьбы заключалась в том, что первоначальный план заключался именно в похищении солдата. Все четверо учились в Иерусалимском университете, все четверо поклялись умереть во имя освобождения родной земли от израильского ига; двадцатилетняя Ясмин из восточных кварталов города была душой компании. В Рамалле, куда они отправились, чтобы вступить в ряды бойцов за свободу, их приняли прохладно. Рамалльские арабы не слишком доверяют иерусалимским; те и другие не любят соплеменников из Шхема, Дженина или Хеврона, и все вместе дружно ненавидят уроженцев Газы.

Доверие требовалось заслужить – и в этом плане ничего не могло быть лучше, чем еврейский заложник. Захватить, увезти, спрятать понадежней да и выложить этот козырь на стол перед недоверчивыми братьями по оружию! Вот, мол, берите, дарим! Пленный солдат – самая ценная валюта по понятиям здешнего политического рынка. С таким роскошным вступительным взносом их уже точно приняли бы куда угодно.

Но подловить солдата оказалось не так-то легко – не помогали даже самоотверженные усилия красавицы Ясмин. Парни в форме охотно заговаривали с нею за стойкой бара и в дискотеках; еще охотнее они шли на короткий перепихон в туалетной кабинке. Но даже такие жертвы не могли побудить их к чему-то большему – например, прогуляться в безлюдном месте или даже просто сесть в машину Ясмин. Мешал проклятый акцент, немедленно выдававший в ней арабку.

Зато интернетовский знакомец Менаш казался легкой добычей – наивный мальчишка верил всему, каждому ее слову. После недолгих сомнений было решено захватить именно его. Они сняли квартиру в закоулках старого квартала Рамаллы – отдельный вход, подвальный этаж, без окон – самое то – и завезли туда все необходимое. Само похищение прошло как по маслу – они были всего в четверти часа езды от убежища, когда началась чертова катавасия с блокпостами! Им не хватило каких-то жалких пятнадцати минут!

Похитители поменяли номера на машине и еще какое-то время кружили по городу, пытаясь объехать блокпосты. Но количество полицейских только увеличивалось. Перекрыты были все выезды из Рамаллы; мышеловка захлопнулась. К двум часам ночи, устав от бесплодных попыток пробиться куда бы то ни было, они решили избавиться от ставшего обузой заложника. Отпустить? Но он хорошо знал Ясмин, а также видел в лицо и мог с легкостью опознать всех остальных. Оставалось одно.

Бросив тело на пустыре, они поехали ночевать в свое убежище; по дороге машину трижды перетрясли полицейские. Утром радио Рамаллы сообщило, что труп подростка обнаружен и передан израильтянам. Четверо выждали еще несколько дней и вернулись в Иерусалим. Всех их арестовали почти сразу – слишком много было следов, слишком много зацепок у следствия...

– Ну что, вспомнил? – сказала Тали, насмешливо щуря серые глаза. – Ну и слава Богу... или кого тут принято славить – О-О? А то

я уж думала – совсем вы тут от жизни оторвались, как индейцы на диком острове.

– Туземцы, – поправил ее Призрак, поднимаясь с ящика. – На диком острове – туземцы. Индейцы – в Америке. Пойдем, Тали, скоро ужин. Мамарита беспокоится, когда кто-то из Менашей опаздывает.

– Еще бы... – хмыкнула Тали.

## 12

Призрак почуял недоброе ближе к ночи, когда на Эй-восемь заявился Донпедро. Это визит сам по себе выглядел необычным – неписанные правила Комплекса запрещали бомжам выходить за пределы зоны, ограниченной тремя нижними уровнями корпуса Си. Нарушение закона каралось изгнанием, и потому причина, по которой Донпедро отважился на столь длинное и опасное путешествие, не могла быть пустяковой.

– Что? – недовольно спросил Призрак, выйдя к бомжу в коридор. – Что случилось? Война? Мир перевернулся? Колумб открыл Америку – теперь для бомжей? Смотри, поймают тебя Барбур – проблем не оберешься.

Донпедро смущенно шмыгнул носом.

– Извини, командир. Так вышло... – он снова замялся, не решаясь приступить к делу.

– Да говори же, чего надо, – поторопил его Призрак. – Мы рано спать ложимся. Ну? Зачем пришел? Деньги за сегодня ты уже получил...

– Вот-вот, я об этом и хочу... – проговорил бомж, неловко переминаясь с ноги на ногу. – Взаимовыгодно, так сказать. Нельзя ли вперед получить?

Предупреждая возражения Призрака, он успокоительным жестом вытянул вперед обе ладони и поспешно затараторил домашнюю заготовку:

– Не бойсь волноваться, командир, я понимаю: где вперед, там и процент. Так я согласен, все путем. Чтоб обоим в кайф, без облома. Ты мне за неделю сколько даешь – семь сотен? Ну вот. А если вперед – пусть будет триста пятьдесят! Триста пятьдесят, тебе двойная экономия! А если согласишься авансом за две недели, так и вовсе пятьсот. Это же сколько тебе бабок сэкономит, подумай! Пятьсот вместо тыщи четырехсот! Почти втрое меньше! – он подмигнул. – А своим можешь ничего не говорить. И я не скажу. Ты тут получаешься чистый, как дон Педро, с наваром и...

– Ты что, – перебил его Призрак, начиная понимать, в чем дело, – предал нас, да? Говори, сволочь!

Донпедро попятился. На его морщинистое лицо, как краска из тюбика, выдавилась жалкая кривая улыбка.

– Не предавал я. Какой мне расчет? Сами они узнали. Кто-то другой заметил. Не один я тут с глазами. Извини, командир...

– Пошел вон! – бешено выкрикнул Призрак. – Вон!

На его крик из зала гидов выскочил Тайманец, за ним Безр-Шева и Чоколака. Донпедро попятился еще дальше, к лестничному проему, бесшумно растворился в темноте.

– Что такое? – подбежал Тайманец. – Лезет к тебе?

Призрак помотал головой.

– Узнал, мразь, что бизнес его кончается, вот и прибежал деньги вперед срубить. Я ведь ему каждый день по сотне выдавал, чтобы про Хели молчал.

– Ага... – Тайманец понимающе кивнул. – А теперь что? Теперь Барбур знает?

– Наверно, – пожал плечами Призрак. – Плохо дело. Не защитить нам ее.

– Кого? – недоуменно поинтересовался подошедший Безр-Шева.

– Хели, – сказал Призрак устало. – Хели беременна. И, насколько я знаю Барбура, он отправит ее отсюда завтра же утром, на Шимшоне. О, слышите?

Он поднял палец, призывая остальных к вниманию. В наступившей тишине, на фоне привычных шумов ночного здания слышался звук приближающихся шагов. Кто-то шел в их направлении по коридору корпуса Би.

– Фигасе! Беременна! – повторил ошарашенный Чоколака. – Как же это?

Тайманец взял Призрака за плечо.

– С чего ты взял, что не защитить? Нас столько же, сколько их.

– Ага, как же... – возразил Безр-Шева. – Барбуру только свистнуть – сюда целая команда набегит. Но он и без команды управится. Кто мы? Три подростка и беглый голанчик? А они – бандиты. С ножами. Наверно, и стволы есть. Безнадежно это, Тайманец. И потом – Барбур прав. Нечего тут беременным делать. Закон Комплекса.

– Плевать я хотел на твои законы! – запальчиво начал Тайманец, но Призрак прервал его:

– Тихо!

Шаги слышались уже совсем рядом; по стене мазнул луч фонаря, лег, подрагивая, на бетонный пол. Безр-Шева включил свой фонарик и посветил навстречу. Бенизри? Ну конечно, не станет же сам король Комплекса заявляться по такому поводу в гости к неразумным подданным... Вызовет на правее к себе, на свою территорию, к подножию трона.

Бенизри вышел из-за угла и приблизился к гидам. Этот шпаненок даже ходил, как блатной – бочком, не подходя, а подбираясь. На губах его играла нехорошая ухмылка.

– Кто тут Призрак?

– А то ты не знаешь, – отозвался Чоколака.

– Да как вас, фраеров, упомнить? – еще шире осклабился Бенизри. – Мало что все на одно лицо, так еще и с крыши сигаете... – он повернулся к Призраку. – Давай, фраерок, с вещами на выход. Барбур требует.

– Прямо сейчас?

– А ты что, подмыться хочешь? – удивился шпаненок. – Не надо, у него сейчас сучка на матрасе. Давай, давай, пошли.

– Я с тобой, – сказал Тайманец.

– С какой «тобой»? – гнусаво передразнил Бенизри. – Сказано – Призрак! Остальным отдыхать! Что тут неясно?!

Едва успев перехватить разгневанного Тайманца, Призрак оттащил его в сторону, быстро зашептал на ухо:

– Нельзя, голанчик, нельзя. Не усугубляй. Ты что, шпаны никогда не видел? Они всегда такого малявку-урода вперед высылают, провоцировать, чтобы повод был. Если драться, то тогда, когда мы решим, не сейчас. Дай мне одному попробовать – может, уговорю его... может, обойдется...

Он кивнул Бенизри:

– Пошли.

Вслед за шпаненком Призрак свернул в коридор корпуса Би. Справа сквозь большие оконные проемы виднелась дальняя будка охранника и темные очертания гор. Снаружи моросило, и цепочка придорожных фонарей грубыми световыми мазками отражалась в мокром асфальте шоссе. Где-то там, возле окна, у простенка – ящик, на котором они сидели сегодня с Тали. Тали, Тали, Тали... Нельзя давать ее в обиду. Дикий Ромео за нее кому угодно горло бы перегрыз, даже бульетьеру Русли. И, если честно, теперь Призрак вполне понимал его.

Хотя сейчас в защите нуждалась вовсе не Тали, а внезапно беременная соседка по комнате, полноправный член команды гидов. В чем-то Безр-Шева был прав: беременным тут не место. Конечно, Барбур – неприятный тип, бандит и двурушник. Но законы Комплекса охраняют всех, не только его. Рожать здесь негде, никто не поможет в случае проблем. Что тогда? Вызывать амбуланс? Никакой амбуланс не поедет сюда без полиции. И потом – официально Комплекс пуст. Историю о случайном упавшем с крыши сталкере еще можно как-то понять – а значит, и замять... – но откуда в заброшенном здании взяться пятнадцатилетней роженице, жертве семейного изнасилования? Кто-нибудь непременно поднимет шум – даже небольшой, на четверть страницы в газетном приложении, на две минуты разговора по радио, – и все, пиши пропало, закроют здание, выгонят к черту всех его обитателей. Как тогда, после скандала с сатанистами... Нет-нет, Барбур обязательно потребует завтра же отправить Хели в город, и на его месте точно так же поступил бы любой – даже самый приятный-расприятный.

И все же Призрак знал, что не должен уступать. Экскурсионная команда с Эй-восемь имеет право на собственный голос. Гиды приносят Барбуру достаточно большой доход, и уже хотя бы поэтому заслуживают, чтобы их оставили в покое, без начальственных выговоров и указаний. Ясно, что Хели нельзя рожать в Комплексе... но вопрос, как и когда она уйдет, гиды могут решить самостоятельно, без вмешательства шпаны типа Каца и Бенизри. Сегодня отдашь им Хели, завтра они захотят кого-нибудь другого, например...

– Эй, ты куда, фраерок?

Призрак вздрогнул. Погруженный в свои мысли, он автоматически свернул на лестницу, ведущую в апартаменты Барбура на Би-девять, не обратив внимания, что Бенизри проследовал дальше, прямо по коридору, в направлении корпуса Си.

– Как куда? К Барбуру...

– «К Барбуру»... – передразнил Бенизри. – Будет он в такое время в конторе сидеть. Давай за мной, фраерок, шевели штырями.

Он двинулся дальше по коридору. В ебаторий, понял Призрак. Эту часть здания он видел только при свете дня. Входить туда во время экскурсий не полагалось. Как-то раз, ближе к вечеру, уже спровадив

хозячков, они вдвоем с Чоколакой зашли на Си-восемь – просто посмотреть, из чистого любопытства. Ебаторий включал в себя несколько больших комнат ближе к торцу восточного крыла. Все они были пусты, если не считать двух десятков грязных матрасов и телевизора с переносным генератором. В одной из комнат на полу валялись шприцы и использованные презервативы. Повсюду стояла вонь – тошнотворная смесь бензиновых паров и запаха человеческих испражнений.

Зачем Барбуру понадобилось вызывать его именно туда? В урочное время он принимал гидов у себя на Би-девять, в королевских палатах хозяина Комплекса. Но это – в урочное... Что он готовит Призраку сейчас? Хочет запугать, смутить, выбить из колеи непривычной обстановкой, вонью, видом своих обкуренных шлюх? Может, и так. А может, все намного проще. Скорее всего, разгневанный босс просто не захотел откладывать выговор. Видимо, кто-то донес ему о хелиной беременности уже после приезда девок, и Барбур настолько разозлился, что немедленно послал гонца за начальником гидов. Призрак почувствовал холодок на спине – чем дальше, тем более неприятным казался ему предстоящий разговор.

До него донесся отдаленный звук работающего телевизора – дикие выкрики на фоне музыки и шума генераторного мотора. Бенизри повернул на Си-восемь и выключил фонарь – теперь им вполне хватало света, падающего в коридор из главного зала ебатория. Призрак невольно замедлил шаги.

– Давай, давай! – поторопил его Бенизри, останавливаясь у дверного проема. – Чего встал?

Призрак оттолкнул протянувшуюся к нему цепкую лапку шпаненка и вошел, жмурясь от яркого света.

– А вот и гости!

Реплика принадлежала Кацу; кроме него, в комнате не было никого. Гладко напомаженный по своему обыкновению, он полулежал на матрасе у стены. Ночной, обитаемый ебаторий отличался от своего отвратного дневного варианта существенно большей степенью порядка: кто-то – скорее всего, рабы-нелегалы – не поленился чисто вымести пол и завесить оконные проемы опрятными, хотя и потрепанными байковыми одеялами. Вонь по-прежнему чувствовалась, но теперь к ней примешивался еще какой-то сильный химический запах – не то дезодоранта, не то кацевской помады. Посередине зала уютно стучал генератор; от него тянулись провода к телевизору и несколькими развешанным тут и там лампочкам. На экране ухали и визжали мускулистые герои кун-фу. Бенизри прошел мимо Призрака и бухнулся на матрас рядом со своим вождем и учителем.

– Садись и ты, не маячь, – посоветовал Кац.

– Я к Барбуру, – тихо произнес Призрак, не двигаясь с места.

Кац ухмыльнулся.

– Занят твой Барбур. По второму разу пошел. Это всегда дольше. Во, слышишь, как старается?

Он поднял палец, и Призрак действительно различил на фоне других шумов слабое, но отчетливое ритмичное повизгивание, доносящееся из смежного помещения.

– Странно, да? – подмигнул Кац. – Вроде Барбур, должен крыльями хлопать, а он визжит, как кобелек на случке. То ли дело Русли – этот молча работает, зато под конец такого крикуна вставляет...

Словно в подтверждение его слов, из соседней комнаты послышался густой ахающий рев, и снова все смолкло.

– Оба кончили, – равнодушно констатировал Бенизри.

– Ну да, – подтвердил Кац. – С другом веселее. От сучек-то все равно ноль реакции. Бревна – и те подвижней...

К досаде своей, Призрак почувствовал, что краснеет. В комнате было жарко от двух раскаленных газовых печек. Он расстегнул куртку.

– Раздевайся совсем, пацан, – сказал Кац, ощупывая его глазами. – Гулять так гулять. У нас тут развлечения на любой вкус – и так, и эдак. Сейчас начальник выйдет – только попроси, он к фраерам добрый, не откажет. Две сучки на всю ночь, услуги бесплатные. Или хочешь, я тебе Бенизри одолжу? А может, ты сам нагибаться любишь? Так с этим у нас тоже...

В темном дверном проеме возник голый по пояс Русли в широких спортивных шароварах. Его плоская круглая физиономия с тяжелыми челюстями и маленькими стальными гляделками не выражала ничего. Шаркая пляжными шлепанцами, телохранитель прошел к стоявшему рядом с печкой ведру и стал умываться, с силой растирая ладонями лицо и бритый, неощутимо переходящий в шею затылок.

«Как с таким драться? – уныло подумал Призрак. – Где же этот Барбур?»

Кац словно прочитал его мысли.

– Сейчас и большой босс выйдет, – он снова подмигнул Призраку, словно приглашая его посмеяться над нелепостью того, чей уровень столь постыдно не соответствует требуемому статусу. – Он каждый раз, как кончает, благодарственную молитву возносит. Спасибо, мол, боже, за то, что живым с сучки слезаю.

Бенизри хихикнул. Закончив умываться, Русли прошел к своему матрасу, сел по-турецки и уставился в телевизор.

– Вот он, здоровый образ жизни! – кивнул в его сторону Кац. – Пожрал, поспал, потрахался, умылся, посмотрел телик. Потом снова пожрал, снова поспал, снова...

– Хватит, Кац, хватит, – сказал Барбур, входя в комнату. – Не надоело тебе, стал-быть, языком трепать? Смотри, обрежут. Привет, Призрак.

Хозяин Комплекса выглядел скорее озабоченным, чем довольным. Он горбился больше обычного, клювастое лицо отливало серым.

– Это кто же обрежет, уж не ты ли? – удивился Кац. – Смотри, как бы самому кой-чего не отрезали...

Он посмотрел на Бенизри, и шпаненок вскинулся, как по команде.

– Барбур, а Барбур! Чего это ты каждый раз такой задроченный выходишь? Виагры пережрал?

Пропустив наглую выходку мимо ушей, Барбур опустил на матрас и устало мотнул клювом.

– Иди сюда, Призрак. Садись.

– Я постою, – отказался Призрак. – Зачем звал, да еще и сюда? Не могло до утра подождать?

– Ну вот... – вздохнул Барбур. – Теперь и ты хамить будешь, да? Ты от меня чего-то плохого видал? Ну? Ну скажи, видал?

– Не видал, – подумав, отвечал Призрак. – Я и не хамлю, просто спрашиваю. Ночь уже, босс. Мы рано ложимся. Работы много, сам



знаешь. От меня ты тоже только хорошее видишь, ведь так? Деньги, много денег. С каждым месяцем все больше и больше. Разве это плохо?

– А кто-то спорит? – развел руками Барбур. – Ты пацан с понятием, я тебе это всегда говорил. Не в пример лунатику, вечная ему память. А если с понятием, то, стал-быть, понимать должен. Зачем вы там у себя бардак развели, Призрак? Девок хотите? Тогда приди и скажи: Барбур, мол, так и так, хотим девок. Разве я вам девок не достану? Да сколько угодно – хоть белых, хоть черных, хоть косоглазых!

– Да кому твои торчки раздолбанные нужны? – расхохотался Кац. – Фраера чистых любят. Чистые, они шустренькие, не то что твои наркоманки. Правда, фраерок? Кто там у вас эту малолетку шворил? Или все вместе, в три смычка?

– Глохни, Кац! – рывкнул Барбур.

Однако напомаженный бандит нисколько не испугался. Напротив, он словно искал открытого столкновения. Рядом щерился гнилозубый шпаненок. «Что здесь происходит? – подумал Призрак. – А, впрочем, мне-то какое дело? У меня свои проблемы».

– А то что? – недобро сощурившись, спросил Кац. – Что ты мне такого сделаешь?

Но Барбур уже повернулся к начальнику гидов.

– Стал-быть, так, Призрак. Беременных и больных мы здесь не держим, сам знаешь. Завтра утром приведешь ко мне эту вашу девчонку. Отправлю ее с Шимшоном. Вот и вся терка... – он щелкнул клювом, словно скрепляя печатью принятое решение, и резко поменял тему. – Может, хочешь чего, если уж ты тут? Выпить, покурить... – все есть. Или еще чего послаще...

– Нет, я... – начал Призрак и осекся.

Из смежной комнаты вышла босая девушка в куртке на голое тело. Она передвигалась, как робот, выставив вперед обе руки и слепо задрав в потолок бледное, залитое потом лицо. Явно не соображая и не видя ничего вокруг себя, наркоманка прошла мимо вопящего телевизора, сделала еще несколько неверных шагов и оказалась в коридоре. Там она остановилась, несколько раз прокрутилась вокруг своей оси и, присев, принялась мочиться. Барбур выглядел слегка смущенным, Русли даже не повернулся от телевизора – как видно, подобные сцены никого тут не удивляли.

– Тьфу, опять они тут гадят! – сплюнул Кац. – Опять! Кого ты сюда водишь? Эй, Бенизри!

Шпаненок подскочил к девушке, схватил ее за шиворот и потащил за собой по комнате туда, откуда она только что вышла. Голова наркоманки безвольно болталась, изо рта капала слюна, глаза бессмысленно скользили по стенам, ни за что не цепляясь. Голые синюшные ноги, изрытые иглой, куст мокрых волос внизу живота, грязные ягодички... Призрак почувствовал, что его вот-вот стошнит. Вернувшись в комнату, Бенизри стал прыскать повсюду из аэрозольного баллончика.

«Этим они и дышат, чтобы вони не чувствовать, – с отвращением подумал Призрак. – Разве это люди? Мокрицы какие-то... плесень гадкая... И где они живут, эти отбросы? На Би-девяты, под самым-самым... Если кому-то еще нужно доказательство, что нет ничего там наверху, то вот оно. Разве настоящий О-О стерпел бы подобную мерзость?»

– Ты, стал-быть, не думай, – неловко проговорил Барбур. – Она клевая девчонка. Долго в кризе была, а тут до шприца дорвалась. Вот и перегнула на радостях. Утром будет плакать, извиняться.

– Ну да, извиняться! – откликнулся Кац. – Чтоб извиняться, стыд нужен. А у тех, кто к тебе ходит, стыд давно кончился. Иначе бы не ходили...

– А мне вот все равно, кто сюда ходит, – прервал его Призрак, поворачиваясь к Барбуру. – Твое дело, не мое. Как тебе такой подход?

Барбур радостно качнул клювом. На фоне кацевских колкостей вежливая лояльность начальника гидов выглядела особенно приятной.

– Правильный ты пацан, Призрак. Век бы с тобой работал... И подход у тебя правильный.

– А коли так, – сказал Призрак, – то почему тебе не все равно, что там у меня на Эй-восемь происходит? Ну кого тут волнует наша девчонка? Она с этажа не выходит, глаз никому не мозолит, сидит тихо, работает хорошо. На тебя, между прочим, работает. И в тех бабках, которые я тебе ношу, ее доля есть. Зачем же ты вмешиваешься? Никуда она завтра не уедет.

Кац присвистнул и сел на матрасе.

– Ты слышал, Бенизри? – изумленно протянул он. – Фраера борзекют. Виданное ли дело?

Барбур растерянно моргнул – он никак не ожидал услышать подобных возражений от послушного, рассудительного Призрака.

– Как это? – хозяин Комплекса недоверчиво всмотрелся в парня. – Ты, стал-быть, шутишь... или как?

– Никуда она завтра не уедет, – повторил Призрак с максимальной твердостью, на какую был способен. – Рожать тут, может, и нельзя. Но решать это нам, на Эй-восемь. Мы ни к кому не лезем, но и нас пусть тоже никто не трогает.

Кац снова присвистнул, весело и многообещающе. Глаза его блестели в предвкушении развлечения. Рядом, ожидая сигнала, щерился Бенизри. Барбур покосился на своих соратников и подошел к Призраку вплотную. От него остро пахло чем-то неприятным – наверное, вонью той полубессознательной наркоманки, с которой он только что сполз.

– Сдурел, пацан? – угрожающе проговорил он. – Забыл, с кем разговариваешь? Хочешь, чтоб тебе лицо порезали? Так это мы быстро.

– Какое лицо? – крикнул со своего места Кац. – Эту станцию уже проехали. Теперь пальчики режут. На мизинец он уже наработал, сучонок.

– Стал-быть, так, – продолжал Барбур, – если завтра...

– Да что ты с ним разговариваешь? – не унимался Кац. – Дай ему сначала в рыло, а потом...

Барбур резко обернулся. Он долго крепился, сдерживался, не вступал в пререкания с напояженным отморозком, но на этот раз терпение изменило хозяину Комплекса. Возможно, его выбил из колеи внезапный бунт начальника гидов, а может, просто накопилось столько, что уже не могло не пролиться через край. Так или иначе, но весь его гневный облик говорил о том, что теперь босс не успокоится, пока не восстановит порядок.

– Сколько раз тебе говорить – глосни, шестерка сраная! – прошипел он, вытягивая клюв в сторону ухмыляющегося Каца. – Базаришь,

как жаба на болоте. Чтоб я от тебя больше ни звука не слышал! Усек?!

Кац, не торопясь, поднялся со своего места и сунул руку в карман. Ухмылка на его гладком лице напоминала черную щель, глаза сузились.

– Сам глосни, старикан. Какой из тебя босс? Фраера наказать не умеешь. Сейчас посмотрим, кто тут шестерка, а кто король...

– Русли! – задыхаясь от гнева, выкрикнул Барбур. – Взять его, гада!

Телохранитель оторвался от экрана, встал и с хрустом подвигал головой, разминая шею. Его квадратный мускулистый торс лоснился потными татуировками. Из телевизора послышался боевой клич кунфу, и Русли удовлетворенно кивнул, словно отмечая отрадное соответствие своих действий данному киноэпизоду.

– Взять его! – повторил Барбур, указывая на Каца.

Русли шумно, по науке, выдохнул, затем плавно – тоже по науке – вдохнул и двинулся вперед, по-медвежьки воздев огромные лапы. Но он не успел добраться до цели, потому что навстречу, визжа и выплевывая ругательства, метнулся шпаненок Бенизри. Он набросился на Русли, как сумасшедшая крыса, – если, конечно, в природе существует крыса, достаточно безумная для того, чтобы меряться силой с пещерным медведем. Телохранитель отмахнулся и вдруг взвыл, схватившись за порезанное плечо; только теперь Призрак различил нож в левой руке у шпаненка. Тот отлетел к стене, но сразу вскочил. Кровь врага возбудила Бенизри; он яростно заверещал и атаковал снова, ощерившись и выставив перед собой короткое стальное лезвие, казавшееся естественным продолжением его опасной крысиной злобы.

Но теперь Русли отнесся к нападению с меньшим пренебрежением, чем прежде. Он перехватил атакующую руку, ловко вывернул ее и дернул вверх. Послышался страшный хруст ломающейся кости; Бенизри задушено пискнул и взлетел к потолку. Призрак успел разглядеть его растерянное лицо – в эту минуту паренек напоминал уже не крысу, а тощего беззащитного куренка. Русли взревел совсем как в телевизоре и с размаху впечатал свою жертву в бетонный пол комнаты. Заиграла музыка – происходящее настолько напоминало одновременно мелькающие на экране кадры из видеофильма, что казалось нереальным. Нереальная расprostертая на полу тряпичная кукла, нереальное мокрое пятно под неестественно выкрученной головой, нереальная смерть.

Русли выругался и занялся раной на плече.

– Второй! – напомнил Барбур.

Русли снова выругался. Он явно утратил свое фирменное спокойствие, хотя рана выглядела пустяковой – глубокая царапина, не более того. Жизнь телохранителя протекала в постоянных заботах по сохранению и ублажению тела – прежде всего своего собственного, а потому любое повреждение охраняемого объекта неминуемо приводило Русли в ярость. Зарывав, он повернулся к Кацу. Тот уже стоял перед ним все с той же щелевидной ухмылкой на лице, опустив руки по швам и, как видно, заранее отказавшись от какого бы то ни было сопротивления.

– Ну? Теперь усек? – торжествующе крикнул Барбур. – Стал быть, так...

Но он так и не закончил фразу – в воздухе мелькнула рука; Кац сделал шаг назад и замер, напряженно держа на отлете тонкую сверкающую полоску. Русли поднял ладони к шее, булькнул и вдруг упал на колени. На грудь его хлынула кровь – горло телохранителя было развалено напополам одним точным движением кацевской бритвы.

– Усек! – победно выкрикнул Кац.

Он вальяжно обошел коленопреклоненного Русли и толкнул его в спину. Тот рухнул ничком; ноги умирающего мелко подрагивали, вокруг тела расплывалась кровавая лужа. Барбур попятился, судорожно шаря обеими руками в карманах и за поясом.

– Чего потерял, босс? – поинтересовался Кац, даже не глядя в его сторону. – Не это?

Он полез под рубашку и выдернул оттуда пистолет.

– Ну и кто теперь шестерка?

Барбур молчал, съежившись у стены. Кац потрогал ногой неподвижное тело Бенизри.

– Отбегал свое, мой сладенький. А какой шустрый был... Вам, фраерам, до него как до неба. Кто теперь за это заплатит? – он резко повернулся и заговорил, переводя взгляд с Барбура на Призрака и обратно. – Ты?.. Ты?.. А лучше оба вместе. Прямо сейчас вас и сделаю. Бритовкой, вот этой. Только не быстро, как этого слона, а медленно, с удовольствием. Да я вас, гадов, на полоски порежу!

Кац не шутил – это было ясно по его глазам, пьяным от крови, уже пролитой, и той, которую он готовился пролить. Призрака тошнило, подламывались колени; он не смог бы бежать, даже если бы это имело смысл. Но какой смысл убегать, когда пуля все равно догонит? Он сполз по стене на пол.

– Правильно, – одобрил Кац. – И ты, утконос, тоже садись.

– Кончай, Кац... – начал было Барбур.

Но отморозок, не трата слов, отмел его возражения выстрелом. Пуля шлепнулась в стену рядом с барбуровой головой; брызнула бетонная крошка. Барбур поспешно опустился рядом с Призраком, отер кровь с посеченной щеки.

– Сказано садись – значит, садись! – пронзительно завопил Кац. – Как ты мне надоед, сука! Ты и твои фраера! И ладно бы только фраера – ты ведь легавый! Скажешь, нет? А кто легавым обо всем докладывает? Думаешь, я не видел? Видел, еще как видел! Для чего, ты думаешь, меня сюда послали? За тобой, сука, присматривать. И вот что я увидел: дерьмо легавое! Вот кто ты, понял? Легавым под хвостом лижешь, фраеров распустил. Фраеров, когда они борзеют, резать надо. А ты разговоры разговариваешь. Но я тебя поучу напоследок... А ну, давай палец! Хочешь жить – давай палец! Да не мизинец – большой давай, чтобы больше жизнь не хвалить. Ну?!

Он нависал над ними с раскрытой бритвой – сумасшедший убийца, садист, и неоткуда было ждать спасения. Барбур, дрожа, вытянул вперед руку с оттопыренным большим пальцем. Призрак зажмурился. Щелкнул выстрел, за ним другой, звякнула упавшая на пол бритва. Когда Призрак открыл глаза, Кац лежал на боку мертвее мертвого, а в дверях зала стоял Тайманец со своей армейской М-16.

– Не зря за ней сходил, – сказал голанчик, любовно поглаживая затвор винтовки. – Полезная вещь, что ни говори.

Остаток ночи прошел в хлопотах. Похоронная команда бомжей вынесла тела убитых в пустыню. Работы было много, и хотя Барбур обещал щедрое вознаграждение, могильщики ворчали и жаловались на судьбу. Недалеко от Комплекса находился курган древнего городища, с пещерами, сухими колодцами и ямами заброшенных водных резервуаров. Туда-то обычно и заталкивали бомжи тела своих умерших товарищей, особо не заботясь о том, чтобы прикрыть трупы камнями от гиен и шакалов. Но на сей раз босс приказал отрыть настоящую могилу и лично следил за тем, чтобы она вышла нужной глубины. Сухая каменистая почва плохо поддавалась заступу; приходилось орудовать ломом и киркой, с боем отнимая у земли каждый дюйм и то и дело выковыривая наружу тяжелые валуны. Обливаясь потом, бомжи продвигались вглубь и в голос проклинали чересчур важных покойников.

Когда глубина ямы дошла до плеча бригадиру могильщиков Донпедро, он не выдержал и отправился договариваться с Барбуром. Тот рассеянно выслушал доводы бомжа.

– А не откапуют?

– Не бойсь волноваться, командир, – отвечал Донпедро, дую на сбитые в кровь ладони. – Еще не родился такой шакал, чтоб на полтора метра зарыться. Даже за таким мясистым покойником, как Русли, светлая ему память...

– Шакал-то, может, и не родился, – вздохнул хозяин Комплекса, – а вот волки... Есть такие волчары, Донпедро, что и с десяти метров откапуют. Ладно, хватит землю грызть. Хороните. И получше завалите их, получше... Я, стал-быть, потом приду, проверю.

Донпедро с готовностью кивнул, одновременно пожалев, что не подошел раньше. Босс выглядел каким-то побитым, утратившим прежнюю уверенную безапелляционную хватку. Кроме могильщиков это почувствовала и бригада, которая наводила порядок в помещении ебатория. Особенно много натекло с полнокровного здоровяка Русли – в самой середине комнаты красовалось огромное бурое пятно; кое-что даже прокапало ниже, на Си-семь. Вытравить кровь с бетонного пола оказалось решительно невозможным, и уборщики заранее приготовились к трепке. Но, к их великому удивлению, босс не стал спорить, а лишь переспросил: «Не вытравить, стал-быть?» – и задумчиво покачал клювом.

Утром, отправив в город недоиспользованных наркоманок, Барбур появился на Эй-восемь. Безр-Шева и Чоколака вели экскурсию, Призрак отсыпался после ночных потрясений, так что в главной комнате гидов, кроме вечной Мамариты и ее вечной каши, присутствовали лишь две неразлучные пары: смотрительница Хели в компании с Тайманцем и Тали, возлежавшая у дальней стены со своим айфоном. Они смотрели на всемогущего хозяина Комплекса скорее с любопытством, чем с опаской, и одно это лучше всего свидетельствовало о явном изменении барбунова статуса.

Новую девушку босс видел впервые; никто не спрашивал у него разрешения на ее пребывание здесь, что само по себе являлось вопиющим нарушением правил – не меньшим, чем хелина беременность. Но Барбуру сейчас было не до правил. Стараясь не смотреть в сторону Тали, он подошел к Тайманцу и похлопал его по плечу.

– Вот, стал-быть, – неловко произнес хозяин Комплекса, – пришел спасибо сказать. Если б не ты... да...

– Ерунда, босс, – с небрежной гордостью отвечал голанчик. – Отчего бы начальнику не помочь, если он тебе помогает.

Барбур кашлянул, покосился на хелин живот и снова перевел взгляд на Тайманца.

– Оружие-то откуда взял? Тоже в скоте?

– В каком скоте? – не понял Тайманец.

– Начальство хотело сказать – в скоте. В том скоте, где ты с Призраком познакомился! – подсказала издали Тали, не отрываясь от своего ай-фона. – Ты ведь у нас сквоттер, забыл?

– Ну да, – поспешно подтвердил голанчик. – Само собой.

– Так откуда? – не отставал Барбур.

– Да так... – сощурился Тайманец. – В пустыне нашел. Я вообще находчивый.

– Угу... нашел, стал быть... – Барбур многозначительно качнул клювом. – Тут, парень, главное, чтобы на прикладе старых зарубок было поменьше. Иной раз и зарубки-то не твои – обидно их на себя принимать. Как у тебя с этим?

– Ни-ни, босс, как можно! – заверил его Тайманец, показывая винтовку и тут же снова убирая ее за спину подальше от цепких глазок гостя. – Сам видишь – тут приклад стальной, никаких зарубок. Ни старых, ни новых.

Он насмешливо смотрел снизу на хозяина Комплекса и даже не думал привстать в знак минимального уважения. Но разве тот мог возразить что-либо в ответ на эту очевидную дерзость? «Проклятый Кац! – едва сдерживаясь, подумал Барбур. – Все из-за него, отморозка. Все теперь заново... пока новых людей найдешь... да и где их взять, людей-то?»

– Призрак... когда... будет? – произнес он вслух, отрывистостью интонации демонстрируя принципиальное несогласие мириться с нынешним положением дел.

– Почему будет? – снова вмешалась нахальная девица. – Призрак есть. Дрыхнет в соседней комнате. Позвать?

– Зачем? – возразил Тайманец. – Дайте человеку поспать.

– Нельзя, – сказала Тали, поднимаясь с матраса и засовывая айфон в карман джинсов. – Начальство ждать не любит. Правда, начальство?

Барбур не стал отвечать, закусил губу, отошел в сторонку, к оконному проему. «Ничего-ничего, – думал он, – дайте время. Все еще вернется, вот увидите – и сила, и почтение, и страх. Подумаешь, автомат у них. Откуда он взялся – вот вопрос. Ясно, что никакой этот Тайманец не... как его? – скотер? – никакой он не скотер. А если не скотер, то кто? На бомжа не похож, на торчка тоже. Ничего-ничего... выясним, все выясним... Жаль, что Русли кончился – такой был удобный...»

Русли был ровесником Барбура; они познакомились в середине девяностых и с тех пор не разлучались. Пятнадцать совместных лет – достаточное время для того, чтобы назвать человека другом; многие браки длятся куда меньше. Но вряд ли покойный испытывал по отношению к боссу дружеские чувства. Дружба – даже между человеком и собакой – предполагает довольно сложную систему взаимоотноше-

ний, в то время как Русли был заведомо способен лишь на самые простые животные проявления. Они ограничивались четырьмя основными физиологическими функциями: едой, испражнением, сексом и сном – а также необъяснимой страстью к фильмам кун-фу.

Помимо этих пяти занятий Русли не интересовало ничего – то есть вообще ничего. Психиатры, будь у них такая возможность, непременно определили бы его как типичного олигофрена, но в том рабочем уральском поселке, где он родился, никто и слыхом не слыхивал о такой экзотике, как психиатры. Никто не слыхивал, зато все сызмальства купались в близлежащих карьерах, где стояла вода с мазутными разводами, а наперегонки с купальщиками плавали все элементы периодической таблицы в сопровождении своих изотопов. Наверно, поэтому уродство в поселке считалось нормой, удивлялись скорее нормальным. Говорить здесь начинали в возрасте, когда другие дети уже начинают читать, что, впрочем, не мешало впоследствии успешно скалывать руду, катать вагонетки и, напившись, бить друг друга по мордасам – лет эдак до тридцати пяти: примерно такова была средняя продолжительность жизни местных уроженцев.

Впрочем, Русли – тогда его звали Саней – в забой не попал; его юность пришлась аккурат на ту пору, когда бандиты еще управляли ларьками, а не страной и потому нуждались не в армии, полиции, суде и массе всевозможных спецслужб, а всего лишь в относительно небольшом количестве держиморд, объединенных в команды. Команды именовались «бригадами», и это в какой-то мере роднило их с шахтой. А вот название держиморд происходило скорее из сельского хозяйства, чем из горнодобывающей промышленности – «быки». Тем не менее оно казалось прямо-таки сшитым на Саню: он был здоров как бык, флегматичен, как бык, и обладал примерно таким же, как и бык, словарным запасом. Помимо нескольких команд и ругательств, этот словарь включал имена бригадира, четырех корешей из того же стада и, конечно, его – великого мастера кун-фу Брюса Ли.

Как раз тогда Уральский хребет впервые познакомился с приключениями Маленького Дракона – пиратские кассеты показывались во всех видеотеках, в кинотеатрах крутили дурные копии знаменитых фильмов. Саня увидел «Кулак ярости» и пропал. Трудно объяснить, почему на него так подействовало именно кун-фу, а не, скажем, «Лебединое озеро» или, наоборот, хоккей. Но факт остается фактом – с того самого момента список саниных предпочтений расширился с четырех до пяти.

Возможно, Саню поразила грация молниеносных движений китайского кумира? Ярость его боевого клича? Смертоносная угроза во взгляде? Хруст шейных позвонков его поверженных врагов? Благодарная слеза в уголках глаз спасенной девушки? Увы, это так и осталось неизвестным: Саня в принципе не мог рассказать об этом сам. Но восторг, с которым он произносил волшебное имя «Брюс Ли», побудил бригадира купить влюбленному быку видео и пару десятков кассет. Это было куда дешевле, чем платить зарплату. Саня не возражал – с того момента он проводил все свое свободное время перед экраном, разучивая, а затем и копируя великие образцы. Практика осуществлялась в тени рыночных ларьков и с разной степенью успеха; Сане пришлось немало потрудиться, прежде чем он добился правильного, почти-как-в-кино, хруста ломаемых шей.

Уже тогда можно было бы сказать, что жизнь удалась. Но тут выяснилось, что средняя ее продолжительность у быков еще меньше, чем у шахтеров. Бригадир команды проштрафился – не то недобрал, не то перебрал. В таких случаях обычно не мелочились и меняли всю бригаду. Оказалось, что зря Саня зубрил имена корешей – еще с утра живые, к вечеру все четверо со шлакоблоками на шеях пускали пузыри со дна того же поселкового карьера в обществе других, столь же безымянных мертвецов. Но самому ему повезло: в момент последнего купания корешей они вдвоем с бригадиром сидели в кинотеатре, в сотый раз просматривая «Большого босса». Таким образом, Брюс Ли спас не только девушку, но и своих верных поклонников. Отправляясь в бега, бригадир прихватил с собой и Саню – то ли из благодарности, то ли потому, что вдвоем спастись веселей.

Москва показалась ненадежным укрытием; едва избежав неприятностей, парочка покатилась дальше и добралась в итоге до Израиля. Там деньги кончились, и бригадир, уже осознавший, что единственной гарантией безопасности является постоянное движение, решил продать свое последнее имущество – быка. Он привел Саню к хозяину ночного клуба, где срочно требовался вышибала, после недолгой торговли получил деньги и отбыл в направлении полной неизвестности. Саня в обсуждении сделки не участвовал: во-первых, английского он не понимал вовсе, а во-вторых, на экране телевизора в кабинете хозяина мелькали до боли знакомые кадры из фильма «Выход Дракона».

– О'кей, – сказал хозяин, после того как выпроводил продавца. – Работать будешь на дверях, пускать кого скажут. Спать здесь, в клубе. Кормежка наша. Первая зарплата через год, когда всю свою цену отработаешь. Тебя как зовут?

– Брюс Ли, – наугад отвечал Саня, уловив вопросительную интонацию и кивая на экран.

– О'кей, – пожал плечами хозяин. – Русли так Русли. Пойдем, покажу, где работать...

Там, «на дверях», и увидел своего будущего соратника Барбур. В ту пору он еще только начинал и не мог похвастаться ни важными родственными связями, ни боевыми умениями, ни физической силой – ничем, кроме амбиции, которая в соответствующих кругах воспринималась скорее как недостаток. Русли, выкупленный из клуба, стал для Барбура первым серьезным приобретением. Цену запросили невеликую – должность вышибалы требовала некоторой самостоятельности, сообразительности и хотя бы минимального знания языка, то есть всего того, чем Русли не обладал в принципе. По этой же причине он не годился и в телохранители; честно говоря, товар был совершенно бросовый – собственно, потому-то он и достался такому ничтожному покупателю, как Барбур.

Но Барбур знал, что делал. От Русли требовалось всего-навсего присутствие – безмолвное, но угрожающее. Обычно этого было достаточно, а для редких экстремальных ситуаций хватало весьма небольшого набора простейших команд типа «хватай» или «мочи». Поразительно, как просто решаются проблемы, когда за спиной у тебя маячит двухметровая широкоплечая фигура! При этом содержание бывшего быка, переделанного в бультерьеры, обходилось чрезвычайно дешево: еда, ночлег, сортир, проститутка по субботам и, конечно же, видео с кун-фу.



Они продвигались по жизни вполне довольные друг другом. Карьера крупного туза Барбуру не светила, но и в шестерках он ходить не хотел. Место хозяина Комплекса оказалось для него сшитым точно в размер. Далеко от городских удовольствий, ну и что с того? Барбур никогда особо не помирал по ресторанам, клубам, яхтам и мерседесам. Его главной и единственной страстью была власть – желательная полная, до электризующего покалывания в кончиках пальцев. Восхитительно безграничная власть – такая, как в Комплексе.

Он строил свое королевство долго и тщательно. Подбирал союзников, устранял конкурентов. Искал точный и деликатный баланс между главными действующими лицами – большими людьми с побережья, наркодельцами из Рамаллы, полицией и Шабакком. Первые и вторые требовали денег и исполнения определенных услуг. Менты и служба безопасности готовы были простить сделки по травке и гашишу в обмен на информацию, на помощь по внедрению нужных людей. Среди арабских рабочих, ночующих на втором уровне корпуса Си, бывали и не вполне рабочие. На соседних матрасах могли оказаться кандидат в смертники и агент-осведомитель; в стенах и потолках пряталась прослушка. Бурлила жизнь и чуть ниже, у бомжей и нелегалов – именно сюда, в Комплекс, они обычно бежали в поисках спасения от угрозыска – прямиком в расставленные Барбуrom сети.

Здесь важно было не промахнуться, пройти сухим меж капель дождя. Арабов следовало сдавать Шабаку, а нелегалов и бомжей – полиции. Серьезные люди с побережья, напротив, подлежали всемерной защите. Их же требовалось убедить в том, что травка и гашиш еще кое-как допустимы, а вот включение в трафик героина, кокса и таблеток приведет к немедленному закрытию канала. Связи с Шабакком имели ценность в общении с полицией, связи с полицией помогали запугивать бомжей, зато всем остальным лучше было не знать ни того, ни другого...

В этой сложнейшей системе разнонаправленных сил, угроз, притяжений, отталкиваний и противовесов Барбур ощущал себя пауком, восседающим в командном центре гигантской паутины – там, куда сходятся все управляющие нити. Глупцы полагают, что власть нужна для того, чтобы играть чужими судьбами и наслаждаться свободой, недоступной простым людям. Но Барбур-то знал, что на деле большинство поступков властителя вынужденны; царь всегда повязан по рукам и ногам таким количеством ограничений, какое и не снилось самому последнему рабу. Истинная суть власти заключается в способности удерживать равновесие – и только. И только – но как много восторга в этом маленьком «только»!

Ради этого он жил – ради восторга. И, видит Бог, приносил пользу не одному себе. Никто не оставался внакладе. Ну кому, кому вредил образцовый порядок Комплекса? Зачем людям с побережья понадобилось присылать сюда этого отморозка Каца? Возможно, их раздражали возросшие доходы Барбура? Тогда так бы и сказали – он не стал бы возражать против увеличения взносов. А может, их пугали его связи с полицией? Глупости – дураку ясно, что нельзя держать незаконный бизнес без надежного симбиоза с ментами...

Кац сразу принялся раскачивать лодку – оспаривал решения босса, лез в пререкания, подрывал авторитет. Поди знай, откуда это шло – от полученных указаний или от общей паскудности характера... Наверно,

нужно было окоротить мерзавца с первого дня, но Барбур сдерживался, терпел – ждал, пока хозяева Каца обозначат свои истинные намерения. И вот – дождался! Иди теперь объясняйся там, на побережье...

А в дополнение к этой беде – гибель Русли, важного винтика в непростом механизме Комплекса. Где сыскать второго такого – безответного до немоты, исполнительного без рассуждений, почти дармового по цене? Жаль...

– Как ты?

Барбур обернулся – на него сочувственно смотрел подошедший Призрак.

– Проснулся? – кивнул хозяин Комплекса. – А я и не ложился... Все о Русли думаю.

– Тяжело... – по-своему понял его Призрак. – Вы ведь с ним давно дружили?

Барбур приподнял бесцветные бровки. Дружили? Вот уж чего не было, того не было. Как можно дружить с неодушевленным роботом? Честное слово, о кошке он горевал бы больше. Но говорить этого вслух не следовало. Теперь, когда он остался один, требовалась двойная осторожность.

– Пятнадцать лет, – скорбно ответил Барбур. – Я к тебе по делу. Хочу, стал-быть, показать кое-что. Пойдем.

Они прошли по коридору и поднялись на Би-девять, в начальственные апартаменты. Призрак не раз бывал здесь – приносил деньги, получал указания. И всегда кроме босса в комнате присутствовали другие люди – неизменно молчащий Русли, напомаженный Кац, взвинченный шпаненок Бенизри. Теперь их нет, и Барбур остался один на весь этот огромный этаж, ближе всех к О-О, как пророк и наместник. Бр-р... Призрак поежился, представив, каково это – ночевать тут в одиночку.

К его удивлению, Барбур не стал задерживаться в главном зале – как выяснилось, он зашел туда всего лишь затем, чтобы разыскать мощный аккумуляторный фонарь. «Фонарь? В полдень? Что он задумал и куда собирается?» – с тревогой подумал Призрак. – В подвал, к собакам? Если так, то нужно позвать Тали...»

Босс и в самом деле вернулся к лестнице, но двинулся по ней не в сторону подвала, а ровно в противоположном направлении – вверх, к запретным этажам. Дойдя до первой лестничной площадки, он обернулся и посмотрел на Призрака, в нерешительности стоящего внизу.

– Ну что ты встал? Пойдем.

Призрак отрицательно покачал головой.

– Не бойся, пацан, – подбодрил его Барбур. – Это вовсе не так страшно, как вы думаете.

– Я видел своими глазами, как это не страшно, – сказал Призрак, не двигаясь с места. – И видел, что стало потом с Диким Ромео. Его ты тоже так вел? Или это сделал Кац?

– При чем тут Ромео? – устало вздохнул босс. – Ты, стал-быть, думаешь, я его толкнул? Или Кац? Хрень это, пацан. Да и не пойдем мы на крышу. Дальше Би-десять не понадобится. Не веришь? Ну что мне, мамой поклясться? Так нет у меня мамы, и не было. С рождения сирота.

Призрак угрюмо хмыкнул. Поклясться мамой... Он вспомнил Ариэлу Голан и почему-то сразу перестал бояться.

– Не надо мамой...

Лестничный пролет показался длиннее обычного; ступеньки кончались здесь, словно сверху не было еще двух этажей, и упиралась лестница не в открытый коридор, а почему-то в стену, в глухую стену! Хотя нет – подойдя к стене вплотную, Барбур вдруг бочком-бочком скользнул влево; тогда уже и Призрак обнаружил по обеим сторонам узкие щели. Проход был настолько тесен, что двигаться приходилось боком... боком и по кругу... или не по кругу, а по спирали? «Куда он меня тащит? Зачем?» – подумал Призрак, но в этот момент щель кончилась, и они вышли в более просторный тамбур, где царила полная – хоть глаз выколи – темнота, такая, будто снаружи за внешними стенами стоял не полдень, а глухая безлунная ночь.

Впрочем, где они, внешние стены? Где тут север, где восток? В тесном лабиринте щели Призрак начисто потерял ориентацию.

– Окон тут почти нету, – проговорил Барбур, перемещая луч фонаря по кругу и всякий раз упираясь в глухую бетонную стену, – а те, что есть – хитрые, с обманом. И дыры повсюду. Стал-быть, осторожней, пацан. Ступай за мной, след в след.

Он снова нырнул в какую-то щель. Снова они с минуту медленно двигались боком; на этот раз помещение на другом конце прохода оказалось довольно обширным, хотя и тоже совершенно глухим, без окон, – во всяком случае на первый взгляд. Еще в щели Призрак уловил знакомый сладковатый аромат – здесь запах усилился.

– Вот и пришли, – Барбур поставил фонарь на пол. – Я ж говорю – не страшно. Присаживайся.

– Для кого это построено? – недоуменно спросил Призрак, осматривая комнату. – Ромео говорил, верхние этажи для банков и ювелиров... Но какой ювелир в эту дырку полезет?

Барбур хихикнул.

– Да нет, пацан. По плану на верхние уровни попадают только на лифте. Только вот лифтов нет и не будет. Стал-быть, приходится нам с заднего ходу, по щелям ползать. Там, где мы с тобой шли, должны были кабеля лежать, вентиляция, пожарные дела. Но мы не гордые, можем и так, правда? Да ты садись, так мне спокойней. Тут провалы в полу – до самого низа долететь можно, к собачкам...

Он пошарил вокруг и извлек из темноты два складных стула. Но Призрак словно не слышал босса: стоя на месте, он при помощи фонаря изучал помещение. Оно было довольно большим и обладало удивительно неправильной, даже кривой формой – что-то вроде усеченного и помятого в нескольких местах овала. Судя по маршруту, которым пришлось добираться сюда, эта комната тоже предназначалась скорее для специального оборудования, чем для пребывания в ней людей. В потолке и в полу зияли дыры – как видно, для коммуникаций; тут и там торчали выступы сложной формы, так что стены напоминали изнанку маски. Вполне возможно, с другой, правильной, стороны все это выглядит вполне осмысленным: эта ниша – для сейфа, а эта – для монитора... Интересно бы посмотреть...

– А если стену пробить? – он и сам не заметил, что произнес это вслух.

– Не нашими ручками, пацан, – снова хихикнул за его спиной Барбур. – Тут бетон особый, бронированный. И по шахте лифта тоже не подняться, пробовали. Заварено там наглухо. Сел бы ты, а?

Призрак повел лучом фонаря и наконец увидел то, ради чего его сюда привели: запечатанные в полиэтилен пакеты на полках невысокого, но вместительного сборного стеллажа, прислоненного к единственной здесь прямой стене. Травка, и, видимо, гашиш. Ну да, он еще в щели почувствовал этот запах... Ай да Барбур! «С чего ты взял, что экскурсии – его главный бизнес?» – от кого же Призрак слышал эти слова – от Ромео? Нет, от Безр-Шевы. Знал парень, о чем говорит...

– Ну что, впечатляет? – с оттенком гордости проговорил Барбур. – Хорошее место, а? Это все я придумал...

Призрак молча подошел, сел рядом на стул. Луч фонаря уперся в странную стену комнаты. «Странную? Что в ней такого странного?» – подумал Призрак и тут же осознал – чистота. Стены тут отличались девственной чистотой. Ни одной надписи. Никаких тебе «Тали, Тали, Тали...» Написать, что ли, чтоб зря площадь не пропадала?

– Русли тут ночевал, – тихо сказал Барбур и повел вбок лучом фонаря, – вон на том матрасе. Все-таки склад, нехорошо без сторожа. Хотя кто сюда сунется...

– Ну да, – усмехнулся Призрак. – Тут же О-О. Великий и ужасный. А на самом деле...

Он презрительно сплюнул. Надо же попасться на такую лажу. Стыдоба, честное слово.

– Ты это... не плюйся, стал-быть, – с опаской проговорил Барбур. – Зачем, пацан? Не буди лихо, пока оно тихо.

– О чем ты? – не понял Призрак.

– Сам знаешь... – чуть слышно прошелестел хозяин Комплекса. – Ш-шш...

Призрак недоуменно пожал плечами. В наступившей тишине присутствовала та же странная девственная чистота, что и на стенах – не слышалось ни одного звука, знакомого по другим уровням Комплекса – ни собачьего лая, ни посвиста ветра, ни капающей воды, ни курлыканья голубей, ни дальней автомашины на шоссе... – просто ватное, закладывающее уши безмолвие, и больше ничего. «Видно, и впрямь главные входы на этаж замурованы капитально, – подумал Призрак. – Но каким простым оказалось объяснение ужасной тайны! Никакого О-О, обычный склад наркотиков... Хотя почему никакого? Гашиш вполне сойдет за О-О. Накурился – и ты в раю! Нет чем подымить – опа! – пожалуйте в ад! Так что все без обмана». Теперь, когда все таким неожиданным образом прояснилось, он чувствовал облегчение, смешанное с разочарованием.

– Зачем ты меня сюда привел?

– Так это... – Барбур замялся. – Показать.

– Ну, считай, что показал...

– Погоди... не только показать. Ты ведь сам видел, чего вышло. Теперь нужно новых людей набирать. Хлопоты, проблемы. Не знаю, понял ли ты, но Кац тут не просто так сидел. За него отчитаться надо. Это, пацан, не только меня касается, но и тебя, и Тайманца. Кто стрелял, кто Кацу полбашки снес? А, то-то и оно...

– Ну ты даешь! – возмутился Призрак. – Тайманец тебе жизнь спас! Если бы он тогда не подоспел...

– Верно, верно, – подхватил Барбур. – Стал-быть, есть чем отчитаться, причина есть, стал-быть. Но отчитаться-то все равно надо, потому как спросят. Хлопоты, пацан, проблемы.

– Ну, так и хлопочи, я-то тут при чем...

– Ш-шш... – прошипел босс. – Что ты так кричишь, пацан? Тише не можешь? Я-то похлопочу, не думай. Но для этого выехать нужно – в город, на побережье. Может, на день, может, на недельку-другую. А кроме как на тебя, мне это хозяйство оставить не на кого. Совсем не на кого.

– Нет уж, – решительно отвечал Призрак. – Я на этом уже один раз погорел, второго не будет. Экскурсии – пожалуйста, наркота – уволь. Я и так в бегах. Если полиция...

– Полиция в деле, пацан, – хихикнул Барбур. – Этот склад, считай, чистый, почти официальный. Легкая наркота. Менты делают вид, что его нет, а я им за это в других делах помогаю. Баш на баш. Да от тебя и не потребуется ничего. Я ж тебя не на улицу толкать посылаю. Просто присматривай вполглазка. А если Муха или, к примеру, Шимшон привезут пару пакетов, ты их сразу сюда неси, на полку. Или, наоборот, выдай с полки тому же Мухе. По моему звонку, стал-быть. Ничего сложного.

– Присмотреть могу, – после некоторого раздумья проговорил Призрак. – Но кладовщиком не буду, не проси. На сдачу-приемку можешь и сам сюда приезжать, не так далеко. А то и потерпят твои клиенты с недельку, не помрут.

Барбур недовольно скрипнул клювом.

– Ну и ладно, спасибо и на том, – сказал он. – Хотя это место само себя охраняет. Но и пара глаз не помешает. Пойдем, что ли?

– Секунду, – остановил его Призрак, пораженный неожиданной мыслью. – Ты говорил, что Русли тут ночевал? Значит, Дикий Ромео...

Он замолчал, пытаясь представить себе возможное развитие событий. Допустим, лунатик незамеченным поднялся по лестнице на этот чертов склад. Но дальше Русли не мог не обратить на него внимания – по дороге на крышу просто невозможно было миновать матрас телохранителя. Неизвестно, как протекало их внезапное столкновение – известно лишь, чем оно закончилось...

– Эй, пацан, – осторожно позвал его Барбур. – Ты только не подумай...

– Что «не подумай»?! – вскинулся Призрак. – Это ведь Русли сбросил его с крыши, так? Ну, говори, говори! Русли?! Он был тут, когда Ромео...

– Ш-шш! – почти умоляюще зашипел Барбур. – Что ты такой крикливый сегодня? Дай хоть слово вставить... – он перевел дух. – Да, был тут Русли, был. И я тоже был. Услышал из зала, как ваш лунатик на лестнице топчется, и прибежал. Вот только не успел его перехватить – он, стал-быть, как раз в щель втиснулся. Я – за ним. И опять не успел – он вон там прошел, по перемычке. Во-он там, видишь?

Барбур посветил фонарем на тонкую перемычку между двумя длинными провалами в полу.

– Мы там никогда не ходили, ни Русли, ни я. Потому – опасно. А лунатик пошел! Прямоком вон к той щели в стене, смотри. Видишь складку? Так это не складка, а проход дальше. Вот и всё!

– Как это «всё»? – недоверчиво переспросил Призрак. – А потом? До крыши ведь еще идти и идти. Даже если просто по вертикали – это целых два уровня вверх. Но там ведь не просто по верти-

кали! Там по комнатам, переходам, щелям этим гадским! Почему вы не остановили его потом, после перемычки?

– Ты что, глухой? – удивился Барбур. – Я ж тебе говорю: он ушел в ту щель. Ушел – и с концами.

– Ну? А почему... – Призрак осекся. – Постой. Ты хочешь сказать, что вы – ни ты, ни Русли – никогда не продвигались дальше вот этой комнаты со стеллажом? Никогда?

Барбур высоко поднял бесцветные бровки.

– Конечно... – проговорил он так, словно речь шла о чем-то совершенно очевидном. – Конечно, никогда. Ты что, пацан, впервые в Комплексе? Туда нельзя. Там ведь О-О... И я уже в десятый раз прошу тебя: не шуми. Тут не стоит шуметь. Неровен час...

Они изумленно взирали друг на друга в тусклом свете фонаря.

«Ну вот, – думал Призрак, всем своим существом ощущая возвращение хорошо знакомого, испытанного временем страха, – оказывается, нет никакой разгадки. Нет, и не было. Зря ты так разбежался».

Вот Барбур – хозяин Комплекса и вообще бандит – циничное, не слишком обремененное нормальными человеческими чувствами существо. Или его покойный бультерьер Русли – немой чурбан, олигофрен, глупее самого глупого пса, растение, овощ с кулаками. Или Кац – отморозок без царя в голове, не подчинявшийся никому и ничему, кроме собственных гнусных позывов. Им ли опасаться О-О, брать его в расчет? Но и эта тройца продвинулась совсем недалеко – даже не на весь следующий этаж, а всего лишь на одну комнату. На одну комнату – и это уже предмет для барбурьей гордости, причем непонятно, чего тут больше – гордости или страха. Скорее всего, Барбур и не стал бы забираться так высоко без острой необходимости найти надежное место для склада. И вот теперь он ближе всех к разгадке – но и боится он тоже больше всех! Он – босс и правитель!

– Я вот все думаю, зачем? – тихо сказал Призрак.

– Зачем О-О? – так же тихо переспросил Барбур.

– Ага. Зачем?

– Так это... – хозяин Комплекса смущенно прищелкнул клювом. – Для порядку, пацан. Без порядка каждый на свою сторону тянет. А жить-то надо. Справляться надо. Вот и приходится вожжи собирать, удерживать. Того сюда дернешь, этого туда. Так, понемногу, порядок и деется.

– А ты?

– А что я?

– Ты вроде как в Комплексе хозяин. И вожжи у тебя. При чем тут О-О?

Барбур подозрительно покосился на собеседника. Вряд ли они могли вести этот разговор в других обстоятельствах, но здесь, перед стеллажом с травкой, в тускнеющем свете фонаря и в двух шагах от О-О, обсуждаемая тема казалась вполне уместной.

– Так это... вожжи-то не у меня. Будь они у меня, разве Русли лежал бы нынче в земле? Будь они у меня... – Барбур посмотрел на собственные ладони, будто ожидая увидеть там вожжи. – Но их нет, пацан. Ни у меня нет, ни у тебя, а уж у Русли – и подавно не было. Я это... угадываю, стал-быть, куда дернет. Лучше других угадываю, потому и хозяин. Люди ведь как... – люди думают, что О-О просить

надо. А некоторые понравиться ему хотят, угождают по-всякому. Глупо это, пацан. Мы для него как песок на дороге. Ты вот, когда идешь, на песок смотришь? Нет ведь? Вот и О-О, стал-быть, так. Но шуметь все равно не надо, на всякий случай. Потому как ежели песок мешать начинает – к примеру, в рот лезет, то его, к примеру, сплевывают. Ему-то что – сплюнул и дальше пошел. А песчинке далеко лететь... Стал-быть, лучше свое место знать, не колготиться. Вот так. Пойдем, что ли?

Он встал и, сложив стул, аккуратно пристроил его рядом с матрасом. «Боится, – думал Призрак, протискиваясь в щель вслед за боссом, – больше других боится... Это что же такое получается? Получается – чем ближе, тем страшнее?»

Эта мысль показалась Призраку настолько забавной, что он с трудом удержался от смеха. Нервы... Немудрено после такой ночи.

#### 14

«Женщины в красно-черном» появились у ворот около часу дня, когда Призрак заканчивал свою вторую экскурсию. Для обитателей Комплекса подобные события были в диковинку, поэтому Хели немедленно позвонила начальнику гидов.

– Какая демонстрация? – не поверил Призрак. – Ты серьезно?

– Сама удивляюсь, – ответила Хели. – Чоколака говорит, что он тоже впервые такое видит. Приехали на большом автобусе, с арабскими флагами. Сейчас стоят у будки, кричат хором. Примерно двадцать женщин. Половина в хиджабах, а другая нет, но в одинаковой одежде: красные свитера, черные юбки. А вокруг мужчины с большими такими камерами. Снимают.

– Операторы?

– Наверно. Человек пять. И тетка с микрофоном.

– Вот что, – сказал Призрак, подумав. – Я сейчас подойду, а ты пока скажи Тали, чтобы поискала в новостях. Может, случилось что, а мы и не знаем...

Выпроводив хомячков, он поспешил на Эй-восемь. Красные свитера, черные юбки... – прямиком из давнего, полузабытого прошлого. Вот именно что полузабытого – и хотелось бы забыть, да никак. Когда-то Призрак и сам вместе с матерью принимал участие в демонстрациях анархисток – подружек Ариэлы Голан. Они именовались «Женщины в красно-черном» – сокращенно ЖКЧ, или «жукачки», как мысленно называл их Призрак. На его памяти жукачек никогда не набиралось одновременно больше десяти. Тем не менее сами они считали себя весьма влиятельной политической организацией и даже получали денежную поддержку из какого-то всемирного анархистского центра. Этих денег вполне хватало на транспаранты, кофе с пирожками и аренду автобуса.

В этот автобус жукачки набирали репортеров, доезжали до какого-нибудь армейского блок-поста и, выстроившись в шеренгу, принимались скандировать лозунги против оккупации. Обычно мало кто обращал на них внимание, да и скандирование продолжалось недолго – до первой хрипоты. Но это нисколько не расстраивало жукачек – они затевали свое представление отнюдь не ради нескольких скукающих солдатиков. Главной тут была умелая работа профес-

сиональных операторов с разных телевизионных каналов – их почему-то всегда набиралось достаточно, иногда даже больше, чем самих жукачек. Операторы хорошо знали свое дело. Вечером, на экране, когда Ариэла включала телевизор, дабы посмотреть заснятый сюжет, демонстрация производила впечатление если не многотысячной, то уж как минимум массовой.

В любом случае, внезапное появление жукачек тут, у ворот Комплекса, не предвещало ничего хорошего. Телевизионные сюжеты могли лишь навредить, особенно сейчас, после ночной стрельбы в ебатории. Как назло, Барбур уехал еще утром, так что Призрак мог рассчитывать лишь на самого себя.

В зале одиноко стояла у плиты Мамарита.

– Пора обедать, Менаш, – сказала она, увидев Призрака. – Давно готово, остынет...

– Да-да, Мамарита, сейчас... – кивнул он. – Только позову остальных.

Призрак прошел мимо женщины и дальше по коридору в западное крыло этажа. Сначала он расслышал скандирование – совсем слабенькое, такое, что даже слов не разобрать. Жукачки определенно уже выбились из сил и не выдавали даже минимальной громкости. У оконного проема торцевой комнаты сгрудилась команда гидов в полном составе. Ребята передавали друг другу бинокль.

– Что кричат-то? – поинтересовался Призрак, подходя к гидам. – Позор оккупантам?

– Не совсем, – Тали достала свой ай-фон. – Вот, глянь-ка.

На экране ладонника была позавчерашняя заметка с местного новостного сайта. Шабак объявил о поимке в Иерусалиме террориста-смертника и двух его сообщников. Всех троих взяли в машине вместе с начиненным взрывчаткой поясом – еще до того, как они доехали до места предполагаемого теракта. Но эти события служили лишь преамбулой к основной теме статьи. Как стало известно, перед тем как пробраться в город, террорист-самоубийца и его провожатый ночевали в заброшенном здании Комплекса.

«Очевидно, именно эта ночевка стала роковой для боевиков, – писал репортер. – Не исключено, что стены Комплекса имеют уши, напрямую подключенные к приемникам службы безопасности». В заключение отмечалось, что правозащитные организации уже выразили глубокую озабоченность методами Шабака, цинично использующего вынужденное место ночлега арабских рабочих в качестве капкана для террористов. Заметку сопровождало свежее сообщение по той же теме: «Женщины в красно-черном» провели шумную демонстрацию перед канцелярией премьер-министра, требуя немедленно закрыть Комплекс; намечается новая акция протеста, на сей раз совместно с правозащитницами-арабками из Рамаллы. Ее планируют провести непосредственно перед зданием-ловушкой...

Призрак озабоченно покачал головой: отвязаться от жукачек было не так-то просто. Наверняка мамаша уже подключила к делу своих приятелей из редакций газет и новостных каналов – обозревателей, репортеров, заливистых болтунов и агрессивных плакальщиц. Теперь Комплексу припомнят все – и анхуманов, и погибших сталкеров, и бесследно исчезнувших нелегалов... Подняв глаза, он наткнулся на талин встревоженный и понимающий взгляд – похоже, она одна тут осознавала масштабы возникшей угрозы.



– Ничего, – попробовал улыбнуться Призрак. – Авось как-нибудь проскочим. А если не проскочим, тоже не конец. Говорят, такое уже бывало. Уйдем на время, а потом вернемся. Слишком дорого эту машину сносить, а охранять еще дороже.

Улыбка вышла неубедительной, жалкой. Тем удивительней оказалась реакция Тали – ободряющая, без привычного цинизма.

– Сто процентов, – быстро согласилась она. – Конечно, вернемся. А что с обедом? Нас там Мамарита не звала еще? Пойдем, что ли? Эй, ребята! Хватит этих дур разглядывать, есть хочется...

Призрак поднял брови – он не мог припомнить случая, когда Тали проявляла такой энтузиазм по отношению к еде. Всегда приходила к столу последней, морщила нос на мамаритину стряпню, вздыхала с каждой ложкой. Да и поспешность, с которой она подхватила его слова, выглядела не совсем обычной. У окна присвистнул завладевший биноклем Тайманец.

– А эта, которая посерединке, вообще... Другие уже устали, а она все вопит. Страшная... как лошадь людоеда...

Хели прыснула в ладонь, но тут же вспомнила о женской солидарности.

– Стыдно, Тайманец, – сказала она с упреком. – Женщина тебе в матери годится.

– В какие матери? – не унимался Тайманец. – Такие людей не рожают. Такие людей жрут. Я их на блокпостах встречал. Ты только глянь на ейную рожу! Нет, ты только глянь! Безр-Шева!

– Да видел я, видел, – отмахнулся тот. – Призрак, чего делать будем?

– Обедать! – вмешалась Тали и решительно взяла Призрака за локоть. – Пойдемте уже, хватит. Живот подвело.

– О, Призрак пришел! – воскликнул голанчик, отнимая от глаз окуляры. – Глянь, братан, какие тут кобылы набежали. Цирк, чистый цирк!

– Я говорю, хватит! – Тали вырвала бинокль и спрятала его за спину. – Призрак! Я к тебе обращаюсь...

Но было поздно – Призрак уже не слышал ее. Силуэт Ариэлы Голан он мог распознать невооруженным глазом даже на большом расстоянии. «Такие лошади людей не рожают... – повторил он про себя недавние слова Тайманца. – Ах, если бы так, Тайманец, если бы так... Но Тали-то, Тали... – как она сообразила? Хотя почему бы и нет? Вечно копаются в новостях, ей ли не знать в лицо тележурналистов?»

Не оборачиваясь, он протянул назад руку.

– Дай!

Кто-то вложил бинокль в его ладонь. Мать почти не изменилась. Сколько времени они не виделись – год?.. полтора?.. два?.. То же длинное бледное тонкогубое лицо с тяжелой челюстью... а ведь верно, есть в нем что-то лошадиное. Рот ритмично раскрывается в такт выкрикиваемому лозунгу... Но почему так щемит на сердце, Призрак? Кто она тебе, эта женщина? Зачем она здесь? Неужели и тут от нее не спрятаться, в этом заброшенном, официально списанном, несуществующем здании, где живут лишь официально списанные, несуществующие существа, четвероногие и двуногие? Даже тут, за забором из колючки, под крылом у О-О...

– Призрак... – тихий голос Тали у самого уха. – Пойдем, а? Он не ответил.

– Менаш, иди есть, остынет...

Это уже Мамарита. Надоело ждать у плиты в одиночестве, пришла сюда за своими менашами. Теперь она тебе мать – она, Мамарита, а вовсе не та страшная лошадь, которая скандирует очередную дежурную чушь там, внизу, у будки охранника. Да-да, конечно, но отчего так неправильно щемит на сердце?

– Призрак...

– Ладно, нате, – сказал он и так же не глядя, как брал, протянул бинокль назад в чью-то подхватывающую руку.

Протянул, отпустил и пошел прочь. Куда ты, менаш? Хотя какой ты менаш? Ты несостоявшийся ицхак, несостоявшийся менаш, несостоявшийся имярек – никто, призрак человека. Тебя нет, ты не существуешь, ты лишен назначения, а потому и вопрос «куда?» не имеет смысла...

Тали догнала его.

– Далеко собрался?

– Ты же с голоду помирала? Иди покушай.

– Перехотела.

Они молча свернули на Би-восемь. У самой лестницы Тали схватила Призрака за рукав, остановила, загородила дорогу.

– Не надо, пожалуйста...

– Почему? Ты ведь хотела туда, к О-О. Или опять перехотела?

– Давай вернемся, Призрак, – умоляюще зашептала она. – Ну пожалуйста. Не надо тебе туда. Подумай обо мне. Я ведь тебе нравлюсь, правда? Вот и оставайся со мной. Ты же сам говорил – туда нельзя. Не пускал меня, помнишь? А теперь я не пушу...

Ее волосы щекотали ему шею. Призрак вдохнул ее запах – запах, от которого хотелось взлететь. Если бы только не горечь, тяжкая горечь, болтающаяся в груди, как ртуть в ванне, как серная кислота, как... Тали подняла лицо, ее губы были совсем рядом, она по-прежнему держала его за плечи обеими руками. Горечь и полет, вместе... – что за странное чувство...

– Ну вот, – удовлетворенно проговорила она, уже празднуя свою победу, свою власть над ним, свою силу, которая тяжелее любой ртути, пронзительней любой кислоты. – Вот и хорошо, вот и славно... А то что же это получается? Опять Дикий Ромео, да? Опять...

Призрака словно обожгло. Именно что «опять»! Опять он замещает кого-то другого, реального – в отличие от него самого, призрачного! Он резко отстранился.

– Я тебе не Ромео, поняла? Хочешь Ромео – поскреби внизу, на пандусе и во дворе. Там еще ошметки остались... А от меня отстань!

– Призрак, подожди... Призрак!

Но он уже бежал вверх по лестнице. Площадка уровня Би-девять... Призрак задержался, на секунду приостановленный смутным чувством нехватки. Нехватки чего? Провожатого? Барбур уехал, начальственные апартаменты пусты. Дальше, дальше!

И снова пролет лестницы показался ему много длиннее обычного. Ступеньки мелькали под ногами в сгущающейся темноте; Призрак с силой впечатывал в бетон каблуки – «пусть слышит, что я иду!.. пусть знает!.. мне незачем прятаться!..» – и неровное, странное, невпопад

звучащее эхо грохотом отзывалось в его ушах. Последний пролет не желал заканчиваться. Стало совсем темно, и тут Призрак вдруг понял, что именно приостановило его на площадке Би-девять. Фонарь! Не хватало фонаря! Того большого аккумуляторного прожектора, за которым зашел на свой этаж Барбур перед тем, как они двинулись выше... Вернуться? Он снова задержался на секунду, слыша, как за спиной стучит каблуками насмешливое эхо.

Мысли бешено скакали в голове, ловко увертываясь от попыток схватить и задержать хотя бы одну. Наконец выскочило обращенное к нему лицо Тали и вдруг заслонило собой все остальное, приблизилось, дрожа ресницами, дразня полураскрытым влажным ртом, на который хотелось смотреть бесконечно. Как это она сказала? «Оставайся со мной...» А потом: «Опять Дикий Ромео...» Призрак яростно мотнул головой, отгоняя остро кольнувшую в сердце обиду, а заодно с ней – и это невообразимо красивое лицо, ресницы, губы... Ну уж нет. Никакого возврата. Да и неизвестно, заряжен ли тот большой фонарь. Вряд ли Барбур запускал генератор перед отъездом.

Призрак нащупал на поясе карманный фонарик, включил. Как на зло, батарейка едва дышала. «Ничего, – подбодрил он себя, ставя ногу на следующую ступеньку, – дорога не такая долгая, хватит». Хватит? Но как он мог знать, хватит ли, если даже не слишком понимал, куда должен дойти? Куда и зачем? Чего ты ждешь от этого непонятного О-О, ответа на какой вопрос ищешь?

– Имя, – пробормотал он вслух. – Пусть скажет мне имя. Пусть скажет мне, кто я. Я не хочу быть другим. Ни ищакон, ни менашем, ни ромео. Я не они, но я и не я. Я призрак, но я не хочу быть и призраком. Мне нужно имя, вот что. Имя...

Ступенька, еще, еще... лестница казалась бесконечной, желтое колечко фонарного света подрагивало впереди, скорее подчеркивая, чем рассеивая темноту. Призрак уперся в стену, нащупал узкий проход слева и двинулся дальше. Эхо за спиной изменило свое настроение, утратило звонкость – теперь оно уже не так бодро стучало каблуками, а шаркало, шуршало и умоляюще всхлипывало... «Ага, – зло-радно подумал Призрак, – тебе тоже страшно. Даже страшнее, чем мне...»

Он миновал первый тамбур. Время сжалось в крошечную запятую и подергивалось у него в животе, как заглоченный рыболовный крючок. Ты – рыба, а он – рыболов. Он тянет тебя на леске... Ну и пусть тянет. А может, вернуться? «Опять Дикий Ромео...» Вот уж нет, нет, ни за что... Свет фонаря постепенно слабел, батарейка кончалась. Батарейка умирает первой. А кто умрет вторым? Ты и умрешь, парень. Умрешь, как Дикий Ромео. Все равно – «как Дикий Ромео»... Ну и пусть. Люди часто умирают, «как кто-то» – просто потому, что не так уж много есть способов умереть. Это не позор – умереть, «как кто-то». Позорно жить, «как кто-то», жить вместо кого-то. Лучше уж не жить вовсе, чем так.

Щель неожиданно кончилась, Призрак вышел в комнату-склад и остановился, поводя по сторонам тусклым лучом фонарика. Вот они, стеллажи, дыры в полу, матрас посередине, два складных стула. И сладковатый запахок веселой травы. Куда дальше? Он высветил узенькую перемышку меж двух провалов, ведущую к дальней стене, к целевидному проему. По этой дорожке когда-то прошел Дикий Ро-

мео. Прошел недавно, а кажется – вечность назад. Теперь его очередь... Призрак набрал в грудь воздуха, готовясь шагнуть, и тут что-то мягкое ткнулось ему в спину, обхватило, стеснило движения.

Он не заорал лишь потому, что ужас сковал гортань, но каким-то чудом высвободился, отпрянул и судорожным рывком вздернул фонарик, защищаясь его слабеющим светом от неизвестной напасти. Луч метнулся вверх-вниз; от страха у Призрака заложило уши, и он сначала увидел заплаканное лицо Тали и лишь потом расслышал ее судорожные всхлипы.

– Ты! – выпалил он, вытягивая вперед руки. – Ты!

Она рванулась вперед и прижалась к нему; Призрак почувствовал щекой ее мокрую щеку и осторожно обнял девушку. Голова у него кружилась. Он еще никого на свете так не любил.

– Куда ты ушел? – едва выговорила она сквозь слезы. – Мне так страшно... не уходи, пожалуйста...

– Все хорошо, Тали, – прошептал Призрак, трогая губами ее ухо. – Тали... не плачь, Тали... я никуда не уйду, не бойся.

Тали втянула воздух через перехваченное спазмом горло. Только теперь Призрак понял, как она боится. Боится, но идет за ним. Боится за него больше, чем за себя. Идет, хотя боится так, что ноги подкашиваются.

– Сюда, Талинька...

Он подвел ее к матрасу, чтобы усадить, но Тали наотрез отказывалась отцепиться от него, и они легли, потому что трудно сидеть, обнявшись так крепко. Призрак хотел что-то сказать, утешить, но она повернула голову, и тут выяснилось, что у губ и языка есть совсем другое назначение. Матрас сдвинулся и поплыл сквозь вспыхивающую звездами, сладко пахнущую круговерть. В комнате стало светло как днем, что было удивительно, учитывая слабость батареек, но тут Призрак понял, что глаза у него закрыты, а следовательно, свет идет не снаружи, а изнутри, а это, в свою очередь...

В какую очередь, и при чем тут вообще очередь, он так и не подумал, потому что им начала мешать одежда, и пришлось изрядно повозиться, стаскивая с себя все эти чертовы свитера, штаны и футболки, ведь ужасно неудобно раздеваться, обнявшись так крепко. Зато потом настала такая волшебная, такая неимоверно шелковая гладкость, что можно было забыть не только неудобства, но и вообще все, все, все на свете. Все, кроме ее имени – Тали, Тали, Тали...

– Подожди, – шепнула она. – Я еще никогда этого не делала...

– И я тоже, Тали. Тали...

Они были друг у друга первыми – совсем первыми, как в первый день Творенья, одни в целом свете, не повторяющие никого, даже самих себя. Фонарь погас, но исчезла и тьма; во всем мире не осталось ничего, кроме длящейся, томительной нежности, возникающей из нежности и впадающей в нежность. Время от времени они еще ощущали свою отдельность, свою лишнюю, неуместную прошлую жизнь – и тут же отбрасывали это ощущение, как сдувают случайную пылинку с безупречно чистой поверхности счастья.

Они шептали слова, передавая их из губ в губы, минуя слух, и слова обретали головокружительный вкус и запах, а смешение языков обретало буквальный смысл. Они вбирали тягучую сладость полного растворения расплавленных нежностью тел, неимоверную бли-

зость ртов, дрожь бедер и животов. Вездесущи были их руки, исполненные молний. Их мысли рождались в позвоночнике, содрогались в паху, вспыхивали в сведенном судорогой затылке.

«Я первый, – думал он, – я никого не повторяю. Мне пока нет имени, но имя придет, ведь главное – суть, а не слово. А суть в том, что теперь я знаю, кто я. Я – тот, кто принадлежит ей. Я перестал быть призраком. Она определила меня, моя Тали. Определила мою первость, мою единственность, мою уникальную главность. Меня не было, пока я не встретил ее...»

«Я нашла его, – думала она, – наконец-то нашла. Я искала его так долго, что уже решила, будто его не существует вовсе. И вот он здесь, во мне, он мой. Я слышу, что он думает. Он не мыслит свою жизнь без меня, он задохнется, если я сейчас же не дам ему свой рот, свою грудь, свой живот. Вот они, любимый, бери, дыши... Все это теперь принадлежит тебе, а ты принадлежишь мне...»

«Да, но кто я? Дай мне имя, – просили его губы. – Мне нужно имя».

«Зачем тебе имя? – отзывался ее язык. – Разве слова имеют значение? Ты ведь сам говоришь – важна суть, а не слово...»

«Сейчас это так, любимая, но лишь сейчас. Без слов есть только сейчас, но нет завтра».

«А тебе мало того, что происходит с нами сейчас?»

– Ты права, – прошептал он ее глазу. – Этого достаточно. Этого хватит на всю жизнь.

– Вспомни О-О, – улыбнулась она. – Для него нет слова, и он прекрасно обходится.

– О-О не нужно имя. У него нет завтра. Он был всегда и никогда не кончится. У него есть только сейчас. А у нас...

Тали вдруг резко села на матрасе.

– Здесь кто-то есть! Призрак! Здесь кто-то есть!

Он притянул ее к себе.

– Никого здесь нет, успокойся.

– Есть, послушай!

Теперь услышал и Призрак – шелест тихих шагов в темноте, чье-то хриплое дыхание. Он нашарил фонарь, но из пластикового тюбика не выдавилось ни единой капельки света – батарейки окончательно сдохли. Вокруг простиралась вязкая, угрожающая тьма. Тали и Призраку стало холодно; прижавшись друг к другу, они сидели и ждали, что будет дальше. Кто приближался к ним из темноты, невидимый и жуткий? Откуда шел этот звук, не заглушаемый даже громовым грохотом устрешенного сердца? Доносился ли он из щелей в стенах или из бездонных провалов в полу, из черных потолочных дыр?.. – а может быть, из самой комнаты? Что на уме у этого неведомого существа? Пройдет ли оно мимо, не заметив их, или нападет, как нападало на всякого, кто осмеливался проникнуть в его пределы?

На полу забрезжил слабый свет, мигнул, мазнул по потолку, пропал и, наконец, оформился в луч электрического фонаря. Кто-то выбрался из входной щели, постоял, пошарил лучом по противоположной стене и после секундного сомнения двинулся вперед по тонкой перемычке, ведущей дальше, в глубь запретного этажа. В темноте Тали и Призрак различали лишь смутные очертания невысокой бесформенной фигуры. Вот она добралась до отверстия, остановилась и

какое-то время стояла неподвижно, обратив луч фонаря внутрь узкого прохода и самым очевидным образом колеблясь, нужно ли продолжать. Затем ребята услышали вздох и одно только слово, разом прояснившее все: «Менаш...» Луч фонаря втянулся в проход и исчез, сопровождаемый постепенно затихающим шарканьем мамаритиных шлепанцев.

Минуту-другую Призрак и Тали продолжали сидеть неподвижно.

– Тали, ты видела то же, что и я?

– Мамарита... – тихо прошептала она. – Что она тут делает? Куда она идет? Зачем?

Они принялись поспешно одеваться.

– Нужно вернуть ее, – сказал Призрак, вставая.

– Даже не думай, – твердо отвечала Тали, для верности ухватив его за локоть. – Я не останусь здесь одна. И потом, у тебя нет света. Догонять ее без фонаря – чистое безумие. Я вижу в темноте, но не в такой. Надо возвращаться. Узнаем у ребят, что к чему, возьмем фонари, и тогда уже...

Он кивнул, и она облегченно вздохнула, скорее угадав, чем увидев его кивок остатками того общего, единого для обоих чувства, которым они жили еще несколько минут тому назад. Теперь они стояли рядом – рядом, но уже не вместе, и оба остро ощущали эту неприятную перемену, стесняясь и не желая признавать ее.

– Талинька, – сказал Призрак, обнимая ее и крепко прижимая к себе. – Тали, Тали...

Он осекся: слова отказывались слушаться – они слишком напоминали другое... Напоминали то, что было написано другим парнем едва ли не на каждой стене там, снаружи. Неужели даже теперь, после всего, что случилось, он по-прежнему будет жить в плену проклятых повторов, в русле чужих желобков?

– Шш-ш... – прошептала Тали ему в шею. – Ты прав, нам нужно будет придумать наши слова. Мы отыщем их, не волнуйся...

В комнате гидов на Эй-восемь переминались с ноги на ногу растерянные Хели и Тайманец. По их словам, демонстрация жукачек закончилась примерно через четверть часа после ухода Призрака и последовавшей за ним Тали. Ребята вернулись в комнату обедать и обнаружили отсутствие Мамариты – тем более странное, что до того она настойчиво звала всех за стол. Безр-Шева предположил, что Мамарита отправилась на поиски Тали и Призрака; Хели полагала, что хозяйка ушла, обидевшись за невнимание к своей стряпне. И то, и другое было мало похоже на обычное поведение Мамариты, и спустя полчаса гиды забеспокоились всерьез. Безр-Шева и Чоколака взяли фонари и принялись обшаривать этажи – пока безуспешно, а Хели и Тайманец остались здесь, чтобы...

– Подожди, – остановила Тайманца Тали. – Чем занималась Мамарита после того, как я ушла?

Голанчик пожал плечами.

– Стояла, звала обедать...

– А вы?

– А мы смотрели в бинокль.

– Она тоже смотрела, – напомнила Хели. – Сначала не хотела, но Чоколака сунул ей прямо в руки, помнишь?

– Ну и что? Ну, подержала бинокль, что в этом такого? – снова пожал плечами Тайманец. – Она и смотрела-то не больше минуты. Устала в одну точку, а потом сразу отдала и ушла. Даже не улыбнулась...

– Мамарита пошла к О-О, – перебил его Призрак. – Мы видели.

– Что-о?

– Что слышал.

– А вы?! Где были вы?! – выкрикнула Хели. – Почему позволили?! Призрак виновато потупился.

– Так получилось. Не успели.

– Ясно-ясно... – насмешливо протянул Тайманец. – Не успели. Другим были заняты, как же...

– Можно сейчас взять фонари и пойти за ней, – сказала Тали. – Если отправиться всем вместе, то будет не так страшно...

Тайманец хмыкнул и промолчал. Они подождали возвращения Безр-Шевы с Шоколакой и стали собирать экспедицию. Решено было, что пойдут только парни. Когда Призрак, собрав товарищей в кружок, раздавал им последние наставления, Тали вдруг тронула его за плечо и молча показала в сторону коридора. Там, устало опершись на перегородку, стояла Мамарита, живая и невредимая. Лицо ее осунулось, глаза смотрели слепо, не видя.

– Я пойду, лягу, – проговорила она с трудом. – Хватит, набегалась. Пора мне...

– Мамарита! – заполошно подскочила к ней Хели. – Куда вы ходили? Зачем? Что там?

Женщина слабым отстраняющим жестом приподняла руку и, покачив головой, медленно двинулась в комнату напротив. Перед тем как войти туда, она обернулась и окинула ребят долгим тусклым взглядом.

– Нет там ничего, так и знайте. Никого и ничего. Пусто. Вообще пусто. Надеяться не на что. Пора мне.

Мамарита умерла под утро – так тихо, что поочередно дежурившие рядом Хели и Тали не заметили, как и когда она перестала дышать.

## 15

В тот полдень Мамарита сварила рис – так, как она варила его всегда, как его любил Менаш – не слишком сухим, но и не чересчур размякшим. Такой рис нужно есть сразу – остывая, он становится невкусным. Но дети, как назло, ушли в дальнюю комнату рассматривать что-то в бинокль. Сначала Мамарита ждала их возле плиты, а потом решила поторопить. Наверное, зря – они все равно не слушались, считали ее сумасшедшей. Возможно, она и была таковой, если называть этим словом человека, почему-либо отринувшего реальность здравого смысла в пользу реальности иной, воображаемой, но больше пригодной для выживания.

Реальность здравого смысла... Правильно ли называть смысл здоровым, если он не только не способствует здоровью, но ранит сильнее самой большой боли? Не лучше ли в этой ситуации поискать опору в чем-то другом? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Натан, к примеру, не захотел. Мужчины вообще куда сильнее привя-

заны к рассудку, к логике, цепляются за них до последнего. Мамарита считала это странным: разве логика – самое дорогое, что есть в жизни у человека? Нет ведь, правда? Отчего же тогда ее отдают последней, уже уступив все свои наценнейшие ценности безжалостному грабежу судьбы?

Мамарита поступила иначе и только потому уцелела. В Комплексе не содержалось ничего, что могло бы напомнить ей о пережитом кошмаре; Комплекс вообще отрицал здравый смысл, опровергал устроенное, упорядоченное бытие. Сюда вселялись отверженные, неуученные, призрачные люди, выброшенные далеко за обочину мира официальных бумаг, виз, запретов и разрешений. Здесь прятались ровесники сына, утратившие свои бумажные имена и оттого без проблем откликающиеся на любые другие. Любые другие, в том числе – и на самое нужное ей. «Менаш, иди есть!» – звала она. «Да, Мамарита», – откликались они.

Сумасшествие? Что ж, пусть называют это как угодно – Мамарита давно вышла из того состояния души, когда человека еще интересует мнение окружающих. Для нее самой жизнь в Комплексе походила на игру – спасительную, исцеляющую игру. За все время своего пребывания здесь она лишь однажды позволила себе вернуться к реальному положению дел – когда требовалось убедить беременную девочку не совершать непоправимую глупость. Это возвращение было кратким и частичным – Мамарита рассказала Хели далеко не все, только начало истории – но и этого оказалось достаточно, чтобы едва не слететь с катушек. Тогда ее поразило, насколько близко она находится к краю: как выяснилось, бегство от здравого смысла имело и обратную сторону. Облегчая боль, иллюзия в то же время снижала сопротивляемость беде. Теперь даже кратковременный выход из игры был чреват серьезными последствиями, возможно, даже немедленной гибелью.

Но Мамарита снова удержалась, непонятно как. «Малый процент, – думала она, наблюдая за собой со стороны – как живет, дышит, варит рис и, улыбаясь, напутствует своих менашей. – Ты просто малый процент, исчезающе малый. Другие давно бы уже отдали Богу душу. Тут, в Комплексе, даже не нужно ходить для этого далеко – говорят, Он обитает буквально двумя этажами выше...»

И вот теперь – этот остывший рис... – не будь его, она в жизни не пошла бы в западное крыло. Не будь риса, не будь демонстрации, не будь бинокля. Мамарита не хотела смотреть в бинокль – зачем? – но Чоколака чуть ли не силой сунул его ей в руки: «Ты только глянь, Мамарита, они такие забавные!» И она взяла, и навела его на реденькую группу демонстрирующих крикуний, и тут же осознала, что игра кончилась – на сей раз, по-видимому, навсегда.

Когда Менаш не вернулся домой той ночью, они с Натаном сразу поняли, что случилось несчастье: мальчик ни за что не сделал бы такого, не предупредив, – он слишком заботился о родителях, чтобы позволить им так волноваться. К утру они обзвонили все морги и больницы; дежурная девушка в полиции уже помнила их по именам, устало успокаивала: «Подростки часто не знают меры, увлекаются – тем более в пору первых свиданий... – вы ведь говорите, он пошел на свидание?» В восемь на смену заступила другая девушка, с тем же



текстом и той же усталостью, но ближе к полудню ее тон вдруг поменялся, стал напряженным, отрывистым, словно они нанесли ей какую-то обиду, словно от разговора с ними ей становится душно, нехорошо.

Это было ощутимо физически, несмотря на краткость бесед, и Натан стал возмущаться, говорить, что будет жаловаться полицейскому начальству, но тут раздался звонок в дверь. На пороге стояли трое людей в форме, и на их лицах под сочувственной гримасой застыло точно то же самое выражение, какое слышалось в голосе полицейской дежурной, и Мамарита поняла, что Менаша больше нет.

Понял это и Натан, но ему потребовались еще и слова. Полицейские сказали, что, скорее всего, речь идет не об обычном уголовном убийстве, а о теракте, как будто это что-то меняло, как будто убийство может быть обычным... как будто убийство может быть. В этом заключалась основная трудность: с одной стороны, Мамарита понимала, что сын умер, но с другой... с другой – нет, не понимала. Она просто хотела знать, где он сейчас, хотела забрать его домой. Просто забрать домой, а эти люди смотрели на нее так, словно она просит о чем-то диком. Но почему? Что может быть естественней, чем желание матери забрать домой своего несовершеннолетнего сына?

Она была уверена, что так и произойдет, когда их с Натаном повезли куда-то; повторялось слово «опознание», но и оно тоже, как и все остальное, виделось Мамарите как бы с двух разных углов зрения, двух разных смысловых позиций, будто она сама разделилась на два совершенно разных существа. Одно знало, что они едут в морг смотреть на мертвое тело Менаша; другое недоумевало, зачем полиции понадобилось куда-то ехать, чтобы опознать ее и Натана – могли бы, к примеру, спросить у соседей, и дело с концом.

Два этих существа слились в одно только в морге, перед телом сына, когда ей сказали, что Менаша не отдадут; вернее, секундами позже, когда она повернулась к Натану за объяснениями и увидела незнакомое, искаженное рыданием, опрокинутое в ад лицо. Тогда уже она отключилась – не упала в обморок, не потеряла сознание, а именно отключилась, превратилась в растение, в бессмысленный ноющий овощ.

Мамарита и Натан приходили в себя относительно долго и в первое время могли думать только о своей ужасной катастрофе – ее огромность просто не оставляла места ничему другому. Разговаривать с ними о деталях, которые сопутствовали убийству, в том числе о роли девушки Ямин, стало возможным лишь спустя два-три месяца. Да и тогда вовсе не личность убийц занимала их мысли, а исключительно вопросы, связанные с сыном. Что чувствовал мальчик в свои последние минуты? Сильно ли он страдал? Была ли смерть безболезненной или, напротив, мучительной? Космический масштаб несчастья был несравним с карликовыми фигурками Ямин и ее подельников. Жаловаться, мстить, предъявлять претензии имело смысл Космосу, Вселенной, Богу – но не ничтожным вшам, которые сидели на скамье подсудимых открывшегося вскоре процесса.

Наверно, по этой причине Мамарита не ходила на заседания. Натан, в общем, разделял ее чувства, но полагал свое присутствие в суде значимым. Почему? Возможно, для того, чтобы меньше бывать дома, чтобы не видеть зеркального отражения своего лица в лице молчащей жены. А может, из большей склонности к порядку, к чисто

мужской привычке завершать любое дело, не бросать начатое, ставить последнюю точку – так досматривают до конца неинтересный фильм, каждая следующая сцена, следующая фраза которого заранее известны и предсказуемы в своей неизбывной банальности. И надо бы встать да уйти, но все не уходишь, ждешь – а вдруг выскочит хоть маленький, хоть самый крошечный сюрприз...

Неизвестно, какого сюрприза ожидал Натан – но уж точно не того, который в итоге последовал. Судебные заседания проходили по утрам, и обычно по их завершении Натан отправлялся на работу – жизнь продолжалась, с благословенным равнодушием требуя от человека исполнения повседневных обязанностей службы, труда, общественных установлений. Но в тот раз он вернулся напрямик домой, усадил Мамариту за кухонный стол и сам сел напротив. Все это сообщало женщине, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Но что, что такого особенного могло произойти? Что, во имя всемилостивейшего Творца, восстанавливающего и топчущего судьбы? Нет-нет, Мамарита заранее ощущала полнейшее безразличие к тому, что сейчас скажет муж.

– Что случилось? – спросила она, чтобы сделать ему приятное.

– Я говорил с обвинителем, – сказал Натан, беря ее руки в свои. – Эта дьявольская тварь задумала грязный трюк. Грязный даже для нее.

«Дьявольской тварью» Натан называл Ясмин.

– Да? – равнодушно пожала плечами Мамарита.

– Теперь, возможно, ее даже отпустят, – продолжал он. – Не по суду – по суду дадут пожизненное, но реально – отпустят на свободу. В рамках обмена, а то и просто так, из соображений гуманности.

– Да? – повторила она.

– Ты даже не спрашиваешь почему...

– Почему? – послушно откликнулась женщина.

– Потому что она беременна. На пятом месяце. Специально не сделала аборта, чтобы использовать этот козырь.

Ее руки дрогнули в его ладонях. Мамарита подняла глаза и увидела во взгляде мужа точно то же, о чем подумала в этот момент она. Увидела тень той же безумной, преступной, абсолютно непростительной надежды. По спине ее пробежал озноб.

– Нет! Нет! – воскликнула она с возмущением, повысив голос впервые после гибели сына. – Это невозможно! Натан!

Он молча смотрел на нее. «На кого я сержусь? – подумала Мамарита. – На себя или на него? Или на нас обоих? Но разве у кого-то есть сейчас право сердиться на таких, как мы, – даже у нас самих?»

– Сроки сходятся, – тихо сказал Натан. Его крупные, поросшие черным волосом руки лежали на столе отдельно от него, как две большие мертвые рыбы. – Я попросил о свидании. Ты пойдешь?

Мамарита задохнулась, спрятала рот в ладони и тяжело, в три приема поднялась из-за стола.

– Я так и думал, – кивнул он. – Во вторник, на следующей неделе.

Уже во время самого первого их свидания не осталось никаких сомнений в том, кто здесь задает тон. У родителей убитого мальчика не было ни единого шанса – все козыри держала в руках умная и безжалостная гадина по ту сторону стола, по ту сторону жизни и совести. Чиновник из прокуратуры, крайне неохотно подписавший разрешение, предупредил Натана:

– Понимаете, она смотрит на вещи иначе – совершенно иначе. Не забывайте: Ясмин – продукт патриархального общества. Она покрыла себя несмываемым позором уже тогда, когда впервые вышла на улицу в мини-юбке, то есть даже до того, как села за барную стойку, пытаясь отловить солдата. Эта женщина знает, что никогда не сможет выйти замуж, создать семью – она заранее решила, что полностью посвящает себя борьбе, приносит в жертву всю свою жизнь. Поэтому и ребенок для нее – не совсем ребенок, а в лучшем случае – отмычка от тюремной двери. Она собирается использовать вас, сыграть на ваших чувствах; она солжет, не колеблясь. Пожалуйста, имейте это в виду...

Общаться с Ясмин пришлось через адвоката, игравшего заодно роль переводчика – после ареста она принципиально отказывалась говорить на иврите, языке оккупантов.

– Передайте ей, что у нас есть всего один вопрос, – сказал Натан. – Знает ли она, кто отец ребенка?

Ясмин презрительно усмехнулась и процедила несколько слов. Она не отводила глаз, смотрела прямо, уверенно.

– Она интересуется, задавали ли вы этот вопрос своей жене, – перевел адвокат.

Лицо Натана дрогнуло, он еще крепче сцепил на коленях руки и сдержался.

– Нет. Я знал ответ.

– Почему же вы думаете, что госпожа Ясмин не знает? – спросил адвокат. – Или вы полагаете, что она женщина легкого поведения?

– Нет-нет, – поспешно отвечал Натан. – Ее поведение трудно назвать легким.

Пухлые губы Ясмин дрогнули и расплзлись в торжествующей улыбке. Она кивнула адвокату, и тот нажал на кнопку вызова охранника – свидание закончилось. Ясмин, не оглядываясь, вышла из комнаты.

– Подождите, – произнес Натан растерянно. – Она ведь ничего нам...

Адвокат дружеским жестом положил ему руку на плечо.

– Не волнуйтесь, у меня есть все инструкции и полномочия. Госпожа Ясмин согласна предоставить интересующую вас информацию, но только на определенных условиях. Вы должны будете подписать вот это...

Он открыл портфель и вынул бумаги. Долго копаться не пришлось – документы лежали сверху, подготовленные заранее. Это было прошение от имени родителей убитого о помиловании убийцы по гуманитарным мотивам.

– Вы с ума сошли! – с негодованием воскликнул Натан, бросая бумаги на стол. – Предлагать нам такое! Нам!

Адвокат пожал плечами, но тут вмешалась Мамарита, до того не проронившая ни звука.

– Хорошо, мы подумаем, – проговорила она с тем же безучастным видом, с каким сидела в сторонке в продолжение всего свидания. – Натан, возьми документы и пойдем.

На обратном пути они долго молчали. Натан не выдержал первым.

– Ты можешь объяснить мне, зачем...

– Это ребенок Менаша, – перебила Мамарита, внимательно глядя перед собой – не на серую ленту шоссе, пустого в тот полуденный час, а на какую-то неведомую, ей лишь одной видную картину. – Наш внук. Наш мальчик.

– Откуда ты знаешь?

Она повернула голову, и Натан увидел взгляд, знакомый ему по давнему, безвозвратно ушедшему прошлому, по тем временам, когда Мамарита впервые заговорила о возможности усыновления. То же отчаяние, то же осознание окончательного поражения, та же решимость идти до конца, наперекор всему – стыду, страданию, страху, совести... Наперекор любым правилам, любым установлениям – человеческим или божественным – все равно.

– Знаю, – сказала она. – Мне достаточно было посмотреть на нее. Женщина не в состоянии скрыть такое от женщины. Мать от матери.

– Она не женщина, а дьявольская тварь, – возразил Натан. – Мы никогда не подпишем это прошение, так и знай.

Они, конечно же, подписали – в обмен на право считаться дедом и бабушкой еще не родившегося ребенка. Немедленного освобождения не последовало, но Ясмин и не рассчитывала выйти по приговору суда. Ее надежды были связаны с какой-нибудь из неминуемых будущих сделок по обмену сотен террористов на то, что покажется израильскому правительству заслуживающим обмена – на похищенного живого солдата, на останки солдата погибшего, на окровавленный бронежилет, на шнурок от армейского ботинка, а то и вовсе ни за что. Убийц в список освобождаемых включали редко и неохотно, а потому прошение, подписанное не кем-нибудь, а родителями убитого, могло сыграть важную, возможно, решающую роль.

Родственники жертв террора имеют в Израиле особый статус – им многое дозволено. Но объем и качество продуктовых передач, еженедельно приносимых Мамаритой в тюрьму, где содержалась Ясмин, выглядели беспрецедентными даже для выдавших виды тюремщиков. Натан хватался за голову:

– Ты откармливаешь убийцу нашего сына!

– Я забочусь о нашем внуке, – отвечала она.

«Дьявольская тварь» родила в отдельной палате частной клиники, под присмотром самых лучших врачей, каких только удалось найти. Новорожденный оказался почти точной копией Менаша в младенчестве. Мать не пожелала взять его на руки, так что мальчик сразу перешел на попечение Мамариты и Натана.

Это было счастье для них обоих – стыдное, наполовину предательское, ужасающее в своих деталях, но – счастье. Возможно, именно стыд, именно боль за память о сыне – безмерно любимом и, в общем, преданном – делали это счастье особенно острым, пробирающим до последнего, самого тонкого и дальнего нерва. Оба ушли с работы, чтобы проводить с ребенком все свое время; они буквально не отходили от колыбели, не отрывая от мальчика глаз, рук, сердца – стонущего, плачущего, истекающего стыдом и любовью.

Ясмин назвала сына Усамой Мухаммадом Исламом – так он и значился в метрике, в документах, которые Мамарита и Натан приносили вместе с младенцем на прививки и осмотры. Врачи и медсестры вопросительно поднимали брови, пожимали плечами, кто-то открыто улыбался, кто-то лез с бестактными расспросами. Это смущало, до-

бавляло неловкости... – но с другой стороны, какое имя они могли бы ему дать, будь на то их воля? Не называть же его Менашем, правда? Ведь это окончательно оформило бы их родительское предательство по отношению к погибшему сыну. А если не Менашем, то как тогда? Поначалу они называли ребенка просто Мальчиком: «Ты уже покормила Мальчика?... Давай взвесим Мальчика еще раз... Что-то мне Мальчик сегодня не нравится...»

Но довольно быстро Мамарита оговорилась, сменив в разговоре Мальчика на Менаша – не специально, случайно, просто вырвалось... Она даже в испуге схватилась за рот, будто ударив себя по губам, будто наказывая их за непозволительное кощунство, будто... Натан сделал вид, что не расслышал. Но потом это повторилось, еще и еще раз; затем оговорился уже он – и пошло-поехало. В конце концов, отчего бы не быть честными хотя бы перед собой? Мальчик был для них вовсе не внуком, а новым сыном. Новым – взамен того, любимого, вырванного из жизни, как кусок тела, кусок сердца, кусок души. Он был – чего уж там – Менашем. Отчего бы тогда и не звать его именно так?

Тем более что мальчик поразительно точно повторял этапы детского развития своего отца; впрочем, возможно, им это только казалось... – но какая, в сущности, разница: казалось – не казалось... Внимательнейшие в мире родители, они узнавали Менаша в каждом движении ребенка, в каждой его улыбке, в жестах, мимике, повадках. Они жили им, дышали им, в нем заключался теперь самый смысл их изуродованного, невозможного бытия.

Ах, если бы еще не нужно было еженедельно возить его на свидания с матерью! Ясмин ни на минуту не позволяла им забыть, кто тут на самом деле управляет ситуацией. Она позволяла им держать у себя ребенка – но лишь на определенных условиях, взамен на заранее оговоренные услуги, заботы, хлопоты. Они оплачивали ее адвоката, постоянно подписывали какие-то бумаги, протесты, прошения; «дьявольская тварь» питалась в тюрьме по нормам хороших тель-авивских ресторанов. Все это принималось с презрительной гримасой, словно Ясмин не брала, а дарила, по необходимости оказывая милость омерзительному и ничтожному врагу.

Что ж, она действительно могла вить из них веревки. Она – «дьявольская тварь», обманувшая и умертвившая их мальчика. Мало того: убив первого Менаша, Ясмин держала в руках и жизнь второго – причем намного, намного крепче. На этот раз ей помогали не трое недалеких сообщников, а сам Закон – всей тяжестью своих судов, тюрем, полиции и адвокатов. Это был не просто еще и ее ребенок – это был прежде всего ее ребенок. А потому ей даже не требовалось угрожать – любой самый легкий намек на угрозу вводил Мамариту и Натана в состояние паники.

При этом они прекрасно понимали, что в тюрьме ей ребенок ни к чему, что некому сплавить его и вне тюрьмы – семья террористки никогда не приняла бы рожденного неизвестно от кого ублюдка. Оставалась единственная возможность – отдать мальчика в какой-нибудь арабский детский дом, но, при живых и дееспособных бабушке с дедушкой подобное решение, скорее всего, могло быть успешно оспорено в суде. Таким образом, пока Ясмин оставалась за решеткой, вряд ли кто-либо мог отобрать у них Менаша.

И тем не менее страх подкашивал им колени при каждом ее косом взгляде в сторону мальчика. Он так хорошо рос, так быстро развивался!.. — неудивительно при столь плотной опеке, при столь пристальном внимании. Встал на ноги еще до года, а к полутора вполне сносно лопотал, смешно копируя интонации Мамариты. Говорят, что любовь слепа — их любовь обладала поистине ястребиной зоркостью, немедленно откликаясь на каждое изменение в поведении ребенка, на каждую его победу — даже самую малую, самую незначительную. Это была радость, смешанная со страхом: что будет с мальчуганом, если его отнимут, такого маленького, такого беззащитного?

Однажды ночью Натан проснулся, как от толчка. Сначала, еще не осознав, что разбудило его, он первым делом наклонился над кроватью Менаша, которая стояла тут же, рядом, в их спальне. Мальчик спал в своей излюбленной позе — на локтях и коленках, уткнувшись лицом в матрас. Когда-то точно так же спал и его отец. Натан поправил одеяльце, сел на краю кровати и вдруг разом, одной мощной волной, осознал причину своей бессонницы. «Бежать! — кричало все его существо. — Прямо сейчас. Взять ребенка и бежать. Пока не случилось страшное...»

— Почему ты не спишь? — спросила жена, погладив его по спине.

— Надо бежать, — глухо ответил он. — Продать квартиру. Забрать деньги. Сделать фальшивые документы. Если постараться, то за месяц успеем.

Мамарита вздохнула и села рядом.

— Куда?

Натан пожал плечами.

— Не знаю. Надо выяснить, откуда не выдают. Не все ли равно.

— Нет, — сказала она. — Я уже думала. Только представь себе, что это значит. Всю жизнь скрываться, всю жизнь лгать. Без корней, без прошлого, в вечном страхе.

— Плевать. Лишь бы он...

— Я о нем и говорю, — с горечью возразила Мамарита. — Ему ведь во всем этом расти. Во лжи, потихоньку, не высываясь, срываясь с места при первой тревоге. Разве это хорошо для ребенка? Менаш заслуживает нормального теплого дома, а не убежища беглецов.

Натан только покачал головой. Возразить было нечего. Собственно, он знал это и сам не хуже жены. Откуда же тогда такое ощущение беды, мертвой тяжестью лежащей на сердце, давящей, колющей острой иглой страха, тянущей жилы из ослабевших, подрагивающих рук?

— Ложись, постарайся заснуть, — на всякий случай посоветовала Мамарита, прекрасно зная, что заснуть не удастся.

Он даже не пошевелился. Жена осторожно взяла его под руку и так, рядышком, они просидели до самого утра, пока не проснулся ребенок. Их ребенок.

Сделка по обмену застигла Мамариту и Натана врасплох. Еще вчера телекомментатор скорбно констатировал полное отсутствие прогресса на вялотекущих четырехлетних переговорах, и вдруг — трах!.. — до конца недели выходят пятьсот, через месяц — еще триста. Первыми к освобождению намечены женщины, и Ясмин среди них.

И снова, если рассуждать здраво, то удивляться было решительно нечему. Разве не сами они приложили руку к освобождению «дьявольской твари»? Приложили, еще как приложили – и прошения подписывали, и на приемы ходили, и обещания вымаливали. И вот наконец сработало – выпускают... – отчего же тогда напал на них столбняк, да такой, что пальцем не пошевелишь? Теперь, парализованные ужасом, они не смогли бы бежать при всем желании – как в ночном кошмаре, когда и нужно бы спастись, но руки не двигаются, ноги отнялись, и получается только ждать – то ли смерти, то ли окончания сна. И они ждали, изводя себя безостановочной суетой вокруг ребенка – суетой, которая тоже не имела ничего общего с движением, а представляла собой лишь еще одну – паническую – форму паралича.

О сыне Ясмин вспомнила не сразу. Она вышла раньше прочих; наверно, еще и поэтому в Рамалле ее принимали как национальную героиню – с митингом, праздничным шатром и телевизионными трансляциями на весь арабский мир. В суматохе поездок, выступлений и интервью ей было не до двухлетнего ублюдка – даже если его звали Усамой Мухаммадом Исламом. Гром телефонного звонка грянул лишь через две недели, когда Мамарита уже лелеяла робкую надежду на то, что, выйдя на свободу, Ясмин предпочтет забыть о существовании ребенка – этого позорного пятна на своей репутации. В конце концов, мальчик был для нее не более чем инструментом давления, отмычкой, ключом от тюремных ворот.

Роковые звонки имеют обыкновение опознаваться сразу – странное качество, учитывая, что звучат они точно так же, как и другие, нормально-рядовые. Откуда же берется столь безошибочное осознание того, что на другом конце провода находится не вздумавший поболтать приятель, не агент телемаркетинга, не девушка с опросным листом, а беда собственной персоной? Не оттого ли, что на самом деле она уже давно здесь, стоит рядом с тобой, усмехается, слушая твои планы, заглядывая через плечо на список продуктов, которые ты собираешься купить сегодня в супермаркете – собираешься и не купишь, просто не сможешь – потому что вот он, звонок. И тогда, по звонку, беда кладет руку тебе на плечо и разворачивает лицом к себе, и ты оторопело смотришь, смотришь, смотришь в ее равнодушные пустые глаза и понимаешь: не поможет уже ничего, даже если не снимешь трубку, даже если прикинешься, что тебя нет – нет в комнате, нет дома, нет в жизни.

Звонила не сама Ясмин, а все тот же адвокат. От них требовалось доставить мальчика к одному из блокпостов близ Рамаллы.

– И не забудьте собрать все его вещи, – сказал адвокат.

– Почему все? – напряженно спросил Натан. – Он ведь будет наещать нас, не так ли?

Адвокат виновато вздохнул.

– Вы же понимаете, что это зависит не от меня. Ребенок поступает в полное распоряжение матери. Таков закон. Значит, завтра, в десять утра.

Растерянность взрослых передавалась малышу – по дороге к блокпосту он капризничал и, цепляясь за Мамариту, требовал внимания: «Мама, мама, мама...»

– Я не мама, Мальчик, – шептала Мамарита, улыбаясь сквозь слезы. – Я бабушка. Мама там, мама ждет. Ты ведь помнишь маму, правда?

Но встревоженному ребенку было не до воспоминаний: он чувствовал угрозу и требовал от самых близких ему людей защиты и утешения. Еженедельные тюремные свидания с малознакомой неприветливой женщиной еще не делали ее мамой. Тем более что на блокпосту выяснилось, что Ясмин выглядит совершенно иначе, чем в тюремной камере – ухоженная, в модной прическе и строгом деловом костюме. Мальчик не смог бы узнать ее, даже если бы очень постарался. Но он и не старался – он просто хотел домой. Мамарите пришлось отрывать его от себя.

– Мальчик, – сказала она, присев перед малышом на корточки. – Ты ведь очень хороший и вежливый, правда? А что делает хороший и вежливый мальчик? Он здоровается, а не плачет и отворачивается. Вот и ты поздоровайся, пожалуйста. Мы договаривались, помнишь?

Ребенок неуверенно кивнул, и Мамарита поставила его перед матерью. Та наклонилась, ободряюще улыбаясь.

– Саям, Усама!

– Шалом! – во всеоружии обещанной вежливости проговорил мальчик. – Я не Усама. Меня зовут Менаш. Я живу в Рамоте с мамой и папой...

Ясмин выпрямилась и смерила Мамариту уничтожающим взглядом.

– Это случайность, – пролепетала та, – я все объясню. Он не это имел в виду. Госпожа Ясмин...

Но госпожа Ясмин уже подхватила ребенка и тащила его к машине. Опомнившись, мальчик заревел во весь голос; его плач был слышен даже после того, как дверцы автомобиля захлопнулись.

Дома было пусто, хотя и не так, как после гибели первого Менаша. Мальчик все-таки жил, дышал, смотрел на небо – хотя и вне пределов досягаемости. Продолжали жить и Мамарита с Натаном; человека нередко спасает от сумасшествия рутина, ежедневный распорядок жизни, который подменяет утраченный смысл бытия.

– Ему только два года с небольшим, – сказала Мамарита вечером, когда они сидели за кухонным столом перед чашками с остывшим кофе. – Если она не позволит нам видеться с малышом, он все забудет. Забудет нас. Забудет Менаша. Менаш забудет Менаша. Но это ничего. Пусть будет Усамой Мухаммадом... – пусть будет кем угодно, лишь бы ему было хорошо.

Натан покачал головой.

– Ты не понимаешь. Мы действительно не увидим его, но по другой причине. Для нее он теперь – Менаш, наш воскресший мальчик. Воскресший для нас, для нее – недоубитый. Она непременно захочет закончить дело.

– Ты что, Натан... – испуганно произнесла Мамарита. – Она мать. Она никогда не...

– Она не мать, – перебил ее Натан. – Она дьявольская тварь. Исчадие ада. Ее нужно раздавить, пока не случилось...

Он замолчал, и Мамарита испугалась еще больше. Она слишком хорошо знала мужа, чтобы не расслышать в его словах новой решительной нотки.



– Натан, я вижу, ты что-то задумал, – сказала она с тревогой. – Что-то очень плохое. Умоляю тебя, не делай этого. Знай, что этим ты убьешь нашу последнюю надежду. Ведь все еще может быть хорошо. Все еще может наладиться. Натан, прошу тебя... обещай мне. Обещай немедленно!

Натан отвел глаза, но жена крепко держала его за руки и требовала ответа. Он и в самом деле решился на отчаянный шаг. Решился в тот самый момент, когда Ясмин увозила в машине бьющегося в истерике Менаша. Снова Менаша, снова в машине, снова в Рамаллу. Остановить эту дьявольскую тварь можно было только самыми крайними мерами. У Натана было оружие, пистолет. Оставалось добиться встречи с мерзавкой и застрелить ее. Предлог нашелся бы – Ясмин жадна до денег и заглотит крючок, если хорошенько позолотить его. А потом... – какая разница, что случится потом? Главное, что Менаша вернут Мамарите. Они будут навещать его в тюрьме. Сколько ему дадут – пятнадцать?... двадцать? Есть смягчающие обстоятельства. Возможно, он даже успеет выйти на свободу. Стоит того. Но все это имело смысл лишь при условии полного неведения жены относительно его планов. Если будут хоть малейшие основания обвинить ее в соучастии, все тут же пойдет прахом... Они сядут в тюрьму вдвоем, а Менаш останется в Рамалле полным сиротой и тогда уже точно погибнет.

– Натан! – Мамарита снова тряхнула его за руки. – Дай мне слово!

Он неохотно перевел взгляд на ее залитое слезами лицо.

– Хорошо. Обещаю. Я не причиню ей вреда...

И все же пистолет пригодился. Примерно через месяц Мамариту разбудил стук в дверь. Накидывая в спешке халат, она удивилась отсутствию мужа – накануне он долго не ложился и должен был сейчас спать как сурок. На пороге стояли полицейские – в точности как тогда, с Менашем. Только на этот раз причиной прихода полиции был Натан.

За день до этого ему позвонил адвокат Ясмин и попросил о встрече. Натан все понял еще по его голосу и ничего не сказал жене. Встретились в кафе; адвокат выглядел растрепанным и смущенным. Он не стал тратить слова на вступление, а сразу выложил на стол вчерашнюю рамалльскую газету.

– Я не читаю по-арабски, – еле выговорил Натан.

– Вот тут, заметка. Раздел происшествий... – адвокат отчеркнул пальцем газетный абзац. – Мальчик выпал из окна пятого этажа. Насмерть. Полиция допросила мать и констатировала несчастный случай. Сожалею.

Натан посмотрел на арабские буквы – они напоминали горсть рыболовных крючков. Обычных, не позолоченных.

– Вы говорите, что наш мальчик мертв. Мертв. Снова мертв.

– Сожалею, – развел руками адвокат. – Если вы желаете забрать какие-нибудь его вещи на память, то я мог бы...

Натан молча встал из-за стола и вышел. Остаток дня он провел перед телевизором. Когда вечером жена заснула, он бесшумно поднялся с кресла. Доехав на такси до безлюдного в этот час городского лесопарка, Натан позвонил в полицию, сообщил о том, что обнаружил труп, и подробно описал свое точное местонахождение. Дежурный попросил ничего не трогать до приезда патрульной машины.

Он пообещал, а затем лег на мягкие сосновые иглы и выстрелил себе в рот.

На столе лежала адресованная Мамарите записка.

«Пожалуйста, прости меня за то, что я не смог защитить наших детей, — писал Натан. — Они мертвы — оба, убитые одной и той же дьявольской тварью. Знаю, что ты не согласишься, но я виновен, по крайней мере, в гибели второго. Судьба дважды указывала мне правильное решение, и дважды я перекладывал ответственность на твои плечи, поступал не по-мужски, позволяя тебе уговорить меня. Но сейчас, получив подсказку в третий раз, я не предоставляю нам обоим такого шанса. Я заслужил свое наказание и приму его с великим облегчением. Прошу, не осуждай меня за это».

Наверно, правильное всего для Мамариты было бы последовать примеру Натана. Она бы так и поступила, если бы думала о себе, об облегчении своей боли. Но в том-то и дело, что о себе она думала в последнюю очередь. Казалось бы, какой резон переживать за мертвых? Но она снова и снова мучилась последним ужасом летящего к смерти ребенка, последней мукой мужа, содрогающегося от вкуса оружейной смазки на языке. И, подобно страдающему животному, действовала скорее инстинктивно, чем осознано. Инстинкт выбросил ее из дома, из привычного жизненного распорядка, каждая деталь которого напоминала о случившемся. Выбросил в бездомность, в щадящую, придуманную реальность, где не было ни прошлого, ни будущего, где все малыши и подростки звались Менашами, а потому их следовало кормить и наставлять.

Она плохо помнила, как именно оказалась в Комплексе. Возможно, следуя одним из традиционных маршрутов миграции иерусалимских бомжей; возможно, увязалась за группой подростково-сталкеров. Но, какая бы случайность ни привела туда Мамариту, это место выглядело для нее самым подходящим. Что может быть лучше для человека, бегущего от жути реального мира, чем призрачное, призраками населенное здание, бесцельно торчащее на границе пустынных гор и гористой пустыни? Так или иначе, но в одно прекрасное утро она просто встала у плиты в комнате гидов — воплощенная мать семейства, опрятная, гладко причесанная, ласковая и приветливая со всеми, особенно с Менашем. Все нынешние обитатели уровня Эй-восемь пришли сюда уже после нее; может быть, лишь Дикий Ромео как главный старожил мог бы прояснить обстоятельства ее появления, вот только где он теперь, Дикий Ромео?..

Остывающий рис, демонстрация, бинокль, чуть ли не силой всунутый ей в руки... — велика ли вероятность столь чудовищных совпадений? Нет, ничтожна. Но Мамарита с раннего детства ухитрялась попадать в чудовищно ничтожный процент. Она поднесла к глазам бинокль впервые за все время своего пребывания здесь и сразу увидела именно то, чего не должна была видеть никогда, ни при каких условиях. Не будка охранника, не проволочный забор, не серое шоссе и горы за ним — в окулярах подпрыгивала, вопила и размахивала руками реальность — та самая, жуткая и отвратительная реальность, существование которой Мамарита так долго и успешно отрицала, от которой так долго и успешно спасалась здесь, в Комплексе.

За эти несколько лет Ясмин располнела, но Мамарита сразу узнала ее. Да и могла ли она не узнать это исчадие ада, исхитрив-

шееся не просто убить свою жертву, но затем еще и воскресить – только для того, чтобы убить снова! Известно, что смерть однократна, и в этой однократности заключается ее единственное, хотя и сомнительное утешение. Даже самые страшные легенды не протаскивают человека сквозь эту муку дважды – наверно, поэтому воскресшие в сказках, как правило, обязательно обретают бессмертие. Чем же заслужила свою из ряда вон выходящую кару она, Мамарита, – обычная женщина, каких много?

Кто-то забрал у нее бинокль. Мамарита не возражала – она и так уже видела достаточно. Комплекс перестал быть убежищем. Даже Комплекс – что уж тогда говорить обо всем остальном мире! Механически переставляя ноги, она вышла в коридор и поковыляла вдоль него – и дальше, по лестнице, – и еще дальше, по другим коридорам и другим лестницам, вверх, и вниз, и снова вверх, без цели, без смысла, без времени. Никто не мог прийти к ней на помощь, даже слезы – видимо, они просто кончились, высохли раз и навсегда. Почувствовав усталость, она присела на краешек дощатого ящика. Куда теперь? Думалось плохо. Голова устала не меньше ног, не меньше сердца. Ничто не утомляет так, как боль. Наверно, боль – это тоже работа, работа по преодолению жизни. Чем платят за нее? Смертью, не иначе...

Мамарита выглянула за перегородку, в оконный проем. Демонстрация закончилась; там, где еще недавно шумели две дюжины крикливых активисток, одиноко стояла будка, в окошке торчала голова скучающего охранника. Все вроде было по-прежнему, но Мамарита знала, что это не так. Мерзкий призрак Ясмин витал над опустевшим перекрестком – дьявольская тварь нашла ее даже здесь, в этом последнем убежище, и теперь уже точно не отпустит.

Она отвернулась от Ясмин; бетонная стена холодила плечо, напротив уходила вверх лестница. Мамарита машинально сориентировалась – ну конечно, это уровень Би-восемь, вход в осиротевшие апартаменты Барбура. И не только... Мамарита горько усмехнулась – дети почему-то убеждены, что на трех верхних этажах проживает таинственное О-О. Она никогда не верила в подобные глупости. Нет ничего кроме Случайности, и Вероятность – пророк ее. Лживый пророк.

А вот Натан... Натан не то чтобы верил – сомневался. Обстоятельный во всем, он не любил делать выводы на основе неполных данных.

– Нет, Рита, – говорил он, – я бы согласился с тобой, если бы хаос царил во всем. Но это не так – есть и неизменные вещи, абсолютно неизменные. Они повторяются из раза в раз.

– Ну и что? – смеялась она. – Когда игроку идет удача, он тоже раз за разом выбрасывает «орла». «Раз за разом» не означает «всегда».

– Да брось ты свои игральные примеры, – сердился Натан. – Чуть заходит разговор о случайности, так вы сразу вспоминаете монету или кубик. Найдите уже что-нибудь поновее. Давай возьмем нашу любовь к сыну – разве она подвержена законам вероятности?

– А вот это уже запрещенный прием! – возмущенно отвечала она.

А собственно, почему? Почему запрещенный? Ведь это чувство действительно было абсолютно, неизменно и повторяемо не просто «из раза в раз», а именно что «всегда», при любых обстоятельст-

вах? И, коли уж подобная неизменность верна по отношению к столь эфемерной вещи, как человеческое чувство, то стоит ли сомневаться, когда речь заходит о камнях и планетах?

Давно они велись, эти разговоры – даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни – счастливой, размеренной, полной света и радости. Тогда они казались отвлеченными, книжными – развлекательным умствованием, не более того. И вот теперь, трижды убитая, лишенная всего, загнанная в угол, сидит она на пороге воображаемого О-О и на полном серьезе прикидывает – не призвать ли к ответу его, несуществующего...

Потому что если она была не права в том споре с Натаном, если она не просто малый процент, особо невезучая точка на графике статистического распределения, если всему-всему в мире есть причина и резон, то нельзя не спросить Его, на тех резонах сидящего: «За что?» За что Ты навалил на меня столько бед, Господи? Чем я так провинилась перед Тобой и перед Твоими важными причинами? А дети – в чем виноваты дети, будь они менашами или усама-мухаммад-исламами?

Мамарита тяжело поднялась с ящика, нащупала на поясе фонарик. Она не испытывала страха – теперь она чувствовала лишь бесконечную горечь, усталость и горечь. Она просто продвигалась вперед, к возможному ответу, протискивалась по узкому лабиринту, обходила провалы, перелезала через препятствия, отыскивала проходы, ведущие дальше. Она шла сквозь темноту, сквозь остановившееся время и... не встречала никого. Хозяин, если таковой вообще существовал, не выходил к ней навстречу. Наверно, О-О просто боялся посмотреть ей в глаза. Она поняла это, когда обнаружила, что ходит по кругу, повторяя один и тот же маршрут. И тогда, остановившись посреди большой комнаты, полной странного сладковатого запаха, Мамарита сказала громко и внятно – так, чтобы Он точно расслышал.

– Послушай, – сказала она. – Скорее всего, я говорю в пустоту, но все равно – послушай. Вероятно... – видишь, я снова говорю «вероятно»... Вероятно, я не заслуживаю объяснений. Допустим. Но я не заслуживаю и подобного презрения. Я не заслуживаю этой издевки, слышишь? Ты даже не пускаешь меня на крышу, куда смог подняться тот бедный мальчик. А почему? Почему? Ведь он страдал неизмеримо меньше меня. А-а... я знаю почему. Тебе наплевать на страдания, так? Ты вообще не принимаешь в расчет наши крошечные муравьиные беды... Тебе важна только вера, так? Верись – пожалуй на крышу; не верись – бегай по кругу в темноте, как слепая лошадь. Так? Молчишь... Но мне некуда больше идти.

Мамарита устало провела ладонью по лицу. Нет, слез не было – даже злых.

– Мне некуда больше идти, – повторила она почти заискивающе. – Я хочу умереть, слышишь? Сделай так, чтобы это произошло поскорее. Ведь ты, говорят, всесилен... Давай заключим сделку: позволь мне умереть сегодня, а я... а я тогда поверю. Совсем ненадолго, на самую последнюю секундочку, но тебе ведь все равно, у тебя ведь нет времени... Ну как, согласен?

Непроницаемая темнота вокруг нее молчала, не нарушаемая ничем – ни шагом, ни шорохом, ни словом.

После дождей пустыня зазеленела; издали ее холмы и пригорки казались плюшевыми от поспешно вылезшей травы, но вблизи было видно, как редко стоят травинки, как робко клонятся они к земле, как торопятся урвать свою долю жизни – короткой, обреченной, чужой и ненужной здешнему миру. Почва, обычно напоминающая жесткий черепаший панцирь, размякла и все рвалась куда-то, неважно куда, на свободу – хватала за ноги, цеплялась, висла на сапогах, как распростертая на земле женщина, от которой уносят ребенка. Заступ входил ей в живот с хлопаньем и плачем, яма сразу же наполнялась водой, непохожей на воду, – бурой земляной кровью.

Могилу Мамарите копали посменно, парами, по щиколотку, а затем и по колено в холодной грязевой жиже. Безр-Шева недовольно ворчал – он так и не понял, почему Призрак отказался от помощи опытной бригады могильщиков-бомжей. Его напарник Чоколака помалкивал и дрожал крупной дрожью, но все равно не уходил, лез в яму, худыми руками-пауками выковыривал камни – тяжелые, ребристые, желтовато-белые, как слоновая кость. И они, и Призрак много суетились без толку и быстро уставали, так что большую часть работы в итоге сделал Тайманец – этот копал яростно, умело, наследственным инстинктивным чутьем разумея эту пустыню, ее размокшее тело, ее земляную кровь, ее слоновьи ребра.

Потом принесли тело, неожиданно маленькое, зашитое в два знакомых мамаритиных халатика из веселенького ситца; Чоколака посмотрел и заплакал – один из всех, потому что Хели выплакала все свои слезы еще накануне, а остальные не плакали вовсе, отвыкли. Тайманец, стоя внизу, взял сверток на руки, осторожно опустил его в воду и выбрался наружу. Земляная жижа покрыла все, так что могила выглядела пустой.

– Как не было, – сказала Тали.

– Ей холодно там... – жалобно проговорила Хели.

Безр-Шева пожал плечами:

– Нам холоднее. Зароем, что ли?

И первым сдвинул вниз тяжелый глинистый ком.

Затем, вернувшись к себе на Эй-восемь, они еще долго спасались утомительными бытовыми делами: грели на плите воду, смывали красноватую грязь – цепкую, надоедливую, залезающую глубоко под ногти, в поры, в душу, переодевались в чистое, грели поддрагивающие от холода руки у большой газовой печки – единственного здесь средства обогрева. Все это было несомненной необходимостью, и никто на свете не упрекнул бы их за то, что они таскают в ведре воду, моются, чистят обросшие глиной сапоги. За то, что обмениваются простейшими вопросами-ответами: принести ли еще ведро?.. достаточно ли нагрелось?.. у кого есть лишние носки?.. много ли еще газа в баллоне?.. как ты, ничего?.. – в порядке, спасибо. За то, что всеми силами оттягивают момент, когда придется говорить о ней, Мамарите, только что утопленной ими в коричневой грязевой жиже, придавленной кубометром глины вперемежку с камнями, о Мамарите, надевшей напоследок оба своих ситцевых халатика – чтоб не пришлось выбирать. Об истории, которую она нашептала прошлым вечером девочкам, склонившимся над ее матрасом.

Скорее всего, Мамарита и не собиралась ничего рассказывать – просто так вышло, вышло вместе с полубредом, едва слышным потоком памяти – сначала прозрачным, но постепенно темнеющим от самого тяжелого, самого трудного осадка, как старое вино из кувшина. Скорее всего, она просто освобождала, опорожняла свой кувшин, избавляясь от лишней ноши перед дальней дорогой. Будь Тали и Хели постарше и поопытней, они, возможно, поняли бы это; возможно, они могли бы спасти Мамариту, просто заставив ее замолчать – тогда оставшаяся в кувшине тяжесть могла бы перевесить, могла бы задержать умирающую здесь, в мире. Но они были всего лишь любопытными девчонками; жизнь иссякала на их глазах с каждым сказанным словом, а они не видели, не понимали.

Наутро, еще полагая, что Мамарита спит, они взхлеб пересказали парням историю про Менашей и Ясмин, но до обмена впечатлениями не дошло: Хели решила наконец проверить, отчего Мамарита так долго не встает – и все сразу полетело вверх тормашками. Теперь это утро казалось очень далеким, но тем не менее оставалось утром того же самого дня, к которому, как ни крути, принадлежал и теперешний грязный и хлопотный поздний вечер. Теми же оставались и они сами – той же командой гидов того же призрачного Комплекса, деликатно звучащего вокруг сотнями своих странных ночных шорохов. Не было лишь Мамариты, и взгляд, привычно обходя комнату, неминуемо спотыкался на опустевшем месте у плиты, на осиротевшем квадратном метре бетонного пола, до блеска отполированном ее стоптанными шлепанцами. И все в комнате знали, что должны обговорить случившееся – как знали и то, что разговор этот не сулит ничего хорошего.

И зная, инстинктивно оттягивали решительный момент – даже тогда, когда все дела закончились, и оставалось только ждать и гадать, кто же из шестерых начнет.

– Призрак, солярка на исходе, – вполголоса сообщил Чоколака, нарушая затянувшееся молчание. – Завтра генератор заправлять нечем. Как мобильники заряжать будем?

– Заткнулся бы ты пока... – посоветовал Безр-Шева.

– А чего «заткнулся»? У меня батарейка едва фурычит. Утром не зарядишь – к полудню кранты.

– Сходишь к охраннику в будку... – глядя в сторону, рассеянно отвечал Призрак.

– Солярка... батарейка... будка... – перебила его Тали. В ее интонации слышался нарастающий гнев. – Как вы можете?! Она лежит там, убитая, а эта сволочь дышит! Она! Дышит! А вы?! Вы – про солярку?!

Последние слова она уже выкрикивала, вскочив на ноги.

– Ну вот, пошло-поехало... – покачал головой Безр-Шева. – Так и знал. А ты думала, про чего нам тут разговаривать? Чего не хватает, про то и говорим. Нам тут, между прочим, жить надо, греться, по телефону трындеть, ай-фон твой долбанный заряжать. Солярки нет – про солярку говорим. Батареек нет – про...

– Про совесть поговорите! – крикнула Тали. – Совесть у вас тоже нет! Мамарита там... а эта гнида...

Она закрыла лицо руками и отвернулась. Повисло тягостное молчание.

– Погоди, – сказал Тайманец. – При чем тут «убитая»? Она ведь вроде как сама умерла. Или я чего не понял? Хели?

Хели смахнула слезу.

– Сама, сама... а если разобраться, то не сама. Мы ведь рассказывали вчера.

– Сегодня, – поправил Чоколака.

– Сегодня?... Да, сегодня. Ясмин эта всех поубивала. Сначала Менаша, потом второго ребенка, потом Мамариты мужа, а потом и ее саму...

– Ну, и что дальше? – Безр-Шева криво усмехнулся. – Пусть даже вы с Тали правы – что дальше? Мамариты не вернешь, конечно. Не она первая, между прочим, и не она последняя. Дикий Ромео, братик наш дорогой, давно погиб? Считай, только что. И кто из вас его помнит? Я уже молчу о каком-нибудь Русли, или о Каце, или об этом... – как его, маленький такой отморозок, у Каца шестерил?... – вот, даже имя забыл! А те нелегалы и бомжи, которые каждую неделю дохнут на нижних уровнях Си? Как их зовут? Этого мы и не знали никогда. А знали бы – не смогли бы выговорить кликухи их суданские. Как будто они не люди. И что? Кого это здесь волнует? Мамарита – это еще одна смерть, только и всего. Здесь Комплекс, сестрички. Комплекс, а не семинар для воспитательниц детских садов. Здесь люди мрут. Одни люди мрут, а другие люди их хоронят. Вот и все.

– Нельзя так. Она нам как мать была, – возразил Призрак.

Безр-Шева глумливо захлопал в ладоши.

– Ну вот! Я ж говорю – детский сад! Маму он ищет... Моя мама в Безр-Шеве живет, понял? И чоколакина – тоже. А Мамарита была обыкновенной бомжихой. Жила тут, рис нам варила, да и то плохо.

– Не надо, Безр-Шева, зачем? – тихо пробормотал Чоколака.

Но его друга уже несло.

– Зачем? – закричал он. – Затем, что нечего Призраку свои болячки на нас выворачивать. Думает, если его мамаша в тюрягу засадила, то и у всех матери такие же. Чего ты на меня вылупился, командир хренов? Думаешь, папа генерал, так и тебе всеми командовать? Какого, спрашивается, черта, мы сегодня в грязи ковырялись? Нашел могильщиков, маму свою хоронить!

Призрак молчал, понурившись. Зато Тали и не думала уступать.

– Чего еще от убийцы ждать!

Она выпалила это замечание в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь, ни на кого не указывая, но Безр-Шеву как током ударило.

– Что ты сказала? – он вскочил и теперь стоял напротив Тали, нос к носу.

– Что слышал! – Тали смотрела ему прямо в глаза. – У нас ведь тут вечер воспоминаний. Ты вот о чужих болячках вспомнил. Отчего бы тогда о своих не рассказать? Не стесняйся, паренек, поделись с товарищами, как ты друга с крыши скинул.

Безр-Шева разинул рот и пискнул, как рыба, из которой тащат глубоко заглотанный крючок вместе с внутренностями. Чоколака подошел сзади, обнял друга за плечи, укоризненно покрутил головой.

– Кто бы обвинял, Тали, только не ты...

– Почему это? – вскинулась она. – Почему не я?! На что ты намекаешь?! На что, гад?!

– Не надо... – умоляюще протянула Хели.

Вскочил со своего места и Призрак; полные ненависти и боли, они стояли друг против друга, поглощенные каждый своей кровоточащей раной, своим ущербом, своим уродством. За оконными проемами чернела пустынная ночь, чадили толстые свечи в обрезанных пластиковых бутылках из-под колы, голубыми язычками огня мерцала газовая печь. Все стихло вокруг, не было слышно ничего, даже крыс, собак, бомжей и нелегалов – местной живности, которая, хочет не хочет, всегда дает о себе знать хотя бы шелестом своего дыхания. Комплекс молчал, замерев, как любопытный зевака, остановившийся поглазеть на внезапную уличную драку.

– Может, хватит, а? – сказал Тайманец. – Нашли когда собачиться. Постыдились бы, только-только человека похоронили. Мать она вам или не мать – потом решите.

Призрак кивнул, но по-прежнему не отрывал взгляда от Безр-Шевы. В выкриках того слышалось не только неуважение к памяти Мамариты, но и еще что-то, куда более общее и разрушительное. Безр-Шева вообще отличался строптивостью, но обычно не переходил границу между недовольным ворчанием и открытым бунтом. Не то что сейчас... Безр-Шева секунду-другую держал фасон, но затем отвел глаза, оттолкнул руку Чоколаки и уселся на свой матрас.

– Здесь никто никого не заставляет, – спокойно проговорил Призрак. – И не держит. Хочешь уходить – уходи. Не хочешь копать – не копай. Все просто. Мы вместе только потому, что поодиночке не уцелеть. И в паре не уцелеть тоже. Если начнем ссориться, будет так же, как с командой Барбура... – он перевел взгляд на Тали. – Тали, понятно?

В ответ девушка топнула ногой и пошла к плите, к чайнику. «Интересно, она когда-нибудь отступает?» – подумал Призрак. Словно услышав его, Тали обернулась.

– Неужели мы такие ничтожества? – сказала она с горечью в голосе. – Неужели мы думаем только о том, как уцелеть? Разве в этом смысл, в этом цель – уцелеть? Уцелеть – это средство, а не цель.

– А что, по-твоему, цель? – насмешливо спросил Тайманец.

– Не знаю... – пожала плечами Тали. – Наверно – жить. И не просто жить, а жить правильно. Ты скажешь: кто знает – что правильно? И это действительно так. Но есть вещи, которые точно неправильны, которые сразу видны. Например, эта сволочь Ясмин. Например, просто закопать Мамариту и притвориться, что все на этом закончилось.

Безр-Шева присвистнул.

– Просто закопать? Ничего себе – «просто»! Просто тому, кто не копал, не стану указывать пальцем.

– Погоди-погоди, – перебил его Тайманец. – Тали, о чем ты? Что у нас такого с Мамаритой, светлая ей память, не закончилось?

– Ну как же, Тайманец, – Безр-Шева скорчил важную гримасу. – А надгробная плита? Про плиту-то мы совсем позабыли. Нехорошо, братья. Она ведь нам мамой была, правда, Призрак? Значит, так и напишем: «Мама призраков». И рисунок сделаем: ангел с лицом нашей Тали, а под ним надпись: «Цель не в том, чтоб уцелеть». А по периметру – привычный нам всем орнамент: «Тали, Тали, Тали... Тали, Тали, Тали... Тали... Тали...»

Чоколака прыснул в ладонь.



– Убить, – вдруг отчетливо и громко произнесла Тали, помешивая кофе в стаканчике.

В наступившей тишине слышался только стук ложечки.

– Что ты сказала? – переспросил Призрак.

– Убить, – повторила она. – Ее нужно убить, эту гадину. Мы должны убить ее, слышите? За Мамариту, за мужа ее Натана. За всех Менашей. Она ведь звала нас так – Менаши. Значит, и за себя тоже. Убить. Убить. Убить.

Тали отхлебнула из стакана. Какое-то время все молчали; наконец Хели тревожно прошептала:

– Тайманец, она ведь шутит, правда?

– Конечно, шутит, Хелинька, – ответил Тайманец и повернулся к Тали: – И как же ты планируешь это сделать?

Она пожала плечами:

– Не знаю. Вы тут мужчины. У вас есть автомат...

– Так! – прервал ее Безр-Шева, шумно поднимаясь с места. – Так! Вы как хотите, а я иду спать. Кто-то тут заболел. Душевно. Вдруг еще кусаться начнет...

Никто не ответил – ни словом, ни улыбкой. Остаток вечера гиды провели в молчании, избегая встречаться взглядами. «Она не отступит, – думал Призрак. – А значит, и я тоже. Ведь мы теперь вместе. Но это безумие, полное безумие. Прав Безр-Шева: кто-то тут заболел. Или наоборот: кто-то здоров, а все остальные больны. Что, в общем, одно и то же».

На следующее утро он отвел Тайманца в сторонку. Говорил, не глядя в глаза и с таким смущенным видом, что собеседнику казалось, будто Призрак и сам немало удивляется своим же собственным словам. Возможно, поэтому Тайманец не прогнал его сразу, а напротив, вступил в детальные объяснения.

– Призрак, братан, – сказал он, прилагая очевидные усилия к тому, чтобы звучать как можно деликатней. – Ты знаешь, я тебя уважаю, и все такое. Если бы ты тогда за мной не пошел... короче, я тебе жизнью обязан. Но то, о чем ты говоришь – законченная бредятина. Я понимаю, у вас с Тали любовь, и все такое. Но имей в виду: от любви люди глупеют, по себе знаю. Особенно от первой – тут вообще крыша съезжает так, что только лови. Ты вот наслушался ее вчерашней болтовни, всерьез все принял. Но Тали – женщина, а у женщин, братан, все иначе. У них ведь циклы всякие, болезни, настроения – никаким докторам не разобраться. Каждый час новый заскок с запросом. Сегодня блузка, завтра лысый ежик с Мадагаскара, а послезавтра наоборот – груша. Спрашивается, на хрена тебе сейчас гоняться за тем ежиком? Пережди денек, пока она грушу не попросит. Грушу и принесешь со всеми понтами.

– Нет, она не отступится, – помотал головой Призрак. – Да и не в Тали тут дело, а в словах ее. Скажешь, не права она?

– Да если даже и права, так что с того? Такими правыми кладбища под завязку полны. Ты что, и на пешеходный переход вступишь, когда на него грузовик несется? Нет, правда? А ведь там, на зебре, все права твои, а не грузовика. Почему же ты на тротуаре стоишь, ждешь? Потому что лучше быть живым и неправым, братан, чем правым, но мертвым.

– Почему мертвым? – не слишком уверенно возразил Призрак. – Если все хорошо спланировать...

Тайманец нетерпеливо хмыкнул.

– Кто спланирует, ты, что ли? Ты хоть раз в Рамалле бывал? Да что в Рамалле – в обычной деревне арабской... И как ты туда попадешь – пешком? И даже если попадешь – как ты там найдешь эту гниду? И даже если найдешь – как ты ее убьешь? Эта сучка ведь необязательно одна будет. Да даже если и одна... – она как-никак тюрьму прошла, в драках понимает, оружия не боится. А ты, стоило Кацу бритву достать, в паралич впал, руки поднять не мог, помнишь? Но даже если ты ее убьешь – куда потом отходить будешь, как спастись? Ну ладно, допустим, что ты призрак, тебя не увидят – но как спасутся все остальные? Подумай, дурачок: армия за подобной сволочью годами гоняется, годами! Армия – со всем ее опытом, оперативными штабами, вертолетами, беспилотниками, электроникой, осведомителями, спецназом, снайперами! И то – не всегда успешно. Он спланирует...

– Нас шестеро, Тайманец, – напомнил Призрак. – У тебя есть опыт, есть автомат...

– Ну да, пять десятков патронов, целый арсенал... – ухмыльнулся голанчик. – А шестеро – это один дезертир, три хлипких подростка и две девушки, одна из которых на сносях, а другая – сумасшедшая на всю голову. Что и говорить – такой группе захвата любой спецназ позавидует! И кстати, с чего ты взял, что нас... что вас и в самом деле шестеро? Пока что я вижу только двоих – тебя и твою Тали...

– погоди, – поспешно сказал Призрак. – Я ведь пока ни о чем конкретном не прошу – только о том, чтобы ты не говорил «нет» раньше времени. Дай мне шанс, Тайманец, дай немного подумать...

Голанчик пожал плечами:

– Думай не думай, грош не деньги...

Но Призрак думал. Думал, ужасаясь безумию затеи и втайне надеясь, что ее неосуществимость обнаружится как можно раньше. Так уговаривает себя грибник, заходя в темный, угрожающе нахмурившийся лес: вот только проверю под тем кустом и, если пусто, сразу же вернусь на поляну. Но там, под кустом, не пусто – там гриб. Ладно, тогда еще вон там, за деревом, чуть дальше. Он знает, что вероятность удачи мала, и тем унимает свое беспокойство – но гриб обнаруживается и под деревом. Полянка еще сквозит в просветах меж черными стволами – отчего бы тогда не убедиться в отсутствии грибов еще немного подальше, за тем небольшим буреломом? Всего лишь убедиться – осторожно, с оглядкой, и уже тогда... И он идет, и, внутренне содрогаясь, преодолевает неприятную, чреватую змеями канаву, и раздвигает ветви, и к ужасу своему обнаруживает целую колонию боровиков. К ужасу, но и к радости – не бросать же такое богатство... И он принимается срезать их, одного за другим, а когда наконец поднимает голову, то нет уже ни поляны, ни просвета, ни выхода – лишь непролазные заросли вокруг, и чьи-то страшные глаза в зарослях, и он сам уже не добытчик, а добыча.

Нечто подобное происходило и с Призраком. Стоило ему подумать о невозможности проникнуть в Рамаллу без проводника, как в памяти тут же услужливо всплывал образ Мухи, Мухаммада, маленького бедуина, исполнявшего при Барбуре обязанности курьера и

связного. Связной – это от слова «связь»; с чем связь? – да вот с нею и связь, с Рамаллой. Значит, возможно, Призрак? Возможно проникнуть, возможно отыскать там мерзкую Ясмин? Выходит, что так.

Вот только Муха задарма пальцем о палец не ударит. На Барбура он работал за деньги. Чем заплатишь ему ты, Призрак? Но едва он успевал обрадоваться спасительному тупику, как вспоминал о складе наверху, на Би-десять. Спрятанный там гашиш наверняка стоил немало – достаточно для того, чтобы подкупить бедуина. Пусть забирает себе все, без остатка. Нет, для начала нужно выдать ему пакет другой, чтобы глаза загорелись. Затем – половину вперед, по достижении соглашения. И оставшуюся половину – в Рамалле, у дверей дома, где живет эта гадина. Или даже нет: вторую половину отдавать только по возвращении в Комплекс – вот тебе и безопасный отход.

А что произойдет в доме Ясмин? Тут Призрак не отрицал, что вступает в поле неизвестности. Но опять же – неизвестность не означала невозможности, а потому не могла считаться тупиком. Допустим, гадина будет не одна, а с телохранителями, или с друзьями, или с семьей. Тогда на стороне нападающих будет эффект неожиданности и, конечно, оружие. Прежде всего, автомат Тайманца. Был еще и пистолетик, который, уезжая, оставил Призраку Барбур, но одним лишь пистолетиком предполагаемых друзей-телохранителей не испугаешь. И вообще понадобятся люди – держать на мушке, вязать, наблюдать за ситуацией. Девочки исключаются – значит, кроме Призрака и Тайманца должны участвовать еще и Безр-Шева с Чоколакой. Как раз четверо, полная машина, если Муха – водитель.

Свидетелей нужно не просто связать, но еще и заткнуть рты, обездвижить полностью, чтобы они не успели поднять тревогу и затруднить отход. Впрочем, бедуин Муха должен хорошо знать обходные пути-дороги, так что блокпосты им не помеха, главное – отъехать от дома хотя бы на несколько кварталов... И еще один вопрос, неприятным пятном маячивший где-то в затылке, – кто? Кто раздавит гадину? Интуиция подсказывала Призраку, что эту отвратную задачу он вынужден будет взять на себя. Он так и видел гримасу на лице Безр-Шевы, когда тот скажет: «Ты эту кашу заварил, ты и режь...»

Потому что, видимо, придется резать. Стрелять нельзя – услышат соседи или на улице. Гадина перерезала Менашу горло, так что будет справедливо подвергнуть ее точно такой же казни. Должно быть просто: взять за волосы, запрокинуть башку лбом вверх и... А если она будет смотреть? Завязать глаза. А если... – заклеить рот. Представив себе получившуюся картину, Призрак почувствовал приступ тошноты. Плохой знак: палач из него выходил, прямо скажем, неважный, ненадежный – и это в ситуации, когда требовалась максимальная надежность во всем, что зависело от них самих. Может, получится уговорить Тайманца?

Так или иначе, голанчик и его автомат были жизненно необходимыми элементами плана. Важным представлялось и участие двух других парней – по меньшей мере, Безр-Шевы... хотя и Чоколака не помешал бы. Да и вообще – если эти двое согласятся, то Тайманец почти наверняка присоединится к компании. Ведь невозможно представить, что голанчик будет праздновать труса, когда все остальные мужчины выходят на опасное дело. Это соображе-

ние превращало Безр-Шеву в ключевую фигуру – от него теперь зависело едва ли не все...

Зазвонил мобильный.

– Да.

– Это Комплекс?

– Да.

Незнакомый голос, какая-то девчонка – видимо, клиентка.

– Мы как бы договаривались на сегодня, на час дня.

– Да.

– Мы не придем. Как бы другие планы.

Призрак удивленно хмыкнул – по инициативе хомячков экскурсии отменялись крайне редко. Кто же станет ждать битых два месяца, а потом отказываться от своей очереди? Он достал блокнот с расписанием. Вчерашние туры пришлось переносить из-за Мамариты, а теперь еще и эта отмена...

– О'кей, вычеркиваю... – он помолчал и, не услышав ожидаемого продолжения, спросил сам: – Застолбить на другой срок? Сейчас есть только на март.

Хомячиха на другом конце линии замаялась. Призрак так и видел ее – на уютной родительской кухне, в домашней блузе, мягких штанах и шлепанцах. Видел, как она задумчиво тербит пальцем нижнюю губу, будто помешивая во рту кашу ответного предложения, где немногие значащие слова густо заправлены неизменными «как бы».

– Да нет, как бы спасибо, – выдала наконец хомячиха. – Пока не надо. Как бы если надумаем...

– О'кей.

Призрак едва закрыл мобильник, как тот зазвонил опять. Снова отмена. Затем еще одна, и еще... Происходило что-то странное, неприятное и неудержимое, как обвал. Он набрал номер Безр-Шевы, которого не видел с самого утра. Телефон не отвечал.

– Призрак, у тебя все в порядке?

Он обернулся к Хели, которая восседала на своем обычном наблюдательном посту – у оконного проема и с биноклем в руках. Рядом, привалившись плечом к стене, дремал Тайманец. «Хоть это по-прежнему», – подумал Призрак.

– Конечно, Хели, – ответил он. – Только наблюдай за двором, а не за комнатой, ладно? Ты Чоколаку не видела?

– Они с Безр-Шевой ушли куда-то. Наверное, батарейки заряжать... Призрак, а почему экскурсий нет? Ты на сегодня тоже отменил?

– Отменил, отменил...

Его снедало беспокойство – поначалу малое, но теперь разросшееся до пухлого кома под ложечкой, до противной дрожи в коленках. В последние двое суток произошло слишком много событий: неожиданный визит матери, смерть Мамариты, похороны... Но главное – Тали. «Тали, Тали, Тали» – совсем как на граффити покойного Дикого Ромео. Тали поглощала теперь все его мысли, мешала сосредоточиться на чем-либо другом; он ощущал ее присутствие, даже когда она находилась не рядом, а в соседней комнате – видел, не глядя, слышал, не вслушиваясь. Он чувствовал ее так, словно она прижата к нему вплотную, грудь на грудь, живот к животу – будто они еще там, на Би-десять, в темной прихожей О-О – и от

этого у Призрака перехватывало дыхание, и приходилось ловить воздух ртом, как притомившемуся бегуну-стайеру.

После возвращения с Би-десять они еще ни разу толком не поговорили, более того – избегали оставаться наедине друг с другом. Возможно, им мешал страх, чувство самосохранения: воображаемое, нутряное ощущение другого было настолько интенсивным, что, казалось, сердце не выдержит реальной близости, настоящего прикосновения, даже простого обмена ничего не значащими словами. Вот и сейчас, с усилием пытаюсь сконцентрироваться на происходящем, Призрак не мог избавиться от этого томительного наваждения. Тревожный ком беспокойства ворочался на фоне иной, мешающей картины, почти завесы, которую он видел, не оборачиваясь: Тали – скорее всего спиной к нему – стоит у плиты, на пятачке, отполированном тапками Мамариты, стоит и помешивает кашу, вечную мамаритину кашу.

Завтракали без Безр-Шевы и Чоколаки – те вернулись лишь к полудню. Чоколака выглядел смущенным, избегал смотреть в глаза и почти сразу же залег на матрас, подальше от вопросов. Призрак не стал торопить события, ждал. И действительно, Безр-Шева подошел сам:

– Разговор есть, командир.

– Ага. И у меня к тебе тоже.

Безр-Шева хмыкнул; во взгляде его сквозила отчужденность.

– Бомжи уходят, – сказал он.

– Как уходят? Куда уходят?

– Как-как... – ногами уходят. А куда... – какая тебе разница?

– Да, но чего это вдруг? – растерянно проговорил Призрак.

– Чувствуют, что жареным запахло, – пожал плечами Безр-Шева. – Они ведь как крысы, раньше всех пробоину чуют. Титаник наш того-этого... скоро ко дну пойдет.

– Погоди, – Призрак недоверчиво потряс головой. – Ты можешь толком объяснить, что случилось? Без крыс и без Титаника. Так, чтобы даже такой дурак, как я, понял.

Безр-Шева ухмыльнулся.

– А и верно, командир. Раньше ты вроде умнее был. Нашел, когда голову терять. Не ко времени, командир, не ко времени.

Призрак молча проглотил обиду.

– Экскурсий сегодня не было. Сам отменил? – спросил Безр-Шева.

– Нет. Звонили с отменами. Обвалом, все сразу.

– Вот! – Безр-Шева со значением поднял палец. – Доказательство налицо. Не знаю, что им там по радио про Комплекс наговорили, что по телику показали... Может, демонстрацию твоей мамы, может полицию с угрозами, может, еще что, только теперь они сюда не хотят. Кто-то вообще не хочет, кто-то временно – типа пережидает, но факт – никто не хочет. Это раз. Сами мы тоже, считай, без крыши. Хомячков без Русли и без Каца не приструнишь, не образумишь, порядок не наведешь. Это два.

– Ерунду говоришь, – перебил его Призрак. – Барбур вернется – новых горилл приведет.

– Барбур не вернется! – веско припечатал Безр-Шева. – И это, братан, три. Я сегодня с Шимшоном разговаривал. Пришлось на

шоссе идти – на телефон не отвечал, старый козел. Спекся наш Барбур. Исчез с концами. Поговаривают, что большие боссы его на рыбалку взяли. Заместо подкормки. Может, ты не в курсе, но он с легавыми хороводы водил. Вот и дохороводился. Шимшон точно знает, сто процентов.

Он замолчал, с нескрываемым удовольствием разглядывая растерянное лицо Призрака. Но тому было не до фасона: привычная размеренная жизнь рушилась прямо на глазах, и на первый взгляд, ухватиться было решительно не за что.

– И что же теперь... – пробормотал он, поднося руку ко лбу.

– Есть еще и четыре, – многообещающе улыбнулся Безр-Шева. – Мы с Чоколакой к охраннику заходили. Чаек, кофеек, батареика... – заодно и потрындели. Облава готовится, Призрак. Большая облава, как когда-то, с анхуманами. Достала-таки полицию твоя мамаша, чтоб она была здорова. Вычистят наш Комплекс до последнего закоулочка. А может, и вовсе...

Он быстро оглянулся и перестал улыбаться.

– Что вовсе? – не понял Призрак.

– Взорвут вовсе, – почему-то шепотом произнес Безр-Шева, наклоняясь к уху Призрака. – Охранник говорит, не решили пока. Но есть вероятность...

Он снова выпрямился и продолжил уже своим обычным тоном:

– Короче, нечего тут больше ловить. Так что уходим мы с Чоколакой. Завтра утречком и двинемся. Шимшон до города довезет, я уже договорился...

– Ага... – рассеянно кивнул Призрак.

– Что «ага»? – удивился Безр-Шева, явно ожидавший от него совсем другой реакции. – Ты вообще слышал, что я сказал? Мы с Чоколакой уходим. Завтра! Ты слышишь?

– Слышу, слышу, не кричи, – отвечал начальник гидов, поднимая на приятеля спокойные глаза. – Вот ты, оказывается, почему таким петухом ходишь... не сегодня ведь решил, давно за пазухой носишь. Так?

– А ты чего ждал... – начал было тот, но Призрак остановил:

– Не надо, братан. Все и так ясно. Доброго вам пути.

Он похлопал слегка оторопевшего Безр-Шеву по плечу и пошел прочь. Теперь, когда выяснилось, что уже поздно уговаривать ребят на участие в рамалльском деле, настроение Призрака сильно улучшилось. Напрасно он напоминал себе, что радоваться, в сущности, нечему. Налаженная, казавшаяся такой прочной жизнь разваливалась буквально на глазах. Уход бомжей говорил сам за себя – они больше не верили в то, что получают здесь кров и защиту. Действительно, хозяин Комплекса Барбур олицетворял собой не просто верховную власть, но еще и сразу три крыши одновременно – Шабак, полицию и бандитов. С его уходом столь сложная система противовесов неизбежно должна была пойти вразнос. За что его убрали? Ведь он наверняка приносил своим большим боссам прибыль и вряд ли стал бы жульничать с такими опасными людьми. Неужели из-за мерзавца Каца? Вполне может быть – не зря Барбур так боялся поставить этого бандита на место. Наверное, чей-то родственничек, сволочь...

А впрочем, какая разница...

Но все-таки радоваться есть чему. Теперь он чист перед Тали. Теперь он может честно сказать и ей, и самому себе, что сделал все от него зависящее. Придумал рабочий план – сомнительный, но в принципе осуществимый. И не его вина, что Безр-Шева с Чоколакой уходят, что после их ухода Тайманец и подавно не согласится на подобную авантюру. И значит, нужно просто продолжать жить. Жить вместе, вчетвером. Вот только где? Если и впрямь готовится облава, то в Комплексе оставаться нельзя. Видимо, нужно найти пока какой-нибудь сквот – временно, до конца зимы. Вообще-то, на экскурсиях они заработали достаточно денег, чтобы снять недорогую квартиру где-нибудь подальше, на периферии. Например, в том же Иерухаме, у каких-нибудь знакомых Боаза, закадычного друга по интернату. Люди свои, прикроют в случае чего... А потом, когда шум уляжется, можно будет снова вернуться сюда и зажить как прежде.

Да-да, именно это он ей и скажет. Это хороший повод подойти – не просто так, а с делом, с разговором... Тали сидела у стены на матрасе, читала новости с экранчика ай-фона. Когда Призрак подошел, она поднялась и, не глядя на него, не сказав ни слова, вышла из комнаты. Он не удивился, потому что знал: сейчас нужно идти следом и ни о чем не думать, всего лишь идти, и все. Они дошли до торцевой комнаты – той самой, откуда столетие назад наблюдали за демонстрацией жукачек. В оконном проеме под сияющей синевой неба зеленел плюшевый склон, по шоссе, натужно рыча, полз грузовик. Рядом с будкой охранника стоял полицейский джип; двое пограничников, прислонившись к капоту, потягивали кофе из кружек.

– Тали... – сказал Призрак ей в спину.

Она обернулась и обняла его; он почувствовал на лице прикосновение ее волос, ее губы на своих губах и перестал думать о чем-либо.

– Почему ты так долго не приходил? – прошептала Тали. – Я чем-то обидела тебя? Что случилось?

Призрак смотрел на ее шевелящиеся губы – их вкус еще не растаял у него во рту, и казалось странным, что такое невероятное чудо может предназначаться еще и для речи. Он снова потянулся к поцелую, но Тали повернула голову, и ему достались висок, ухо и безумно дорогой завиток волос над шеей – ничуть, как выяснилось, не хуже. Тали тихонько засмеялась – это был такой же смех, который он слышал от нее позавчера наверху – особый смех счастья, и счастьем было сознать, что причиной этому смеху был именно он, и никто другой.

– Подожди, – пробормотала она, отстраняясь. – Не надо. Странный вы ухажер, господин Призрак. То сутками внимания не обращаете, а то набрасываетесь на бедную девушку, аки лев рыкающий... Что происходит?

– Я люблю тебя, – объяснил он.

– Знаю, – кивнула Тали, – но я не об этом спрашиваю, глупый. Что происходит вообще?

– Вообще... – Призрак нахмурился, чтобы привести мысли в относительный порядок. – Вообще плохо. Полиция облаву готовит. Барбур, похоже, не вернется. Бомжи бегут, и нелегалы, видимо, тоже. Но хуже всего, что Безр-Шева уходит, а с ним и Чоколака...

– Неразлучная парочка... – улыбнулась она.

– Ну да. Никогда не мог понять, что держит их вместе.

Тали подняла брови.

– Это просто, милый. Ни один из них не уверен, кто именно столкнул с крыши того парня. Вот и приходится все время держать перед глазами другой, щадящий вариант. Возможно, мол, виноват не я, а как раз-таки он... Так легче справиться. Они теперь повязаны навсегда – больше-то свидетелей нет.

Призрак покачал головой. Что ж, возможно, и так. Они еще стояли рядом, почти вплотную, но уже не так тесно, не так близко, как прежде, – будто из десятка-другого прозвучавших слов соткалась сама собой незримая занавесь, перегородка, стена. Слова, слова... – их уже набралось слишком много, а теперь Призрак еще и подыскивал новые – те, которые должны были объяснить Тали значение ухода Безр-Шевы. Собственно, с этой мыслью он и шел к ней – до того момента, как она обернулась, чтобы закинуть руки ему за шею.

– Как бы то ни было, – проговорил Призрак, стараясь сосредоточиться, – теперь ситуация изменилась к худшему. Знаешь, я ведь придумал план, как нам достать эту гадину.

– Да, – глядя в сторону, тихо сказала Тали.

– Через Муху, – продолжал он. – Есть тут такой бедуин, помогал Барбуру с контрабандой. Он мог бы отвезти нас в Рамаллу... и обратно. А заплатить ему можно теми пакетами... ну, теми, которые лежат наверху, в нашей комнате. Помнишь?

Она отрешенно кивнула. Призрак глубоко вздохнул. Теперь, после того как он обрисовал ей направление своих искренних усилий, настало время объявить об их провале. Не по его вине.

– Ну вот. Короче, я стал думать, как сформировать команду. У Тайманца есть автомат, поэтому...

– Подожди... – вдруг перебила его Тали. – В любом случае прежде всего нужно узнать ее адрес. Сначала адрес, а потом все остальное.

– Адрес? – удивленно переспросил Призрак. – Муха знает в Рамалле все ходы и выходы...

– Муха? – фыркнула Тали. – Муха совсем по другой части. Ты же сам говоришь – контрабандист. А гадина теперь в политике. Нет-нет, тут нужно иначе. И я даже знаю как. Не догадываешься?

Призрак молча смотрел на нее, застигнутый врасплох неожиданным поворотом разговора. Тали торжествующим жестом подняла вверх указательный палец.

– Через твою маменьку, вот как! У нее наверняка записаны координаты Ясмин. Если уж они вместе демонстрируют, то иначе просто быть не может! Ну? Что скажешь?

– Что... скажу... – с трудом выговорил Призрак. – А что я скажу...

– В общем, так, – победно объявила Тали. – Завтра первым же автобусом мы отправляемся к тебе в Тель-Авив. Я узнавала, есть рейс, останавливается у будки по требованию. Дождемся, пока твои родаки слинянут, и зайдем. У тебя ведь ключик остался, правда? Ну вот. Ты поищешь адресок гадины, а я пока нормальный душ приму. Знал бы ты, как мне не хватает нормального душа... У-ух...

Тали мечтательно закатила глаза. «Ну же, скажи ей! – скомандовал себе Призрак. – Скажи, что нет уже никакого смысла ехать за этим адресом! Говори, идиот!»

– Хорошо, поедem, – произнес он вслух. – В котором часу автобус?



## 17

Автобус подошел в семь с минутами. Водитель от неожиданности проскочил остановку и затем подавал задним ходом.

– Откуда вы тут взялись, такие красивые, посреди пустыни? – пошутил он, отрывая билеты. – Джинны? Духи? Привидения?

– Призраки, – ухмыльнулась Тали.

В салоне было пусто, но они все равно сели в конце, чтобы никто не мешал. Автобус отъехал; в мутном окне качнулась громада Комплекса – качнулась и уплыла за поворот, как за кулисы. Теперь там, на Эй-восемь, остались лишь Хели с Тайманцем. Безр-Шева и Чоколака ушли еще засветло, опасаясь пропустить Шимшона. Прощание получилось поспешным, неловким, как бывает, когда прощаются не слишком приятные друг другу люди. Какой смысл вываливать накопившуюся желчь, если все равно расстанешься? Уж лучше покончить с этим поскорее... – бай-бай, удачи вам... – счастливо оставаться... – угу... – ну, мы пошли... – ага.

Когда затем Тали сказала, что им с Призраком нужно тоже отъехать в Тель-Авив на полдня, Хели и Тайманец только переглянулись.

– Что? – смущенно проговорил Призрак. – Что вы так смотрите? Мы вернемся, не думайте.

Те синхронно кивнули. Похоже, их не интересовало, какие именно дела были у друзей в Тель-Авиве; они просто отнюдь не возражали против того, чтобы немного побыть вдвоем.

Тали сидела у окна; Призрак прижал к себе ее локоть, она повернула голову и улыбнулась. Улыбка вышла медленной и тягучей, она все длилась и длилась, заслоняя собой весь мир... – движение влажных, подрагивающих, дразнящих и обещающих губ.

– Эй, привидения, – сказал водитель в микрофон. – Вы там не слишком балуйте, ладно? Сейчас народ начнет заходить, не смущайте пассажиров...

Тали весело помахала рукой – мол, поняли, не волнуйся. Непрямой, долгий маршрут петлял, чтобы охватить все окрестные поселения. Дорога славилась специфическими местными неприятностями, а потому автобус был бронирован от греха подальше и даже небольшие подъемы брал с напрягом, словно штангист штангу. Машину ритмично покачивало, как лодку на медленно вздымающейся груди моря, Тали трогала грудью его плечо, за окном подрагивали напрягшиеся ягодичы холмов, они соприкасались бедрами, и солнце ослепительной молнией вспыхивало в зеркальцах луж на земле, размокшей от любви, жаждущей ласки и семени.

Она смотрела в окно, чтобы не смотреть на него, потому что иначе вселенная просто треснула бы, расползлась бы по швам, как старый матрас, как старый матрас там, в прихожей О-О, как старый матрас, пропахший благоуханным потом их слипшихся тел. Из нее просто выскочили бы пружины, из этой старой, кишасей блохами звезд дуры, из этой тесной холодноватой дуры, забывшей, каким сильным бывает это томление, как туга эта неизбежная темная тягучая тяга, эта дрожь напряженного живота, мед и молоко расплавленных чресел.

Их бесстыжая, не знающая узды любовь переполняла автобус. На остановках входили люди, садились рядом и спустя несколько

минут пересаживались подальше. Кто-то, улыбаясь, качал головой, кто-то возмущался. «Совсем стыд потеряли!» – сердито прошипела какая-то женщина. «Почему? – краем плывущего, томящегося сознания удивлялся Призрак. – Мы ведь ничего такого не делаем... мы даже не целуемся, мы даже не гладим друг друга – просто неподвижно сидим рядом... Неужели это так видно? Ну и пусть... – какое нам дело до того, что там и кому видно...»

На Центральном автовокзале они вышли последними – не могли подняться с сиденья.

– Слышь, ребяташки, – окликнул их шутник-водитель, перед тем как закрыть двери, – вам бы в голубом кино сниматься. Можно прямо в одежде, не раздеваясь.

Призрак хотел было обидеться, но потом только махнул рукой – на большее все равно не хватало сил. Тали посмотрела и засмеялась:

– Бедный, у тебя круги под глазами... пойдем, скорее!

Они забежали в ближайший сквер и целовались, пока не пришли в себя.

Код замка в подъезде не изменился – Призрак вспомнил его пальцами, рефлекторно. Обычно по утрам Ариэла Голан вела программу на радио, а генерал уезжал на базу или в Генштаб. Но на всякий случай Тали позвонила в дверь – проверить, что в квартире никого нет, – а затем уже подошел и Призрак. Конечно, еще со времен тюрьги у него не было ключа от дома. Но Ариэла, как правило, оставляла ключ в условленном месте, дабы соратницы имели возможность вести свою борьбу непрерывно, не задерживаясь ни на минуту перед запертой дверью штаб-квартиры. Он и теперь лежал там, за створкой силового шкафа на лестничной площадке.

Призрак вошел в гостиную и остановился. Сколько времени он не был здесь – три года?... четыре? Все тот же беспорядок, тот же запах краски и клея, те же обрывки тех же кумачовых лозунгов, чтоб они сгорели. Сюда его внесли, недельного, крошечным несмысленным свертком. Сюда он вбегал на кривых толстеньких ножках, торопясь на редкий материнский зов: «Ицхак! Ицха-ак! Покажись гостям!...»

Он вскинул вверх обе руки с оттопыренными средними пальцами: нате, смотрите, гости дорогие! В зад вам ваши же флаги! Тали тихо обняла его за плечи, прижалась к спине:

– Не надо, милый. У нас мало времени...

Призрак потряс головой:

– Да-да. Я поищу, а ты иди в душ. Последняя дверь справа по коридору.

Она кивнула и ушла. «Так, – подумал Призрак, заставляя себя сосредоточиться. – Где это может быть? Помню, был у нее в свое время еженедельник – пухлый, большой, с торчащими во все стороны разноцветными закладками. Ну и конечно, миллион клочков, записочек, обрывков бумаги, разбросанных повсюду, куда только может ступить нога таракана...»

Еженедельник попался ему на глаза почти сразу – лежал как миленький на журнальном столике среди прочего бумажного хлама. Призрак бегло пролистал два десятка последних страниц, уделив особое внимание демонстрации жукачек перед Комплексом. Искомое имя встречалось там несколько раз: «Не забыть о встрече с Ясмин!..»

Позвонить Ясмин по поводу количества... Ясмин – интервью!..» – но, увы, без адреса, телефона и каких-либо других координат. Он быстро обошел гостиную, проверяя записки и клочки бумаги, примагниченные к холодильнику, приклеенные к стеклам книжных шкафов, просто валяющиеся на столе, на подоконниках, на полу... – ноль, ничего.

Кроме большой гостиной в квартире было еще пять комнат: спальня родителей, библиотека, кабинет и две детские комнаты, давно уже используемые как гостевые. В библиотеке стоял бильярдный стол, мать туда почти не заходила, так что оставалось проверить лишь кабинет и спальню. Призрак бегло осмотрел письменный стол, порылся в выдвижных ящиках, нашел два старых еженедельника – прошлогодний и позапрошлогодний – там гадина даже не упоминалась. Теперь спальня, и можно будет со спокойным сердцем уходить.

Призрак помедлил перед тем как войти. Если где-то в этом мире и существовало место, связанное для него с образом родительской привязанности, то оно было здесь, в этой спальне. Сюда ему, маленькому, до поры до времени дозволялось приходить по утрам и забираться под одеяло со стороны мамы, в теплый ласковый рай детства, в беззаботное и, как довольно скоро выяснилось, обманчивое ощущение счастья и любви. Только тут она и вела себя как мама... – видимо, со сна, еще не вполне проснувшись, а потому еще не успев напялить на себя козью морду феминистки и общественного борца за свободу черт знает кого от хрен знает чего...

Он переступил порог. Наверно, мать убегала в спешке, и кровать была не убрана. Призрак втянул носом воздух – пахло в точности как тогда, в детстве. Не слишком сознавая, что делает, он подошел к постели и забрался с головой под одеяло – как был, в куртке и сапогах. Он не сразу понял, что плачет, а поняв, не стал останавливать слез. Когда-нибудь они должны были пролиться – теперь уже до конца, безвозвратно, раз и навсегда.

Замок входной двери щелкнул, когда Призрак уже сидел на кровати. Похолодев, он вскочил и прислушался к звуку знакомых шагов в гостиной. Мать! Мать вернулась из студии! Почему так рано? Он бросил взгляд на часы – черт!.. вовсе не рано, он просто потерял счет времени. Сдерживая суматошно зашедшее сердце, Призрак стоял у двери, пытаясь по доносившимся до него звукам представить, что сейчас делает Ариэла. Вот она поставила чайник... вот подхватила газету, развернула, бросила назад... вот она идет... идет сюда, в его направлении! Черт! Тали принимает душ!.. Нет, звука льющейся воды уже не было...

Ариэла Голан миновала спальню, вошла в туалет и прикрыла за собой дверь. Стараясь ступать бесшумно, Призрак выскочил в коридор, в три прыжка добежал до ванной. Тали стояла перед зеркалом в материнском халате и вдохновенно расчесывала волосы.

– Скорее! Мать вернулась!

Призрак быстро подхватил с пола талину одежду. Из туалета слышался шум спускаемого бачка.

– За мной, быстро!

Они заскочили в одну из детских комнат почти одновременно с тем, как Ариэла вышла из туалета. Призрак обессиленно прислонился к двери. Тали смотрела на него с насмешливым удивлением. Сама она ничуть не испугалась.

– Тали, одевайся!

– Сейчас, милый. Я еще не закончила причесываться. У девушек это, знаешь ли, долго.

– Тали, быстрее! – взмолился он. – Она сейчас поймет, что в квартире кто-то есть. Мы должны уходить.

Тали подняла брови.

– Как? Ты не познакомишь меня со своей мамой? Я думала, что у джентльмена серьезные намерения...

– Тали! – свистящим шепотом произнес Призрак. – Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Думаешь, она напоит нас чаем? Она сразу же вызовет полицию. Одевайся, быстро!

– Ладно, ладно... – Тали покачала головой. – Ну и паника, однако... Где ты только таких любящих родаков нашел? Не смотри, я снимаю халат. А это что, твоя бывшая комната? Интересно...

– Тали, быстрее!

Слегка приоткрыв дверь, он вслушивался в происходящее в гостиной. Так, туалет уже был... в душ мать, скорее всего, сейчас не полезет... но переодеться-то она должна! Переодеться – это значит зайти в спальню. Если пропустить этот единственный удобный момент, тогда уже точно не выбраться... Вот она, идет! Призрак оглянулся на Тали – уже одетая, та с любопытством оглядывала комнату. Он схватил ее за руку.

– Бежим!

На цыпочках они пролетели мимо полуоткрытой двери в спальню – Призрак успел заметить мать, удивленно разглядывающую грязные пятна на простыне. Коридор казался бесконечным – Призрак, как во сне, передвигал ватные ноги, каждую секунду ожидая услышать за спиной окрик... – гостиная... – упрямый замок на двери... – быстрее, быстрее...

– Успокойся, – шепнула сзади Тали. – Никто нас не тронет. Я за тебя кого хочешь убью. И кого не хочешь тоже.

Наконец замок поддался, они выскользнули наружу. Призрак не стал дожидаться лифта, загрохотал сапогами вниз по лестнице. Уже на улице остановились перевести дух.

– Ну ты даешь, – покачала головой Тали. – Неужели все настолько плохо?

– Уходим, – сказал Призрак. – Чем быстрее, тем лучше...

Прямой обратный рейс был только вечером, поэтому поехали на перекладных, с пересадками: маршрутка до автовокзала, междугородний автобус до Иерусалима, городской до северного блокпоста и дальше на попутке. Призрак молчал, подавленный не столько приключениями в квартире Голанов, сколько своей реакцией – неожиданно сильной, даже панической. Чего он так испугался? Остроты положения? Глупости – не ему, с раннего возраста привыкшему разруливать опасные сложности, бояться подобных ситуаций. Вызова полиции? Ерунда – что ему могла сделать полиция, даже если бы поймала? Поддержали бы в участке часик-другой, да и выпустили бы. Максимум – вернулся бы на несколько месяцев в колонию, думаешь...

Встреча с собственной матерью – вот что испугало его до дрожи в коленках. Его, не пасовавшего перед смертью, перед бандитами,

перед ножом! Почему? Да потому, что он скорее сдохнет, чем вернется в прежнее бытие. Потому что он предпочитает быть призраком, быть никем – только не суррогатным ицхаком – вот почему!

Тали тоже сочувственно помалкивала, безошибочным чутьем поймав единственно верную линию поведения. Впрочем, приближался час пик, и транспорт был почти под завязку забит пассажирами, так что сестра рядом они смогли лишь на подъезде к блокпосту, у самого кольца.

– Извини, – сказал Призрак, погладив ее по руке.

– За что? – искренне удивилась Тали.

– Ты еще спрашиваешь... за все... – он неловко поерзал на сиденье. – За беготню эту унижительную. Да и вообще – весь день в разъездах. Автобусы, автобусы, автобусы... Не знаю, как ты, а я отвык. Было бы еще с пользой, а то ведь впустую. Только день зря убили.

– Вовсе не зря, – возразила она. – Ты что, ничего не нашел? Ни адреса, ни телефона?

Призрак развел руками.

– По нулям. Обшарил все, что можно. Гостиную, кабинет, спальню. Ежедневники и блокноты, записки и записочки... Нигде, ничего.

– Ну, не совсем, – важно произнесла Тали, сделав загадочное лицо. – Кое-где кое-что как раз-таки было... Ты ведь пришел туда не один, а с лучшей сыщицей в мире.

– Ну и где же лучшая сыщица в мире отыскала это кое-что? – улыбнулся Призрак. – В ванной, под душем?

– Вот видишь, ты уже улыбаешься, – радостно сказала она. – А теперь посмотри на это!

Тали полезла в карман куртки и вытащила ай-фон. Призрак непонимающе помотал головой.

– погоди, при чем тут твой ай-фон? Опять раскопала что-то в новостях? Нашла ее адрес в Гугле?

Она рассмеялась.

– Это не мой ай-фон, глупый ты призрачище. Это ай-фон твоей мамы. Последняя модель, круче моей. Завидую. Я прихватила его, когда ты волок меня к выходу через гостиную.

– Прихватила...

– Ну да. С журнального столика.

– Там не было...

– Да что ты так тормозишь-то? – нетерпеливо воскликнула Тали. – Когда ты смотрел, не было. Потом она вернулась. Сняла плащ. Вынула из него телефон. Положила на столик. Как делают все нормальные люди. Что тут такого сложного? Выходим, наша остановка!

Они вышли у блокпоста и почти сразу же поймали попутку, так что обсуждение пришлось прекратить. «Вот уж улов так улов! – думал Призрак, глядя на мелькающие за окном холмы зимней пустыни. – В мобильном есть и телефонный справочник, и список недавних звонков. Наверняка они переговаривались накануне демонстрации... можно будет вычислить номер гадины. Не то чтобы это что-то меняло... Но Тали-то, Тали какова! Вот уж кто действительно никогда не сдастся...»

Когда Призрак попросил остановить машину у едва заметной тропки, водитель-поселенец в вязаной кипе, непонятно как держащейся на гладко выбритой голове, сначала удивился, а потом понял:

– Вы что, в Комплекс? Слышал, слышал... Зря вы это, ребята. Говорят, там гибнут ни за грош.

– Ничего, мы осторожно, – заверила его Тали.

– Угу, – с явным сомнением кивнул поселенец. – Скорей бы его уже взорвали...

За один солнечный день тропинка успела подсохнуть; они ходко шли к Комплексу, наслаждаясь сухим прохладным воздухом, запахом пробившейся к свету травы, горьковатым привкусом близких солончаков Мертвого моря. Вдруг Тали остановилась, чтобы поцеловать Призрака.

– Вот тебе, – сказала она и продолжила движение по тропинке.

– За что подарок?

– За то, что ты такой, – отозвалась Тали. – Никогда не сдаешься. Я на твоём месте уже давно перестала бы дрыгаться.

В Комплексе что-то изменилось – они осознали это, едва ступив на бетонный пол цокольного этажа.

– Ты слышишь? – спросил Призрак, подняв палец.

– Что?

– Эту тишину...

Тали кивнула. Здание и в самом деле встретило их тишиной запустения. Можно было не заходить на уровни корпуса Си, чтобы убедиться в том, что они полностью покинуты прежними обитателями. Ушли не только арабы-рабочие и бомжи, но и нелегалы; теперь в Комплексе оставались лишь собаки в подполье и четверо гидов на Эй восемь... – если, конечно, за время их отсутствия ничего не случилось с Хели и Тайманцем.

Снедаемые дурным предчувствием, они взлетели вверх по лестнице. Вот и этаж гидов... их главный зал... – никого! Тали бросилась в комнату девушек... – нет! Призрак пробежался по всем другим помещениям, проверил на крыше... – пусто! Они уныло вернулись в зал – такой знакомый и такой осиротевший. Еще каких-то три дня назад они вшестером валялись, перекидываясь шутками, вот на этих матрасах, а там, у плиты, помешивая кашу, стояла уютная Мамарита в халате и шлепанцах: «Менаш, иди завтракать, остынет...»

– Призрак, смотри!

На плите, прижатый хелиным биноклем, лежал бумажный листок. Письмо от Тайманца. Призрак взял и стал читать вслух:

«Призрак, братан, мы ушли. Извини и не обижайся. И Тали скажи, чтобы тоже не обижалась. Хелинька хотела ей сама написать, но не смогла. Плачет, говорит, что стыдно. Женщины, что с них взять. Давай, говорит, сейчас уйдем, пока их нету, чтобы в глаза не смотреть.

Но ты мужик правильный, хотя и ашкеназ, ты поймешь. Ей ведь рожать надо. Значит, больница и все такое. Она говорит, что у ней никого, кроме меня, нету. Честно говоря, и у меня тоже. Я буду о ней заботиться и о ребенке. Денег у нас немного есть, а много и не надо. Она пока пойдет в приют для религиозных, там о ней позаботятся. Есть такой в Иерусалиме, мы узнавали. А я в это время отсижу свое. Долбану явку с повинной, спою песню про тяжелое сефардское детство. Ашкеназские прокуроры

*этого любят, много не дадут. Может, год, может, полтора, но с отпусками. А Хелинька меня ждать будет, я знаю. Все равно нам деваться некуда, кроме как так.*

*Хели сейчас глядела в бинокль. Говорит, нелегалы уходят. Целый поток, не меньше сотни. Типа исход из Египта, только наоборот. А бомжи еще раньше слиняли. Будет облава, значит и вам с Тали пора.*

*Ты мне как брат. Или даже больше, учитывая как меня спас. Но для Хелиньки и ребенка я нужнее, это стопудово. Знаю, что у вас с Тали все сложится. Только не надо умничать. Не надо глупостей типа той, когда ты ко мне давеча подходил. Не лезь на рожон, целее будешь. Уходите, снимите угол, живите как люди. Ты умный, не пропадешь. Только не умничай, ладно?*

Тайманец

*Не знаю, как Хели проживет без этого бинокля, но она сама говорит, ей теперь ни к чему. Когда у женщины дети и муж, далеко глядеть не надо. По-моему, правильно».*

– Вот и все, – сказала Тали, когда Призрак опустил руку с листком. – Кончился Комплекс... и все кончилось...

Понурившись, погруженные в свои отдельные мысли, страхи, надежды, они сидели рядышком на матрасе – вместе, но поврозь, и гулким эхом отзывалась им большая опустевшая комната – эхом некогда звучавших в ней голосов. Жалобно свистел ветер в обезлюдевших коридорах огромного здания. Под стены мягко подкатывался переваливший через Моавские горы вечер; разостлав плюшевые коврики глупой быстросмертной травы, отходили ко сну холмы, темнело с востока древнее, равнодушное, много чего повидавшее небо. И казалось, что мощная бетонная громада Комплекса – не более чем малый камешек, прыщ, некстати выскочивший на рябом солончаковом лице старой пустыни. Вот сейчас, даже не открывая глаз, надавит на него твердыми пальцами ущелий, смахнет, вздохнет – и тут же забудет, как будто и не было здесь ничего. Ничего и никого.

«А может, прав Тайманец? – думал Призрак. – Не надо умничать. Уйти, снять угол, жить как люди...»

Как люди. Люди – не призраки! Но что при этом делать призраку? А Тали? Разве Тали – не призрак? Что он о ней знает, об этой девушке, ближе которой нет у него никого на свете? В самом деле, у каждого обитателя Комплекса была своя история; каждый влачил за собой шлейф прошлой жизни, прошлых бед и ошибок. За Безршевой и Чоколакой значилась преступная глупость, за Тайманцем – дезертирство; Хели и Мамарита надрывались под тяжестью своего мученичества; Барбур и Кац держали за пазухой бандитские счета, Донпедро – разочарование, Бенизри – преданность, Русли – тупость, Доза – наркозависимость...

Никого из них нельзя было назвать порождением Комплекса – все они пришли сюда откуда-то, с тем или иным багажом; а значит, как пришли, так и ушли, точка. Но Тали... Она возникла прямо здесь, просто вышла к нему навстречу со своим ай-фоном и своей гордой независимостью – вышла одна, нетто, без истории и без

прошлого, словно соткалась из воздуха коридоров, словно материализовалась из стен этого странного здания, из стен, едва ли не каждый квадратный метр которых нес отпечаток ее имени. Тали, Тали, Тали... Возможно, ее послал сам О-О... почему бы и нет? Разве то, что он, Призрак, чувствует, когда берет ее за руку, когда прикасается к губам, когда смотрит в томительный сумрак глаз перед тем, как они закрываются в поцелуе... – разве это чувство – от мира сего? Разве возможно, вероятно, реально это неимоверное волшебство?

Что станет с нею вне Комплекса? Сможет ли она существовать там, снаружи? И если сможет, то не исчезнет ли, не испарится ли чудо, связующее их сейчас?

– Призрак, – жалобно сказала она, – не молчи, пожалуйста. А то совсем страшно.

Он поцеловал ее в теплый висок.

– Не бойся, мы справимся. Кстати, где там мамочкин ай-фон? Про него-то мы совсем позабыли.

– Верно! – вскинулась Тали.

Она вынула мобильник и включила его.

– Пароль! Призрак, он хочет пароль!

Призрак пожал плечами:

– Понятное желание. Это как раз на тот случай, если чья-то преступная рука схватит его со стола.

– Охо-хо, преступная рука... – саркастически повторила Тали. – Уж кто бы говорил, господин беглец из колонии малолетних бандитов. Чем попусту дразниться, лучше сосредоточься и подумай. Что там может быть? Имя мужа? Детей?

– Попробуй «ицхак», – предположил Призрак. – Главное имя в мамочкиной жизни.

Тали быстро набрала пароль.

– Ты будешь смеяться, – с изумлением сказала она, – но так и есть. Открылось!

Призрак рассмеялся:

– Взломано именем святого Ицхака! Посмотри разговоры за то утро.

– Знаю, подожди... – отмахнулась Тали, листая экраны. – Сначала телефонный справочник... Вот! На, смотри!

Она торжествующе протянула Призраку ай-фон. На его экране горело имя Ясмин и телефон. Обычный номер, составленный из обычных цифр, без сатанинских рогов, вампирских зубов и ведьминого помела. Они смотрели на него, сблизив головы, как смотрят на диковинного жука.

– Круто, – сказал наконец Призрак. – Жаль только, что делать с этим теперь совершенно нечего. Нет ни Тайманца, ни его большого автомата...

Тали согласно кивнула.

– Да, действительно...

Она еще раз посмотрела на экранчик и вдруг ткнула в кнопку вызова.

– Что ты делаешь? – изумился Призрак, но было уже поздно.

– Хеллоу, – произнесла Тали голосом Ариэлы Голан. – Госпожа Ясмин? Добрый день, госпожа Ясмин. Говорит Ариэла Го... ах, узнали... я польщена, не скрою. Да, да...



Она слушала ответ, корча при этом уморительные рожи, так что Призрак невольно заулыбался.

– Собственно, да, – важно проговорила мнимая Ариэла. – Я тоже думала о продолжении нашего знакомства. Да, да... весьма... очень, очень плодотворно... Конкретно? – она задумалась на секунду. – Да хоть завтра. У нас намечена серия интервью в Комплексе для моей телепередачи. Знаете, перед полицейской облавой, пока не закрылось. Да, да... если хотите, присоединяйтесь.

Сердце у Призрака нырнуло в пятки. Он уже не смеялся – слушал, затаив дыхание.

– Нет? Не сможете? Что ж, как-нибудь в другое время... да, да. Что ж, удачного вам вечера, госпожа Ямин.

Призрак облегченно вздохнул.

– Секундочку! – вдруг воскликнула Тали, словно осененная неожиданной мыслью. – Я только сейчас вспомнила. Один из объектов программы – солдат, дезертир из бригады «Голани». Возможно, вам было бы особенно интересно взять у него интервью. Знаете, теперь ведь вы с ним по одну сторону блокпоста, а раньше... да, да... Но если это некстати, то...

Некоторое время она слушала, утвердительно хмыкая и поддакивая, потом зачем-то посмотрела на часы и произнесла уже без прежней уверенности:

– Вот к девяти и подъезжайте. Нет, не к будке, а километром южнее. Я опасаюсь оцепления, поэтому придется заходить с заднего двора. Нет-нет, вы увидите, там тропа начинается прямо от шоссе... Хорошо, госпожа Ямин, я пришлю своих ассистентов, вас встретят и проводят. Значит, в девять. Бай!

Тали опустила телефон и перевела испуганный взгляд на Призрака.

– Скажи мне, что это не розыгрыш, – попросил он.

– Она придет, – прошептала Тали. – Гадина придет, понимаешь? Сама придет, без всякого Мухи.

## 18

Повзрослев, Ямин уже не слишком доверяла импровизации, остерегалась импульсивных действий. Предпочитала планировать заранее, перепроверять информацию, дублировать источники. Возможно, причиной тому была не только зрелость, но и тюремный опыт. Несвобода приучает к порядку, дисциплинирует мысль и поведение. При желании во благо можно обратить все, даже тюрьму. И не только можно, но и нужно. Настоящий шахид продолжает борьбу в любых условиях. Научись извлекать пользу даже из победы врага. Враг бросил тебя за решетку – что ж, постарайся использовать это для своих нужд, превратив, таким образом, его победу в свою.

Поэтому сначала она не собиралась откликаться на внезапное предложение Ариэлы Голан. Знакомство ценное, спору нет, требует внимания и тщательной разработки. Но кто же так приглашает – с вечера на утро? Несolidно как-то, не соответствует статусу. Однако упоминание о дезертире резко поменяло картину и, если честно, напроць выбило ее из колеи, заставив разом забыть все правила и уста-

новления. Отложив телефон, Ясмин сцепила руки и какое-то время сидела неподвижно, приводя в порядок взбаламученные мысли.

Похищение солдата было мечтой ее юности, влажным пиком девических грез. Наверное, психиатры назвали бы это obsessией – ну и что? Пусть называют, как хотят – а она всего лишь жила свою жизнь, жила, как умела. Жанну д'Арк тоже считали одержимой, но она не боялась мечтать и добилась-таки своего. Аналогия вполне соразмерная – в современных условиях захват вражеского солдата ничуть не менее значим, чем захват Орлеана. Подобно Жанне, Ясмин полностью, без остатка посвятила себя заветной цели. Поступила в университет, нашла подходящих помощников, организовала группу, составила план. Она готова была пожертвовать всем – в том числе и репутацией: Жанна ведь тоже не думала о семье.

Она возложила на алтарь своей мечты даже девическую честь, грубо поруганную в туалетной кабинке одного из иерусалимских ночных клубов. Увы, безрезультатно – потенциальные заложники поддавались лишь на частичный и крайне временный захват своих крепких солдатских тел, да и то – исключительно в границах клубных туалетов. Мешал проклятый акцент... мешал и недостаток выдержки среди помощников, которые мало-помалу утрачивали веру в успех. Только поэтому Ясмин согласилась в итоге похитить подростка вместо настоящего полноценного врага.

В определенном смысле тот паренек был почти солдатом – до мобилизации ему оставался всего год с небольшим... но разве мечта когда-либо признавала слово «почти»? Мечта потому и называется мечтой, что не допускает торговли, не идет ни на какие сделки. Почти солдат – не солдат, и почти Жанна – не Жанна.

Она добилась многого – депутат парламента, желанная гостья на телеэкранах всего мира, образец для миллионов маленьких девочек. Ее приглашают на лекции в университетах и школах, юные глаза будущих шахидов взирают на нее с восхищением и любовью. И только мечта раздраженно ворочается на жестком ложе неудовлетворенной страсти... Можно ли смириться с ее постоянным злым укором? В последнее время Ясмин почти уверила себя, что да, можно. Снова это «почти»... – цена его была лишней раз продемонстрирована звонком Ариэлы.

Она согласилась не раздумывая... вернее, согласилась мечта, немедленно метнувшаяся вперед, на авансцену, в два счета растолкав локтями всех прочих советников – и логику, и осторожность, и опыт, и кровью писанный свод нерушимых правил. Однако, закончив разговор, Ясмин с некоторым усилием вновь отодвинула бунтовщицу на задний план. Мечта мечтой, но бросаться очертя голову тоже не стоит. Она сделала несколько телефонных звонков соответствующим знакомым. Знакомые, в общем, подтверждали сказанное Ариэлой. Да, есть информация об относительно недавно пропавшем солдате. Да, из бригады «Голани». Да, местонахождение неизвестно, предполагают самоубийство на почве несчастной любви. А почему она спрашивает?

На этот встречный вопрос Ясмин не отвечала: делиться своей мечтой она пока не собиралась ни с кем. Прежде всего следовало съездить на место, посмотреть, оценить обстановку – и только потом, составив примерный план, привлекать помощников.

Ариэла не солгала и относительно намечавшейся в Комплексе облавы, так что внезапность ее поспешного приглашения выглядела совершенно оправданной. Спешить нужно было и самой Ясмин: драгоценная форточка, внезапно распахнувшаяся перед мечтой, могла захлопнуться в любую минуту – как знать, откроется ли она снова? Она опять принялась названивать по телефону – на сей раз уже не информаторам, а исполнителям, верным людям с нужными средствами. Их одноразовые, как террорист-смертник, услуги не допускали холостого прогона – таких людей можно было задействовать лишь по готовому плану, и уж никак не наугад. Поэтому Ясмин просто объявила им крайнюю степень готовности – ориентировочно, на завтра, по звонку.

Чтобы не рисковать, она поедет вперед, хорошенько осмотрится и уже потом, после ухода телевизионщиков и, конечно, при условии отсутствия полиции, вызовет группу. Причем ехать следует одной, без легальных помощников, чтобы не впутывать их в последующее. Самой Ясмин, помилованной указом президента и освобожденной по решению суда, не угрожало ничего – особенно в обществе Ариэлы Голан, если не подруги, то почти единомышленницы. Угроза возникнет потом, в случае удачно проведенной операции... – ну и пусть. За осуществление мечты она готова была, не раздумывая, пожертвовать своим нынешним статусом.

Ясмин легла, быстро задремала и проснулась с ощущением праздника. Несомненно, сама судьба благословляла ее на свершения. Утро тоже не подвело; джип ходко катил по шоссе в сторону Иерусалима. Возле Комплекса она притормозила. Пока ничего не предвещало облавы: все выглядело в точности как несколько дней назад, во время демонстрации – забор из колючки, будка с охранником, полицейская машина с двумя ленивыми пограничниками. Ясмин набрала номер Ариэлы.

– Госпожа Ясмин? Доброе утро. Мы уже начали. Вы еще в Рамалле?

– Доброе утро, Ариэла. Я у ворот Комплекса.

– Ах, у ворот... Нет-нет, езжайте дальше, примерно с километр. Вас там ждут. До встречи!

Ясмин нажала на газ. В самом деле, за поворотом слева от шоссе на обочине виднелись две тонкие фигурки. Ясмин притормозила – девушка помахала в знак приветствия. Рядом, глядя в сторону, стоял угрюмый длинноволосый парень.

– Ясмин? Здравствуйте! Мы вас ждем! – крикнула девушка. – Заезжайте сюда! Сюда, сюда...

Вырулив на обочину, Ясмин вышла из джипа и огляделась. Странно – где же микроавтобус телевизионного канала?

Она повернулась к встречающим:

– Ариэла уже здесь?

– Здесь, здесь... – девушка очаровательно улыбнулась. – А почему вы спрашиваете? Ах, машины здесь нет? Госпожа Голан отправила ее назад к блокпосту. Опасается облавы. Пойдемте, мы вас проводим...

Ясмин медлила; что-то тут было не так, совсем не так... Она пошарила взглядом вокруг и внезапно поняла: отсутствовал не только микроавтобус, но и следы его колес! Сюда никто не заезжал – по

крайней мере после дождя трехдневной давности! Ясмин попятилась к джипу.

– Сейчас, сейчас... я только возьму сумку...

– Стоять, гадина! – срывающимся голосом крикнул парень, поднимая руку с пистолетом. – Подними руки и отойди от машины! Ну!

Она подчинилась.

– Тали, обыщи ее!

– Как? – растерянно спросила девушка.

– Как в кино! Сзади зайти, сзади!

Девушка зашла сзади и неумело ощупала куртку, пояс, карманы джинсов. «Дура я дура, – подумала Ясмин. – Нет чтобы сунуть что-нибудь в сапог... ствол или просто ножик. Они же дети. С ними справиться – раз плюнуть. Главное – не торопиться, а то еще выстрелит. Такие, как он, только с испугу и стреляют».

– Вот... – девушка показала парню свою добычу – телефон и бумажник.

– Отключи мобилу! – парень мотнул стволом пистолета в сторону едва заметной тропки. – А ты, гадина, марш вперед! Ну?! Считаю до двух: раз!..

– О'кей, о'кей! – торопливо проговорила Ясмин, делая шаг в указанном направлении. – Я иду, иду... Только скажите, чего вы хотите. Денег, машину, телефон? Берите, все берите, нет проблем...

– Вперед!

Гуськом они двинулись по тропинке: Ясмин впереди, за ней парень с пистолетом, девушка – замыкающей. Шли молча, но минут через пять парень вспомнил, что недурно было бы связать пленницу. На сей раз пистолет держала его подруга, а сам он возился с выдернутым из ясмининых джинсов поясом – возился неловко и бестолково. Ясмин спокойно стояла, не сопротивлялась: она твердо решила не провоцировать незадачливых похитителей, а просто выжидать удобного момента. В какой-то мере происходящее даже забавляло ее. Закончив, парень снова взял пистолет.

– Вперед!

– Я депутат парламента независимой Палестины, – сказала Ясмин. – Вы не с тем человеком связались, ребяташки.

– Пошла!

Они обошли холм, и впереди открылся Комплекс. Но, к удивлению Ясмин, парень толкнул ее в сторону от тропинки, туда, где справа виднелся небольшой продолговатый холмик.

– Лечь!

– Что? – переспросила Ясмин.

– Ложись, гадина! Мордой вниз!

Парень грубо схватил ее за шиворот и рванул к земле. Она упала; неловко завязанная рука выбилась наружу, но Ясмин не успела выставить ее перед собой и сильно ударилась виском. Лежа ничком на бугорке, она вывернула голову вбок, но парень прижал ее коленом к земле, а сапогом другой ноги наступил прямо на лицо. Пистолетный ствол теперь больно упирался под основание черепа. Ясмин застонала, и ей стало страшно – впервые за долгое время.

– Мамарита, – сказала девушка где-то сверху и за спиной. – Мы привели ее к тебе, эту гадину. К тебе, к Натану, к Менашу... и к Менашу. Ко всем вам. Сейчас она заплатит за все, Мамарита. Жизнь ее

стоит немного, потому что она гадина. Но это все, что у нее есть. Давай, Призрак...

«Сейчас они будут меня убивать!» – мелькнуло в голове Ясмин. Она рванулась изо всех сил, но тщетно – девица предусмотрительно уселась ей на поясницу и схватила за руки.

– Не надо! – завизжала Ясмин. – За что?

Пистолетный ствол надавил еще сильнее, боль стала невыносимой.

– За что, гадина? – переспросил парень; он дышал часто и неровно, с трудом выдавливая слова. – За Мамариту. Помнишь Мамариту?

– Какую маму... риту... – пробормотала она, давясь землей, и вдруг поняла: они ведь говорят о Менаше... об отце ее единственного ребенка. Об отце ее жалкого ублюдка, не заслужившего жизнь. Они говорят о Менаше – таком же мальчугане, как они, зарезанном, как баран, недалеко отсюда, вон за теми горами. О Маргарите – его маме. О Натане, ее муже. Мамарита... – Маргарита, вот оно как...

Но это не главное. Главное, что ее привели сюда на казнь. Сейчас она умрет. Сейчас... Ясмин снова отчаянно дернулась.

– Вы не имеете права! Я депутат...

– Призрак, давай! – повторила девица.

«Сейчас... сейчас...» – вжавшись в землю, подумала Ясмин. Она не чувствовала ничего, кроме слепящего, закипающего в мозгу ужаса.

Пистолет вдруг оторвался от ее затылка и спустя долю секунды опять уткнулся в то же самое место. Она вскрикнула от боли.

– Призрак! Ну же!

– Нет...

Острая боль в затылке отпустила – парень убрал пистолет, а затем и сдвинул свою грязную подошву с ее щеки. Теперь он просто стоял рядом; вслед за ним поднялась на ноги и девушка. Ясмин, дрожа и всхлипывая, по-прежнему лежала ничком на холмике. Ее уже никто не держал, но, парализованная страхом, она боялась двинуться, боялась помешать той хрупкой, пока еще ничем не оправданной надежде, которая по каким-то неведомым, но благословенным причинам отодвинула, отложила ее уход в жуткую черноту смерти.

– Не могу, – сказал парень у нее над головой.

– Хочешь, я это сделаю?

– Нет! – прохрипела Ясмин с земли. – Пожалуйста! Не давай ей! Не надо!

– Заткнись, гадина! – парень пнул ее в бок носком ботинка. – Вставай!

«Жива! – мелькнуло в голове Ясмин. – Я жива! Жива! Они не убили меня сейчас и значит, теперь уже не убьют никогда. Убивать трудно, а они еще дети». Оскальзываясь, она поднялась с земли. Недавний ужас сменился радостью – булькающей, неудержимой. Ей хотелось смеяться, хотелось благодарить мир за то, что он все еще пребывает здесь, в орбите ее зрения – необыкновенно обострившегося, как, впрочем, и все прочие чувства. Сейчас ей казалось, что она видит насквозь, далеко-далеко – и ослепительную голубизну неба, и фиолетовый бархат вселенной, и яркие звезды на бархате, и чудную охру гор, и великолепный аквамарин моря – мраморный, с прожилками и вкраплениями серебра... Это было неопишимо чудесно – все, до мельчайшей детали. Смешной жук-скарабей, которого она приме-

тила, поднимаясь, острый запах горьковатых пустынных трав, восхитительная на ощупь пыль на ладонях и пальцах...

– Пошла! Вперед!

Ясмин подчинилась.

– Ну, и что дальше? – вполголоса произнесла девица у нее за спиной.

– Отведем ее наверх, – ответил парень. – Пусть он разбирается. Мы с тобой не палачи, ни ты, ни я. Ты могла бы целоваться с палачом?

«Кто это «он»? – тревожно подумала Ясмин. – Уж не тот ли солдат? Солдат может и убить...»

– Ребята, отпустите меня, пожалуйста, – не оборачиваясь, попросила она. – Я уже другая. Меня нельзя убивать. Меня суд помиловал.

– Наверх? – переспросила девица, игнорируя Ясмин. – Прямо к нему? Ты с ума сошел.

– Почему?

– Потому, что наверху ей не место. Наверху наша комната. Ты хочешь привести гадину в нашу комнату?

– Ты права, – помолчав, согласился парень. – Гадине место в преисподней. У твоего приятеля Азазеля...

Тропинка уперлась в проволочный забор, но в десяти метрах слева оказался хорошо замаскированный проход. Все так же гуськом они пересекли захламленный строительным мусором двор и по эстакаде поднялись в здание. Сквозь большой оконный проем был виден главный двор и будка у ворот. Теперь к полицейскому джипу прибавились два больших армейских автобуса. «Вот она, та самая облава, – подумала Ясмин. – Они явно только что подъехали. Нужно продержаться, пока не начнут. Странно... – никогда не представляла, что облава может стать для меня спасением».

Коридор привел к лестнице. После яркого солнца снаружи было трудно привыкнуть к здешнему полумраку.

– Вниз! – скомандовал парень.

– Там темно, – сказала Ясмин.

– Вниз!

– Куда вы меня ведете?

– В ад, – ответила девушка, – куда же еще?

Снизу и в самом деле шла адская вонь – остро пахло псиной и еще чем-то отвратным... экскрементами?... разлагающейся мертвечиной? Они остановились на лестничной площадке цокольного этажа. Свет почти не проникал сюда, но Ясмин явственно ощущала чье-то присутствие впереди, в коридоре. Страх вернулся, она почувствовала, что ей трудно дышать.

– Что это? Кто там?

– Тихо! – прикрикнула девушка.

Она присела на корточки и позвала:

– Азазель! Иди ко мне, приятель...

Из тьмы, цокая когтями по бетонному полу, вышел большой черный пес и присел рядом.

– У меня вам подарочек, – сказала девица, почесывая ему за ухом. – Примешь?

Пес умильно закатил глаза.

Девушка поднялась и взяла Ясмин за руку.

– Пошли!

– Куда? Зачем?

Но девица упрямо тянула ее за собой; сзади больно упирался в ребра пистолетный ствол. Потом в голень ткнулось что-то живое, твердое... – и снова, и снова...

– Ай! – вырвалось у нее. – Что это?!

– Собачки, – хладнокровно отвечала девица из крошечной темноты. – Любишь собачек?

Только сейчас Ясмин осознала – вокруг были собаки, бескрайнее море собак – повизгивающих, поскуливающих, рычащих. Парень с пистолетом отстал, и они с девушкой плыли в этом море вдвоем, продвигаясь все дальше и дальше. Думать о сопротивлении не приходилось: в крошечной тьме коридора рука девушки представляла собой единственную опору, единственный путеводный знак... «Ничего-ничего... – подбодрила себя Ясмин. – Все коридоры куда-нибудь да выводят. Потерпи еще немного. Теперь она одна и без оружия. Темнота – ее единственное преимущество. Вот немного посветлеет, и тогда...»

– Пришли, – вдруг послышалось из темноты, и рука исчезла.

Ясмин вскрикнула от неожиданности и пошатнулась.

– Где ты? – проговорила она, слепо двигая обеими руками по сторонам. – Я здесь. Здесь...

Но девушка не откликнулась. Напрягая слух, Ясмин пыталась слышать звук ее шагов, чтоб хотя бы определить направление, – тщетно. Вокруг все громче и громче шумело собачье море, тыкаясь под колени, ворча и повизгивая. Где-то справа должна находиться стена... Ясмин попробовала переставить ногу, но тут же наступила на что-то живое, упругое – может, хвост, а может, лапу; послышался возмущенный визг, рычание стало еще более угрожающим.

– Извините, я не хотела... – вырвалось у нее.

– Тебя съедят, – ответила темнота голосом девушки. – Тебя съедят заживо. Получай свое, гадина. Адской гадине – адские муки.

– Подожди! – крикнула Ясмин. – Выведи меня отсюда!

Она рванулась на голос, но нога зацепилась за кусок арматуры, и Ясмин рухнула на пол, на лохматые собачьи спины, во внезапно раскрывшуюся дикую прорву злобного лая, рыка, слюнявых клыков и зловонных пастей. Она почувствовала зубы сначала на лице, а потом и на всем своем теле одновременно и взывала тоскливым предсмертным воем заживо пожираемой жертвы.

## 19

Они стояли на площадке цокольного уровня, а рядом, во тьме коридора, гремела какофония страшного собачьего пиршества.

– Лучше бы ты ее застрелил, – сказала Тали. – Такой смерти никому не пожелаешь.

Призрак пожал плечами.

– Тебе ее жалко? Мне – нет. Все справедливо: по-зверски жила, по-зверски подохла... – он вдруг поднял палец, призывая подругу к вниманию. – Слышишь?

Тали прислушалась.

– Похоже, громкоговорители?

– Ага, – кивнул Призрак. – Уже минут пять тряндят что-то, отсюда не разобрать. Вроде бы начинают облаву. Видела автобусы у ворот? Пойдем, посмотрим.

Они поднялись на первый этаж. Уже на лестнице звук мощных полицейских динамиков стал слышнее; поднапрягшись, можно было даже разобрать отдельные слова, но по-прежнему далеко не всю фразу. Комплекс словно намеренно глушил послания неприятельских сил – заслонялся щитами мусорных куч, выталкивал звук вихревыми сквозняками пустых коридоров, искажал его многократным услужливым эхом.

– Тали, ты что-нибудь поняла?

– По-моему, «немедленно покинуть»... – неуверенно предположила она. – И «немедленно выйти». И еще – «начинаем».

– Вот-вот. Они начинают облаву! – Призрак схватил ее за руку. – Бежим!

– Куда?

– Наверх! Здание уже наверняка оцеплено.

Они взбежали на Эй-восемь, в помещения гидов. Сверху и без бинокля можно было различить вытянувшуюся вдоль забора цепочку охраны. По двору, осматривая кучи строительного мусора, расхаживали несколько солдат; два десятка других сгрудились вокруг офицера у главных ворот Комплекса и, по-видимому, получали инструктаж. Саперы, орудуя ломami, демонтировали дощатый щит, прикрывавший вход в вестибюль первого этажа. Серьезность приготовлений не оставляла никаких сомнений в том, что на этот раз власти не ограничатся поверхностным осмотром нескольких нижних уровней.

– Что делать, Призрак?

Он обернулся к ее растерянному лицу.

– Можно выйти. Что они нам сделают? Максимум – заметут меня обратно в колонию. Отсижу с полгода, выйду. А тебе вообще нечего бояться...

– Откуда ты знаешь?!

Призрак осекся. Действительно, откуда ему знать, есть ей чего бояться или нет? Она ведь не имеет истории. Она ведь Тали, Тали, Тали – порождение Комплекса... Он обнял ее, прижал к себе, зашептал в теплый затылок.

– Извини, Тали, я не хотел... извини... Я просто имел в виду, что мы можем сдаться...

– Я не хочу! – выкрикнула она, отстранившись и сверля его негодующим взглядом. – Я не хочу сдаваться! Я не хочу жить без тебя полгода! Мне трудно прожить без тебя даже полчаса, а ты говоришь «полгода»! Ты с ума сошел, да? Говори, ты с ума сошел?

Он отвел глаза – внизу саперы уже отбросили щит, и облава вливалась в разверстый портал Комплекса, как вода в пробоину корабля. Наверняка солдаты поделили между собой уровни и корпуса. Пять минут на этаж... сколько времени осталось у них с Тали? – десять минут?.. пятнадцать?..

– ...едемле... емено... длевыййти! – рывкнул громкоговоритель во дворе, и продолжил, растекаясь по комнатам и постепенно затихая: – ...ти!.. ти!.. ти!..

– Хорошо, будь по-твоему, – торопливо проговорил Призрак, вновь возвращая взгляд в распоряжение требовательных талиных



глаз. – Тогда надо быстро собрать вещи. Только самое нужное. Возьми рюкзак. Быстро, у нас всего две минуты!

Тали просияла, и Призрак понял: она ждала от него именно такого решения – вернее, только такого. «Она права, – думал он, мечась по комнатам и лихорадочно запихивая в рюкзак те необходимые предметы, которые могли пропасть в результате обыска: бинокль, ножи, фонари, одежду... – Она совершенно права. Мы не должны сдаваться. Кто мы с нею вне Комплекса? Вне Комплекса мы ничто. Ее тут же заберут от меня, меня от нее... Мы способны выжить только здесь, только вместе».

Он в последний раз окинул взглядом «большую гостиную» гидов; разоренная и замусоренная, разом осиротевшая, покинутая всеми своими обитателями, она показалась Призраку такой трогательной и теплой, что на глаза навернулись слезы. Вот из коридора вышла и пошлепала к плите Мамарита. Хели сидит на ящике возле оконного проема и, не отрываясь, смотрит в бинокль на темнеющую пустыню. Рядом с нею, привалившись спиной к перегородке, зевает Тайманец. Тали растянулась на матрасе и сосредоточенно листает экранчики своего ай-фона. В углу Безр-Шева и Чоколака азартно бросают игральные кости шеш-беша. «Дабл-шеш!» – кричит Чоколака...

– Призрак...

Он обернулся. Тали, прижав к груди рюкзак, переминалась в коридоре. Пора. Мы вернемся. Мы обязательно вернемся. Пересидим эту чертову облаву и вернемся. Вот увидишь...

– Призрак, я слышу их на лестнице... надо торопиться...

– Да-да, побежали.

Они выскочили в коридор корпуса Би. Огромное тело Комплекса вздрагивало от топота чужих сапог – так подергивает кожей мощный буйвол, одолеваемый роем назойливых мух. Снизу уже слышны были солдатские голоса – облава, как наводнение, поднималась все выше и выше, затапливая последние этажи. Быстрее, быстрее!.. – вот и лестница. В проеме девятого уровня мелькнули опустевшие апартаменты покойного Барбура. Жаль, не успели спрятать генератор... Быстрее, быстрее!.. – в спасительную, благословенную темноту! Тали первой протиснулась во входную щель. Теперь она уже не боялась узкого лабиринта, даже не включала фонаря. На этот раз весь страх помещался не спереди, а сзади – торопил, подталкивал в спину тревожными звуками нашествия, преследования, погони.

Тьма обнимала их, прятала под свое мягкое крыло; они помнили дорогу ступнями и уверенно скользили вперед, плавно обтекая преграды и ловушки, как вода, вернувшаяся в русло некогда пересохшего ручья. Комплекс уже не дрожал у них под ногами – здесь, на укрепленном десятом уровне, в двух шагах от О-О, здание сохраняло неколебимую железобетонную устойчивость. Глохли, исчезая, звуки – последним померкло назойливое эхо полицейского громкоговорителя, и теперь совершенная, девственная тишина целовала их разгоряченные щеки.

Добравшись до комнаты-склада, Призрак включил фонарик. Все здесь было таким же, как прежде, – тот же сладковатый запах дурман-травы, те же складные стулья и счастливый матрас на полу. Тали сбросила рюкзак и блаженно потянулась.

– Вот и все. Мы дома. Сюда они не сунутся.

Призрак кивнул.

– Скорее всего, так. Барбур говорил, что на инженерном плане здания эти уровни отмечены как наглухо законсервированные. Но полной уверенности нет. Если полиции известно об этом тайнике, то они вполне могут добраться сюда.

– Ну и что? – беспечно откликнулась Тали. – Мы услышим их за-  
годя и поднимемся еще выше. Прямоком к О-О.

– Прямоком к О-О... – задумчиво повторил Призрак, шаря лучом фонаря по полкам стеллажа. – Знаешь, я все думаю – почему именно Барбур смог подобраться к нему ближе всех? Неприятный, циничный, безжалостный тип, полубандит, полудоносчик... Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь любил его... да что там любил – просто тепло относился. И, тем не менее, вот – склад налицо...

– Так это не из-за Барбура и не из-за склада, а из-за того, что на складе! – рассмеялась Тали. – Во-первых, как курнешь, так сразу взлетаешь аж до самых звезд, не то что на десятый этаж. А во-вторых, говорят ведь, что вера – это наркотик. Значит, по логике, им рядом и быть.

– Вера? – переспросил Призрак. – Какая вера?

– Ну как... – удивилась Тали. – Та самая. Во всемогущего О-О. Все тут в Комплексе верили. Даже те, кто не признавался. Эти-то, наверно, даже больше всех... И ты не притворяйся, милый. Ты ведь тоже веришь.

Призрак пожал плечами.

– Я не притворяюсь. Здесь, перед тобой... – зачем? Я честно не могу понять. Ты вот говоришь – вера. Во что?

– Ну как... – так же недоуменно повторила она. – Что он есть.

– Ну и?

– Что «ну и»?

– Допустим, есть. Дальше что? Что она дает, эта вера?

– Например, от него ждут защиты.

– Ну да, – усмехнулся Призрак. – То-то же от него никто еще не возвращался. Хороша защита.

– Или справедливости...

Призрак покачал головой.

– Не надо, Тали. Вспомни Мамариту. Вспомни Хели, Тайманца, Дикого Ромео, бомжей, того же Барбура... Кому из них она помогла, эта вера? Одни в могиле, другие в бегах... – он задрал голову и крикнул: – Слышь, О-О! Кому ты тут помог? Никому! Пришла полиция и всех вытурила. Тебе не справиться даже с одним армейским взводом, всемогущий!

– Тихо! – испуганно шикнула Тали.

– Не бойся, не услышат. Тут полная звукоизоляция.

– Да я не о них...

– А о ком? О нем? Он пусть слушает. На правду не обижаются... – Призрак вздохнул и уселся на матрас рядом с Тали. – Нет, не в этом дело. Не в вере и не в травке. Знаешь, Барбур ведь совсем не дурак был. И Комплексом правил хорошо.

– Для кого хорошо? Больных выгонял, беременных...

– И правильно делал. Больные выходили на шоссе и максимум через сутки оказывались в больнице. Всё лучше, чем сдохнуть здесь. А рожать нужно в роддоме – скажешь, нет?

Она пожала плечами.

– Барбур был бандит.

– Ну и что? – возразил Призрак. – А какой правитель не бандит? Факт – Барбура не стало, и все тут же рассыпалось, разве не так?

– Так.

Призрак усмехнулся.

– Вот тебе и причина. Потому-то Барбур и подобрался к нему ближе всех.

– Наместник О-О в Комплексе... – рассмеялась Тали.

– Вот-вот. А про веру... Знаешь, как-то я деньги ему принес. Обычно я отдавал, он пересчитывал – и всё, конец аудиенции. А тут он вдруг говорит – садись, мол, побудь со мной. Задумчивый такой, чем-то, видимо, расстроенный... – сидит в своем кресле, клювом поник и арак глушит. И вокруг никого – один, как козел в пустыне. Ну, сел я, от арака отказался. И тут он говорит: «Как ты думаешь, Призрак, если он есть – О-О, стал-быть, – то что он должен чувствовать, на нас глядя?» Не знаю, говорю.

А я, говорит, знаю. Досаду, вот что. Он должен чувствовать ужасную досаду и даже где-то в чем-то недоумение, хотя трудно приписать недоумение всеведущему О-О. Представь себе, говорит, что какой-то строитель выстроил дом. И не просто дом, а дворец – огромный-преогромный. Сколько хочешь комнат, на любой вкус: гигантские и крошечные, большие и поменьше. Потолки высокие, стены гладкие, полы – сплошь паркет, сантехника – фарфор с золотом, в кранах чистейшая вода, а в лампах – светлейшее электричество. На кухне – мрамор, повсюду техника всякая бытовая: пылесосы, телевизоры, стереосистемы, комбайны и еще механизмы хрен знает какие, воображению пока еще неизвестные. Причем все это продумано до последней детальки, и всё, представь себе, работает: все колесики вертятся, все зубчики друг за дружку цепляются... короче, ни в сказке сказать, ни пером описать.

И вот запускает тот строитель во дворец жильцов – живите, мол, гости дорогие, вы теперь тут хозяева. И уходит, потирая руки от удовольствия. А через пару часов возвращается и видит следующую картину. Повсюду грязь и разор, на паркете нагажено, стены кровью залиты. Стекла почти все выбиты, одеколон выжран внутрь, одна пьяная мразь мочит другую, и стоит повсюду стон и плач. И прислушивается он к тому плачу и понимает: виноват во всем этом диком балагане не кого-нибудь, а его, строителя. Зачем он, мол, электричество включил: кто-то спяну палец в розетку сунул и убили. Зачем полы гладкие – кто-то другой шел, поскользнулся да и разбился насмерть. Третьему дураку уборочным комбайном голову оторвало – ну, тут, понятное дело, комбайн виноват. Четвертый кухонным ножом свою же семью зарезал, на плите приготовил и съел – получается, нож плох, плита дурна, а сам строитель так и вовсе людоед, потому как все эти ловушки для честного народа расставил. И так далее...

Погоди, говорю, Барбур, это, говорю, ты мне про Комплекс рассказываешь? Ножи еще ладно, но где ты тут золотые краны видал? Он только рукой махнул: «При чем тут Комплекс... ладно, иди к своим...»

Призрак помолчал, улыбаясь и покачивая головой.

– Не дурак он был, этот бандит. Понимаешь?

– Понимаю, – кивнула Тали. – Не дурак. Но если твой Барбур прав, то и чего-то просить у О-О бессмысленно. Потому что он все уже дал.

– Вот именно! – воскликнул Призрак. – Он нам все уже дал – в этом суть! Вот Хели каждый день молилась, свечи зажигала. А о чем молилась? Разве это О-О ее изнасиловал? Разве О-О зарезал Менаша, раздавил Мамариту? Что за чушь... Люди подличают, убивают, мучают, а потом бегут жаловаться к нему. На кого – на себя же самих? На него самого? Но он уже все дал – все, без остатка, весь мир! Нужно всего лишь прекратить гадить на паркет и начать всем этим пользоваться. Так просто!

Тали пододвинулась ближе к нему, прижалась покрепче. Они сидели обнявшись и молчали, молчал и О-О в своей непроницаемой темноте.

– Призрак, – с жалобной интонацией проговорила Тали. – Но это тоже плохо. Тогда получается, что нет совсем никакой надежды. Что все эти люди, которые идут к нему за защитой и поддержкой, не получают ничего.

– Даже хуже, – задумчиво сказал он. – Пока они далеко, надежда еще жива, но стоит только подойти поближе... – ого! Именно там, вблизи, им становится ясно то, о чем говорил Барбур. Становится ясно, что О-О не поможет. Не по-мо-жет. А ведь надежда, которая вела их наверх, была действительно последней. Потому что все прочие способы уже испробованы и не помогли. И от этого последнего разочарования хода нет уже никуда, кроме как в отчаяние. А отчаяние убивает. Сбрасывает их с крыши, как Дикого Ромео. Как всех тех, кто имел глупость подниматься на верхние этажи со своими нелепыми просьбами или мольбами. Когда они уже поймут: просить больше не о чем! О-О не может дать больше того, что уже дал, – включая смерть. Они убивают себя сами, своим отчаянием. Ведь идти к О-О с просьбой – все равно что совать голову в уборочный комбайн, как тот дурак из басни Барбура...

– Но Мамарита вернулась...

– Она уже жила в отчаянии, Тали. В таком отчаянии, что прогулка по этому уровню вряд ли могла что-либо изменить.

– Она сказала, что ему было стыдно взглянуть ей в глаза.

Призрак печально покачал головой.

– Видишь? Опять во всем виноват строитель... Если ему есть за что стыдиться, то только за своих жильцов.

– Вот я тебя и поймала! – сказала она. – Разве ты не говорил раньше, что у О-О нет ни образа, ни чувств? Что у него даже слова нет? Как же он тогда может стыдиться?

Призрак усмехнулся.

– Я сказал «если»... Если у него есть чувство, то это стыд – стыд за нас. Если у него есть образ, то он покажется только тогда, когда ему уже не нужно будет прятаться от наших мерзостей на чердаке.

– Но когда это случится?

– Не знаю. Наверно, не скоро.

– Мы с тобой живем сейчас, милый... – сказала Тали, отстраняясь и заглядывая ему в глаза. – Мы не можем ждать этого «не скоро».

– Хочешь выйти? Сдаться?

– Нет-нет, что ты... – для убедительности она даже помотала головой. – Мы ведь с тобой никогда не сдаемся, правда?

– Правда.

– И не просим.

– Не просим.

– И не молимся.

– Не молимся.

– Что же мы тут делаем, Призрак, – здесь, у него в прихожей?

Он крепко прижал ее к себе.

– Я только сейчас понял, Тали. Мы пришли к нему жить. Не просить, не молиться, не искать чего-то помимо того, что уже есть. Мы пришли не за подарками и не за покупками. Пришли жить, а не устраивать шопинг. То есть делать именно то, что он и предполагал, выстраивая для нас свой дворец...

– Да! – прервала его Тали, вскакивая на ноги. – Да! Пойдем!

– Куда?

– Пойдем, скажем ему об этом! Ну же! Вставайте, господин начальник гидов! Пора проводить экскурсию!

Призрак улыбнулся и встал. Они взяли с собой только фонари. Потом был лабиринт узких переходов, лестницы и комнаты, тесные щели и просторные залы, непроницаемая тьма и непроницаемая тишина. И когда наконец где-то в недрах вселенной зародился и стал быстро нарастать гром, когда за очередным поворотом блеснул и прорвался ослепительный свет, они поняли, что пришли, и еще крепче вцепились друг в друга.

\* \* \*

– Круто! – воскликнул один из саперов – самый молодой и по этой причине ни капельки не стеснявшийся открыто выражать свои чувства. – Такое чудовище, а упало прямо как песчаный домик!

– Я ж тебе говорил: главное – правильно заряды заложить, – нравоучительно заметил старший сержант, наматывая на руку излишки кабеля. – Тогда падает вертикально, словно сам себя глотает. Типа, внутрь складывается. Хлоп – и готово!

– Хлоп – и готово... – восхищенно повторил салага, не отрывая глаз от огромной бесформенной груды бетонных обломков на месте, где еще минуту назад стояли корпуса Комплекса. – Хлоп – и готово... Теперь бульдозерам работы на год.

– За месяц справятся... – возразил сержант. – Не стой, не стой. Собирай инструмент... Или нет, оставь, я сам. А ты лучше сбегай, скажи капитану, чтобы оцепление снимал только через полчаса. Для страховки.

Молодой кивнул и, спотыкаясь от усердной поспешности, побежал к офицерскому джипу.

*Бейт-Арье, июнь 2011 – февраль 2012*

*Инна Лиснянская*  
*В ПЛЕНУ У ЕРУНДЫ*

\* \* \*

Отбиваю начальные строки  
В своих я стихах,  
Отбиваю последние сроки  
В чужих я краях.  
Всё мне чудятся, снятся всё мне  
Без забот времена.  
Если будешь ты здесь, запомни  
Мои письмамена.

\* \* \*

Говорю без затей:  
Обожаю я вас.  
Обожаю людей  
Я и в профиль, и в фас.  
И гуляется мне  
От окна до дверей –  
Даже море в окне  
Я люблю без затей.

\* \* \*

Я омыта волною свободы,  
И сегодня с утра  
Я в свои непреклонные годы  
Всё творю на ура.  
Запиваю картошку кефиром  
И прекрасные вирши пишу.  
Я любима сегодня всем миром,  
И на мир я с любовью дышу.

\* \* \*

Плывут облака, подьема  
Свои плавники,  
Плывут облака на землю,  
К истокам реки.

Плывут, источник питая,  
Крыла наклоня.  
Но их забота пустая  
Не для меня.

\* \* \*

Я угодна курсору и мышке,  
Океану и февралю.  
Вот такие, дружок мой, делишки,  
Я свободу люблю.  
Я нисколько не оригинально  
Мыслю и потому  
Мне одной ну ничуть не печально  
Оставаться в дому.

\* \* \*

Пока ещё нету даты второй  
Перед прочерком,  
Асфальт утомляю курьей стопой  
С мелким почерком.  
Зачем навожу на куриц поклёп,  
Когда те по зернышку  
Клюют и вбивают гвозди в мой гроб.  
Красным пёрышком.

\* \* \*

С воскресенья до среды  
Я в плену у ерунды,  
Со среды и до субботы  
Я в объятиях работы,  
Ну а там всё воскресенье  
В вавилонском я плененье.

\* \* \*

Свеча в моей руке не тает,  
Не кашляет и не чихает –  
Тут я стараюсь за неё:  
И кашляю я, и чихаю,  
И, как свеча, упрямо таю,  
И пью горячее питьё.

\* \* \*

Я так стара,  
Что мне бывает стыдно,  
Опять с утра  
Рыдаю безобидно  
На целый свет,  
На всю дорогу к раю,  
Где краевед  
Ведёт меня по краю.

\* \* \*

Ликует в мире первоцвет.  
Альпийский луг.  
Пейзаж – лирический сюжет  
И лучший друг.  
Здесь неуместен раскардаш –  
Земля цветёт,  
Вбирает зрение пейзаж,  
Как воздух рот.

\* \* \*

Поумерь, зима, морозы  
И метели поумерь –  
Слишком мало в этом прозы  
И поэзии, поверь.  
Лишь ничтожные крупцы –  
Слезы мёрзнут на стекле,  
На деревьях мёрзнут птицы,  
Мёрзнут уголья в золе.

\* \* \*

Дождь шелестит, с листвы пример беря  
Листва шумит, с морей беря пример.  
Гармония в природе, а в моря  
Проникла музыка небесных сфер.  
И рыбы на небесном языке,  
Рты разевая, славу им поют.  
И облака их видят вдалеке,  
Хотя порой слепым дождём текут.

*февраль 2012*



*Дмитрий Сухарев*

## *ТАШКЕНТСКИЙ ДВОРИК*

*Вениамину Клецелю*

Когда на сердце хвори  
И дышится с трудом,  
В родной Ташкентский Дворик  
Мы стайкою придём.  
Все ваши эрмитажи  
Не стоят пиалы,  
И лувры, лувры даже  
Не столь уж и милы.

Вокруг по мановенью  
Дымятся казаны.  
Я вижу Дину, Веню,  
Мы юны и умны.  
А если кто по лени  
Дурацкое изрёк,  
Его без промедлений  
Поправит Игорёк.

От солнечных осколков  
Искрится небосвод.  
И к нам приходит Волков –  
Магистр и цветовод.  
Он с тубиком в петлице,  
В берете набекрень...  
Зачем же наши лица  
Туманит светотень?

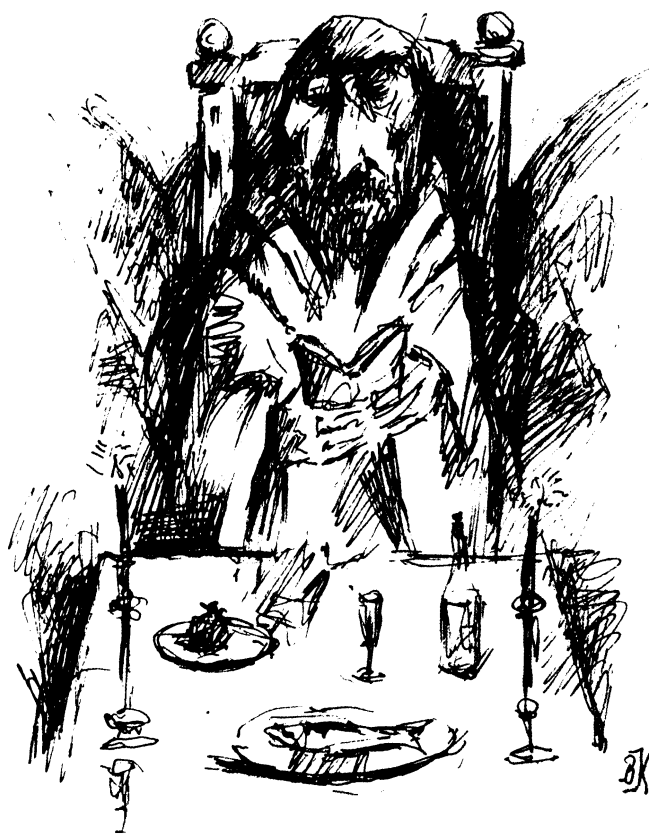
Нос выше! Сколь ни горек  
Грядущий день и час,  
У нас Ташкентский Дворик  
Остался про запас.  
Нам яма кажет знаки,  
Но свыше, с высоты,  
С дувала смотрят маки,  
Весенние цветы.

Вениамин Клецель

ЛИЦА



ВК-012



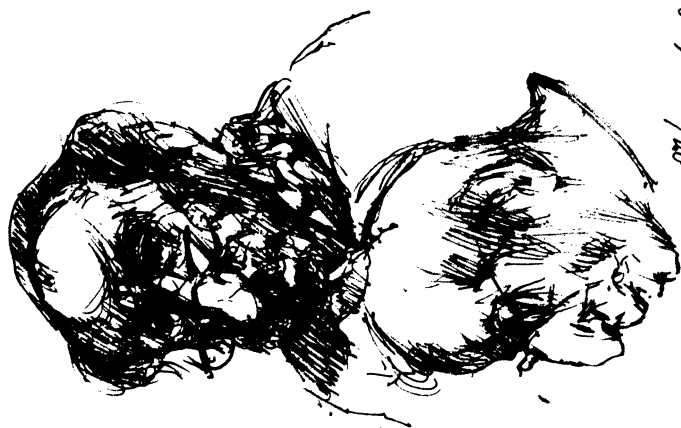
BK-019.

ver 2



Bkwy - 011.





Blumenthal 012



W. H. - 012.





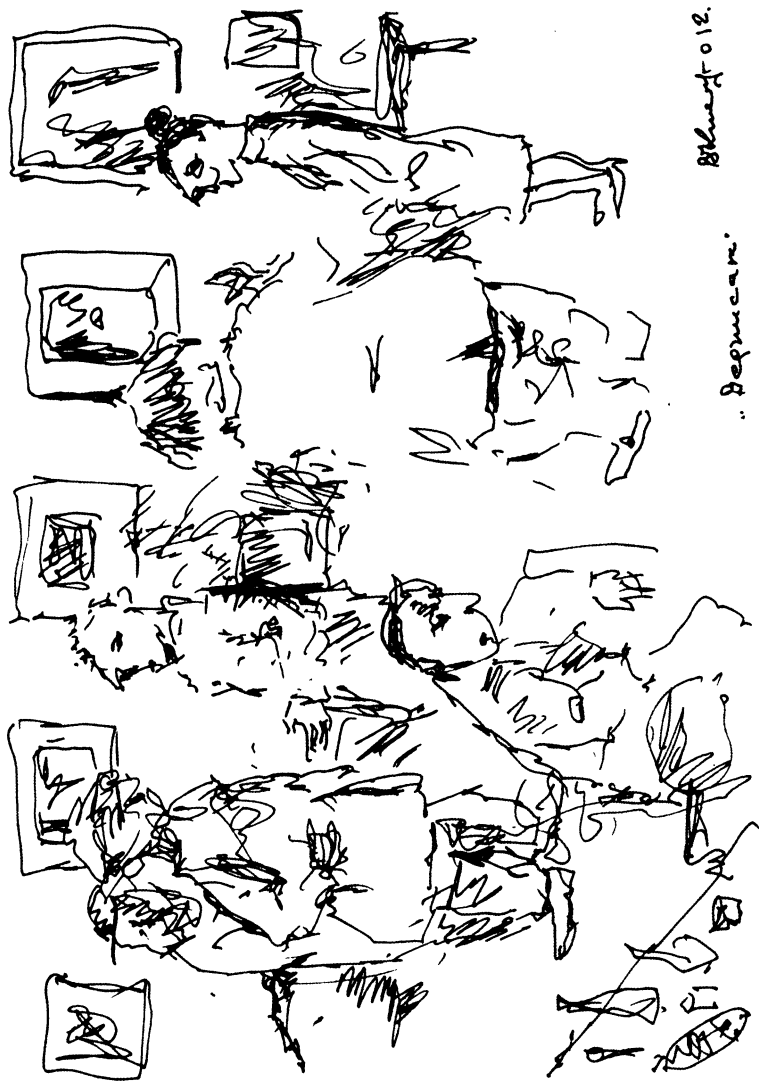






Blueang





Blum-012.

„Depucam.“





Phenol-50



B.Kuany

*Алла Боссарт*

## *БЛАЖЕННЫ КРАСЯЩИЕ*

Восемьдесят – это, конечно, много. В Израиле, впрочем, живут и подольше. А недавно смотрели мы кино, где богатая русская компания едет за экстримом в глушь, степную дыру. А там такая странная история: нет стариков. Парням, здоровым, как молотобойцы, – под семьдесят, а девчонкам – за пятьдесят. Что-то в воздухе типа испарений, а то ли радиации... Не стареют!

Вот и здесь, на святой, как говорится, земле, какой-то консервации люди, безусловно, подвержены.

В Иерусалиме хорошо знают человека, в свои восемьдесят сохраняющего такую остроту глаза и крепость руки, что его картины чем дальше, тем становятся ярче, точнее и бесстрашнее. Эти картины встречали меня в каждом доме, с тех пор как стала бывать, а потом жить здесь. Их нельзя было не узнать. Свежесть, сенсорное богатство палитры, щемяще приземленные – и в то же время какие-то витающие в облаках персонажи, наивная стилистика в сочетании с абсолютным владением ремеслом...

Клецель художник не в смысле профессии. Поскольку если художник является таковым лишь потому, что рисует за деньги, то какой же он художник... Как не поэты те, кто за деньги просто грамотно рифмуют.

Клецель такой художник, что его Маргарита должна бы вышить золотом ему на ермолке букву «М». МАСТЕР. Но Вениамин Клецель ермолку не носит, а его Маргарита с редким для женщины именем Слава вовремя не спросила, как Вероника Долина: «Хочешь, я выучусь шить, а может, и вышивать?» Она пела другие песни. Вернее, арии. Потому что была оперная певица. Но пока не об этом.

Все, кто рассказывал о Клецеле, описывали его картины. Удержать от этого соблазна невозможно. Всё нам кажется, что можно пролезть в зазеркалье, если как следует рассмотреть и даже понять, что там отражается. Дудки. В зазеркалье творятся дела до того загадочные, засекреченные... закодированные (вот, пожалуй, точное слово), что мало, друзья мои, знать язык и географию зазеркальной страны.

Надо быть уроженцем. Не просто читать по-зазеркальски и говорить – но думать и даже видеть сны. Вот главное: сны.

Клецелю иногда снится, что он стоит на краю крыши и у его ног пульсирует какое-то живое пространство. Протоплазма. Возможно, память об армейских годах, о парашютной вышке... А возможно, и нет.

Вениамин Михайлович и сам склонял меня к тому, чтобы я «рассказала о нем через его творчество». Через его холсты и картоны. То есть в сто десятый раз поведала о его картинах. Нет, Веня. То есть я, конечно, могу проследить, как и для чего ложится на холст та или иная краска, а на бумагу – линия и штриховка. Но я не могу про-

браться в сны художника и *его* глазами увидеть, как из протоплазмы рождается небо, твердь и лицо человека, а также всякой живой твари – рыбы, петуха, собаки. А также и лицо примуса, дома, лодки, граната и башмаков.

Толкователю не понять демиурга. И пытаться нечего. Все беды «из-за того, что он неверно записывает за мной»... Не убеждай меня, Веня, словами объяснять слепому понятие «красный».

Моя дочь, ученица Клецеля, обижается, что ее, после кой-какого художественного образования, Вениамин Михайлович учит композиции, цветовым отношениям и построению кувшина (лица, цветка). Дурочка! С тобой говорит демиург, создатель мира! Выкладывает перед тобой инструментарий и касается твоих пальцев рукой, как на фреске Микеланджело, чтобы зарядить твое покамест глухое тело электричеством творчества...

*Что происходит с нами* – писал между тем Окуджава, – *когда мы видим сны? Художник Пиросмани выходит из стены...* Бесстрашие таких художников, как Пиросмани, Шагал, Клецель, Матисс, в том, что не боятся захлебнуться кипящей лавой мироздания. По этому океану, захлестываемый тысячеградусными волнами, художник заплывает далеко за буйки здравого смысла и там, далеко в океане, достигает своего острова свободы. В отличие от Кубы – свободы именно как *неосознанной*, непредвзятой необходимости.

Клецель не выбирал профессию. У него просто не было альтернативы. Точнее, он ее не рассматривал.

Веня – типа какое-нибудь авокадо в корзине яблок. Ни до, ни после него художников в семье нет. Что касается генов, он настаивает, что любой человек, творчески относящийся к своему делу, – художник. Мама и папа, финансисты (не те, что у Драйзера, а те, что за дверью с табличкой «Бухгалтерия»), по творческому ведомству вроде как не проходят, хотя отец был романтиком, мальчишкой сбежал на фронт в гражданскую войну. А вот дед Бенямин, в чью честь назван Веня – тот да. О, Бенямин Клецель был большой художник. Еще город Ольвиополь, село Голта и местечко Богополь не объединились в советский промышленный центр Первомайск Николаевской губернии – вся округа уже одевалась у этого мастера. А уж в тридцать втором, когда в районе Богополь города Первомайска родился Веня, слава его деда простиралась аж до Одессы.

Внук помнит, как дед кроил: посмотрит на клиента, там-сям прикинёт... Разложит штуку сукна на высоком столе, отойдет на шаг, прищурится – и давай ножницами щелкать. Костюмчики сидели как влитые, лучше парижских.

А на что смотрел мальчик Веня своими младенческими глазами цвета лазури, именуемой в профессиональной среде почему-то берлинской? Взгляд отнюдь не упирался в каменные джунгли и колодцы дворов. В ощущение местной детворе даны были истинные чудеса природы: гранитные скалы по берегам Буга, долина, изрезанная каньонами; с одной стороны – ковыльная степь, с другой – море... А еще бабушка посылала Беню к резнику, и он видел, как бьет фонтаном кровь из курицы и она, уже безголовая, но живая, носится по двору.



Он видел тшедушных, скорбных еврейских музыкантов – клейзмеров в долгополых лапсердаках с дудками. Большую серебряную рыбу в коричневой руке торговца... А также пожары, о которых вспоминает мечтательно: «Ах, как мне нравилось!» Город деревянный, горели часто. Бежали всем местечком, взрослые – помочь, мальчишки – «подвытаться»... Так они и застряли в памяти, богопольские пожары, полыхнув через годы на холстах студента Ташкентского художественного училища. И далее – со всеми остановками.

В Ташкент эвакуировались всей семьей – отец, посаженный, слава богу, до Ежова, в тридцать шестом, к сорок первому вышел, но после ранения в гражданскую был не годен к строевой.

В начале сороковых столица Узбекистана была, похоже, самым культурным городом СССР. Театры, киностудии, консерваторские профессора, художники, писатели. Алексей Толстой, Эренбург, Анна Ахматова, Михаил Ромм, Козинцев, Эйзенштейн, Марк Бернес, Грабарь, Моор, Александр Волков... Учись – не хоч.

Клецель хотел. Собственно, только этого он и хотел – учиться «на художника». Я не видела его ранних работ. Да и никто из теперешнего окружения, строго говоря, не видел. (Исключая, может быть, жену Славу.) Он хранит только то, что нравится ему самому.

Я сидела и смотрела, как Веня пишет. Дома с пастями арок, силуэт в талесе, лодки у берега... Черный мазок, белый мазок, красный, синий – небо. Назавтра пришла – Веня стоит перед другим, почти законченным холстом.

– Это я тот, вчерашний, закрасил. Ко мне пришла ученица, тяжелая такая... Когда рядом кто-то вызывает напряжение, невозможно работать. Чувствую – ну не получается! А когда неправильно что-то – я и не пытаюсь переделать. Записываю, в смысле на том же холсте новое пишу.

Сейчас Клецель мало работает на натуре. Пишет впечатанные в зрительную память картинки своего детства и отрочества. Пластика, типы и сюжеты еврейского местечка. Дикий зной Востока – фиолетовые тени на белых стенах, алые гранаты, синяя смальта бухарских мечетей, чистая охра песков... Пожары опять же (краплак, английская красная, неаполитанские желтые). У обычного человека в сознании бродят туманные тени прошлого. У художника всё отливается спустя двадцать, пятьдесят, семьдесят лет в засасывающую воронку живописи и аритмичную линию графических листов.

Но учеников своих Вениамин Михалыч учит, как учили его: рисовать везде и всё. Людей в трамвае, на рынке, в синагоге, на улице; рисовать узловатые, такие пластичные стволы олив; рисовать складки ткани и складки гор; рисовать силуэты улиц и домов; рисовать собак, кошек, птиц; рисовать предметы; рисовать, рисовать, рисовать... У самого Клецеля – тысячи, десятки тысяч набросков, одни подшиты в папки, другие валяются повсюду так, неучтенные. Он – шикарный график. До сих пор, рисуя, часто берет карандаш (чаще – обычную шариковую ручку) в левую руку. «Надо, – говорит себе и ученикам, – чтоб было трудно. Освоил одну технику – берись за другую...» Когда Веня чувствует, что рисунок слишком легкий и гладкий, он говорит се-

бе: пора слева. И линия становится вдруг нервной, она трепещет и бьется, как его старое изношенное сердце.

Один журналист написал о Клецеле, что по его работам можно изучать Израиль. Это так же целесообразно, как изучать строительство железных дорог по стихам Некрасова. Да, конечно, Веня сам говорит о величии библейских гор, о роскоши израильского неба и о близости этой земли к Богу, о котором думали поколения семьи. Но пишет при этом местечкового художника, местечкового еврея с петухом, местечкового каббалиста; шабат, безусловно, в местечке – месяц висит в низком небе, а под ним – семеро похожих, как братья, евреев за пустым столом: символическая рыбка и стаканы с субботним вином; явно местечковую парикмахерскую, где перед старым зеркалом с завитушками ласковый парикмахер, ухватив лапищей клиента за макушку, скребет опасной бритвой его перекошенную рожу... Пишет дивные картины своего детства. Даже в мрачной картине «Тревога» – собака воет в черное, залитое красной луной небо над багровым городом – картине, которую Клецель написал после теракта в иерусалимском автобусе – тлеет зарево богопольских пожаров.

Да и с Богом, если на то пошло, отношения у Вениамина Михалыча своеобразные. Субботу соблюдает, но иврита не знает, в синагогу ходит, но молиться не умеет (зато какие там типы!)... В тридцать два года, когда одноклассник упрекнул – какой же ты еврей-то, если не обрезан – пошел и сделал то, что мальчикам делают при рождении. Из чувства национальной гордости...

На вопрос о том, каким художником считает себя – русским или еврейским, пожимает плечами:

– Ну каким еврейским... Рос на Украине, учился в Средней Азии, тридцать лет жил в России, среди русской культуры и языка. Друзья русские, женщины...

К вопросу о женщинах. Женился-то он как раз на еврейской красавице. Не из тех, что к пятидесяти превращаются в горлопанок с фрикативным «г» и рубенсовскими формами или в изможденных мамаш при семи спиногрызах. О нет! Слава Бондаренко, солистка Самарской оперы, была и остается артисткой. Красивая пожилая дама с иронической улыбкой, ухоженными длинными пальцами, прямой спиной. Дива. Звезда.

(Вы слеживайте за мыслью порожистого повествования, не ищите плавного течения. Это на меня повлияла свобода художника Клецеля – как, говорит, на него своей свободой повлиял Шагал.)

Слава заканчивала Ташкентскую консерваторию, Веня учился на первом курсе Ташкентского же театрально-художественного института. А было ему уже под тридцать: для разбега – четыре года художественного училища с перерывом на четырехлетнюю службу в армии (радиостом в летной части, в литовском городишке Кибарты, на родине, между прочим, Левитана: бывают странные сближенья... Покрывал там своими «почеркушками» каждый свободный клочок, в наказание за что и был в конце концов назначен художником). Да плюс неудачный первый брак, правда, с удачным результатом в лице сынишки. (Сейчас в Чикаго, зубной врач).

Вечеринка в консерватории, самый конец пятидесятых. Дружок сказал: есть одна девочка – опупеешь. Что и произошло (в хорошем смысле).

Слава, точно, была красоты нездешней. Синие, в морскую зелень глаза, какие бывают только у рыжих. Тонко вырезанные, нервные ноздри носика с гордой горбинкой. Строгие брови, высоченный гладкий лоб. Длинная шея. Точеные руки... И ко всему – еще голос. Нежданова, Вишневская, Мария Каллас... Самый волнующий из голосов. Лирико-драматическое сопрано. Так впоследствии будут складываться и отношения – лирико-драматические. Как, собственно, всякая большая любовь.

Веня, надо сказать, тоже был неслабым красавцем. Как устался своей берлинской лазурью (на все, что поражает, он так и смотрит до сих пор – долго, в упор) – Слава крыльями всплеснула и поднялась к облакам, держа любовь своей будущей жизни за руку. Так они полетали-полетали, параллельно земле, после чего она уехала в Куйбышев, куда ее пригласили петь Аиду, Тоску и прочие великие партии, прославившие Самарскую оперу.

А Веня заканчивал институт. Его чуть не исключили за формализм, а именно – зеленую «ню» (никто еще не читал у нас малоизвестный рассказ Ирвина Шоу «Обнаженная в зеленых тонах» – о том, какую «судьбоносную» роль сыграла зеленая «ню» в жизни некоего, русского, между прочим, художника)... Староста курса Клецель бросался на амбразуру деканата и беззаветно, хотя и безрезультатно боролся за эстетическую свободу. Никого ни в чем не убедив, он уехал к Славе в Самару и, оставшись при своих принципах, обзавелся учениками. Было ему в ту пору тридцать пять лет.

В тридцать пять Данте приступил к «Божественной комедии». Земную жизнь, как думал великий итальянец, пройдя до середины. На самом деле ему оставалась едва четверть.

Наш герой взрослую жизнь, в сущности, только начал.

У художника Александра Окуня есть теория – почему художники доживают до глубокой, глубочайшей старости. Микеланджело за восемьдесят умер (по легенде) в публичном доме. Рубенс в девяносто скончался от чумы. Хокусай перед смертью, в восемьдесят девять лет, сказал, что только сейчас начал кое-что понимать. Пикассо до девяносто двух озорничал, мастера пародии на великие полотна. Матисс в восемьдесят пять объяснялся в любви своей Лидии. Репин в 86 умер в Куоккале, проклиная советскую власть.

Все дети рисуют, объясняет Окунь. Если ребенок не рисует – идите к психиатру. Годам к двенадцати, кто поумнее, завязывают с этим и начинают заниматься делом. И быстро-быстро созревают. А мудаки (Саша тычет пальцем себя в грудь) продолжают рисовать, в надежде, что к восьмидесяти девяти годам что-то поймут в жизни и искусстве. Вот им ничего и не остается, как жить, «красить» и потихонечку взрослеть, к шестидесяти-семидесяти только-только достигая кой-какой зрелости.

Наш друг Александр – большой шутник и выдумщик и, между прочим, профессор академии Бецалель – куда Клецель, кстати говоря,

с блеском подготовил кучу народу. Теория Окуня изящна и остроумна, но, разумеется, чисто декоративна, ведь он еще и дизайнер.

Я-то считаю, что практикующие художники живут действительно очень долго по причине своей глубокой гармонии с миром. Художник, если и испытывает творческий кризис, выходит из него с несравнимо меньшими потерями, чем, допустим, писатель. Писатель, как паук, мучительно вырабатывает из себя нить своего сочинения. В писании романа нет радости, один сопромат. В день, если ты не Дима Быков, дай Бог наковырять одну страничку.

Художник, в каком бы жанре он ни работал – транслятор мира. Проводник. Неважно, реальный это мир или воображаемый. В художественном сознании эта грань вообще стерта. Что и порождает дивную гармонию. Писатель может плодотворно работать только в состоянии душевного равновесия. А художник, чирикавая в альбомчике или стоя у мольберта, наоборот – спасается от душевной смуты. Даже болячки уходят, если они есть. Выйдя лет семь назад из больницы, Веня не «простаивал» ни дня. Только сменил масло с тяжелыми для дыхания скипидарными испарениями на акрил.

У писателя старость – всегда творческий упадок. Слова и способ их соединения уходят из памяти. Краски, запахи, звуки, формы – никогда. Я дружу с одной полуслепой художницей. Она придумала лепить свои картины из золы, смешанной с маслом, на ощупь и по памяти. Жизнь пишущего словами – парабола. Жизнь же «красящего» – поступательное движение вверх. Как та улитка, что тихо, тихо ползет по склону Фудзи – вверх, до самых высот.

Каждое утро (исключая священную субботу), Вениамин Клецель садится у себя в Писгат-Зеэве на трамвай, который ползет, а вернее, бежит, и довольно резво, до улицы Яффо. Там, глубоко во дворе, в столетнем доме за дверью с надписью «СТУЧАТЬ» у него мастерская. На одном из окон на верхней перекладине решетки сидят снаружи две старые куклы. Путь в мастерскую лежит через огромный балкон-террасу, затененный похожим на вербу деревом. В этом доме была первая в Иерусалиме гостиница, на этот балкон выходил Бунин. Веня говорит об этом с гордостью.

Спорили мы с одним товарищем, что такое ум. Он сформулировал: ум – это способность к ассоциациям. Над этим можно подумать. Творческую мысль ассоциации будят безусловно. Под куполом просторного черепа художника Клецеля гудит ветер времени. Движение этого потока непрерывно, и все связано со всем, все, по пленительному выражению Ренаты Литвиновой, «закрючковано». Левитан и прыжки с парашютом, Бунин и заваленная холстами, заляпанная красками мастерская, пожары в Богополе и теракты в Иерусалиме...

На выставке «Москва – Париж» Веня увидел картину своего ташкентского учителя Александра Волкова «Красная чайхана». И вспомнил, как этот холст вывалился из-за шкафа дома у мастера, в Ташкенте. И заплакал.

Феномен Вениамина Клецеля в том, что он живет параллельно в разных временах и пространствах, с одинаковой остротой реагируя на прошлое и настоящее. Взгляд сканирует картины жизни, и когда-то,

неожиданно освещенные каким-то внутренним прожектором, эти картины оживают и проецируются на экран холста.

Вот странная, исполненная несвойственной художнику напряженной тоски, близкая по выразительным средствам едва ли не Мунку картина «Баный день душевнобольных». Откуда она взялась здесь, в Иерусалиме, где счастливый Клецель упивается пластикой старых улочек столицы, мощными, изрытыми стволами древних олив и синими тенями пустыни?

Когда-то в Самаре друг-психиатр принес ему рисунки больных. Они поразили Клецеля. А потом, зайдя к этому приятелю в больницу, он увидел в мутное окошко баню, где, как в театре теней, двигались фигуры исхудавших мужчин. Два впечатления смешались и спустя двадцать, а может, и тридцать лет ожили вдруг, как в искаженном сне.

Откуда нам знать, почему именно в эту минуту кто-то вдует тебе в голову старый сюжет? Откуда нам знать, этот «кто-то», кто толкает тебя под локоть – с рогами или с крыльями? А может, с тем и другим в одном флаконе?

Веня почему-то не хотел мне верить, что самое интересное – судьба художника со всеми ее поворотами и ухабами. Перебирал холсты, прислоненные к стене, и все повторял: «Вот на что тебе надо смотреть, а не слушать всякую ерунду, что я рассказываю... Это никому не интересно...») Я кивала и любовалась его грязными, как палитра, руками, заляпанной красками рабочей фуфайкой и мутной фоткой в военной форме. Пока Вениамин Михалыч сквозь свой бубнеж не оглоушил меня фразой:

– А это вот – циркачи. Когда я работал в цирке...

Я мигом оказалась в собственном детстве, когда мой папа сплетал мне бесконечные байки, настоящий эпос с зачином: «Когда я работал в цирке...» Но папа-то фантазировал.

– Как в цирке, Веня?! Кем?!

Веня Клецель работал в самарском цирке художником. Мастерская под самым куполом, туда к нему приходили дружки-гимнасты и акробаты, они все вместе выпивали (для храбрости и душевного веселья). Дернув водочки, циркачи спускались на свои трапеции, а Веня, как ангел-хранитель, глядел из-под купола и не уставал удивляться человеческим возможностям.

– Я всю жизнь рисую, пишу... – говорил мне Клецель (Окунь сказал бы – «крашу»). – А до сих пор не знаю, чем занимаюсь. Вот это вот всё – что это такое? Никто мне до сих пор толком не объяснил.

Еще не вечер, Вениамин Михалыч. Искусствоведы, что непонятно, потом объяснят. Это их хлеб.

Я-то лично думаю вот что: каждое прикосновение твоей кисточки, или ручки, или еще какого инструмента к белой поверхности холста (бумаги) – это размах твоей трапеции под куполом. И вся фишка в том, что амплитуда с годами – увеличивается...

Такая вот картина маслом. Верней, акрилом.

*Вячеслав Лейкин*

## *КСТАТИ, О ЖИЗНИ*

### БЛЮЗ

Один чудака к сорока годам  
Решил, что всему конец.  
Он понял вдруг к сорока годам,  
Что полный всему конец.  
И тут же, спугнув с постели мадам,  
Явился к нему гонец.

«Ты прав, старина, — он сказал чудаку, —  
Плохи твои дела, —  
Трубу расчехлив, он сказал чудаку:  
— Исчезнешь — и все дела.  
Мужское ли дело считать ку-ку  
И тупо грызть удила?»

Ты слишком был верен своей судьбе,  
А она что ни день дурит.  
И смерть — не судьба, а прокол в судьбе,  
Когда она, тварь, дурит.  
Как если бы на голову тебе  
Рухнул метеорит.

Так стоит ли ждать, играть в поддавки, —  
Сказал чудаку гонец, —  
Ведь сколь ты ни целься, всё — поддавки  
И жмурки, — сказал гонец, —  
И ежели яд тебе не с руки,  
То вполне подойдёт свинец.

Ты слишком часто платил по счетам  
И слишком терпел скотов.  
Так вот — чем платить по чужим счетам,  
Чем быть своим у скотов,  
Откупорил перстень — и ты уже там,  
Плюмбум — и ты готов.

Глаза затекли, и дырка в боку —  
И ты перестал грустить.  
Вчера ещё спал на этом боку —  
Шарах! — и нечем грустить.  
Ну, бывай, — сказал гонец чудаку, —  
Мне троих ещё навестить».

И вдруг он завял и крыльями вдруг  
Поник, что твой марабу.  
И пошёл, спотыкаясь о землю вдруг,  
Сутулый, как марабу.  
А Господь незримо стоял вокруг,  
Ладони прижав ко лбу.

\* \* \*

Все, что пело, парило, клубилось,  
Впопыхах жизнерадостно билось,  
Постепенно стерпелось, слюбилось,  
И зима покатила в глаза.

– Как, – спросил я незримого старца, –  
Убедиться, что мне, может случиться,  
Не дано в залазурье пластаться,  
Где медвяная зреет лоза?

Но незримый, бестрепетно светел,  
Ничего, как всегда, не ответил,  
Только вол кукарекнул, как петел,  
Да слегка потекли тормоза.

Всё, что трогало, всё, что ласкало,  
Пустоту на свету полоскало,  
Всё, что душу пекло в пол-оскала,  
Застеклило дыханье зимы.

– Почему? – я спросил с укоризной  
У звезды равнодушно-капризной. –  
Почему завершается тризной  
Всякий раз постижение тьмы?

И опять никакого ответа,  
Словно что-то заклинило где-то.  
Только вдруг поползли из кювета  
Земноводные цвета чумы.

Всё, что жгло, хохотало, хотело,  
Что летело с горы оголтело,  
Обратилось в зальделое тело,  
И повсюду раздались часы.

– Почему остаётся тоска нам? –  
Я спросил чудака со стаканом.  
Он шарахнул, загрыз тараканом  
И лениво ответил: – Не ссы.

\* \* \*

Сегодня вторник. Время перерыв  
И не найдя ни смаку в нём, ни проку,  
Я объявляю жизни перерыв  
И предаюсь привычному пороку

Самозаклания. Вечный недолёт  
Уже смешит. Становится причудой.  
«Эй, – дескать, – кто там? Разворот плечу дай!» –  
И следом виновато: «Не даёт».

Не дёргайся, ступай, куда ведут,  
Не отвлекаясь, не ища резона,  
Тем более что впереди не зона,  
А то, что оставляешь – не редут.

Ступай, покуда музыка не врёт,  
И солнца блин надраеннее жести,  
И сытое фиглярство в каждом жесте,  
И каждому порядку свой черёд.

Где Бог не выдаст, красота спасёт,  
Не та ли, с разухабистым ухмылом,  
Воняющая гарнизонным мылом, –  
Чуть зазевался, тут же и всосёт,

И выплюнет, едва употребив,  
Туда, где ты же, весело ступая,  
Спешил к себе. И этот перебив  
Пронзит с оттягом, как игла тупая...

Пересчитай, бессилие тая:  
Нас четверо, и каждый – это я,  
Поэтому возьмём четыре по сто,  
Изладимся и взвоем вместо тоста.

Теперь ступай, узлом вяжи следы,  
Тасуй личины, невпопад вникая.  
А жизнь твоя, как время, никакая,  
Пусть отдохнёт. Недолго. До среды.

## ГАНЕЙ-АВИВ

Железная дорога непонятно откуда, неясно куда  
Отдаётся неважно кому в окнах микрорайона.  
Самолёты угрюмо ревут, вырываясь веером из гнезда,  
Носящего имя отчества, в нашем случае Бен-Гуриона.



Нарезаема этим лязгом и визгом, местная тишина  
Становится порционной, почти что деликатесом,  
Прибавить баранье блеянье – и картина завершена,  
Краски и фон доверим вписать классическим поэтессам.

Одну я знал – классический профиль, классическое клише:  
Матом, басом, «Кэмел» взасос, и тоже зовут Марина;  
Шампанское с пивом, рокфор в шоколаде, повидло на беляше,  
Двухсотсвечовая лампочка в накрапинах стеарина.

Однажды мы пили в парадняке классическое вино,  
Справляя классическое ля-ля, то вязкое, то тугое.  
– Почему, – спросила она, – мужикам нужно всегда одно?..  
Я не стал возражать и сразу ушёл, мне нужно было другое...

Но вернёмся к нашим баранам, чей ликующий хор навис  
Над этим стихом две строфы назад  
в стране, где не ведают стужи,  
Где всё время хочется крикнуть мгновенью:  
«Родное, остановись!» –  
Потому как следующее за ним обещает быть много хуже,

Где ты просто обязан быть счастливым, приятель,  
даже если душу свело  
От неловкой гражданской позиции, даже если не в масть эпоха!  
Свет в конце туннеля, сулящий выход, означает чаще всего  
Иллюминированный тупик, но это тоже неплохо.

\* \* \*

Ум погубил мою судьбу.  
С такими пядями во лбу,  
Минуя омуты и мели,  
Я мог бы всех иметь в гробу,  
Как все поврозь меня имели,

Но я не справился. Ума  
Непроницаемая тьма  
Бурлила, будто с переброду.  
Его густая бахрома  
Мне занавесила природу,

И я не справился. Не смог.  
Не раскодировал замок,  
Не заготовил первой фразы,  
От несодеянного взмок,  
Замкнуло контур мимо фазы.

Другой бы цвел и щебетал,  
А я надраивал кристалл,  
Классифицировал моменты  
И жизнерадостный металл  
Переводил на поэзументы.

Здравополучьем обуян,  
Не тем был сыт, не с теми пьян,  
Зато в угоду Пармениду  
Мог в эталон вогнать талан,  
Перепланировать планиду...

Сползает с гор, плывёт с полей,  
Трубит в ночи: «Преодолей!» –  
Зиждатель горестных юдолей,  
А я ему: «Досыпь, долей,  
Дойми моей же дробной долей».

А та, ничтожная во мне,  
Но так заносчиво вовне  
Преобразившаяся в разум,  
Вдруг подмигнула третьим глазом,  
Как Достоевский сатане.

## ЩЕЛЬ

Ощутив то ли кость в мозгу, то ли в сердце окатыш льда,  
Попытался понять, как уйти, не сделав следа,  
Не разбив, не обрушив, просто уйти, как проходят мимо;  
Сотворил сатанёнка, а тот показал: «Сюда», –  
И разъялась щель позади всего, и душа, томима

Не предчувствием, нет, любопытством? – и тоже нет;  
Запоздалой нуждой, заводным стрекотаньем лет,  
Беспросветом зим, устремилась туда психея,  
Вот и вышло, что зря я боялся неловкий оставить след,  
Как признался строфою прежде в этом стихе я,

На картонной скале зря тарасил, что твой орёл,  
Зря отсвечивал лысиной, имитируя ореол,  
Примерял очевидное в частности, вообще ли.  
А всего-то на круг приобрёл, что вот к ней прибрёл,  
Валтасара всосавшей взачмок потаённой щели...

А теперь расвингуйся, смекни, что ты уже не юнец  
Полагать, что всякая дырка в один конец,  
Мол, верблюду проще загнуться, чем распрямиться.  
То есть вовсе не нужно хлебать сулему и хавать свинец,  
Чтоб вернее понять, куда не стоит стремиться.

\* \* \*

Сорви сургуч. Цветные стёкла вымой.  
Продуй сифоны. Усложни аккорд.  
Разметь и раздели, как делят торт:  
Завод, лесоповал, торговый порт –  
Оглодья жизни малоуловимой,  
И сердца механизм непоправимый,  
И молодость, похожая на спорт.

Шизою, косоглазою фузою –  
И невдомёк, кусать или сосать  
Смакуемое, от чего спасать  
Пакуемое. Прошное, осядь;  
Откуда-то из толщ сперматозоя  
Скользни слезою, оползи лозою,  
Сумей неизгладимое стесать.

Трефовый фарт, фортеции фортуны:  
Торговый порт, завод, лесоповал.  
А помнится, ещё и ликовал,  
Что на лету Пегаса уковал...  
Как долго и легко мы были юны,  
Как трепетно натягивали струны  
На каждый подвернувшийся овал...

Ты мог бы стать хорьком, бараном, птицей,  
Вонять и красть, пастись, нести яйцо.  
И даже завести в носу кольцо...  
Далось тебе необщее лицо –  
Похмелье бесконечных репетиций?  
Пока не стала истина истицей,  
Успей замолвить за себя словцо.

\* \* \*

Время выходит то боком, то волоком,  
Драит личины безжалостным щёлоком,  
В горле топорщится полистирола ком,  
Но продолжаю хотеть  
Смочь на алтарь нашей славной словесности,  
Паче гордыни, допустим, известности,  
Волю воспеть, восплясать ли окрестности  
Или же страсть воспотеть.

Не ритуальное самосожжение,  
Но и не глотки публичной лужение,  
Полный сакрал и благое служение.  
Впрочем, едва потечёт,  
Тут же и впал в скоморошье говение.  
Воспоминания все довоеннее,  
И начинается ужас двоения,  
Янусы, нечет и чёт.

Глянешь окрест – перехватит дыхание:  
Зорь полыхание, крон колыхание,  
Птах малохольных сквозное порхание –  
Музыка, синь, лепота.  
Канешь ли вглубь – чревоедов скопление  
Праздному духу сулит оскопление,  
Вкуса и выкуса совокупление –  
Мыши хоронят кота.

Свет ли замылится – хлынут видения:  
Своды, расклады, разгул полубдения,  
Знай корректируй углы наблюдения,  
Пухлую паклю стели.  
В зеркало въедешь – и тут с приключением:  
Вместо лечения самовлечением  
Зрак занавозишь случайным сличением,  
В небо задрав костыли...

Вечер. Химеры. Флюидов сгущения.  
Бесы у Господа просят прощения.  
То есть почти уже без отвращения  
Порешь лохматую дичь.  
Прочь, Мнемозина, глаза свои выбели.  
Неотвратимо навстречу погибели,  
Нильсом на птице, Ионою в рыбе ли,  
Лишь бы изнанки достичь.

### **ЗАЧЕМ**

Зачем принцессе баловаться спицей,  
Попу – тальянка, блиндажу – крыльцо,  
А виршегону – маета амбиций  
И непременно первое лицо?

Не публике, скорее клиентуре  
Зачем он в душу рвётся на постой?  
Затем, что эта страсть в его натуре,  
Как некогда писал А. К. Толстой.

## ОДИНОКИЙ БЛИЗНЕЦ

Пока чесал, опрастывал, точил,  
Себя собой же и ожесточил,  
И там, где пело, вдруг зауповало.  
И стала комбинированней честь,  
Тесней стезя, а траченная десть  
Родит вину в виду лесоповала.

Пока метал, нанизывал, крошил,  
Собой себя же и опустошил.  
Померк булат, оплавилось кресало,  
Заткало паутиною стекло  
И там, где прежде грызло и пекло,  
Теперь чесалось и слегка сосало.

И рассосалось, не оставив шва,  
Жена ушла, потом опять ушла.  
Лицо и грудь ослабли. Волос вылез.  
И время, ковылявшее пешком,  
Вдруг распласталось, как перед прыжком, —  
Часы бегут, а дни остановились.

Любовь с бейсбольной битой в руке,  
С приветом ненасытному Луке,  
Пренебрегла, возможно, пощадила,  
Короче, не оставила следа  
В сознании, слоистом, как слюда,  
Наоборот, ненужное сцедила.

Ни в терцию, ни в ногу, ни в струю  
Не попадаю прорвы на краю,  
Мол, ненароком, раком всё, в бреду, мол.  
И лишь одним я счастлив, лишь в одном  
Я вмял тебе, лукавый недогном:  
Не ты меня, а я тебя придумал.

*Наталья Кили*

## *ЖИЛА-БЫЛА ОДНА ЖЕНЩИНА...*

*Эти истории – не придуманы.*

*Иногда хочется добавить – «к сожалению».*

### **СОРТИРНЫЙ ШЁПОТ**

Жила-была Одна Женщина (ОЖ). Однажды в январе она весь день провела у своих друзей, у которых умерла мама. Она любила друзей и эту их ушедшую маму, сгоревшую буквально за полтора месяца от рака гортани. С самого утра ОЖ читала канон по усопшей возле тела, прочесть вслух четыреста страниц оказалось гораздо сложнее, чем она сперва полагала, и хвала небесам, что на триста восемнадцатой странице ее сменил приехавший друг усопшей, самый настоящий дьякон с прекрасным баритональным тенором. ОЖ напоили чаем, она курила на кухне и собиралась обратно присоединиться к дьякону, но тут ей позвонил муж, который уже давно волновался, как она там, звал домой, обещал встретить, встретил, тут же им по дороге попалась старшая дочь ОЖ от первого брака, которая ехала вся в бодром настроении, т. к. в тот день сдала зачет по литературе в школе на отлично. Они втроем поужинали заказанной пиццей, поиграли с младшими детьми, и тут муж ОЖ предложил ей «вместе поглядеть какое-нибудь дурацкое кинцо, тебе же надо в себя прийти после таких переживаний!». ОЖ благодарно согласилась и отправилась в душ. В душе она полоскалась довольно долго, вышла, прикидывая, что же сейчас будет лучше – почесать глаз обо что-то тыщу раз смотренное и бодренькое, но главное – не грузящее, типа «Факеров» или «Дюплекса», или уж достать несколько заветных, до сих пор неохваченных дисков с разной киноклассикой. Она уже направилась было к полке с заветными, как вдруг ей послышалось, будто в сортире кто-то тихо-тихо разговаривает. ОЖ удивилась и подошла к двери, из-за которой доносился сильно приглушенный включенной вытяжкой шепот мужа. Муж шептал дословно следующее: «Я так люблю тебя... это невыносимо... сейчас вот кино еще придется смотреть... ты скучаешь? Я так скучаю... так скучаю...» ОЖ не стала слушать дальше и постучалась. Сортирный шепот резко оборвался, и с этого момента потекли недолгие часы и минуты до того хлопанья дверью, когда стремительно закончилась ее семейная жизнь, длительностью в восемь с лишним лет и числом в двое детей от этого второго брака. Уходя, муж вынес елку – это была его почетная семейная обязанность, и даже в этих обстоятельствах он не нашел причин ею пренебречь. И наступил следующий день, и побежали щелкать другие дни и часы, но уже ничего более страшного и пошлого, чем этот шепоток только что родного человека из-за двери сортира, с ней больше не происходило, и ничего она больше не боится, потому что смерти нет, а время стирает память. Старшая дочь поступила в

вуз, младшие учатся и занимаются всякими своими интересными маленькими и большими делами, а ОЖ постепенно собрала разрозненный паззл своей жизни в целую картинку, порадовалась этому, и все с ней было дальше хорошо, а как же иначе.

### ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА

Жила-была Одна Очень Молодая Женщина, почти девочка, инфантильная, общительная и беззаботная. У нее было много друзей и знакомых, она любила весело проводить время, легко сходилась и расходилась с людьми, легко забывала обиды. Ее не удручали бедность, алкоголизм матери, свинство и даже пьяные домогательства братьев, она не слишком думала о настоящем, но верила в то, что жизнь ее когда-нибудь обязательно изменится. Однажды в магазин, где она работала, зашел юноша, завел с ОЖ беседу, рассмешил парой анекдотов и предложил выпить пива, когда ее смена закончится. Они выпили, поболтали, потом, не раздумывая особо, предались сладкому сексу в беседке на детской площадке, а следующим вечером ОЖ собрала нехитрые пожитки и переехала к нему. Неделя пролетела, ОЖ бросила работу и начала вить вокруг двуспального матраса уютное гнездышко, ожидая возлюбленного, который пропадал на работе до вечера, приходил усталый, улыбался ласково и просил поделаться ему массаж шеи. Все было прекрасно, и должно было быть еще лучше, как вдруг через пару дней молодой человек спросил – детка, а что, есть ли среди твоих друзей такие, у которых можно разжиться эйчем, ну или там марфой? Не вопрос, дарлинг, – ответила ОЖ, которой был знаком этот сленг, – кто башляет, тот имеет всё. Деньги есть, достанешь? Солнце, для тебя – все, что захочешь. На следующий же день ОЖ позвонила паре приятелей, которые обещали все устроить, и она, крайне довольная собой, привезла любимому десять пакетиков по 1200 рублей – ей было приятно, что она так быстро и без особых проблем смогла выполнить просьбу молодого человека, который так ей нравился...

Любимый и его двое друзей были еще больше довольны, и как только она передала им пакетики, а они ей – деньги (тратила-то свое выходное пособие), все трое достали какие-то удостоверения, а за дверями ванной оказались почему-то незнакомые люди, немедленно объявленные понятыми. Любимый сообщил, что ОЖ поучаствовала в операции «контрольная закупка», а он, любимый, является сотрудником Госнарконконтроля и пас ее исключительно с целью выйти на наркоторговцев. После чего ОЖ была взята под стражу и попала в шестое СИЗО г. Москвы в Капотне. По этой статье ОЖ светит от восьми до двадцати лет, в зависимости от того, сочтет ли суд доказанным приобретение наркотиков «с целью обогащения и наживы». ОЖ искренне не понимает, в чем она виновата, ведь сама она доселе никогда в руках не держала никакой дури, не ширялась, не нюхала, она ведь только выполнила просьбу... и сидит теперь ОЖ и ждет, что ее родня как-нибудь наскребет денег на хорошего адвоката, и тогда, конечно, все у нее в жизни будет хорошо, а как же иначе...

## МОРС

Жила-была Одна Разведенная Женщина не первой молодости с тремя детьми, и ехала она, как она полагала, на романтическое свидание к нестарому сочному мужчине с бычьей шеей и ростом под два метра, с каковым училась когда-то в школе, только он был ее помладше лет на пять (как и ее бывший второй муж), и звали его милым редким именем (как ее бывшего первого мужа).

Прелюдией к этой поездке была трехмесячная волнующая переписка и телефонные разговоры, шоколадные конфеты в коробках, полутораметровые розы без шипов, навороченные наушники для старшей дочери и милые игрушки для младших детей, дорожная стереосистема и т. д. Надо сказать, что ОЖ после второго развода приходила в себя долго и порядком подзапустила свои прелести весом в центнер, но тут начала готовиться дней за несколько, сдалась специально обученным тетенькам, которые, охая от жалости, впад в азартное вдохновение, приводили ее члены и телеса в состояние, достойное применения.

Стоит ли поминать полупрозрачную блузку размером хахаха-эль, приобретенную на половину заработанных честным редакторским фрилансом средств, изначально предназначенных на покупку новых лыж средней дочери и робота-трансформера сыну?! В пургу, в метель стояла она у дверей подъезда, подпрыгивая на обычно не надеваемых каблуках (ноги отекают), и тщетно жала кнопку вызова. Через некоторое время из дома вышел дедушка прогуливать какого-то паучкоподобного песика, и пожилая многодетная скользнула в подъезд.

Сердце у ОЖ колотилось, маникюр был черничным с серебром, что плохо смотрелось на красно-мороженных руках, но она жаждала любви и вновь с силой нажала на кнопку звонка, уже дверного. Одновременно с этим зазвонил ее мобильник, откуда донесся расстроенный голос бычешеего, сообщивший, что он страшно виноват, но у его девушки заболел ребенок, а ей надо экстренно ехать в командировку на тест-драйв... и что он обязательно приедет навестить ОЖ перед Новым годом, он как раз купил потрясающий диск с блюзами («Какие еще, нах, блюзы», – подумала ОЖ, не успев даже толком сфокусироваться на внезапной информации о тест-драйвной девушке с ребенком, доселе не фигурировавшей в разговорах)...

После чего, не отходя от квартиры, подпрыгивая на сквозняке, ОЖ давала ему по телефону советы бывалой матери, лечившей своих детей от всего, что только можно придумать в течение их разновозрастных жизней; пока шла к метро – руководила действиями неопытного сошкольника по накладыванию масляного компресса; уже войдя в метро, перешла на эсэмэски, в которых максимально доступно излагала все преимущества клюквенного морса перед вишневым киселем... потом у нее кончились деньги на мобильнике, она вышла на своей остановке, зашла в кафе и выпила глинтвейна, думая о том, что нет в мире совершенства, разве только в плане наличия совершеннейших мудаков... Потом она пошла домой к детям, и сразу сварила морс, и с некоторым облегчением подумала, что у нее все хорошо, а как же иначе!



## ДВОЕ – Я И МОЯ ТЕНЬ

Жили-были Две Женщины, сестры-близнецы, только одна из них действительно жила-была, а вторая существовала только в воображении первой. Их и на самом деле при рождении было двое, но первая выжила, а вторая родилась на свет уже мертвой. Родители очень горевали и частенько поминали ОЖ ее сестру – вот, говорили они маленькой тогда еще ОЖ, а твоя сестренка всё видит, всё про тебя знает, всё рассказывает нам, ты не шали, не ври – мы от нее всё узнаем всё равно! ОЖ очень боялась своей этой сестры-привидения, она вела с ней пододеальные переговоры, умоляла ее не доносить, оставляла в укромных местах маленькие подарки и сладости. Однако сестра-привидение была сурова, даров не принимала, на компромиссы не шла и становилась с годами все жестче. Когда ОЖ пробовала сопротивляться, сестра молча брала ее за руку и сжимала изо всех сил, до появления жутких багровых пятен – отпечатков пальцев на запястье или на тощем боку. Врачи удивлялись, а родители краснели – это, говорят, дочка сама себя щиплет, нарочно, чтобы нам досадить. ОЖ научилась скрывать свои наблюдения за жизнью и деятельностью своей сестры-призрака, она прекрасно маскировала свой испуганный ужас перед очередным возможным вмешательством в свою жизнь... Время шло, родители регулярно пытались вслух вообразить, какой бы была сейчас – в десять, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, двадцать лет – невыжившая сестра ОЖ, как бы она выглядела, что бы любила, чем бы занималась – и всегда выходило, что ОЖ во всем уступала привидению – то было усидчиво, успешно, покладисто, у него все было прекрасно с внешностью (у ОЖ уши торчали, как ручки от сахарницы, она занавешивала их жидкими косицами или хвостиками, вызывая фырканье матери и разбиваясь взглядом о скользящий, торопящийся скорее мимо взгляд отца) и личной жизнью (ОЖ, стремясь добрать любви вне дома, поняла, что этого довольно легко достичь, производя нехитрые манипуляции с разными мужчинами на лестничных клетках, в лифтах, на школьном чердаке или просто в запертом классе). И чем старше они обе становились, тем изощреннее и бесцеремоннее вела себя сестра-призрак. И однажды ОЖ, которой сравнялось двадцать пять лет, увидела журнал для девочек-подростков, где были изображены известные американские актрисы-близнецы Олсен, наряженные на праздник Хеллоуин: одна из них изображала труп с восковым лицом и с веревкой на шее, а вторая держала ее за эту веревку и глумливо улыбалась. И ОЖ вдруг поняла, что выход есть, она даже засмеялась, таким простым и естественным он ей показался!.. Вечером того же дня постаревший отец ОЖ услышал в комнате странный скрип, как будто что-то качается и бьет в стенку, от чего стали подпрыгивать книги на полке... Слава Богу, ОЖ откачали, и теперь она живет в странном месте рядом со странными людьми, с которыми она наконец может открыто разговаривать о сестре-призраке и жаловаться на ее закидоны, то есть наконец-то найти тех, с кем можно поделиться этим ужасом всей ее жизни, и так ей от этого полегчало, что теперь уж у нее в жизни всё стало хорошо, а как же иначе...

## INVERSIO

Жила-была Очень Трепетная Женщина, и была у нее единственная дочь. ОЖ растила эту дочь бережно и вдохновенно. Они занимали двенадцатиметровую комнатку в коммуналке, муж и отец недолго задержался на этом сомнительном участке жилплощади, жадничал с алиментами, а потом и вовсе куда-то исчез, так что ОЖ крутилась, как могла, на двух работах, поручив худенькую и своей маме болезненную Милану. (Причудливое имя было выбрано ОЖ после прочтения любовного романа без начала и конца, где главная героиня долго и мучительно ждет своего возлюбленного, а потом умирает, сливаясь с ним в поцелуе – уж очень устала ждать за сорок лет-то. ОЖ любила рассказывать эту историю, каждый раз добавляя к нелегкой судьбе книжной Миланы все больше и больше душераздирающих подробностей, от которых сама же начинала истерически всхлипывать.) Мама ОЖ пережила войну, голод, смерть всех родных, выжила в детском доме, была по натуре человеком неласковым, без всякой нежности относилась к ОЖ и внучке, но выполняла свою работу бабушкой вполне добросовестно, не вникая в подробности детских эмоций и дочерних переживаний. Миланочка росла, бабушка водила ее в музыкалку и на хореографию, смесь казахской и эстонской крови дала девице броскую внешность, характер вылеплялся упрямый, она виртуозно врала направо и налево, и даже преуспела в этом: как-то перед остолбеневшей ОЖ возникла делегация из трех семей с соседних улиц – пришли знакомиться с «известной певицей» (ОЖ была скромным техническим переводчиком с пары европейских языков) и желали видеть «бывшего посла СССР в Мадриде» (жадный алиментщик служил когда-то в городке Отепя водителем мэра города), именно так заочно презентовала Мила своих родителей аж трем молодым людям, каждому из которых туманно пообещала выйти замуж, «как только предки разменяют наши хоромы» – вот как раз на хоромы три семейства и явились посмотреть. Бабушка без лишних слов и объяснений выпроводила улюлюкающих пришельцев, а вечером впервые в жизни применила к ничего не подозревавшей припорхавшей домой шестнадцатилетней внучке физическую силу – в бешенстве «за позор» бабушка остригла орущую Милку чуть не под ноль, после чего силы пожилой женщины иссякли навсегда, окончательно добитые инсультом. Через полгода больниц практически парализованную сухонькую старушечку ОЖ, рыдая, забрала умирать домой. Мила к тому времени бросила школу, пошла работать в «Дельту» стриптизершей и имела неслыханный успех, песцовый полушубок, альбиноса-удава, с которым выступала, кормила его раз в неделю белой крысой, ухажера-рэкетира Владика на вишневой, конечно же, девятке и дома не показывалась вообще. Незадолго до смерти мама сказала странное (ОЖ решила, что это бред и видения уходящей в небытие): «Ты ей не давай моих денег – она их потратит, а тебя из квартиры выкинет». Никаких «моих денег», по разумению ОЖ, у ее матушки не было и быть не могло, поэтому она пожала плечами и выбросила фразу из головы. Прошло еще полгода, старушка тихо отошла, ОЖ отрыдала на похоронах и жила по инерции, пока однажды не получила извещение на ценную бандероль от неизвестного

отправителя. Бандероль содержала сберкнижку матери, где обнаружили приличные накопления, отправлена она была из Подмосковья неизвестно кем. ОЖ восприняла событие без радости и без особенных удивлений, вступила в права наследства и сняла все деньги с книжки, перевела их в доллары, уложила в пакет и спрятала в пухлый сборник рассказов Чарушина и Бианки. ОЖ абсолютно не знала, что делать с этими тыщами американских президентов, она очень ждала, что Миланочка придет, и вот тогда они вместе решат, как быть. И Мила пришла, как чужая. ОЖ поплакала по маме, рассказала, что теперь уж никого в той оградке не схоронить, только разве кремация... Мила тем временем пересчитала доллары, отложила, поколебавшись, две сотенные купюры обратно в Чарушина-Бианки и отчалила. С тех пор прошло уже больше пятнадцати лет. ОЖ живет, как и жила, на двенадцати метрах, давно бросила работу и в основном ходит крестными ходами по всей стране. Мила владеет крупными автосалонами, живет на Рублевке. Недавно я прочла Милкино интервью в специализированном журнале, где она пишет, что исходный капитал она заработала техническими переводами... А ОЖ ходит меж Киево-Печерской Лаврой и Валаамом и все думает – кто же ей послал тогда сберкнижку? Но ответа на этот вопрос у нее нет, и она продолжает ходить и удовлетворенно думать о том, что хоть в одном мать ошиблась – не отобрали у нее комнату, и это ведь хорошо, но главное – у Милочки все в жизни сложилось, а как же иначе...

## ТРАГИКОМЕДИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Жила-была Одна Простая Женщина, которая после школы нигде не училась, довольно рано вышла замуж и родила дочку. Муж трудился в автомастерской, ОЖ нянчилась и хозяйствовала, планируя в будущем сдать малышку в ясельки и встать вновь за прилавок магазина канцтоваров. Как-то раз ОЖ мыла пол и внезапно отключилась. Когда ОЖ очнулась, она обнаружила себя в больничной палате, всю обмотанную какими-то проводами и облепленную датчиками, а под одеялом – совершенно недвусмысленный собственный живот. Когда врачи разрешили ей вести беседы, то потрясенная ОЖ выяснила, что впала в кому, будучи беременной едва двумя-тремя неделями, о чем и не подозревала, собираясь вымыть пол. Больше полугода пролежала она в отключке в больнице, а внутри нее рос новый человек. «Беременность пролетела на диво быстро», – любила пошутить она потом. Родился крепкий мальчишка, их еще довольно долго муржили в клинике, желая удостовериться в жизнеспособности младенца, а заодно в адекватности и психическом здоровье ОЖ. В конце концов их выпустили, и зажили все четверо плюс старенькая мама ОЖ в их небольшой двушке. Вскоре в эту самую двушку явились какие-то люди, вызвали мужа ОЖ на улицу, он пошел и пропал, пропал навсегда. ОЖ подала заявление в милицию, у нее совершенно ехала крыша от того, что она абсолютно не понимала, куда мог подеваться ее добрый и миролюбивый муж, автомеханик, у которого отродясь не было ни врагов, ни собутыльников. Но время шло, никаких известий не поступало, а надо

было жить, кормить детей, выбивать какие-то пособия по непонятно какой утере какого кормильца, возиться с мамой и ее деменцией... ОЖ изнемогала от забот и горестей, однако стойко тянула весь этот свой немалый груз. Дети росли здоровыми и спокойными, дочка пошла в первый класс, сын в основном существовал на пятидневке, за мамой смотрела соседка, а ОЖ летала в Турцию за дублом и кожей, открывала палатки на рынках, нанимала для подпольного пошивочного цеха поденщиц и умела засыпать на 15-20 минут, как Штирлиц. Через семь лет после исчезновения мужа она развелась с ним как с пропавшим без вести и вышла замуж за такого же челнока-воротилу, родила от него двойню, схоронила маму, продала квартиру и перебралась в Подмоскowie на свежий воздух – близнецы много болели, а у ее старшего сына к тому же обнаружилась астматическая компонента. Прошло почти десять лет. Как-то раз в гостях у друзей речь зашла о том, как «на диво быстро пролетела беременность» ОЖ, и один из присутствовавших, партнер партнерыч по бизнесу кого-то из хозяев дома, человек пожилой, расхохотался – а я подобную историю один раз слышал от своего шофера, он еще сказал, что не смог бы жить спокойно, если бы с ним приключилась такое, все бы думал о том, не трахали ли какие-нибудь медбратья или студенты-медики его жену, пока она в коме была – ведь срок посчитать в ее состоянии тогдашнем было сложно. ОЖ напряглась и спросила, сколько лет его шоферу. Да пес его знает, сказал пожилой бизнесмен, щас я его позову, спросим. И позвонил по сотовому, вызвал своего водителя СанСаныча. ОЖ, узнав уже и имя шофера, вышла в другую комнату и, стоя за дверью, слушала давно забытый глуховатый басок, который слово в слово повторял все то, что она столько раз рассказывала со смехом своим друзьям и знакомым, близким и не близким, словно защищаясь от чего-то этой легкостью и веселостью фразы «беременность пролетела на диво быстро»... Пропавший без вести и одновременно живой и здоровый первый муж ОЖ, возвращаясь в машину, ломал голову, зачем его вызывали веселить публику и спрашивали про возраст – он ничего не понял, как и не понял больше никто, кроме действующего мужа ОЖ. Когда они вернулись домой, ОЖ достала из коробки из-под горнолыжных ботинок пачку бумаги – это были копии запросов в милицию и прокуратуру. Муж ОЖ взял у нее из дрожащих рук эту пачку, быстрым щелканьем зажигалки устроил в камине небольшой пожар и налил жене водки. Они молча выпили и пошли спать, а с тем седым бизнесменом у них не так уж было много общих интересов, чтобы продолжать знакомство, и засыпали они, по умолчанию уверенные в том, что все уже на самом деле хорошо, а как же иначе.

## ОГОНЕК

Жила-была Одна более-менее пожилая Женщина, которая всю жизнь смиренно проучительствовала в маленьком городишке, вырастила дочь, схоронила мужа, получила какую-то блеклую пенсию и посвятила остаток жизни бездомным кошкам. Она даже специально переехала со своими любимыми когтящими всех и вся вокруг животинами, числом пять штук, на садовый свой участок в домушку с

печкой, два десятка километров от Алексина. Походила по соседям, напомнила кой-кому о своем родстве с ними, с кем-то выпила за упокой души родителей, кому-то помогла кроссворд разгадать, кому кляузу на пьющего зятя настрочить, а некоторым так вообще обещала ребенка до ПТУ дотянуть по русскому – в общем, находила на поленицу дров, на зиму должно было хватить. Кошки довольно быстро принялись за несильно пуганых деревенских птичек и скакали по чужим сеникам в поисках мышиных гнезд – свои мыши в домушке если и были, то в предынфарктном состоянии эвакуировались из нехорошего дома с пятью кошачьими запахами. ОЖ освоила баню, накорчевала и свалила в подвал несколько мешков мерзлой картошки, успела насолить грибов и настоять водку на рябине. Дочь раз заехала навестить матушку, пыталась всучить денег (продала материну библиотеку приключений, антологию фантастики бело-красную и всего Пикуля), разругалась из-за спитого чая и хлопнула калиткой палисадничка в расстройстве. А ОЖ чувствовала себя прекрасно, раз в неделю ходила четыре километра до поселка за «Огоньком», который ей за специальную мзду откладывала на почте тетка-телеграммщица – они с ней вместе собирали опять по осени. Так вот, в одном из предновогодних «Огоньков» ОЖ вдруг увидела фотографию своего троюродного брата, военного моряка, который, оказывается, лишился ног и побирался в Москве у трех вокзалов – просто фотография в очерке из серии «Время и мы». ОЖ засобиравшись в столицу искать по вокзалам этого своего морского кузена, котов на время пристроила по разным домам, задвинула щеколду на калитке и поехала. И случился с ОЖ в электричке сердечный приступ большой сложности, и попала она в кардиологическое отделение промежуточной бедной районной больницы, где тихо отошла под Рождество. Дочь нашла матушку недели через две – паспорт и пенсионное удостоверение еще в электричке тиснули какие-то оборотистые люди. Схоронила ее на деревенском кладбище, деревянно вымыла посуду и стопки за отголосившими свое соседками. Перелистнула «Огонек», уперлась в известную уже фотографию. Прочла надпись на полях, сделанную материнской рукой: «Лёва, три вокзала, гнида Тося, складень!!!» И вспомнила дочь ОЖ какую-то хитрую историю про семейную икону, взяла да и поехала на следующий день в Москву, где действительно на площади отыскала безногого родственника. Три месяца спустя дочь ОЖ была практически хозяйкой роскошных двух комнат в коммуналке на Стромынке, откуда, в общем, даже без особых сложностей изгнала бывшую жену моряка, ту самую тетю Тосю, непрописанную подлюгу, выдворившую инвалида на улицу. Дядя Лёва приходил в себя в военном госпитале под Подольском, где ему обещали вывести стому и облегчить мучения с почками. А дочь ОЖ каждый вечер смотрит на найденный в замурованном мусоропроводе медный складень – Рождество и не хочет его продавать, хотя дядя Лёва велел к его возвращению хотя бы «найти желающих». Она прикидывает, сколько нужно накопить им с дядькой денег, чтобы справить матушке пристойную ограду в благодарность за такой новый поворот в жизни и судьбе. И если чем и мучается дочь ОЖ, то только одним – что кошек маминых любимых не приютила, не взяла в столицу, но успокаивает себя: «Им там гораздо лучше, чем тут, а как же иначе».

## АНДЕРСЕН

Жила-была Одна Ужасно Скучная Женщина – все о ней так отзывались. Она и сама понимала смутно, что с детства всё вокруг нее равномерно дышало скукой, обыденностью, и даже суета, которая под разные праздники наполняла дом, была неинтересной, какой-то жалкой, неяркой, предсказуемой... ОЖ не умела радоваться подаркам, выходным, каникулам, поездкам в лагерь, походам в кино, первым наручным часикам – всё это, ну или почти всё, было и у других вокруг тоже. А ей хотелось увидеть себя в совершенно иных обстоятельствах и декорациях, ОЖ была абсолютно уверена, что именно она, вытерпевшая банальные десять классов, пару кружков и музыкалку, опрокинет свое скучное прошлое триумфально, чтобы «они все» (под «всеми» подразумевались без исключения и родители, и подружки, и редкие воздыхатели, и учителя, и даже пожилая балерина, бывшая прима провинциального театра, носившая камею у горла и вызывавшая у ОЖ легкую тень интереса, как ей удастся так красиво и медленно снимать перчатки, пальчик за пальчиком) единомоментно прозрели, потряслись и прониклись отвращением к себе и бессмысленности своих трепыханий. Что именно должно произойти, ОЖ плохо представляла, она просто терпеливо ждала, как штопальная игла из сказки Андерсена, что ее заметят и оценят – в институте, на практике, в аспирантуре, на одной работе, на другой, третьей... После тридцати двух годы вдруг полетели очень быстро, ОЖ ловила себя на том, что на вопрос о возрасте вынуждена отнимать от текущего года год рождения, чтобы точно сказать, сколько же. Воздыхатели растворялись после одного-двух проведенных вместе вечеров, не то что ночей – их просто не было. ОЖ увядала, курвилась, обретала черты стародевической стервозы, ненавидела молодых и замужних, а еще не дай Бог беременных сотрудниц, достигла небывалых высот в мастерстве рабочих интриг и создания скандальных ситуаций... уже не было на свете, кажется, ни одного человека, который бы ее любил, ее не уважали, но боялись. Она где-то в глубине души сожалела о чем-то, но так толком и не понимала, о чем именно. Карьера ОЖ шла в гору, ее посылали уже и за границу на разные выставки и конференции. И вот одна такая конференция проходила в Копенгагене и заканчивалась аккуратно под европейское Рождество. ОЖ решила прихватить пару деньков и просто погулять по пустым вечерним улицам сказочного города, поглядеть на зеленые крыши и Русалочку с неотпиленными в кои-то веки частями тела. На набережной ОЖ как раз фотографировала Русалочку на камне и залив, когда в нее со всего размаху въехал господин на велосипеде. ОЖ очнулась в объятиях насмерть перепуганного датчанина в красном вязаном шарфе, который пытался уложить ОЖ на скамью и задирает ей подол, чтобы осмотреть ногу. ОЖ набрала воздуха в грудь, чтобы заорать – и от боли, и от не самой приличной ситуации... и передумала. И правильно сделала, потому что теперь она не просто какая-то постсоветская ОЖ, а вполне себе госпожа Кнудсен при муже, ветеринарном гении Харлафе Кнудсене, и его почтенной, впавшей в маразм маменьке, которую они забирают из пансиона на Пасху и Рождество, а как же иначе!

*Тригорий Никифорович*

### *ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН: ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛИ*

Восемьдесят лет тому назад, в марте 1932 года, родился крупнейший российский прозаик второй половины двадцатого века Фридрих Горенштейн. Слово «крупнейший» ко многому обязывает, особенно когда речь идет о писателе, до сих пор, по существу, неизвестном широкому читателю, в то время как многие его литературные сверстники-шестидесятники побывали «на устах у всех», если воспользоваться выражением Бориса Пастернака. Но лишь о Горенштейне Андрей Тарковский записал в дневнике восторженное: «Он – гений!», Лев Наврозов сказал: «Чехов восстал из мертвых», а Ефим Эткинд публично отозвался: «Второй Достоевский». И те, кому удалось прочесть тексты Горенштейна еще до отъезда писателя в эмиграцию в 1980 году, разделяли эти чрезвычайно высокие оценки.

А для массового читателя писатель Фридрих Горенштейн не существовал. Существовал киносценарист Ф. Горенштейн, автор «Соляриса» (режиссер Андрей Тарковский), «Рабы любви» (режиссер Никита Михалков) и еще нескольких лент. Кроме того, в 1964 году журнал «Юность», выходявший тогда миллионным тиражом, напечатал рассказ Горенштейна «Дом с башенкой», надолго запомнившийся любителям русской литературы. Этот рассказ так и остался единственной его публикацией в советском издании. В официальной литературе того времени уже не было места для писателей, не соблюдающих правила, – а Горенштейн подчинялся только своему внутреннему голосу и не боялся нарушать никакие запреты и традиции – ни идейные, ни идеологические. И когда самый прогрессивный журнал «Новый Мир» отверг повесть Горенштейна «Зима 53-го года», писатель практически перестал показывать свои рукописи кому-либо кроме близких друзей: Лазаря Лазарева, Юрия Трифонова, Марка Розовского, Виктора Славкина. Лазарь Лазарев вспоминал в статье 2008 года: «Он отрезал себя от читателей. Не только перестал предлагать свои вещи для публикации – с этим, с людьми, писавшими долгое время в стол, я сталкивался. Но это было нечто другое – он отторгал вообще читателей».

В результате к концу семидесятых годов Фридрих Горенштейн, автор нескольких рассказов, повестей «Зима 53-го года», «Искушение» и «Ступени», двух больших романов «Место» и «Псалом», книги «Дрезденские страсти», эссе «Мой Чехов зимы и осени 1968 года» и трех пьес «Волемир», «Споры о Достоевском» и «Бердичев», оставался писателем-невидимкой. Правда, некоторые читатели той поры, особенно молодежь, больше доверяли самиздату, чем официальным изданиям – бытовала шутка, что заставить подростка прочесть «Анну Каренину» можно, лишь перепечатав толстовский роман на машинке в один интервал и выдав его за нелегальную литературу. Но произведения Го-

ренштейна не распространялись и в списках: путь в самиздат лежал через диссидентские круги, а взаимопонимание с ними у писателя не наладилось – прямые предшественники диссидентов были выведены им в романе «Место» с откровенной насмешкой. И казалось, Горенштейн смирился с таким неестественным для писателя существованием – без читателя.

\* \* \*

Впрочем, нужен ли писателю читатель – вопрос из числа вечных и вряд ли разрешимых. В идеале творчество свободно от какого бы то ни было влияния, и Пушкин призывал поэта: *«Ты царь: живи один»*, а Толстой с завистью писал Фету о Гомере: *«...никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать»*. Писатель Фридрих Горенштейн тоже создавал, что голосу пророка во все времена суждено оставаться гласом вопиющего в пустыне: его услышат лишь немногие.

Писатель, воплощающий дарованный Господом талант в Слово, может творить и без читателей: в конечном итоге он выражает самого себя. Но слово писателя – всегда о людях, об их чувствах, раздумьях, характерах, ибо только о них и говорит писатель, даже когда он описывает солнечное и морозное зимнее утро или перечисляет названия кораблей, отплывающих к берегам Трои. И тем самым оно для людей – если сказанное не отзовется в мыслях и душах читателей, творчество писателя не станет фактом литературы, одного из высших достижений человеческой культуры. Творчество может существовать без читателя, литература – нет.

Эта ситуация – когда возникновение литературы как явления требует обязательного взаимодействия писателя и читателя – напоминает одно из положений, общепринятых в совсем другом роде человеческой деятельности: квантовой физике. Когда физика добралась до описания процессов, происходящих внутри атомного ядра, выяснилось, что информация о них прямо зависит от того, каким способом она получена: узнать, как процессы происходят «на самом деле», без влияния наблюдателя (измерительного устройства) невозможно. Явление природы существует само по себе, но фактом науки становится не оно, а результат его взаимодействия с наблюдателем. Для участия в создании литературы – то есть для взаимодействия с писателем – тоже подходит не любой читатель, а только тот, кто умеет воспринять слово писателя во всех его оттенках. Если писатель сложен и глубок, это требует определенной читательской квалификации и постоянного душевного напряжения. Таких читателей не так уж много – не больше, чем истинных ценителей симфонической музыки в залах филармоний. С другой стороны, писатель попроще, чья мелодия состоит всего из двух-трех нот, тоже может рассчитывать на взаимодействие с читателями – но это будут не соратники-созидатели, а просто потребители, избегающие интеллектуальных и душевных усилий. Зато они всегда гораздо важнее с точки зрения государственной идеологии: их много, и их литературные предпочтения легче не только удовлетворить, но и направить.



Для этого и была сконструирована технологическая цепочка соцреализма: советские школьники получали первичные навыки чтения и знакомились с «правильной» литературой – новые читатели предъявляли заказ только на понятные им произведения – советские писатели выполняли этот заказ – полюбившиеся потребителю произведения входили в школьные программы – и процесс самовоспроизводился. Русская классика тоже присутствовала в школьной программе – но изучалась так, что оставляла у многих оскомину на всю жизнь. В результате Советский Союз действительно стал «самой читающей в мире страной», чем власть чрезвычайно гордилась, – однако весьма своеобразной. Особенность была в том, что советский читатель мог усвоить только простые и понятные творения соцреализма: книги Вадима Кожевникова, Анатолия Иванова, в лучшем случае – Константина Симонова. Робкие отклонения от генеральной линии советской литературы, которые начали появляться в шестидесятые годы, вызывали энтузиазм лишь у не такой уж многочисленной интеллигенции, а вовсе не у массового читателя. А там настала эпоха телевизионных сериалов – от «Следствие ведут знатоки» до «Тени исчезают в полдень», – и советский читатель с облегчением превратился в советского же телезрителя.

Такому читателю писатель Фридрих Горенштейн был не нужен. Но и Горенштейн не стремился к такому читателю: он искал не потребителя, а соратника, того, с кем можно было бы поделиться услышанным от самого главного Собеседника.

\* \* \*

А слышал, видел и понимал он намного больше, чем его литературные современники. И главное, шире мыслил. Еще в раннем эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года» Фридрих Горенштейн обозначил свою перспективу истории культуры:

*«...именно Чехов подытожил духовный взлет российского XIX века, да, пожалуй, и духовный взлет всей европейской культуры – эпоху Возрождения, юность свою проведшую в живописи Италии, Испании, Нидерландов, молодость в шекспировской Англии, зрелые годы в музыке и философии Германии и наконец, уже на излете, уже как бы последними усилиями родившую российскую прозу...»*

Писатель со столь широким взглядом на родословную русской литературы не мог придавать особое значение изыскам формы или сиюминутной политической ситуации – его занимали проблемы вечные. А единственное, что на протяжении столетий остается тем же самым – это природа человека, характеры людей. Поэтому не изображение эпохи, не углубление в себя и не эксперименты в области новой литературной техники, а исследование вечного человеческого характера стало главной задачей Горенштейна с самых первых его произведений.

Дар Горенштейна позволял ему видеть свои персонажи изнутри и насквозь, прослеживая до конца каждое их душевное движение. Так называемых «простых людей» среди героев Горенштейна не было ни одного, потому что он знал наверняка: характер живого человека, даже выдуманного, всегда сложен. И если, например, главная героиня

повести «Искушение» (1967) юная девушка Сашенька может нежно и беззаветно любить, но при этом писать доносы на собственную мать, такой ее и следует показать. Если центральный персонаж романа «Место» (1972–76 гг.) Гоша Цвибышев, сирота, неудачник, отщепенец, не умеющий наладить взаимоотношения с людьми, всерьез мечтает о господстве над Россией, вызывая разом и сочувствие, и отвращение, его изображение тоже требует непростого сочетания красок. А для этого писатель должен сначала перевоплотиться в героя, сродниться с ним, а затем отстраниться, посмотреть на свое создание извне и, быть может, ужаснуться. Процесс нелегкий, мучительный, требующий смелости и непредвзятости – но зато предельно честный.

Такой подход – безжалостный и к персонажу, и к самому писателю – неизбежно обнаруживал трагичность природы человека. Герои Горенштейна трагичны всегда – не столько из-за внешних обстоятельств их судьбы, сколько из-за их внутренней сложности: они готовы следовать как добру, так и злу. А борьба добра и зла внутри человека – вопрос библейского масштаба, и оттого для российского писателя Фридриха Горенштейна еврейская Библия была, если угодно, основным рабочим инструментом. Он пытался уяснить, что же именно следует извлечь людям из строк Библии – не в религиозном, а в нравственном отношении. И приходил к неутешительным выводам, сформулированным в интервью журналисту Юрию Векслеру: *«Моя позиция безусловно отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла. И это далеко не всегда удается».*

Эти слова поначалу настораживают: ведь писатель сам как будто признается, что он – не гуманист. Но на самом деле его мысль гораздо глубже. С точки зрения Горенштейна, занимать позицию гуманистов слишком просто и удобно: ведь если природа человека в добре, полюбить его легко. А вот если она основана на зле, то такая любовь – подвиг и немалый труд. И, в продолжение того же диалога, писатель пояснял: *«В моем романе “Псалом” есть разговор одного из героев с гомункулом. Герой спрашивает, как различать добро и зло, ведь зло часто выступает в личине добра, и это на каждом шагу, а “человечек из колбы” ему отвечает: “Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе – значит, ты учишь Злому и делаешь Зло...”»*

Любить людей, отчетливо сознавая их врожденное несовершенство, – подвиг, на который способны немногие. Писатель любил своих героев, какими бы они ни были, находя во всяком человеке частичку Добра и безбоязненно обнаруживая язвы, оставленные Злом, – потому его персонажи и становились живыми. Но нельзя ожидать готовности к подвигу от каждого – в том числе и от читателя. Людям свойственно предполагать в самих себе только хорошее – и писатель, оспаривающий это уютное заблуждение, не может рассчитывать на широкую популярность.

\* \* \*

Не способствовало популярности Горенштейна и то, что он совершенно сознательно не соблюдал устоявшийся канон русской литературы: маленький бессильный человек – всегда хороший человек, достойный лишь жалости, но не осуждения. Многие персонажи писателя принадлежали к «униженным и оскорбленным», но они были показаны не как иллюстрации пороков общества, а как живые люди: жертвы вполне могли оказаться обидчиками, а обидчики жертвами. Здесь Фридрих Горенштейн вступал в спор с Федором Достоевским.

Полемика была начата уже в «Искуплении», нечеловеческие условия жизни семьи шестнадцатилетней Сашеньки и, скажем, семьи Мармеладовых из «Преступления и наказания» вполне сопоставимы. Правда, жилье Мармеладовых – проходная *«беднейшая комната шагов в десять длиной»*, с убогой мебелировкой: *«два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый»* – похуже квартиры Сашеньки, где все-таки две маленькие комнатки и даже своя кухня. Зато матери Сонечки Мармеладовой, Катерине Ивановне, не приходится доставать из сапога ворованную пшеничную кашу, как другой Кате – матери Сашеньки: *«Мать левой ладонью схватила себя за согнутое, обтянутое ватными штанами колено, держа ногу на весу, а пальцами правой руки, упираясь в задник, тянула изо всех сил. Сапог упал, и из портянки посыпались на пол смерзшиеся куски пшеничной каши. Мать подобрала их и сложила в заранее приготовленную тарелку. Она развернула портянку и достала тряпочку с котлетами. Было четыре котлеты: две совсем целые, подернутые хрустящей корочкой, две же были примяты ступней, и мать аккуратно сложила их на тарелку кусочек в кусочек»*.

Причина всех невзгод семьи отставного титулярного советника Мармеладова в нем самом: если бы он не пил, Сонечке не нужно было бы отпрашиваться на панель. Достоевский прекрасно понимает это, но все же относится к своему герою снисходительно. В его изображении Мармеладов не мерзок, а жалок: он всегда готов снести – с наслаждением – поношение от жены на глазах у детей и искренне раскаться. За это автор позволяет ему получить перед смертью прощение Сонечки и умереть в ее объятьях. Ведь Мармеладов не какой-нибудь возмнивший о себе умник-студент Раскольников: у маленького обиженного судьбой человека в принципе не может быть злого умысла. Горенштейн с этим не согласен: у Сашеньки изначального злого умысла тоже нет, но можно не сомневаться, что лишь *изначального*.

И не останавливается. На молодежном балу по случаю Нового 1946 года Сашенька испытывает страшное унижение: окружающие замечают вшей, ползущих по ее маркизетовой блузочке, и, уже побывав было признанной королевой бала, она вынуждена в слезах бежать. Вши, она уверена, переползли на ее лучший наряд с одежды бездомных нищих, которых приютила ее мать, и Сашенька решает отомстить способом, который кажется ей наиболее естественным – доносом: *«Мать моя является расхитителем советской собственности. Я отказываюсь от нее и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину...»*

Сашенька уже усвоила основы общепринятой демагогии: «советская собственность» – это та самая пшенная каша, которой ее подкармливает мать, посудомойка в милицейской столовой. Казалось бы, глупая и злобная Сашенька никак не может вызывать симпатии – но она оказывается способной искренне и навсегда полюбить. И, сама став матерью, искупает тем самым любые свои прегрешения – по крайней мере в глазах писателя Горенштейна.

Так откровенно показать запутанную изнанку души «униженных и оскорбленных» в современной Горенштейну литературе никто не отваживался – булгаковское «Собачье сердце» уже сорок лет как находилось под жесточайшим цензурным запретом. Да и ранее целый пласт дореволюционной литературы считал обязательной неколебимую веру в народ, в трудящегося человека, с его мудростью, чистой душой и неизвращенной, здоровой жизнью. Потому толстовский помещик Левин и становился на косьбу вместе с крестьянами – он жаждал опроститься и подняться до их духовного уровня. Горенштейну же, поработавшему до литературы и глубоко под землей в рудной шахте, и прорабом на киевских стройках, «ходить в народ» было незачем – писатель сам был частью народа и особого преклонения перед ним не испытывал. И смягчать свои оценки ради того, чтобы привлечь на свою сторону побольше читателей – из того же народа, – он не собирался.

Писатель не идеализировал людей из народа, хоть всегда видел и доброе начало в каждом из своих героев. Но – именно в каждом человеке в отдельности. А вот свойства, присущие всем вместе – толпе, неизменно вызывали у Горенштейна тревогу. Он не доверял народному представлению о справедливости и опасался его: *«В России, как всегда, есть кого бить, есть кому бить и есть чем бить. Бутылка заменила булыжник, стала грозным оружием пролетариата. Серые трудовые будни делают людей неврастениками, загоняют под шкуру людскую натуру. А ведь хочется жить, хочется дышать полной грудью, покричать до хрипоты, ударить ногой ненавистное тело... Крови и демократии хочется. Какая же демократия без открыто пролитой на панель крови? Ведь тирания льет кровь в подвалах и камерах, подальше от глаз общественности».*

Эта едкая ироническая зарисовка – из повести «Яков Каша» (1981), написанной Горенштейном в эмиграции. Но уже в романе «Место» он безо всякой иронии нарисовал страшную картину стихийного народного возмущения. До перестроечных погромов было еще далеко, и друзья писателя сочли тогда его предвидение слишком мрачным. К сожалению, в этом споре прав оказался именно Горенштейн.

\* \* \*

Горенштейн предвидел и другое: у либеральной интеллигенции не хватит смелости признать, что в постоянном противостоянии власти и народа безгрешны обе стороны. Писатель, показавший глубину и трагизм характеров «маленьких людей», с их постоянной внутренней борьбой добра и зла, отчетливо видел сусальность таких, например, образов, как солженицынские Матрена-праведница или дворник мар-

финской шарашки Спиридон. (Видел это и Варлам Шаламов, лаконично заметивший в письме Солженицыну: *«Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может»*.) А ведь для знаменитого бастиона шестидесятничества – журнала «Новый мир» и писателей вокруг него и Спиридон, и Матрена были иконами, идеальными слепками с непогрешимого Народа, который потому только не достиг до сих пор демократии и процветания, что был насильственно лишен благотворного воздействия либеральных идей. По мнению же Горенштейна, автора романа «Место», если реальный – а не воображаемый либералами – народ получит возможность самостоятельно выбирать, он будет склонен скорее к бунту с насилиями и убийствами, чем к мирному перевоспитанию в демократическом духе.

Такие размышления в глазах диссидентствующих либералов были ересью, и Фридрих Горенштейн в общем стаде шестидесятников, по определению Виктора Ерофеева, быстро оказался «черной овцой», подлежащей остракизму: система идеологического распознавания «свой – чужой» действовала внутри художественной интеллигенции не менее эффективно, чем снаружи. К тому же Горенштейн был слишком гордым, резким, трудным в общении. В конце концов за ним утвердилось репутация человека с дурным характером, вспыльчивого, тяжелого, плохого. А, как точно подметил Горенштейн десятилетия спустя, *«плохой человек в советской системе – понятие идеологическое»*.

Но сам Горенштейн в своих поздних эссе и интервью неоднократно отзывался о шестидесятниках весьма критически вовсе не из-за своего характера, и вправду нелегкого. Горенштейна не устраивала исповедуемая ими концепция литературы публицистической, общественно активной, идейной – словом, той же советской литературы, только с обратным знаком. В разговоре с американским славистом Джоном Глэдом в 1988 году, когда вся «прогрессивная интеллигенция» взалхлеб зачитывалась «Детьми Арбата», Горенштейн сказал об этом весьма определенно: *«Я не принадлежу к тем, кто восторгается 60-ми годами. Они, конечно, раскрепостили сознание, и в этом их ценность. Но в смысле мастерства, особенно мастерства, и в смысле духовных взлетов это были годы, во многом затормозившие развитие литературы. Беды второй оттепели демонстрируют слабые стороны первой оттепели. Почему сейчас многое идет на убыль? Потому что литература взяла на себя публицистические задачи, а это никогда не проходит даром»*. *«Для многих запрет – это важный момент их существования. В особенности это было так в 60-е годы – запрет, полузапрет. Возьмите Солженицына. Я думаю, он не выиграл, а проиграл тем, что его начали публиковать. То, что был запрет, что вещи попадали туда исподтишка, в целом давало ему большие преимущества. Да и не только ему! Возьмите Таганский театр, без этих запретов, без просмотров полузапрещенных он был бы во многом обеднен, мягко говоря, и не только он. У меня этого нету. Подтекста нет»*.

Действительно, тогдашний политический подтекст, столь важный для ошеломляющей популярности Василия Аксенова («Затоваренная бочкотара»), Анатолия Гладилина («Евангелие от Робеспьера»), Фазиля Искандера («Созвездие Козлотура»), Горенштейна попросту не интере-

совал – а это означало, что и тот читатель, кто уже не воспринимал литературу как таковую, без эзопова языка, для него тоже был потерян. Мало того, во времена, когда высшей литературной похвалой стало определение «новый», писатель Горенштейн оставался, по классификации Юрия Тынянова, архаистом. Он признавался Джону Глэду в своей не любви к модернизму: *«Я люблю Кафку, но по другим причинам. Как раз за классические отзвуки у Кафки. Маркес и многие другие успешно живущие в современной литературе писатели берут как раз вот эту современную сторону Кафки и Достоевского и прочих. Наверное, это лучшее, что сейчас есть, но у меня какое-то отталкивание даже от высот, я не очень близок к вашей литературе. Вот эти Фолкнеры и прочие... Читал их. И у Набокова мне не все близко по тематике, но я понимаю, что это литература. Это уровень. Ведь очень важен уровень. Он может мне быть не близок. И Булгаков во многом мне не близок. Я не считаю "Мастера и Маргариту" лучшей его книгой. На мой взгляд, лучшая его книга "Белая гвардия". Он слишком уже фельетонист. И у Платонова не все мне подходит. Как раз "Котлован" мне меньше всего по душе, вот. Маленький рассказ "Фро" мне ближе, чем "Котлован"».*

Легко себе представить, как мог оценивать творчество своих коллег писатель с подобным – на равных – отношением к корифеям и как коллеги могли реагировать на его оценки. А поскольку Горенштейн еще и не желал соблюдать внутригрупповую субординацию – заявлял, например, что *«Борис Леонидович Пастернак получил Нобелевскую премию не за свою великую поэзию, а за свою посредственную прозу»*, то его одиночество среди современников было обеспечено. Не нападали на него всерьез потому, что побаивались: по словам Марка Розовского, *«Горенштейн всегда досконально знал свою тему. Поэтому коллеги его не трогали: уважали и притом чуток боялись его мощи...»*.

Зато замолчать Горенштейна было нетрудно – благо в печати такого писателя не существовало, – а еще легче было исключить его из круга своих, избранных. Фридрих, человек гордый и сознающий свое место в литературе, старался не замечать этой обиды, но она все же язвила его глубоко и прорвалась через двадцать лет, когда он написал о шестидесятиниках: *«Я отошёл от них без почтения (этого мне по сей день не простили), но теперь это смешно, раньше было грустно и создавало проблемы. Я отошёл, а с их точки зрения, «мне было отказано», «я был отпущен», так и не представлен «высоким либералам» и не имея от них печати о благонадёжности, то есть не был благословлён высокими: Анна Андреевна, Александр Трифонович и т.д. А ведь это была литературная власть, даже если иные из них от официальных властей были гонимы (может, как раз благодаря этому)»*.

Писатель не преувеличивал: без либеральной «печати о благонадёжности» судьба его произведений оказалась нелегкой даже в эмиграции.

\* \* \*

Парадокс «Фридрих Горенштейн – крупнейший непрочитанный писатель» возник в русской литературе конца XX века на стыке нескольких разнородных причин. Массовый советский читатель к тому

времени читать уже разучился: с младенчества потреблявший лишь искусственные питательные смеси соцреализма, он уже не мог усвоить литературу настоящую – сложную, правдивую, для взрослых. Со своей стороны, писатель Горенштейн видел в основе человеческого характера не столько хорошее, сколько дурное – и не всем читателям, даже вполне квалифицированным, такая позиция могла понравиться. Библейский отстраненный взгляд Горенштейна на своих героев просвечивал их насквозь, и тогда оказывалось, что малые мира сего не всегда праведники: они могут стать и преступниками, особенно собравшись в стаю. А это наблюдение шло вразрез с литературными традициями либерального истеблишмента и подлежало осуждению замалчиванием.

Была и еще одна причина. Фридрих Горенштейн был русским писателем, но он был также и неотъемлемой частью еврейского народа, прямым наследником мужчин, женщин, стариков и детей бывшей «черты оседлости», уничтоженных в Холокосте. От своего иудейского наследия писатель Горенштейн не мог и не собирался отрекаться. Сам он не видел здесь никакого противоречия. Более того, еврейское мироощущение помогло ему обогатить русскую литературу, восстановив в романе «Псалом» забытую после Пушкина традицию: понимание единства ветхозаветной и евангельской частей Библии. Но определенной части читателей (и, конечно, писателей) проблемы, которые они считали «чисто еврейскими», казались по меньшей мере неинтересными.

И тридцать долгих лет – с шестидесятых до девяностых – писателя Фридриха Горенштейна в российской литературе держали в возможно более полном забвении: читатели его не знали и критики о нем не писали. Эмигрантские журналы изредка печатали его рассказы и повести, но русскоязычных книжных изданий почти не было. Зато несколько книг вышло по-французски и по-немецки – на европейском уровне блокада не действовала. Лишь после того как Советский Союз рухнул, в России выпустили трехтомник Горенштейна (издательство «Слово/Slovo»), а театры Москвы и провинции поставили его пьесу «Детоубийца». Возникло даже нечто вроде моды на Горенштейна: его произведения стали одно за другим появляться в периодической печати, а роман «Место» удостоился включения в шорт-лист самой первой Букеровской премии 1992 года – хотя и не получил ее.

А когда эйфория гласности, вызванная возвращением текстов, до тех пор бывших под цензурным запретом, прошла, устоявшаяся рутина литературной жизни вернулась в целом на круги своя. Писатели-шестидесятники были объявлены классиками, написанное ими было включено в школьные хрестоматии, а Горенштейн вернулся к привычному положению невидимки. Новые книги писателя до его кончины в 2002 году выходили по-русски главным образом в маленьком нью-йоркском издательстве «Слово/Word» – но не в России.

Однако кое-что в российской литературной панораме все-таки изменилось, причем весьма существенно: сменились читатели. Массовый читатель, правда, остался тем же, разве что переключился с

Юлиана Семенова на Александра Бушкова. Но в отношении к более серьезной литературе произошел явный разрыв отцов и детей: новое поколение, может быть, еще и почитает шестидесятников, но уже не читает их – молодые далеко отошли от животрепещущих когда-то общественных проблем. Вот только чувства и мысли человеческие – любовь, ненависть, страдание, поиски истины, доброта, отчаяние – по-прежнему остались с ними, так же, как и с их предшественниками. Выразить эти чувства, передать эстафету следующим поколениям – что и делает, кстати говоря, человечество чем-то единым – способно лишь творчество писателя, сосредоточенного на самом человеке, а не на времени, когда ему выпало жить.

Поэтому в XXI веке начинается, пока понемногу, возвращение Фридриха Горенштейна. Трехтомник давно разошелся; но был вновь переиздан роман «Псалом», вышло несколько сборников повестей, рассказов и пьес, отдельным изданием – кинороман о Шагале. Совсем недавно, в 2011–2012 годах, Санкт-Петербургское издательство «Азбука» выпустило четыре больших тома произведений Горенштейна – практически всю его прозу. Молодой кинорежиссер Ева Нейман сняла фильм «У реки» (2007) по мотивам раннего рассказа Горенштейна «Старушки»; она же работает над лентой «Дом с башенкой». Александр Прошкин бережно перенес на экран повесть «Искупление» (2012). О Горенштейне написала его берлинская знакомая Мина Полянская, серьезные литературоведческие исследования проводятся в Перми, Женеве, Чикаго, Будапеште, Даугавпилсе...

В Израиле книги Горенштейна пока не издавались, хотя журнал «Время и мы», основанный в Тель-Авиве, регулярно печатал его произведения. Не будучи израильтянином, Фридрих Горенштейн принимал близко к сердцу проблемы еврейского государства, в особенности опасаясь внутреннего раздора перед лицом внешней угрозы. Более пятнадцати лет назад он напоминал в одной из публицистических статей: *«...когда Теодор Герцль задумывал восстановить еврейское государство, то одной из важных задач при этом было преодоление гетто как формы общественно-государственного существования, т. е. преодоления гетто-комплекса. Что же означает гетто-комплекс? Это страх перед внешней средой, внешним окружением и компенсация его за счет властолюбивого господства над обитателями гетто»*. Сказано жестко, но предупреждение до сих пор звучит актуально и заслуживает быть услышанным. И хоть на иврите Горенштейн еще не появился, надо полагать, что многие израильские читатели и в двадцать первом веке будут понимать этого писателя без перевода.

Разумеется, число читающих Горенштейна никогда не сравнится с количеством поклонников очередного кумира – будь то автор гламурного чтива, актер или поп- / рок- / рэп- и так далее музыкант. Но кто-то всегда будет внимать разговору писателя Горенштейна со своим вечным Собеседником и прислушиваться к отзвуку их голосов в собственной душе.



*Вильям Баткин*

## *ИЗ ПОСЛЕДНИХ СОНЕТОВ*

В ноябре прошлого года умер замечательный иерусалимский писатель Вильям Баткин. Его стихи, проза и публицистика были наполнены любовью к Эрец-Исраэль и острой болью за всё, что мешает стране, ставшей ему родной, обрести подобающее ей достоинство. Творчество Вильяма высоко оценили его коллеги по литературному цеху – среди них такие признанные мастера слова, как Наум Басовский, Ион Деген, Борис Камянов...

«Заслуженный шахтёр, живший в мире с советской властью, позволившей ему выпустить две книжки стихов с оптимистическими названиями “Пойте песни о верности” и “Надежда”; переводчик, успешно перелагавший на русский язык стихи украинских поэтов, взысканный дружеским отношением корифеев советской литературы и их похвалами» (как писал о нём Иегуда Векслер), удостоился прожить новую жизнь – пятнадцать не простых, но прекрасных лет **«среди Иудейских гор, точнее – в глубине»**, идя по трудной дороге к самому себе, к своему народу, к своей Земле.

Да будет благословенна память о нашем товарище.

Редакция «ИЖ»

\* \* \*

Когда я из артельных подмастерьев  
Не призван был в когорту мастеров,  
Мне показался приговор суров,  
Сравним он с высшей мерою – расстрельной,

С диагнозом жестоким докторов...  
И я стоял, как пред судом, растерян,  
И стих мой, и невидящ, и рассеян,  
Терял свой пламень, словно жар костров.

Но вдруг услышал Свыше: «Без истерик!  
Широкий путь был пред тобой расстелен,  
И Небо натянуло прочный кров –

Вот и твори, сомненья поборов,  
А Мне решать, кому быть менестрелем,  
Кого учту в когорте мастеров».

\* \* \*

*Милочке*

Наши тексты, как тесты, бродят по Интернету  
На глазах завидующих вселенского люда,  
И пока, будто спутник, облетают планету,  
Мы бродим с тобой по Яффо и Бен-Иегуда.

Эти строки катрена – давняя страсть к сонету,  
Повод отбросить полог, признаться прилюдно:  
Если в конце тоннеля жадно тянусь к свету,  
Со мной сотворила чудо твоя причуда.

Если вдруг удостоен такого подарка,  
Верно, вмешались силы иного порядка, –  
Именно наши тексты ими и объяснимы:

Если выпало нам судьбою бродить по Яффо, –  
Солнечно-бесподобной, по дивной, по яркой  
Улице во вселенной – в центре Иерусалима.

\* \* \*

Кто-то в топкой толпе сотворил моментальное фото  
И полгода спустя переслал мне цветной отпечаток:  
С кем-то схожий старик, бородатый и вполоборота,  
Верно, разгневан и зол, точнее всего – опечален.

Оттого, что толпа старика окружала рядами,  
И несла за собой, и влекла, словно траловый невод,  
Бородач оказался прижатым к хорошенькой даме  
И не столь опечален, а попросту – зол и разгневан.

Мне ль его не понять – при подходе к стадии подлой  
Угодили мы с ним, словно в омут, в рисковую пору,  
Когда дата рожденья таится в заоблачной дали,

Когда – сил на исходе, а от замыслов нового – застит,  
Но и с давнего дня, и сегодня, понятно, и завтра  
Вновь влечет и манит, как магнит, к единственной даме.

\* \* \*

*Науму Басовскому*

Постыдная страсть – зависть,  
Горше груза грехов, –  
Радуюсь и терзаюсь  
Ладом чужих стихов.

Непостижима запись  
Неслучайных слогов,

Чутких созвучий завязь,  
Словно говор шагов.

Что же со мною случилось?  
Пришвартовалась старость?  
Истоцилась душа?

Напрочь рифмы иссякли...  
Спиться пора, да закусь  
Кошерна и хороша.

\* \* \*

Что я делаю нынче у Яффских ворот,  
Со знакомым поэтом про вечность судача?  
Вот Армянский квартал... Поворот... Поворот...  
И в сияющей дали манит Стена Плача.

Как сочится вода сквозь скопление пород  
С проливными дождями зимою в придачу,  
Так приходит сюда наш упрямый народ,  
Неизменной молитвой себя обозначив.

Мне неведом тот предок удачливый мой,  
Что от Котеля шел с сыновьями домой,  
На субботнюю трапезу лишь поспешая.

«Храм – в душе береги, хоть в глазах его нет!», –  
Так сказал мне однажды знакомый поэт...  
Не случилось признать в нём в тот день Бен-Ишая.

\* \* \*

Моя наивная невинность,  
Моя невинная наивность,  
Откуда ты, скажи на милость,  
Как грех, как кара, объявилась?

Я прожил жизнь суровой, проще,  
Когда на жребий редко ропщешь,  
И ветер буйный чуб полощет,  
Как крону в придорожной роще.

Откуда же такая напасть?  
Клеймом калёным выжгли: «Старость»,  
И за спиной трепещет талес,

Мне сшитый впору иль на вырост,  
Что полагаю – не наивность,  
А Свыше милость.

\* \* \*

Каштановый Харьков мне снится порой по ночам,  
В звенящих трамваях – до боли знакомые лица.  
Наутро, бродя по седой бороде и плечам,  
Израиля солнце в глазах моих щедро искрится.

Нагрязнули годы – я стал обращаться к врачам,  
Нагрязнули годы – на пятки их тяжесть садится.  
И тянутся лета мои, как бамбук, невзначай  
Едва не гнушаясь жестокостью даже садистской.

Здоровый как бык, вдруг услышал я бренную плоть,  
Качает меня, как в стремнине – разболтанный плот,  
Не спустит по прочим природным приметам и знакам...

И, словно туман, непривычная застит печаль...  
Да снится нередко по зыбким, как наледь, ночам  
Каштановый Харьков.

\* \* \*

И только теперь, когда седина белоснежна,  
И годы, как коды, насытила генная суть,  
Поймешь, что судьба, та, что Свыше дана, – неизбежна,  
И если есть Милость, то есть неизбежно и Суд.

Но норы порой прорывает запруды мятежно,  
И ноги, как йоги, в запретные топи несут,  
И если дано тебе выжить в тоннеле крошечном,  
То коды на годы судьбу непременно спасут.

Есть тайна Любви, но и есть ощущение Страху,  
Не ужас, а трепет, и место моленья – не плаха,  
И Небо тебе оказало вниманье и честь.

Не дай тебе Бог возгордиться везеньем... Однако  
И в буковке каждой – в пергаментном свитке ТАНАХа  
Сумей о себе достоверную повесть прочесть.

## ПРОЩАНИЕ С МАСТЕРОМ

\* \* \*

С уходом Асара Эппеля русская литература потеряла очень крупного мастера, которого она традиционно не успела достойно оценить при жизни. Переводы с польского, стихи для мюзикла и, наконец, самое главное в его творчестве – пристальная и ни на кого не похожая проза – все это ждет серьезных исследователей.

За что бы ни брался Асар Эппель, он делал это неторопливо, придавая слову то великое значение, которое оно всегда имеет для настоящего писателя. Никакой приблизительности – только абсолютная точность. Поэтому и читать прозу Асара хочется медленно, вникая в уникальную фактуру этих текстов, полных пленительных подробностей и своеобразнейшего юмора. Открываю на первом попавшемся месте его рассказ «На траве двора»: *Напоролся Василь Гаврилыч в результате на слободу города Москвы, где сразу же поженился на домовладелице Дариванне, пленив ее, как встарь его земляк сластолюбивую императрицу, малороссийскими песнями и могучим хохлацким загривом, который якобы, как никакой другой, удобен для обхвата горячими женскими руками.*

Это не лучшая и не худшая, а – типичная для Эппеля проза, в которую как войдешь – так выйти нет ни возможности (такая мощная воля у автора), ни желания (таково обаяние его мастерства).

В телевизионной передаче «Школа злословия», показанной прямо перед его смертью, Асар Эппель рассказывал о том, кто ему особенно дорог в русской литературе. Мы много говорили с ним об Андрее Платонове. Эппель внимательнейшим образом анализировал фразу Платонова. И я очень был рад, когда он с особенным каким-то теплом назвал этого великого русского прозаика своим любимым автором.

Не знаю другого писателя в нашей сегодняшней литературе, который бы так мощно и плодотворно продолжил платоновские традиции.

Разнообразие умений и интересов Асара Эппеля поразительно. Серьезная проза, а рядом – азартная пластика музыкального театра.

Мюзикл «Биндюжник и король», с музыкой Александра Журбина, шел в театре имени Вахтангова, на основе его был сделан фильм. Критика наша, как всегда, не удосужилась разобраться в литературных достоинствах этой работы. А они – уникальны. Хотелось бы посмотреть на другого автора, который бы так точно и выразительно, а главное, так похоже на Бабеля сказал бы о Молдаванке:

*День – как белая невеста,  
Ночь – как фрак на аферисте...*

И дальше:

*Ночью – ломтик лунной брыззы,  
Оловянный дождь с рассвета...*

Это – стихи, каких днем с огнем не найдешь в большинстве мюзиклов, которых все больше в Москве и в которых все меньше поэзии.

Когда я говорю обо всех этих удачах замечательного писателя, требующего серьезнейшего изучения, я все больше ощущаю острую нужду в товарище, никогда ничего от меня не требовавшем, но всегда готовом прийти на помощь. Мне, и не только мне, будет очень не хватать тебя, Асар...

**Юрий Ряшенцев**

\* \* \*

В конце февраля умер Асар Эппель. Я и не предполагал, что эта печальная новость может так сильно меня взволновать и даже на некоторое время выбить из колеи. Будто жизнь лишилась чего-то настолько важного и необходимого, что и заменить нечем.

Первый же много лет назад прочитанный его рассказ вверх меня в шоковое состояние. С тех пор я с жадностью набрасывался на каждую его новую публикацию, в частности, в нашем «ИЖе».

*«...На первый в их жизни юг, на первом в их жизни поезде подруги ехали втроём: она, Тома и Райка. Правда, её отец, доктор, не знал, что Райка уже дважды заходила к мужчине Анатолию, после чего, торопясь и дыша в пылающие лица подруг, рассказывала, что заходить к мужчине страшно, но ужасно интересно, и она зайдёт опять, “когда приедем с юга и я буду хорошо выглядеть”».*

Или – *«...машинист, если, конечно, не глядит на манометры, из окошка выглядывает всё время. Как всё равно из мезонина. Это – в пути, а на станции из-под клёпаного паровозного брюха капает грязный кипяток и тихо шипит пар. Иногда пар вырывается белым облаком, и весь паровоз им окутывается. И железная дорога от этого и от угольной изгари чумазая. Ещё она в каких-то потёках. И в каких-то ещё. И в каких-то масляных, а ещё в лишаях цветной ржавчины. Дымные оргазмы улетают к небу и стелются понизу...»*

О том, как это сделано, ты задумаешься позже, а пока твой организм начинает вибрировать в резонанс с завораживающим ритмом этой волшебной прозы, и тебя уносит в дальние дали ее мощнейший изобразительный поток. И догадаешься, что имеешь дело с *поэтом*, прежде чем прочтёшь его замечательные стихи.

А еще в своих оценках совпадешь с некоторыми литераторами, считающими его стилистику барочной. Но будешь ставить это ему не в вину, а в заслугу. Ибо, как правильно заметил, правда, по иному поводу, Михаил Яснов: «Не тоталитарные устремления классицизма, не революционный пафос романтизма – а именно причудливое, тайное и не всегда добронравное бунтарство барокко оказалось созвучно гуманитарным настроениям общества, стоящего на пороге не только социальных, но прежде всего этических перемен».

И Неквалифицированный Читатель спросит тебя: «Какой-токой Эппель? Я и не слыхал о нем». – «А киномузикл “Биндюжник и король” видел?» – «Ну конечно!» – «По его сценарию поставлен». – «А-а-а...» – «А кто такие Анна Герман и Тамара Миансарова, знаешь?» – «Ну!» – «По их заказу тексты для песен писал». – «Молодец. И всё?» – «Поче-

му же всё? Масса книг и журнальных публикаций. Писал стихи и поэмы, очерки и эссе, переводил Петрарку, Киплинга, Сенкевича, Бруно Шульца, нобелевских лауреатов Исаака-Башевича Зингера и Виславу Шимборску. Начнешь перечислять – не остановишься. Вот-вот должна выйти из печати его книга переводов с польского «Моя полониана». Но главное, конечно, – его проза, уверен, что – мирового масштаба».

А Квалифицированный скажет: явно недооценен. Почему? Да потому что не нашлось еще конгениального критика, способного разложить по полочкам добытые им сокровища, найти объяснение механизмам его могучего воздействия на чуткие души ценителей Прекрасного.

Прибавим к этому и личные качества: Асар был тихим, деликатным человеком. Явно не пробивным... Между прочим, в этом смысле он повторил судьбу другого замечательного прозаика – Фридриха Горенштейна. В чем тут дело? Думаю, не в «вульгарной простоте отрицания», как сказала бы Анна Ахматова, но в некоей трудно уловимой настороженности по отношению к гениальным инородцам, в подспудном недоверии к их слишком пристальному взгляду на российские реалии. Взгляду, хотя и изнутри, но всё же несколько со стороны...

Эппель окончил архитектурный факультет. Тем не менее долгие годы в основном был известен в качестве переводчика-трудоголика. Признавался, что выбирает автора по принципу совпадения ритма авторского текста со своим собственным ритмом. В течение двадцати двух лет он ежегодно ездил в Дубулты, жил и работал в Доме творчества. Однажды переводческие труды свои окончил досрочно и стал набрасывать литературные портреты обитателей 5-го Новоостанкинского проезда, среди которых прошли его детство и юность, заносить на бумагу приметы их, в сущности, слободского быта. Из этих записей и возникли его удивительные рассказы, составившие книгу «Травяная улица». А затем и других книг – «Шампиньон моей жизни» и «Дроблёный сатана». Счастливая случайность, без которой мы не имели бы того, что имеем? Может быть. Но вряд ли...

Моя приязнь к его личности и творчеству не исчерпывается признанием литературных заслуг и человеческих достоинств. Читая, например, в блистательном его переводе «Люблинского шукаря» Башевиса-Зингера, я чувствую, что этот перевод – плод нешуточного интереса переводчика к быту, чаяниям и злоключениям героев зингеровской повести, обитателей еврейских сел и местечек Польши, жителям Люблина, родины матери Эппеля, и Варшавы. Нечто подобное по отношению к ним испытываю и я. Потому что и мои предки, а стало быть, и я сам – порождения практически той же самой среды. Так что Эппель для меня *свои* не только эстетически, но и генетически.

Мы не были знакомы лично. Однажды я послал в журнал «Лехим» стихи. Эппель вел в нем поэтическую рубрику. Впервые за мою долгую литературную практику редактор откликнулся мгновенно: «Беру». Мы обменялись несколькими короткими посланиями. И в одном из них, уже после публикации стихов, я, к счастью, успел сказать ему добрые слова о его уникальном даре и признаться в давней любви к его потрясающим рассказам. Единственное, что теперь утешает...

*Марк Вейцман*

# НОВЫЕ ВОРОТА

---

**Юлия ВИНЕР. Место для жизни. Москва: «Текст», 2011.**

Соломон Исакович – странный одинокий как перст человек с нелепой мечтой о личном бассейне. С невероятной изобретательностью и упорством он строит бассейн в неожиданно полученной им однокомнатной квартире на окраине Москвы. Один только раз ему удастся погрузиться в теплую голубую воду и перенестись в волшебный сверкающий мир, далеко-далеко от ленивого и грубого пренебрежения окружающих. Соседская квартира залита, и его отправляют в психушку. Там врачаха, наблюдающая за ним с холодным любопытством вивисектора, уговаривает его ехать «к своим». До тех пор Соломон Исакович, несмотря на имя и внешность, евреем себя не ощущал, а от сопровождавшего его всю жизнь бытового антисемитизма умел привычно отрешаться.

То ли единственное погружение в воду на него повлияло, то ли психушка, но мысль, показавшаяся ему поначалу нелепой, постепенно укореняется в сознании, и он начинает готовиться к отъезду с тем же упорством и основательностью, как до этого занимался строительством домашнего бассейна. В Израиле он оказывается в совершенно ином мире, пронизанном солнцем и непривычными звуками.

И окружающие здесь намного терпимее и добрее, хотя очень скоро он обнаруживает, что «свои» на самом деле такие же чужие и равнодушные, как и соседи в Москве.

И, терпеливо дождавшись собственного закутка, он снова затевает строительство бассейна...

Повесть Юлии Винер «Соломон Исакович», написанная более тридцати лет назад, пронизана атмосферой того времени – решимостью и готовностью из жутко-обыденной реальности брежневского застоя прорваться в Зазеркалье. И... ощущением экзистенциального тупика и в новой жизни.

Личный бассейн на земле Палестины – какая замечательная метафора наивных и пылких сионистских надежд упрямых одиночек, оторванных от действительности Израиля, мечтателей 70-х годов!

Кажется, и их Мечта, и они сами исчезли без следа в жарких зыбучих песках, в мареве хамсина, затерялись в переулках между унылыми блочными коробками и новейшими сверкающими на солнце стеклянными небоскребами и просто растворились в могучих волнах массовой алии. «Соломон Исакович» – это и реквием по ним. Есть ли для этих людей место в нашей коллективной памяти?

Цикл рассказов из жизни Израиля начала XXI века, который в книге предваряет повесть, прямого ответа на этот вопрос не дает. Но он совершенно определенно свидетельствует о новых временах.

Романтических иллюзий у его героев – нынешних небогатых обитателей Иерусалима – почти не осталось.

Мечты стали иными, неотделимыми от конкретных житейских нужд «обустройства». Подзаголовок «Квартирный сюжет» точно отражает тот факт, что «магическим кристаллом» для исследования жизни общества писатель выбирает пресловутый квартирный вопрос.



В стране с высоким уровнем иммиграции и хронической нехваткой дешевой жилплощади этот вопрос действительно стоит очень остро.

Персонажи этого цикла – самые обычные «маленькие люди»: рыночный торговец, мелкий строительный подрядчик, нянька при старике, бомжи, девушка – квартирный маклер, пенсионеры, неустроенные новые репатрианты, владелец небольшой кондитерской, собравшаяся разводиться семейная пара. Обширная галерея образов людей, далеких друг от друга по воспитанию, традициям и подходу к жизни, очутившихся в одном месте и в одно время – в Иерусалиме последнего десятилетия. Юлия Винер – истинный знаток иерусалимского быта: его типажей, житейских деталей, топографии. Того материала, из которого складывается подлинный образ города. И на героев своих она смотрит с ироническим сочувствием, изображая их привычки и слабости обстоятельно и продуманно. Роковое совпадение привело к тому, что они все оказываются неподалеку от маленького кафе на первом этаже пятиэтажного жилого дома в центре города во время теракта, коренным образом меняющего их жизни.

Жоjo, например, мечтает прибавить к своей кофейне маленький закуток за стеной, чему мешает противнейшая старушка-соседка, незаконно, по сути, его занявшая. Старушка погибает во время взрыва, и Жоjo осуществляет свой план. Шоша и Шуши с четвертого этажа хотят продать квартиру, потому что решили развестись. Но во время взрыва они спасают жизнь друг другу и так и остаются вместе, пережив заново глубину своей неотменяемости друг для друга... Дряхлая Хана, одна занимающая трехкомнатную квартиру на третьем, все не решается переехать к дочери. Во время взрыва погибает ее любимица-кошка, и причины откладывать переезд не остается. Недавняя репатриантка Юля с грубоватой наивностью вознамерилась получить в наследство от одинокого бездетного художника, за которым она ухаживает, трехкомнатную квартиру в центре города. Художник гибнет, однако его квартира по завещанию, составленному тридцать лет назад, отходит к дальней племяннице.

Не уносясь в заоблачные дали воображения, не падая в колодезь бурных эмоций и тщательно минуя идеологические ловушки, Винер пристально всматривается в окружающую жизнь – нашу жизнь. Она не боится заметить, что пестрая мозаика индивидуальных биографий не сплавляется амальгамой взрыва в единую национальную судьбу. Кого-то «прилепляет», а кого-то и отсекает.

В нескольких рассказах есть ощущение сконструированности. И дело не в главном сюжетном ходе. Он – эффектный и броский скрепляющий узел, но он же и достоверен, как страницы израильской газетной хроники. Дело в искусственности некоторых персонажей. Ну, например, странной женщины, забывшей повзрослеть. Время от времени ее посещают чудесные видения, «сны наяву»: невесомая, она плывет в голубой океанской воде, смывающей все печали и делающей тело гибким и послушным, к тропическому острову, где всегда ждет ее вечно молодой возлюбленный в туземном оперении. Парфраз Великой Мечты, выродившейся в «эскапизм», бегство от реальности? Но зачем и почему она понадобилась здесь автору?

Также «выпадает» из общей тональности рассказ о беспечном молодом человеке, озабоченном лишь тем, как «поверить дела любви словами» (а не «слова – делами»). Может, еще неведомо для себя, он готовится к писательству, но кажется плоским в своем увлечении.

В цикле рассказов выражена атмосфера более позднего времени – неожиданный или незапланированный поворот событий теперь уже не является трагическим крушением Большой Мечты, несовместимой с жизнью.

Нет, это несовпадение наших планов с естественным, неуправляемым ходом событий, включающим в себя, к несчастью, и террор, и является самой что ни на есть реальной жизнью...

Но по-прежнему герои Винер ищут не только и не столько место для жилья. Речь идет о поиске места в жизни. И поскольку поиск этот продолжается здесь и сейчас, он и превращает нашу страну в место для жизни.

*Татьяна Азиз-Лившиц*

**Михаил ХЕЙФЕЦ. «Книга счастливого человека». Харьков: «Права людны», 2010.**

Автора этой книги я хотел бы назвать Хейфцем Ленинградским – вот так, с заглавной буквы. Он для меня – самый значительный диссидент (пусть и не по своей воле) в этом городе. Но можно указанное определение писать и со строчной буквы. Потому что оно фиксирует определённый этап в жизни писателя – ленинградский.

А есть и другой, более поздний – иерусалимский...

«Книга счастливого человека» по жанру есть духовная биография Хейфеца – наподобие солженицынского «Телёнка», воспоминаний Н. Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи» или «Записок незаговорщика» и «Барселонской прозы» Е. Эткинда. Последний, кстати, был непосредственно связан с Хейфцем по делу о предисловии к самиздатскому собранию сочинений И. Бродского. (Это предисловие вошло в книгу в качестве приложения.)

Эволюция взглядов Хейфеца представлена на фоне вялотекущей деградации Страны Советов, деградации, многочисленные симптомы которой запечатлены и проанализированы человеком, обладающим историческим зрением и способностью связывать между собой феномены, на первый взгляд кажущиеся далековатыми, выстраивать убедительные связи между событиями, не всегда равно значительными, но вкуче ведущими к социальным сдвигам огромного размаха. При этом мысль исследователя если и не всегда бесспорна, то неизменно глубока, а часто и поражает своей новизной и оригинальностью.

Уже на первых страницах книги содержится рассуждение о том, как понималось рабство диктаторами XX века. Гитлер воспринимал советских людей как рабов Сталина, а потому был уверен в том, что они легко, без внутренней перестройки, преобразятся в рабов нового господина. «Из-за такого заблуждения он проиграл войну!» – полага-

ет Хейфец, что, конечно, является преувеличением, но рациональное зерно в этом есть.

Интересно было познакомиться с излагаемой Хейфецем версией покушения на Ленина в 1918 году (своего рода параллель к санкционированной тем же Лениным бессудной расправе с низвергнутым императором и его семьёй). По мнению Хейфеца, опирающегося здесь на работу Р. Пименова «Как я искал шпиона Рейли», за этим покушением стоял не кто иной, как «железный Феликс». Аргументы Пименова-Хейфеца мне представляются вполне убедительными.

Автор книги дает очень любопытную характеристику взаимоотношений диссидентов и гэбэшников – взаимоотношений не внешних (одни «гадят», другие выслеживают и ловят), а внутренних, на уровне групповой психологии. «...Многие диссиденты, – пишет Хейфец, – изначально с трудом воспринимали людей ГБ как врагов. И я сам, к слову. Ведь, как правило, диссиденты убеждены, что отстаивают истинные интересы страны, которые, т. е. интересы, начальство, увы, понимает неверно или вообще не понимает. (...) Зато гэбисты совершенно искренно считали диссидентов именно врагами отечества, врагами своей страны – причём с самого начала. Поэтому лёгким казалось противников обманывать, карать, предавать – на войне как на войне, что с недругами страны церемониться».

Впрочем, Хейфец добавляет к упомянутым сентенциям важную оговорку: «Но в момент, когда зэки догадывались, что перед ними находится враг, всё сразу менялось».

Рассказ «счастливого человека» о своей духовной эволюции, превращении из вполне советского в антисоветчика и ловкого конспиратора, а позднее и в закоренелого зэка замечателен умением вглядываться в собственную душу, трезво оценивать свои поступки, зорко подмечать допущенные ошибки и откровенно о них говорить. Здесь письмо Хейфеца приводит на память страницы... *журнала Печорина*, автор которого тоже ведь был беспощаден к своим просчётам и слабостям.

Хейфец почти ничего не пишет о своей личной (семейной) жизни. Это понятно: задача у него другая. Но вот в двух-трёх местах книги возникает его жена, и каждое её появление весьма впечатляет.

«Когда я кончил писать (предисловие к самиздатскому Бродскому – М. К.), то первой читательницей стала моя жена. Посмотрела и сказала мне просто: "Посадят тебя, Мишка"».

И чуть ниже: «А жене статья, наверно, понравилась, потому что, когда приехала в гости моя тёща (...), женщина благородная, но абсолютно советская, Рая сказала: "Покажи маме статью о Бродском". Гордилась?»

В другом месте – реакция жены на рассказ мужа о виденной им возле метро витрине «Они позорят наш город», где представлены фотографии так называемых «стиляг» с длинными причёсками, пойманных бдительными дружинниками и насильно коротко обстриженных. «...Рая после рассказа отмолчалась. Когда потом проходили мимо той же витрины, показал: "Вот, помнишь, я рассказывал..." Она поглядела и вымолвила: "Так значит, это правда?" – "Конечно, прав-

да..." – "Ты не понимаешь!.. Мальчиков хватают, волокут, насильно стригут... Как они после этого жить смогут!" Тут и я впервые, возможно, осознал не столько комический, сколько трагический поворот темы». Казалось бы, совершенно проходной эпизод, а какую симпатию вызывает эта женщина!

По страницам «Книги счастливого человека» проходят десятки фигурантов, известных, менее известных и совсем неизвестных, – проходят подчас, что называется, мимоходом, но в той или иной степени запоминаются все, все вызывают к себе то или иное отношение, потому что у каждого – «лица необщее выражение».

Предисловие Хейфеца к самиздатскому собранию сочинений Бродского, написанное в 1973 году, не было принято составителем – В. Марамзиным – из-за повышенного градуса антисоветизма...

Что же касается основного содержания статьи Хейфеца, декларируемого её заглавием «Иосиф Бродский и наше поколение», то применительно к «советскому» периоду Бродского разборы и оценки автора статьи, на мой взгляд, не устарели по сей день.

Особенно замечательным показался мне фрагмент, где речь идёт о «новой лирике Бродского» (начиная с 1961 года), в особенности рассуждения о появлении в его стихах «новой гостьи – смерти», а также темы «собственной чуждости миру»: «...и возникает Бог. Слишком велики испытания, назначенные человеку, слишком велика, непонятно велика (курсив мой. – М. К.) сила человеческого сопротивления испытаниям, чтобы не склониться перед неведомым. Кто дал слабому такую силу? Когда весь мир против тебя, когда и твоя жалкая плоть против тебя, когда осознаёшь, что вопреки себе, своим близким, здравому смыслу и любой мыслимой цели ты всё-таки идёшь путём, предначертанным тебе изначально, – тогда неизбежно Бог возникает в человеческом сознании, даже в том, для которого атеизм – естественная мировоззренческая норма с детского сада».

Прекрасно сказано и – отчасти пророчески.

Прекрасно, ибо удалось найти слова, адекватно передающие как суть духовного взлёта Бродского в начале 60-х, так и собственный духовный опыт, опосредованный стихами любимого поэта (но, вероятно, и рядом других факторов). В этом контексте слишком сильным может показаться слово «неизбежно», но я думаю, уже на основе собственных размышлений, что тут оно вполне уместно.

А пророчески – об осознанной тогда же поэтом *собственной чуждости миру*. Ведь отсюда, от этой «печки», идут силовые линии к поздней (эмигрантской) поэзии Бродского – и к её шедеврам, и к её неудачам...

*Михаил Копелиович*

## ИМЕНА

---

**Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ** родилась в Харькове. Закончила биофак Ленинградского университета. Репатрировалась в 1977 году. Автор книги «Лекарственные препараты в Израиле» (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Милявским) сборника «Вопреки времени» избранных работ литературоведа Льва Лившица и воспоминаний о нем (1998). Живет в Мевасерет-Ционе. Работает в больнице «Адасса».

В «ИЖ» опубликованы рассказ **Т. А.-Л.** «Неожиданный визит» (№ 24-25); ее рецензии на книги Натальи Дорошко-Берман, Марины Меламед, Шуламита Шалит и на альманах «Римон» (№№ 11, 13, 20-21, 22); эссе об Александре Воловике (№ 26).

**Вильям БАТКИН** (1930, Полтава – 2011, Иерусалим). Окончил Харьковский горный институт. Работал в организациях по эксплуатации и проектированию угольных шахт. Переводил с украинского стихи А. Копштейна, В. Мысыка, М. Нагнибеды, Р. Лубкивского.

В СССР вышли два сборника стихов. Репатрировался в 1996 году. В Израиле издал книгу стихов «Неприкаянный мир» (1997).

В «ИЖ» опубликованы эссе **В. Б.** о Савелии Гринберге и о Марке Азове (№ № 13, 39). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга избранной прозы «Талисман души» (2007).

**Алла БОССАРТ** родилась в Москве. Окончила журфак МГУ. Автор пяти книг прозы: романов, повестей, рассказов. Живет в Москве и (с 2011 года) в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 38 опубликована подборка стихотворений **А. Б.** «Паситесь, мирные коровы».

**Игорь БЯЛЬСКИЙ** родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в России и в Узбекистане. Окончил Пермский политех (1971). Репатрировался в 1990 году. Один из основателей ташкентского КСП «Апрель» (1975) и «Иерусалимского журнала» (1999). Автор четырех сборников стихов. Живет в поселении Текоа. В «ИЖ» опубликованы подборки **И. Б.** «На улицу Хеврон», «Из посвящений», «Свой воспеваю круг» (№№ 6, 13, 17); переводы из Й. Амихая, Н. Альтермана и В. Чернина (№№ 5, 11, 29).

**Марк ВЕЙЦМАН** родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатрировался в 1996 году. Автор поэтических книг для детей и нескольких сборников стихов. Лауреат литературных премий. Живет в Модиине.

В «ИЖ» публиковались подборки стихотворений **М. В.** (№№ 5, 14-15, 20-21, 27, 29, 34, 39), рецензия на книгу А. Крестинского (№ 16) и заметки о нем (№ 22). В «Библиотеке ИЖ» вышли его книги стихов «Третья попытка» (2002) и «Следы пребывания» (2011).

**Фридрих ГОРЕНШТЕЙН** (1932, Киев – 2002, Берлин), прозаик и сценарист. Был чернорабочим, окончил Днепропетровский горный институт, до 1961 года работал инженером, затем учился в Москве на Высших сценарных курсах. Написал сценарии семнадцати фильмов, пять из которых были осуществлены. Среди них – «Солярис», «Раба любви», «Седьмая пуля», «Комедия ошибок». В СССР был опубликован лишь один рассказ – «Дом с башенкой» (журнал «Юность», 1962). После участия в альманахе «Метрополь» (1979,

повесть «Ступени») **Ф. Г.** вынужден был эмигрировать. Жил в Вене, затем в Берлине. В СССР были написаны повести «Зима 53-го года», «Ступени»; пьесы «Споры о Достоевском», «Бердичев»; романы «Искушение» (1967), «Псалом» (1975), «Место» (1976), за рубежом – повести «Яков Каша», «Куча», «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детоубийца», рассказы, эссе. Интервью Ю. Векслера с **Ф. Г.** опубликованы в «ИЖ» № 29.

**Наталия КИМ** родилась (1973) и живет в Москве. Окончила журфак МГУ. Работала звукооператором в театре-студии «Третье направление», колумнистом и редактором в популярных и профессиональных журналах. Прозу публикует впервые.

**Вениамин КЛЕЦЕЛЬ** родился в 1932 году в Первомайске (Одесская область). После службы в Советской армии окончил Ташкентское Художественное училище и художественное отделение Ташкентского театрального института им. А. Островского (1967). Жил и работал в Куйбышеве. Картины находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира. В 2005 году выпустил альбом избранных работ. Живёт в Иерусалиме.

Рисунки художника публиковались в «ИЖ» в №№ 1, 11, 30, 37. Книги **В. К.** и Зинаиды Палвановой «Иерусалимские картинки» (1, 2) вышли в «Библиотеке ИЖ» в 2000 и 2004 годах.

**Керен КЛИМОВСКИ** родилась в Москве в 1985 году. Репатриировалась вместе с семьей в 1990 году. Окончила университет Брауна (Провиденс, США, 2008) по специальностям «театроведение» и «сравнительная литература». Учится в аспирантуре. Стихи, проза и драматургия **К. К.**, а также ее переводы с иврита публиковались в российских литературных журналах. Лауреат нескольких литературных конкурсов. Живет в Нетании.

**Михаил КОПЕЛИОВИЧ** родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг о современной русской литературе и об израильской литературе на русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и кино» (2006), «Рецензия – любовь моя» (2006). Живет в Маале-Адумим. В «ИЖ» опубликованы рецензии **М. К.** на книги Б. Голлера, С. Шенбрунн, Э. Шехтмана, Г. Беззубова, Ф. Лясса, Е. Аксельрод, И. Рувинской, П. Полонского (№№ 6, 7, 13, 23, 26, 30, 32, 39); эссе «Три оды Богу» (№ 29), «Смерть Майи Каганской» (№ 37).

**Хава-Броха КОРЗАКОВА** родилась в Ленинграде в 1969 году, училась в ЛГУ на кафедре классической филологии. Репатриировалась в 1991 году. Преподает в Университете Бар-Илан. Живет в Кирият-Арбе. Автор поэтических книг на иврите «Камни оникса» (1993), «На краю Луны» (1996), «Полосатая рубашка» (1998), «Закрытое море» (2002), «Анабайно» (1994, на русском). Лауреат нескольких литературных премий. В «ИЖ» опубликованы статья **Х. К.** «Загадка 20-го псалма» (№ 1), подборки стихов «Песни Мирры» (№ 19), «Пятнадцатое послание» (№ 30). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги стихов «Пятое послание» (2010) и «Один шаг» (2011).

**Вячеслав ЛЕЙКИН** родился в 1937 году в Ленинграде. С 1945 года живет в Царском Селе. Автор нескольких киносценариев, в частности, «Бакенбарды», «Окно в Париж», и нескольких книг стихов; последняя («Одинокый близнец») вышла в издательстве «Любович» в 2011 году. Лауреат Царскосельской премии (1996).

**Инна ЛИСНЯНСКАЯ** родилась в Баку в 1928 году. Печатается с 1948 года. Автор многочисленных сборников стихов, ряда повестей, романа «Хвастунья». Участвовала в альманахе «Метрополь» (1979) и вместе с Семеном Липкиным добровольно вышла из СП СССР в знак протеста против исключения из СП В. Ерофеева и Е. Попова. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. Государственной премии России (1998), премии А. Солженицына (1999), премии «Поэт» (2009). В настоящее время живет в Хайфе. В «ИЖ» опубликованы стихи И. Л. «Из Иерусалимской тетради» (№ 18) и ее воспоминания о С. Липкине «На крылечке» (№ 22).

**Геннадий МАЛКИН** родился в 1939 году в Брянске. Окончил 3-й Московский мед. институт (1962). Работал хирургом-стоматологом. Репатриировался в Израиль в 2008 году. Автор многочисленных сборников афоризмов и трёхтомника в «Золотой серии». Лауреат премий «Золотой телёнок», «Тайм-аут» и др. Живет в Бат-Яме. В «ИЖ» опубликованы воспоминания Г. М. «Секрет военного искусства» (№ 29) и подборки его афоризмов (№№ 29, 34).

**Давид МАРКИШ** родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших сценарных курсах. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; восемь из них вышли в переводе на иврит, десять – на другие языки. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Ор-Иегуде. В «ИЖ» опубликованы рассказы «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12), «Тринадцатая нить» (№ 17), «Рассказы у костра» (№ 24-25), «Старик, который забыл умереть» (№ 27), «Луковый мед» (№ 36); эссе «Русская рулетка Олеши» (№ 14-15), интервью В. Полухиной с Д. М. «Все зависит от Мастера» (№ 31), главы из романа «Тублиер» (№ 32).

**Пётр МЕЖУРИЦКИЙ** родился в 1953 году в Одессе. В 1986 году закончил филфак Одесского университета. Репатриировался в 1990 году. Автор сборников стихов «Места обитания» (1993), «Пчелы жалят задом наперед» (1997) и «Эпоха каба́ре» (1999). Живет в Ор-Акиве. Преподаёт в школе. В «ИЖ» опубликованы подборки П. М. «Эпоха каба́ре», «Страна нуждается в разброде», «И утро дня, и вечер ночи», «Не все пути – Господни» (№№ 3, 11, 17, 33); эссе «Отклик» (№ 6).

**Марина МЕЛАМЕД** родилась в Харькове. Окончила музучилище и три курса филфака Харьковского университета. Основатель детского клуба авторской песни «Товарищ Гитара» (1985). Репатриировалась в 1990 году. В Иерусалиме окончила «Школу визуального театра». Лауреат многих фестивалей авторской песни, поэтического турнира «Пушкин в Британии» (2005), премии «Олива Иерусалима» (2007). Автор более десяти дисков. Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликована проза **М. М.** – «Джаз в стиле идиш» (№ 6), «Прочие слова» (№ 13), «Годовые кольца» (№ 20-21), «Страницы» (№ 29), «Этюды для флейты» (№ 36). В «Библиотеке ИЖ» вышли ее книги «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», «Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду».

**Григорий НИКИФОРОВИЧ** родился (1946), учился и начал работать в Минске. До 1989 года – руководитель группы молекулярной биофизики в Риге, в Институте органического синтеза АН. В 1989-1991 – в университете Аризоны, г. Тусон. С 1991 по 2008 – профессор (ныне консультант) Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Миссури. Опубликовал три монографии (в соавторстве), научно-популярные книги «Беседы о жизни» и «Почти природные лекарства». В 2005 году вышел в свет роман «Сорвать банк в Аризоне» (Москва, изд-во «Время», под псевдонимом Ник Грегори).

**Виктория РАЙХЕР** родилась в 1974 году в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2, 3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Автор книги прозы «Йошкин дом» (2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Текоа.

В «ИЖ» опубликованы рассказы «От суммы, от тюрьмы...» (№ 19), «Сделка» (№ 22), подборка психосказок «Прекрасный результат» (№ 31) и стихотворение «Про кота» (№ 32).

**Ирина РУВИНСКАЯ** родилась в Кирсанове (Тамбовская обл.). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского Госуниверситета. Работала библиотекарем, переводчиком, журналистом. Автор книг стихов и переводов «Коммуналка» (1995) и «Пока» (1996). Стихи вошли в «Антологию современной русской поэзии Украины» (1998). Лауреат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984) и Фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2007). Репатриировалась в 1996 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки «Из Иерусалимской тетради» (№ 16), «Наперечёт» (№ 20-21), «Другое слово» (№ 23), «Между войной и войной» (№ 26), «И никакая не любовь» (№ 31), «Сострадания неместная скрипка» (№ 37). В 2009 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов **И. Р.** «Наперечёт».

**Юрий РЯШЕНЦЕВ** родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил филфак МГПИ. Семь лет преподавал в школе, в том числе – в школе для трудных подростков. С 1962-го до середины 90-х работал литконсультантом в журнале «Юность». Много писал для театра и кино. Наиболее известны песни к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Автор нескольких сборников стихов и романа «В Маковниках. И больше нигде». Лауреат Государственной премии России им. Булата Окуджавы (2002). Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихотворений «Лучше бы сесть мне в лодочку» (№ 22), «Диалог о Киме» (с Д. Сухаревым, № 26) и эссе о Фазиле Искандере (№ 29).



**Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров)** родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников, в т. ч. «Много чего» (2008). Один из основоположников жанра современной авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), премии «Венец» Союза писателей Москвы (2005).

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора» (№ 3), «Формула сплава» (№ 11), «Переделкинские посиделки» (№ 13), «Я была вам хорошим товарищем» (№ 19), «Прощание с Межировым» (№ 30), «Влажным взором» (о Борисе Рыжем) (№ 39), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседы «Другой имеет право быть другим» (№ 11, с Татьяной Бек), «Поговорим о поэзии» (№ 23, с Сергеем Трухановым), «Диалог о Киме» (№ 24-25, с Юрием Ряшенцевым); проза «Венок сонетов» (№ 14-15), «Юрий Визбор навсегда» (№ 26); статья «Экспертиза» (№ 35). В 2001 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен **Д. С. «Холмы»**.

**Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий)** родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и семи книг прозы, вышедших в московских издательствах. Лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье.

В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14-15), «Пятая звезда» (№ 33), «Делай, что должно...» (№ 36); глава из романа «Гиршуни» (№ 29); романы «Протоколы Сионских Мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19), «Пепел» (№ 22, 23; финальная шестерка «Русского Букара», 2007), «Записки кукловода» (№ 27), «Летит, летит ракета» (№ 30), «Дор» (№ 31), «В поисках утраченного героя» (№ 36); повести «Дом» (№ 24-25) «Последний Каин» (№ 34), переводы стихов Натана Альтермана, Рахели, Цви Прейгерсона (№ 28, 33, 36, 40).

**Асар ЭППЕЛЬ** (1935, Москва – 2012, там же). Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева (кафедра архитектуры). Сотрудничал в газетах и на радио, писал стихи.) Переводил Боккаччо, Г. Сенкевича, Б. Брехта, Р. Кипплинга, В. Шимборскую, Б. Шульца, В. Караджича. Писал для кино и театра (в частности, либретто мюзикла «Биндюжник и Король» по Бабелю). Проза Эппеля переведена на несколько европейских языков. Автор книг «Травяная улица», «Шампиньон моей жизни», «Дроблёный Сатана», «Сладкий воздух и другие рассказы», «In Telega» и др. Лауреат нескольких литературных премий.

В «ИЖ» опубликованы рассказы **А. Э.** «Чернила неслучившегося детства» (№ 11) и «Смятение несуразного немца» (№ 35).

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛЪВИНЫЕ ВОРОТА

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| ИРИНА РУВИНСКАЯ. Ненастоящая старуха. <i>Стихи</i> .....      | 3  |
| МАРИНА МЕЛАМЕД. Улица Иудейской пустыни. <i>Медитация</i> ... | 9  |
| ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Два стихотворения .....                       | 12 |
| ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Букет невесты. <i>Рассказ</i> .....          | 14 |

### ЯФФСКИЕ ВОРОТА

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ. Бог в разведку ходит с каждым. <i>Стихи</i> .. | 30 |
| КЕРЕН КЛИМОВСКИ. Куда ходить нельзя. <i>Рассказ</i> .....       | 37 |
| ГЕННАДИЙ МАЛКИН. Такой же, как вы. <i>Фразы и афоризмы</i> ...  | 48 |
| ДАВИД МАРКИШ. Другой. <i>Рассказ</i> .....                      | 51 |

### ДОРОГА НА ХЕВРОН

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ХАВА-БРОХА КОРЗАКОВА. Из посвящённого Павлу Лиону.<br><i>Стихи</i> ..... | 64 |
|--------------------------------------------------------------------------|----|

### ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| АЛЕКС ТАРН. О-О. <i>Роман</i> ..... | 71 |
|-------------------------------------|----|

### УЛИЦА КАРМЕЛЬ

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. В плену у ерунды. <i>Стихи</i> ..... | 248 |
|-------------------------------------------------------|-----|

### ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Ташкентский Дворик. <i>Стихи</i> .<br><i>К восьмидесятилетию Вениамина Клецеля</i> ..... | 251 |
| ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ. Лица. <i>Графика</i> .....                                                              | 252 |
| АЛЛА БОССАРТ. Блаженны красящие .....                                                                     | 265 |

### РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН. Кстати, о жизни. <i>Стихи</i> .....                   | 272 |
| НАТАЛИЯ КИМ. Жила-была одна женщина.<br><i>Короткие рассказы</i> ..... | 280 |

### ПОДЗОРНАЯ ГОРА

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ. Фридрих Горенштейн:<br>писатель и читатели ..... | 289 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

### ХОЛМ ПАМЯТИ

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <u>ВИЛЬЯМ БАТКИН</u> . Из последних сонетов .....                                     | 299 |
| ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ, МАРК ВЕЙЦМАН. Прощание с Мастером.<br><i>Памяти Асара Эппеля</i> ..... | 303 |

### НОВЫЕ ВОРОТА

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ и МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ<br>о новых книгах Юлии Винер и Михаила Хейфеца ..... | 306 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### ИМЕНА

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Авторы и персонажи ..... | 311 |
|--------------------------|-----|

נמכת לקליטת עליה בחיפה

רח"ל ל. פרץ 20 חיפה 33041

ספריה

9849

Подписку на журнал можно оформить,  
прислав обычным (*не заказным*) письмом свои координаты  
и чек на имя

***Jerusalem Anthologia***

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,  
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):  
В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку  
В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:  
В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.  
В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-9960302; E-mail: olvic1@012.net.il )

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва), Ольгу Аксютину (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Виняскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим), Асара Эппеля (Москва) за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования  
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим  
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

## ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2011 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,  
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;  
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,  
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»; Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спусти три года»;

Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»

CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». *Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА,  
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

### ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Игоря ГУБЕРМАНА, Владимира ДРУКА, Юрия КАМИНСКОГО,  
Феликса КРИВИНА, Ицхокаса МЕРАСА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

**JERUSALEM ANTHOLOGIA – [www.antho.net/index.html](http://www.antho.net/index.html)**

***Музей современных израильских художников***

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского,  
Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток,  
Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова,  
Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила  
Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря,  
Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль,  
Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой,  
Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

## CONTENTS

### LION GATE

IRINA RUVINSKAYA. A fake old woman. *Poems*

MARINA MELAMED. Judean Desert Street

IGOR BYALSKY. Two poems

VICTORIA REICHER. Bride's bouquet. *Short story*

### JAFFA GATE

PETER MEZHURITSKY. God is with every reconnaissance unit. *Poems*

KEREN KLIMOVSKY. A forbidden place. *Short story*

GENNADY MALKIN. Just like you. *Phrases and aphorisms*

DAVID MARKISH. Another one. *Short story*

### ROAD TO HEBRON

CHAVA KORZAKOVA. From the dedications to Paul Lion. *Poems*

### SHKHEM GATE

ALEX TARN. O-O. *Novel*

### KARMEL STREET

INNA LISNYANSKAYA. Captured by trifle things. *Poems*

### JUBILEE QUARTER

DMITRY SUKHAREV. Tashkent courtyard. *Poems*

*To Benjamin Kletzel's eightieth anniversary*

BENJAMIN KLETZEL. Faces. *Drawings*

ALLA BOSSART. Blessed are the painters...

### RUSSIAN COMPOUND

VYACHESLAV LEIKIN. Apropos the life. *Poems*

NATALIYA KIM. Once there was a woman. *Short stories*

### MOUNT SCOPUS

GREGORY NIKIFOROVICH. Friedrich Gorenstein:

The writer and readers.

### MEMORY HILL

WILLIAM BATKIN. From the last poems

YURY RYASHENTZEV, MARK WEITZMAN. A farewell to the Master.

*In memory of Asar Eppel*

### NEW GATE

TATIANA AZAZ-LIVSHITZ and MICHAEL KOPELIOVICH

on new books by Julia Viner and Michael Kheifetz

### NAMES

Authors and Characters

### JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 41, 2012

#### MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet versions: [antho.net/jr/](http://antho.net/jr/) & [magazines.russ.ru/ier/](http://magazines.russ.ru/ier/)

Israel Union of Writers in Russian

**Jerusalem Anthologia** Association

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: [jerusalemreview@gmail.com](mailto:jerusalemreview@gmail.com)

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-5361947

© 2012 Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

## **תוכן העניינים :**

### **שער האריות**

אירינה רובינסקאיה. זקנה מזויפת – שירים  
מרינה מלמד. רחוב מדבר יהודה – מדיטציה  
איגור ביאלסקי. שני שירים  
וויקטוריה רייכר. זר של כלה – סיפור

### **שער יפו**

פטר מזיוריצקי. אלוהים יוצא למשימה עם כל אחד – שירים  
קרן קלימובסקי. שם, לאן שאסור ללכת – סיפור  
גנדי מלכין. כמוכם – משפטים ואפוריזמים  
דוד מרקיש. אחר – סיפור

### **דרך חברון**

חווה קורזקובה. מהמוקדש לפבל ליון – שירים

### **שער שכם**

אלכס טארן. או-או – רומן

### **רחוב הכרמל**

אינה ליסניאנסקאיה. בשבי של הבלים – שירים

### **קריית היוכל**

דמיטרי סוחרב. חצר טשקנטית – שיר  
לקראת יום ההולדת השמונים של בנימין קלצל  
בנימין קלצל. פנים – גרפיקה  
אלה בוסרט. אשרי הצובעים

### **מגרש הרוסים**

וויאצ'סלב לייקין. דרך אגב, על החיים – שירים  
נטליה קים. היו-הייתה אישה אחת – סיפורים קצרים

### **הר הצופים**

גריגורי ניקיפורוביץ'. פרידריך גורנשטיין : סופר וקוראים

### **הר הזיכרון**

וויליאם בטקין. מהשירים האחרונים  
יורי ריאשנצב, מרק ווייצמן. פרידה מאמן. לזכרו של אסר אפל

### **השער החדש**

טטיאנה עזז-ליפשיץ ומיכאיל קופליוביץ'  
על ספריהם החדשים מאת יוליה ווינר ומיכאל חפץ

### **שמות**

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),  
 הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,  
 זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון  
 מזכיר – יבגני מינין  
 ציירת – סוסנה צ'רנוברובה  
 עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק  
 עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה  
 תמיכה לוגיסטית וטכנית: מיכאל בסין, דניאל בורשטיין,  
 בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,  
 וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי מיר



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2012 כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 02-5361947, 0544-745322, 02-9960302

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

